



НОВИНКИ · СОВРЕМЕННОГО

ВАСИЛИЙ АФОНИН

Вечера

Рассказы и повести

«Современник»
Москва · 1984

Рецензент *В. Личутин*

А $\frac{4702010200-171}{M106(03)-84}$ 20-84

ББК84Р7
Р2

© Издательство «Современник», 1984.

Михайловская роща

Почти в самом центре города большая живописная роща, а мало кто знает о ней. В основном знают те, кто живет рядом; с дальних улиц — если не бывали в роще, так слышали наверняка, а что по окраинам города — так и не видали и не слышали. Признаться, я был только рад такому обстоятельству, достаточно было тех, кто бывал здесь с ближних улиц и переулков.

Сам я рощу открыл на третьем году жизни в городе, хотя ходьбы от моего дома до рощи от силы двадцать минут. Так уж она расположена, что не сразу и бросается в глаза, даже когда проходишь-проезжаешь мимо. Роща называлась Михайловской, и находилась она на всхолмленном правобережье речки Ушайки, притока Томи. По левому берегу Ушайки, напротив рощи, почти к самой воде подступают частные строения. Со стороны тракта рощу закрывают заводские корпуса. От вокзала к тракту, через Ушайку, как бы по дну канавы, идет грузовая дорога. Сбочь дороги, от которой деревья отступают на несколько саженей, кто-то когда-то надумал устроить свалку. Лежали тут вывезенные с территории завода кучи ржавой металлической стружки, разные железяки, строительный мусор с кусками штукатурки и кирпича.

Мусор и отпугивал меня поначалу. Я думал, что если так с краю рощи, то каково же дальше, и страшился переступить за мусорные завалы. Так казалось многим, кто проезжал мимо. Но чтобы почувствовать всю прелесть Михайловской рощи, надо пройти в глубь ее: побродить по дорогам — здесь были две-три затравеневшие, прямо-таки проселочные дороги; побывать на полянах и нарвать цветов; постоять возле цветущей черемухи, набрать горсть малины; послушать скворцов в апреле — жили тут скворцы и другие птицы; посидеть вечерами на закатах под копной — были в роще малые, но свои сенокосы. Можно было и славно позагорать, лежа на берегу Ушайки в траве —

высокой, густой, дурманящей запахами. Только вот купаться в Ушайке нельзя было, вода была загажена отходами городских предприятий.

Я бывал в Михайловской роще во все времена года: и весной, и летом, и осенью, и зимой. Всегда мне хорошо отдыхалось здесь, хорошо думалось.

И если ветер дует не со стороны ТЭЦ — снег в роще чист, только под деревьями видны мелкие сухие веточки, хвоя, кусочки коры и мха. Это ветер и птицы насорили. Хорошо прийти в рощу после осенних заморозков, в пору снегопада. Случаются в начале зимы такие дни, когда тихо идет снег, густой, крупными хлопьями. Следует потеплее одеться, пройти дальше за овраг, сесть на валежину или пенёк, под куст, под дерево, спиной к стволу, и, запахнувшись, надвинув поглубже шапку, подняв воротник, сунув руки в рукава, посидеть так некоторое время. В такие дни в роще глухо, кажется, будто сидишь в большом лесу и на много верст во все стороны — ни души. Прислушиваешься к чему-то, и, слава богу, не слышно шума машин, только снег перед глазами, только снег, падающий так часто, что за несколько шагов ничего нельзя различить. Закрыв глаза, представляешь всю рощу: как она сейчас преобразуется. Снег покрывает поляны, прогалы, дороги и бугры, речку Ушайку, в которой вода в черте города долго не застывает и, черная, в белых берегах, течет, как бы дымясь. Снег скрывает все, что оставили после себя люди, отдыхая до последних солнечных дней, ложится на кусты и деревья, сгибая ветки, образует белые холмики над валежинами, корягами и пнями. Встанешь, отряхнешься и пойдешь домой через мельтешенье снежинок, протапывая в свежем мягком снегу первые следы, а их тут же и скроет. А когда пройдет пора снегопада и снег уляжется, отвердев, придут в выходные дни в рощу любители лыжной ходьбы, проложат каждый свою — вверх, вниз, через поляны по-за кустами, с горки, где плавный спуск, по берегу Ушайки — аж в дальний конец рощи и обратно — замкнутую лыжню. И будут бегать, скользить по ним, отталкиваясь палками и без палок, стараясь поддерживать лыжню даже в метели, и так до самых оттепелей, пока снег не начнет липнуть к лыжам.

Во второй половине декабря, в январе, когда морозы настаиваются до тридцати и ниже, в роще пусто, редко увидишь и лыжника, даже в воскресенье, день короткий, светло по-настоящему в десять утра, в четыре уже сумер-

ки, и в морозные дни я не так часто бывал в роще. Заходил на час, не больше, проведать березы, походить туда-сюда по тропе, пробитой берегом оврага, понаблюдать за птицами. Птиц зимой в роще жило куда меньше, чем летом. С первым снегом прилетали из-за города снегири и щеглы. Они держались там, где росли конопля да репейник, а конопля и репейник росли в роще только на одной поляне, где когда-то находились жилища людей. Прислонясь в березе, можно было видеть, как перепархивают рядные щеглы с одного куста репейника на другой, выискивая семена, не осыпавшиеся по осени. С щеглами водились снегири, кроткие, с печальным свистом птицы, их я знал и любил еще с детских лет, живя на Шегарке, на родине.

Стоишь, вдруг над головой твоей, стряхивая бесшумно снег, сядет или неуклюже поднимется с ветки ворона и полетит боком через поляну; вынырнет из-под куста длиннохвостая сорока, застрекочет — с вершины молоденькой березки на краю поляны ей отзовется другая. И опять тихо. Деревья в густом пушистом куржаке, но впечатления большого леса в это время года нет, будто стоишь в перелеске, что в каждой лесной деревне начинается за огородами сразу и идет, разрываемый полями и сенокосами, до самого бора. Не хватает лишь заячьих набродов в осинниках (осины росли в роще) да куропаток, сидящих на нижних ветках полузанесенных сугробами таловых кустов.

В феврале в роще кружат, сшибаются метели и, обесилев, укладываются вокруг кустов, наметая сугробы. Ветер раскачивает деревья, шумит в мерзлых ветках, обламывая сухие сучья, они падают в снег, и по тому, как много сучьев обронули деревья, можно судить, какой силы был с вечера или ночью ветер. Хорошо в метельные дни тепло одетым прийти в рощу и, стоя где-нибудь в затишье в промежутке густых заснеженных тальников, смотреть, как с взгорья через большую поляну к Ушайке сползает поземка. Почти от самого устья Ушайку замело, сровняло берега — не угадать, и только молодые вербы и тополя, росшие неширокими полосками по берегам, указывают извилистый ее путь.

Поземка рождается по-за кустами, на откосах с вершин сугробов ветер снимает снег, но мне всегда кажется, что приходит поземка с полей, оттуда, где берет свое начало Ушайка: там стога и скирды соломы, а осинники и березовые согры не обставлены многоэтажными домами и фабричными трубами.

Февраль, метели в городе. Начало февраля, середина, последние дни. В конце месяца выпадает ясная неделька с высоким, насколько это возможно в городе, синим небом, безветрием. В роще тогда свежо, светло, чисто. Всюду мягкие искрящиеся сугробы, снегу по пояс, без лыж не пробраться, да и узкие спортивные лыжи тонут глубоко. Деревья стоят не шелохнувшись, будто и не налетала на них метель, не продувала насквозь, не сгибала вершины, цепляя ветки за ветки.

Ударят напоследок морозы, отпустят, и вот он — март, дни больше, теплее, мягче. Снег подтаивает день ото дня, оседает, вот уже кое-где на открытых местах, на взгорьях, вокруг древесных стволов образуются лунки. За полночь осевшие, подтаявшие снега схватывает морозцем, превращая верхний слой в крепкий наст — чурым. Бывает, чурым держится до полудня, по нему можно ходить и без лыж и даже бегать, не страшась провалиться и набрать в валенки снегу. Ближе к апрелю морозцы спадают, и в городе наступает весна. Она всегда начинается в городе немного раньше, чем в полях и в тайге: кирпичные дома нагреваются солнцем...

В апреле в роще повсюду с малых и больших пригорков стекают ручьи. Ручьи текут в Ушайку, она полна воды, она разлилась и затопила прибрежные кусты. Вода все прибывает и прибывает, там, в верховье, речку питают такие же потоки. На пригретой полянке можно сесть на пенек возле ручья и посидеть, подумать, слушая шум ручья, бросая в текущую воду кусочки коры, маленькие сучки, глядя, как стремительно несет их узкий поток, швыряя в водопады, закручивая в водоворотах, образуя заторы, и, прорвав эти игрушечные заторы, выбросит сучок или щепку на берег, расчищая себе путь.

В городе уже пылит асфальт, а в роще под кустами дотаивают пласты серого ноздреватого снега, открытые бугры частью подсохли, а на полянах сыро, в низких местах стоит вода: скоро по полянам, прошивая полегшую прошлогоднюю траву, поднимется молодь. Роща полна запахов: пахнет талый снег, палая волглая старая листва, хвоя, пахнет сама земля, напитанная влагой.

Стволы деревьев посветлели, оттаявшие ветки шумят, и шум их совсем другой, чем осенью или зимой, в пору метелей. И еще мне казалось, что я чувствую и даже слышу, как под слоем коричнево-черной, опавшей в октябре листвы, под слоем земли деревья расправляют стиснутые мерз-

лотой корни. Через день-другой корни, всосав соки земли, погонят соки по стволам до самых вершин, к каждой веточке, к каждой почке, чтобы дать им разбухнуть и развернуться листком. И зашумят зеленые вершины под верховым ветром, успокаивая тебя ровным шумом своим...

Щеглы и снегири улетели в лес, улетели и вороны, зиму они держались в роще, поближе в жилью человека, высматривая, чем бы подкормиться, но пришла пора вить гнезда — и они улетели, потому как гнезда вороны вьют в лесу, на высоких, как правило голоствольных, березах, подальше от селений. А сороки остались, две-три пары на всю рощу. Здесь их дом, они давно уже, с началом теплых дней, облюбовали в разных местах скрытые от глаза таловые кусты, свили круглые, с узким лазом гнезда и теперь обживали их, готовясь отложить на высланное сухими травинками дно крапленые продолговатые яички.

Кроме сорок и мелких птичек, порхающих в чашобе, летом в роще станут жить скворцы. Они прилетят во второй половине апреля, стаями, несколько дней будут кормиться в роще, отдыхая после далекого перелета, а потом разлетятся по городу к памятным скворешням и в поисках новых, расселятся в городском саду, в скверах, в палисадниках частных домов. А несколько пар останутся в роще, совьют гнезда в дуплах старых деревьев.

Придешь в рощу стылым, на восходе солнца, утром, присядешь на пенек под раскидистую, с потрескавшейся до первых нижних сучьев корой березу, а над тобой, на гибкой от переполнившего ее сока ветке, остроносый, черный, с отливающей темно-зеленым грудкой сидит скворец, скворушка, как называли мы их в детстве, и поет взახлеб, «играя» горлом. Из птиц, что селятся рядом с человеком, так же вот взახлеб, поет еще ласточка, но ласточек в Михайловской роще я не видел. Ласточки вьют гнезда под крышами скотных дворов, амбаров, сараев, но ничего подобного здесь для них не было.

А уже расцвела и желтеет сережками верба, набухают, лопаются почки берез и тополей. Не побываешь несколько дней в роще, придешь, глядь — и роща вся, и пойма речки Ушайки в легком зеленом дыму. Неделю, другую стоят пасмурные, серые, томительные дни, а потом прилетит из-за Томи, из-за сумрачных кедрачей ветер, очищая небо, разорвет, угонит за окраину города белесую пелену, принесет небольшую, не застязую солнца тучку — и ударит внезапно, с многоколенными громовыми перекатами, косой,

сверкающий, сильный дождь, первый весенний дождь; земля запарит, установится теплынь, и пойдет с этого дня все стремительно в рост. Проросла, проросла, зеленеет всюду трава, на четверть поднялась крапива, медуница встречается на пути, куриная слепота желтеет в сырых низких местах...

А в середине мая, чуть раньше, чуть позже, расцветает в Михайловской роще черемуха. Черемухи в городе много, растет она в палисадниках, просто во дворах или под окнами, считается вроде бы собственностью, и цветущую ее никто не трогает. В Михайловской роще черемуха страдает больше других деревьев. В роще она ничья, и обламывает ее всякий, кто заходит сюда. Смотришь, показываются под вечер из роши пары, в руках букеты черемуховых веточек. Иногда мне удавалось захватить куст нетронутым, и тогда я подолгу сидел возле него или прогуливался рядом, любуясь. Придешь на второй день — куст обезображен. Ветки обломаны не только внизу: влезают на дерево, обламывают верхние, а если лезть неохота, начинают пригибать ствол, подтягивая за ветки, переломят ствол, обломают вершину и уйдут, унося цветущие веточки, чтобы, держав на столе в банке с водой день-два, выбросить на помойку и забыть до новой весны...

После майских высоких гроз, после теплых, коротких, стремительных дождей бушуют, цветут, вызревают в роще травы. Первые июньские дни; трава молодая, стебли сочные, гибкие, сильные, трава волнуется под ветром, ветер пока не в силах положить ее, трава не примята, не прикатана отдыхающими. И это потому лишь, что земля еще не подсохла как следует, не прогрелась даже на буграх, а вот скоро лето разгорится по-настоящему, пойдут жаркие безоблачные дни, тогда... Тогда нет никакой охоты бывать в роще. Не только по субботам-воскресеньям, но и в будние дни парами, группами, семьями с ближайших улиц, что за проезжей дорогой, из-за Ушайки сюда приходят люди. Расстилают под деревьями кто что захватил, раздеваются, раскрывают сумки и начинают есть, как будто нельзя было перед этим поесть дома. Едят и два, и три раза, в зависимости от того, отдыхают целый день или несколько часов. Спят, загорают, рвут по полянам цветы, опять спят, а под вечер собираются домой. Иные завернут остатки еды, банки, бутылки в газету и сунут сверток в траву под куст, иные оставляют все, как было, — в следующий раз они расположатся на другом месте. Если день субботний, да хоть

и не субботний, тот, кто живет в своем доме и имеет баню, наломает березовых веток на пару веников, один на сегодня, другой — про запас. Старые березы — на веники идут ветки только старых берез — понизу сплошь обломаны любителями париться...

Летом в Михайловскую рощу приходят выпивать. Забрёдают компании с бутылками, с гитарой, согнав ножами бересту, разложат костер, рассядутся, подопьют, начнут брэнчать, вопить под гитару, а потом станут швырять пустые бутылки в цель, в стволы деревьев — кто попадет. После них остаются черные кострища, пораненные ножами и бутылками деревья, осколки стекла. Взрослые бутылки о деревья не бьют, они их бросают в траве тут же, где выпивали. Бутылки потом, хотя и не все, подберут, есть такие люди, которые подбирают бутылки, а консервные банки так и остаются в роще, ржавые жестяные банки с отогнутой рваной крышкой, наполненные дождевой водой. Признаться, мне больше по душе, когда лето в городе ненастное — с туманами, низкими, рыхлыми, по всему небу, тучами, они не несут дождя, но и не пропускают солнца. А то и дождь потянет — тоже хорошо...

В сухое жаркое лето я редко бывал в роще. Куда ни повернешься — всюду лежат. Лежат днем, лежат вечером, но уже другие. Велосипедисты, из заводской, видно, секции, тренировки здесь проводят, трассы проложили наперехлест.

А на берегах Ушайки галдеж — там загорают. В воду никто не решается лезть. Чтобы выкупаться в чистой воде, надобно подыматься в верховье речки, выбираться за город, это далеко, не с руки, да и речка там мелкая совсем, она и тут-то, при впадении в Томь, не шибко глубока — по пояс, по плечи в иных местах, а то и до колен.

Придешь в конце лета или в сентябре уже, в первых днях, — вид у рощи большой, измученный. Там, где отдыхали и загорали, трава прикатана, будто катались по ней конские табуны, где проходили тренировки — трава выбита дотла. Обломаны нижние ветки берез — на веники, сломлены молодые деревца — просто так, черемуховые кусты не смогли оправиться за лето, хотя и пустили новые побеги, малинички на полянах, где когда-то стояли избы, вытолчены, примяты кусты смородины. Мне думалось тогда, что вот если взять скребок, уж не знаю каких размеров, и проскрести-продрать рощу, каждую четверть земли ее, то сколько наберется окурков, пустых папиросных и си-

гаретных пачек, стеклянных и жестяных банок, скомканных газет, бутылок, костей; что-то до следующего лета сгниет, что может гнить, а если не может — останется, летом к этому добавляют еще...

К началу сентября почти все деревья стоят желтые, во второй половине, в конце, роняют первые листья, начинается листопад — самая грустная пора осени, будто с листьями отрывается от тебя что-то живое, часть твоей недавней жизни. Листопад длится несколько дней. Придешь в рощу, заберешься в глухое место, сядешь под высокими деревьями, закроешь глаза — и только шорох падающих листьев, только шорох. А если день ветреный, лучше всего сесть на бугре, что круто обрывается вниз, выравнивается, переходит в большую поляну — она тянется до самых пребрежных тальников, за ними — Ушайка. Когда дует северный ветер, листья, сорванные с деревьев, долго летят над поляной, взлетают высоко, падают в тальники. День-два, и деревья стоят голые. Только редкие, одиночные листья держатся еще, трепещут на ветру. Кончилось лето, прошел первый месяц осени. В конце сентября, в октябре начнутся затяжные, мелкие, холодные дожди, потом заморозки...

До того, как попасть в Михайловскую рощу, услышал я несколько историй, связанных с ее прошлым. Истории одна другой занятнее, но самая любопытная из них, это — откуда пошло название рощи и где все-таки зарыт клад. А то, что он зарыт, — никто в этом и не сомневался. Клад есть, только как и где разыскать его?

Название свое роща получила от фамилии владельца, а владел рощей некогда купец Михайлов, человек богатый, интересный, человек, которого по сей день вспоминают городские искатели кладов. Посреди рощи, на самой красивой поляне, стоял на кирпичном фундаменте бревенчатый, с кружевами по карнизам и наличниками, крытый железом просторный купеческий дом, стоял флигель для прислуги, потому что у купца, да еще богатого, прислуга непременно должна быть, стояла конюшня и амбары, находилась поодаль баня, колодец и всякие другие постройки, совершенно необходимые купцу Михайлову для жизни. Вокруг дома разбиты были сад и огород, в огороде росли овощи, а в саду — ягоды: клубника и земляника, малина и смородина, калина и рябина, черемуха и шиповник и всякая другая ягода, которая растет в этих краях. Купец Михайлов, как я понимаю, был любителем природы, уеди-

нения и, следовательно, думающим человеком. Иначе зачем ему было селиться на самой окраине (тогда здесь была окраина) города, в то время когда остальные купцы и прочий чиновный люд жили в особняках на центральной улице — Миллионной...

Утром, съев тарелку сорванной на заре малины, залитой парным молоком, дав наказ приказчикам, купец Михайлов, так мне представляется, отправлялся гулять по роще, надев на русоволосую голову белый полотняный картуз, набросив на плечи тужурку, оставшуюся еще со студенческих времен. Гуляя, он размышлял о том о сем, о жизни на земле и на небесах, об истории России, о русско-японской войне, которая давно закончилась, о русско-германской войне, которая только что началась, и о себе, конечно, о своих капиталах, раздумывая, как бы это их приумножить, став еще богаче, о семье, которую пора бы завести...

А может, совсем о другом думал купец Михайлов, гуляя росистым утром по роще, которая в те времена еще не называлась Михайловской. Приказчики в амбарах, лавках и лабазах брякали на счетах, чтобы выяснить расход и доход, садовник прореживал кусты малины, выбирая сухие ветки, бабы пропалывали на грядах позднюю редиску, до коей купец Михайлов был, возможно, большой охотник, мужики на полянах с песнями косили траву, босой парень щелкал бичом, покрикивая на коров, пасшихся в отведенных для пастбища местах, все шло своим чередом, а купец Михайлов, держа под мышкой том Тургенева «Записки охотника», отправлялся купаться на речку Ушайку: тогда еще вода в Ушайке была настолько чистая, что можно было не только купаться, но и пить речную воду...

Так жил купец Михайлов в своей усадьбе, одинокий, двадцатисемилетний, занимался делами, увеличивал капитал, принимал гостей, давал обеды, гулял в роще, грустил, читал Герцена, мечтал о поездке в Петербург, где два года учился в университете. А тут революция развернулась по всей России, за нею — гражданская война. Купец Михайлов долго размышлял, как ему поступить, и, наконец, решил, что лучше всего уехать во Францию или в Англию, потому что все, или почти все, состоятельные люди срочно уезжали за границу. Купец Михайлов знал языки, и французский и английский, но ехать он решил все-таки во Францию, потому как в Англии, слышно, погода неважная, туманы держатся чуть ли не круглый год,

а купец Михайлов не любил сырости. К тому же на английском он говорил хотя с легким, но акцентом, а на французском — без акцента, совершенно свободно...

Стал купец Михайлов собираться в дорогу. Прислуге своей ничего не говорил, спешил, понятно, а потому не смог взять с собой всего золота и драгоценностей, накопленных за годы торговли, да и тяжело. Половину золота положил он в дорожную сумку, вторую половину — в чугунный котел, в котором кухарка варила приказчикам гречневую кашу, а котел тот в глухую полночь тайно закопал под молодым, но приметным деревом. Видно, купец Михайлов надеялся вернуться когда-нибудь в свою усадьбу, если не совсем, то за богатством, потому спрятал золото под деревом молодым. А закопай он котел под старым, старое долго не простоит, рухнет, сгниет и пень, все сровняется — не отыщешь. На молодом дереве купец Михайлов сделал лишь одному ему понятную заметку, чтобы узнать дерево сразу — раскидистую березку...

В ту же ночь, разбудив верного кучера Гаврилу, купец Михайлов сложил вещи в дорожную, на резиновом ходу коляску, погрузил туда же несколько мешков отборного овса, помог запрячь лучших лошадей. Они бесшумно выехали из усадьбы и взяли направление на Москву. Поездом купец Михайлов ехать не решился, шла гражданская война, поезда ходили плохо, их обстреливали, захватывали, то и дело проверяли у пассажиров документы. Да и не было из того города, где жил купец Михайлов, прямого поезда на Париж, а пересадок он не любил. Потому надумал он своим ходом, где центральным трактом, где проселочной дорогой, добираться до Москвы, сесть там в международный вагон поезда, идущего к границе, а кучера Гаврилу за добрую службу отпустить на все четыре стороны, подарив ему и коляску, и тройку лошадей.

Ехали они долго, но все-таки добрались до Москвы, только в Уральских горах немного поплутали, сбились с дороги, потому как кучер Гаврила впервые ехал этим путем, а расспрашивать у местных жителей он не посмел, чтобы не вызвать подозрений. Чутьем Гаврила выбрался на нужную дорогу и уже до самой Москвы гнал, не сворачивая. В Москве купец Михайлов купил билет, простился с Гаврилой, сел в поезд и уехал в Париж. В Париже он поселился на Монмартре и стал заниматься живописью, потому что с детства носил в себе склонность к рисованию. Дома заниматься рисованием ему мешала торговля...

Оставшись без барина, кучер Гаврила направил тройку напрямик к ближайшему трактиру, привязав лошадей, он выпил стопку водки и затосковал. В трактире пели цыгане, Гаврила загулял с ними, повез цыган на тройке в другой трактир, потом в третий, к утру тройка и коляска были пропиты, а след самого Гаврилы затерялся в многочисленных московских трактирах. Купец Михайлов о себе никаких вестей не подавал, за драгоценностями ни тайно, ни явно не являлся, не присылал доверенных своих, не писал никому из приказчиков писем. Может быть, он забыл о спряганном золоте, может, оно ему не было нужно. И никто по сей день не знает, что случилось с купцом Михайловым, жил ли он постоянно в Париже и до каких пор...

Все это мне рассказали, точнее, пересказали пересказанное, так как времени прошло порядочно, никого из тех, кто когда-то служил у купца Михайлова или знал его, не осталось, во всяком случае, ни с кем из них мне не приходилось разговаривать. Верным во всех рассказанных историях было то, что действительно роща давным-давно принадлежала купцу по фамилии Михайлов, что после него в усадьбе жила прислуга и приказчики, которые к тому времени перестали быть прислугой и приказчиками, на месте усадьбы образовался как бы хуторок в шесть — восемь изб, а избы эти снесли совсем недавно. И то, что искали на протяжении всех лет клад и ищут сейчас, — тоже верно. Был ли на самом деле клад — никто не знает, но не умирает с той поры молва, и этого вполне достаточно, чтобы в рощу приходили с лопатами, надеясь на неожиданную удачу...

Сначала я многому из услышанного не верил, не верил главным образом тому, что спрятаны где-то под деревом в горшке, сундуке ли кованом, в суповом чугушке или в чем ином золото, другие драгоценности и что их ищут. Отправился впервые в рощу, смотреть, напал прямо возле обочины проезжей дороги на тропу, по тропе этой вышел на поляну, где и увидел следы бывших строений. Все было заглушено бурьяном, лопухами, крапивой и коноплей, но, походив, присмотревшись, можно было определить, где стояли избы, баня, другие постройки. Нашел и колодец, полузасыпанный конечно, остатки неглубокого бассейна с фонтаном посередине — по этому и другим признакам можно было судить, что усадьба была богатая. От сада остались кусты малины и смородины, перетоптанные, переломанные; где находился огород с грядками редиски,

укропа и лука с чесноком — определить невозможно. Узкие бетонные столбы с разбитыми фонарями-плафонами заметил я среди деревьев — в какой-то год сюда проведено было электричество.

Долго бродил я по бывшей купеческой усадьбе, грусть охватила меня; как всегда бывает в брошенных деревнях или на забытых сельских кладбищах, сразу начинаешь думать о том, какие люди жили здесь, да как они жили, да почему оставили обжитые места. Вот была целая усадьба, стоял купеческий дом, красивый, видно, большой, другие постройки, а почему бы не сохранить дом, не разместить в нем что-то нужное, библиотеку хотя бы детскую, — нет, снесли. А столбы забыли забрать. Они со временем упадут, может, выкопают их и перевезут в другое место, рассыплются в прах обломки кирпичей на развалинах, сгниют куски дерева, крапива и лопухи заглушат окончательно ямы, забудутся легенды, связанные с рощей и ее владельцем.

Я оглянулся: где-то здесь таился клад, если он на самом деле был закопан. Следы лопат, давние правда, попадались возле деревьев по окраинам полян и в глубине рощи. Но я не собирался искать ни золота, ни серебра. Деревенский человек, с некоторых пор жил я по городам, и жизнь эта заметно меня утомила. Последние три года не выезжал даже на день за город, на речку или в лес, все какие-то заботы держали в городе, я пытался освободиться от них, забот не уменьшалось, появлялись новые, я «нудился», нервничал, начало болеть сердце, и роща Михайловская в какой-то мере скрашивала мою городскую жизнь. Забравшись в рощу, я старался забыть, что нахожусь в многотысячном городе среди многоэтажных корпусов, фабричных и заводских труб, среди шума и копоти машин, идущих во всех направлениях по улицам и переулкам. Забыть и предаться воспоминаниям...

Сидя на берегу Ушайки, я вспоминал Шегарку, речку, на которой родился, — Шегарку с ее берегами, правым — высоким и низким — левым, ее повороты, неторопливое течение к Оби, ее омуты, перешейки, плесы и заливы. Сидя вечерами на бугре, глядя на освещенные окна деревянных домов за Ушайкой, я вспоминал родную деревню Жирновку и старался представить всю ее так, как запомнилась мне она в последний приезд: избы по берегам и дальше к лесу, бани, скотные дворы, огороды. Я видел родительскую избу, поленницу, двор, огород с цветущими подсолнухами,

стариков в ограде, сидящих на крыльце в тихий час заката. Возле изб, в переулках видел своих деревенских, не только тех, кто еще оставался в деревне, всех, кого помнил. Переходя от Ушайки поляну, где видны были чьи-то прокосы, я вспомнил свой сенокос, прямо возле дороги, идущей правобережьем Шегарки от деревни на Косари. Успокоясь, возвращался домой в свою городскую квартиру...

Когда я обошел рощу полностью, избродил из конца в конец, открыл, узнал все уголки, то выбрал себе постоянное место для отдыха. Место — под широким таловым кустом, на краю самой большой поляны, неподалеку от родничка. На родничок наткнулся я случайно: скрытый травой, вытекал он из-под бугра, желоб был подведен под него, старый-престарый замшелый желоб из трех досок. Вода, стекая с желоба, падая с двадцатисантиметровой высоты, вымыла в супесчаной почве углубление, крошечный омут, на дне которого кружились песчинки. Из омутка вытекал тонюсенький ручеек и тут же терялся в траве, густой и высокой, как и всегда возле воды. Можно было подставить под струйку посудину или сложенные ковшиком ладони, а лучше всего — лечь возле родничка, опираясь на расставленные руки, наклониться над омутом и, ощущая вздрагивающими ноздрями пресноту травы, земли, разбухших от влаги досок желоба, коснуться губами стылой, чистейшей родниковой воды и попить, передыхая, вволю.

На поляне, где под кустом у родника было мое место, примечал я, кто-то постоянно косил. Не заготавливал на зиму сено, как это обычно делается в деревнях: косят траву, дают рядам просохнуть, переворачивая ряды граблями дня через три-четыре, смотря по погоде, чтобы каждая сторона подсохла, потом сгребают ряды, копнят, дают копнам выстоять, а уж потом мечут в стога. Нет, не так. Хотя на этой только поляне, если бы не вытаптывали траву, из года в год можно было бы ставить стог центнеров двадцати с лишним. Трава хорошая: пырей с клевером, вязель...

Не видимый мною косец, косивший, судя по всему, рано по утрам, прогонит несколько небольших прокосов, соберет траву и уйдет. Держал он, как я догадывался, козу или кроликов, скорее всего — кроликов, и уж никак не корову, потому что, живя почти в центре такого города, трудно держать корову или козу, ездить же с окраины в рощу подкашивать — тоже не с руки, лучше тогда выгонять или выводить скот пастись на окраину. Так я думал...

И мне страсть как хотелось покосить: на восходе, пока трава в росе, сняв рубашку, пройти несколько прогонов. Да если еще литовка хорошая, то есть правильно насажена, умело отбита и наточена, да по руке литовка — не чувствуешь тогда, как руки сами отмеряют взмахи. На Шегарке, в своей деревне, лет пять назад, пока Жирновка не разбрелась и родители не перебрались в районное село, держали мы корову и овец, пускали в зиму телят, на всех них с октября по май надо было запастись сеном, и, как правило, сенокосом каждое лето занимался я. Из всех сельских работ, знакомых с малых лет, любил я более всего сенокос. И когда увидел, что кто-то косит на поляне в роще, разволновался, стал вспоминать свой сенокос, стал приходить на поляну чаще, чтобы застать косца, и все не удавалось застать...

Однажды сидел я в глубине рощи на том самом месте, где стоял когда-то купеческий дом, вдруг — в роще тихо — слышу: доходят сквозь деревья такие знакомые звуки — звук точильного бруска по полотну косы. Я, торопясь, вышел на край бугра. Смотрю: под бугром, на поляне, недалеко от родника, стоит телега, распряженный вороной конь, привязанный на всю длину вожжей за колесо, пастись тут же, а возле телеги цыган точит литовку. Точил он литовку по всем правилам, и уже по одному этому было ясно, что цыган — человек хозяйственный и понимает толк в косье...

Опустившись на правое колено, установив литовку носком в землю, пропустив держак под мышкой левой руки, пальцами этой руки крепко взяв литовку за обух, сгорбясь чуток, бруском, схваченным правой цепко и бережно, он длинными движениями от пятки до носка продрал литовочное полотно, снимая с лезвия невидимые зазубрины, потом короткими сильными движениями точил лезвие, прогнав брусок с двух сторон, и опять длинными движениями бруска навел жало...

Я сбежал с бугра к телеге, поздоровался. Цыган приподнялся с колена, сунул брусок за голенище высокого хромового сапога, внимательно посмотрел на меня и степенно ответил на приветствие, улыбнувшись, показав из черной бороды белые как кипень молодые зубы. Я рассматривал цыгана. Это был статный худощавый, выше среднего роста, лет сорока пяти человек. И одет он был красочно, и одежда сидела на нем ловко и подбористо. Бархатный темно-малиновый берет его слегка был сдвинут на сторону,

на красную, стираную, но крепкую рубаху надета была легкая зеленая, расстегнутая безрукавка, широкие, потертые на коленях плисовые штаны, схваченные в поясе узорчатым ремнем, заправлены в голенища сапог. Был август, пасмурный день в облаках, и цыгану, видно, не жарко было в этой одежде. Да и работать он не начинал еще. На среднем пальце правой руки цыгана заметил я тусклое оловянное колечко...

Давно, когда мне не было и двадцати, я бредил цыганами. Читал о них, что попадало под руку, слушал пластинки с записями цыганских песен, ходил на базары смотреть, как гадают цыганки, а потом, бросив дела, поехал через всю страну в Молдавию с единственной целью найти цыганский табор, пристать к цыганам и жить с ними, носить пеструю их одежду, плясать, петь, играть на гитаре, бродить за кибитками по Молдавии и спать прямо на земле, под телегой или возле костра. Ничего из этого не получилось. В Молдавию я не попал, оказался в южном портовом городе, где и прожил целых десять лет. Так и не привелось мне ни дня побыть в цыганском таборе, поговорить с цыганами, послушать истории из кочевой жизни, узнать быт. Повзрослевшему, мне было уже не до кибиток и костров, а цыганки, пристающие с гаданием в людных местах, с некоторых пор вызывали раздражение. И вот теперь передо мной стоял самый что ни на есть настоящий цыган, с конем, телегой, одетый так, что ничего другого и придумать нельзя. Мы смотрели друг на друга, молчали.

— Косите? — кивнул я на литовку, на держак которой, стоя ко мне лицом, цыган слегка опирался. — Это ваша кошенина? Можно попробовать? Вы что, кроликов держите?..

— Коня держу, — сказал цыган. — А сумеешь? — вежливо спросил он, подавая косу. Я прикинул косу, она оказалась впору, может, ручка немного была низковата. Я отступил от телеги, примерился, сделал закос и погнал ряд краем поляны, держа направление на куст, укладывая валок на выкошенное раньше место. Я взмок, пока довел ряд до куста, оглянулся — прокос был не очень хорош, я это спиной чувствовал. Я давно не косил, не привык к литовке, а к ней непременно нужно привыкнуть, чтобы понимать ее, да еще торопился — мне хотелось показать цыгану, как кошу. Опустив литовку лезвием вниз, держа ее посередине в полуопущенной руке, я возвращался к телеге...

—А славно косишь, ей-богу, славно, — похвалил меня цыган, белея смоченными слюной зубами. — Только спешишь, аж ноги заплетаются. На третьем ряду упадешь и не встанешь, — он засмеялся. — Ты ногами ровно ступай, а косу не сдерживай, назад отмах давай до отказа. Гони второй! Ну-ка!..

Это цыган говорил мне, начавшему косить в четырнадцать лет! Скинув прямо на кошенину рубаху, промолчав, закосил я второй ряд и пошел куда увереннее, спокойно дыша, свободно и размеренно пуская косу, захватывая травы столько, сколько нужно, ровно укладывая валок, как косил когда-то на своем сенокосе. Цыган от телеги наблюдал за мной. Я сделал четыре прокоса, потом он взял литовку и тоже сделал четыре прокоса. Косил цыган хорошо, легко, без напряжения. Прокос он брал уже, чем я, но срез у него был чище и ниже, литовка слушалась его лучше...

—А хватит, однако, — сказал цыган, махнув рукой, — а то на воз не укладешь. И веревку не захватил я — увязать. Да и не к чему много, не съест конь. А не просуши — сгорит...

Цыган взял с телеги вилы-тройчатки с коротким чернем и стал собирать, укладывать траву на воз. Движения цыгана были ловкие и точные, воз он разложил правильно, я помогал ему — руками подносил траву. Потом мы сходили к роднику, попили по очереди и легли возле телеги отдохнуть. Отфыркиваясь, звякая удилами, конь подошел к телеге, стал есть с воза, осторожно захватывая траву губами, выбирая помельче с клевером, роняя траву под переступающие ноги.

—Золото ищешь? — спросил цыган, кивая подбородком на бугор, откуда я пришел. — Или отыскал уже? — он смотрел мимо меня на дорогу, откуда приехал, вроде бы и не слушая меня.

— Не ищу, — сознался я. — Да и не верю, что оно действительно спрятано. Разговоры одни.

— Ну-у, что же ты не ищешь? — присвистнул цыган. — Я за сорок лет ни разу лопату с собой в телегу не брал. Я мог бы, — цыган рассмеялся, — все подряд вскопать, как в огороде. Мы, цыгане, пока кочевал я, столько проклады эти историй знали, а ни одного не нашли. Верно говорю. Вот мои деньги, — цыган показал на коня, — и вот, — цыган поднял руки. — А ты зачем ходишь сюда? — спросил он. — Гуляешь? А девка где? Один?



Я стал говорить о том, что вот роща хорошая, не в каждом городе такая имеется, ее бы беречь, а тут безобразничают, летом особенно, деревья ломают, рубят их, костры, мусор...

— А верно говоришь, — перебил цыган. — Ей-богу, верно. Как хозяин говоришь. Я ведь думал об этом. Эх, думаю, отдали бы мне рощу, я бы из нее картинку сделал. Не веришь?!

— Зачем же она вам, одному человеку? — я удивился. — Что бы вы делали здесь? Роща — вон какая, десятки гектаров...

— Как! — вскричал цыган, приподымаясь на локти. — Сначала — огородил бы, чтоб не лез каждый, не ходил, не ездил. Не можешь по-человечески вести себя в лесу — стой возле ограды, любуйся. Или вон, иди гуляй по улицам, дыши бензином. На полянах — сенокосы, по пятьдесят центнеров свободно сена ставить можно, во-он, там, — цыган повел рукой, — огороды. Деревья, какие старые, на дрова, чтобы молодым расти не мешали. Сады опять развести. Слышал, сады богатые были здесь. Малину по взгорью рассадить...

— Не отдадут, — сказал я.

— Не отдадут, — согласился цыган, — это я просто так. Я вот еще о чем думал: поставили б в роще контору какую, а меня при ней сторожем. Я бы пошел с радостью. Навел бы порядок. Клады ищут... Дураки! — оскалился цыган. — Вот он перед вами, клад, — роща. Сколько добра пропадает. А разве она такая была? Помню, э-эх, какая была! В войну повырубили ее, на треть считай повырубили. Сейчас догляду нет, а тогда... Кто хотел, тот и шел с топором...

— На дрова?

— Не только на дрова. На другие нужды. Частники кругом. Нужна палка — пошел, вырубил. Мало ли чего надо в хозяйстве. Дерево!.. Ну, тогда война, пусть. Сейчас рубят. Тайком, ночами, под корень, чтоб не заметили. Ты вот говоришь — порядка нет. А и не будет никогда. Почему нет порядка? Очень просто — хозяина нет, вот что. Это в любом деле: есть хозяин — есть порядок, нет хозяина — нет порядка. Вот, помню, кочевали мы табором. Старшой у нас. Умный старшой — словом табор держит, злой старшой — власть любит, деньги любит, баб молодых любит, пожрать-выпить любит — кнутом табор держит, речами льстивыми, гнусными. В таборе нет порядка, в таборе ссо-

ры, драки, вражда. И это — среди своих. Одни за старшего, услуживают ему, сапоги чистят, другие — против, сговор за спиной готовят, ножи острые до поры прячут. Так и с рощей. Вот она, стоит. Чья роща, спросишь? Городская. Хозяев много, а спросить не с кого. Знаешь, сколько родников было в роще? Десяток. А теперь два осталось. Вот горе-то. А бывало, вся округа за водой ходила. Я ведь попервости, — цыган повернулся ко мне, — пытался всерьез сенокосить в роще, на зиму для коня заготовливать. Не получилось.

— Что, не разрешили? — спросил я, имея в виду власти.

— Да нет, другое, — сказал цыган. — Молодые безобразят. Днем поставишь копны, придешь утром — раскиданы, лежат в них. Или подожгут. Два раза поджигали. Как-то пришел вечером, проверить. Смотрю, собралось их компанией: три девки да три парня, ребята с собаками. А собаки, веришь, что телки годовалые ростом. И давай они собак учить через копны прыгать. Да сами вслед за собаками. Хохочут. Я бегу к ним, а не взял ничего с собой, ни вил, ни кнута. Закричал издали, что же вы, мол, мерзавцы, делаете. А они: закрой, мужик, хайло, а не то... Собак за ошейник, и ко мне. Собаки рычат, рвутся. Я остановился. Что ты станешь делать? Не будь собак, я бы их раскидал и пятерых. А тут... Порвут, думаю, кобели. Поворотился и обратно. А они в спину кричат, улюлюкают. Пошел на второй день к участковому, рассказал. А он: кто вам позволил в роще сено заготовливать? Разрешение имеется? А какое у меня разрешение! Сразу увидел. А то, что роща пропадает, это его не касается. С тех пор больше не копнил. Приеду утром, подкошу. Спокойнее. Свяжись с дураками, сам не рад будешь...

Я невольно усмехнулся рассуждениям цыгана. Как-то удивительно было слушать — цыган, на которого никакие законы не действуют, говорит о порядках. Цыган, видно по всему, понял меня.

— Газеты выписываем, — сказал он, — телевизор смотрим. Двое сыновей техникум закончили. Соображаем и мы маленько...

— Вы что же, в школе учились? — спросил я, думая о том, что вот если снять с цыгана одежду, обрядить в обычную, какую носят рабочие, то ничего в нем от цыганского и не останется с его спокойной манерой говорить и рассуждать. Облик разве.

— В школу не ходил, а понимаю, — сказал цыган. — Чи-

тать сам выучился. Сначала большие буквы разбирал, а теперь и газету могу вслух прочитать. Возле ребят своих выучился. Восемь их у меня. В школу всех посылал. Готовят уроки, и я с ними иной раз загляну в книжку. А жена у меня русская. Восьмерых родила. Кто учился, кто бросил. Но семилетку все дотянули. Дальше — сладу нет. Двое только в техникум пошли. Если в жену уродился — учится; слушается, в меня — балбес, — цыган засмеялся. — А за конем младший смотрит. Со мной в рошу ездит. Отпряжем — он сразу верхом и скакать по поляне. В кавалерию отдавать — один выход...

— Вы что же, кочевали раньше? — спросил я.

— Кочевал, — подумав, сказал цыган. — До войны ходили табором. Война началась, а мы в Молдавии как раз. Табор небольшой, а ладу не было: зависть, да ревность, да... черт знает что. Немец быстро пер. Табор распался, разбрелись кто куда. Я один, родных нет, поехал. Ехал, ехал и приехал. А что дальше делать — не знаю. На работу надо — специальности нет. А жить где? Деньжонок оставалось немного, распределил я их — сколько в день тратить. Стал на квартиру проситься. Осень, дожди, зима скоро. А у цыгана знаешь какая одежда? Пришел к жене теперешней своей: пустите, говорю, такое дело. А она — вдова, мужа как раз на второй месяц убило. Бойтся пускать. Цыган, дескать, убьет или обворует. А сама до того хороша, что... Не отступлюсь, думаю. Я в молодости был — ого! — цыган прищурился, улыбаясь, ноздри его затрепетали. — Любого в таборе кулаком сшибал! Дал я ей тогда клятву. Самую старую цыганскую клятву. Старики клялись. Дал клятву, что не обижу. Взяла. Полгода прожил квартирантом, помогал. А потом... жить стали. В то время недалеко от места, где жил я, конный двор стоял, коней десятка три у них было. Вот это дело, говорю. Устроился возчиком. Долго держался двор тот конный, снесли. Эх, жалко. До сих пор бы работал. Не нужен стал, машин много. Коней — на мясокомбинат. А мне что делать? И надумал я своего коня купить. Долго хлопотал, разрешили. Цыгану без коня нельзя, говорю, как вы не понимаете? Стал на топливном складе работать, рядом стеклотары склад — и у них работаю. Хорошо. А вот с кормом коню худо. Летом роша спасает, а на зиму — в деревни езжу, покупаю. И коней в деревнях меняю. Это — третий. Как состарится — я в колхоз. Они почти каждый год выбраковку делают. Я им старого, они мне необученного. Сам обучаю. Тут же и обу-

чаю, утрами. Хочешь прокатиться? — цыган кивнул на коня. — Рысь широкая. Беговой конек...

— Нет, не хочу, — отказался я, — отвык, да и без седла. А конь справный, стать видна. Хорошего коня купили, верно...

— Значит, не любитель, — сказал цыган. — А мне шестьдесят седьмой идет, а иной раз ударю по дороге — только топот. Здесь версты полторы, пожалуй, будет от края до края.

— Сколько вам лет? — спросил я, изумленный.

— Седьмой год пенсию получаю, — засмеялся цыган. — Что, молодой? Работаю. Коня надо кормить, семья. Пенсия, да на складах зарплата, да вечером подвезешь кому что за тройку-пятерку. Ох, надо ехать. Говорим, а дело стоит. Тебе хорошо — гуляешь, а я на работе.

Цыган ловко вскочил, стал запрягать вороного. Я стоял в стороне, наблюдал. Цыган взял вожжи, тронул коня и пошел рядом с телегой. Я проводил его до конца роши, где дорога подымалась в гору, в переулочек.

— Будь здоров, — сказал цыган, подавая руку. — Приходи еще, поговорим, покосим. Вижу, умеешь ты косить. А клад не нищи, пустое дело. Он, купец, не дурак, чтобы оставлять тут деньги. Но-но!

Поехал дальше, не оглянувшись. А я стоял на краю роши, смотрел, как телега с повядшей уже травой въехала в переулочек и скрылась за дворами.

Односельчанин

Множество разных людей осталось в памяти с ранних лет, и среди них наш деревенский мужик Родион Мулянин. Мужики жирновские — каждый сам по себе интересен, одного с другим не сравнивай, но Родион все же стоял наособицу. Выделялся. И не только внешностью своей. Характером выделялся, поведением.

Ростом был он довольно высок, сложения плотного, литой, что называется, ходил медленно, грузно, смолоду был лыс, рыжий волос держался на затылке и по-за ушами, рыжее лицо, пористый нос свистком, толстые губы, спекшиеся постоянно, дышал сипло, с надсадой, сипло смеялся, жмуря глаза. Курил и пил.

Долгое время работал Родион конюхом. Мы жили тогда на самом краю деревни, лес начинался сразу же за огородами, полевая дорога проходила мимо избы, мимо конюшни и дальше к мосту через Шегарку, где на правом берегу под тополями стояла контора. Часто Родион прогонял по этой дороге на выпасы коней, проезжал с возами сена, свежей травы или дровами. Но запомнился он мне позже, летом одним. С той поры летней и запал в памяти.

Конюшил в паре с Родионом Савелий Шапкин, средних лет мужик, семейный, нрава тихого и доброго. Начался ожереб кобыл, Савелий дежурил в свою очередь и проспал, а когда проснулся под утро и пошел смотреть, то обнаружил двух мертвых жеребят: то ли они родились такими, то ли матки придавили их в тесных стойлах. Недоглядел мужик. Страшась строгого наказания или под воздействием какой-то давней затаенной мысли — неизвестно, только повесился Савелий Шапкин тот же час в конюшне, на перекладине близ двери. Так его и увидел сменщик.

Утром стало известно по деревне. Я был совсем маленьким в ту пору, в школу еще не ходил. Лет шесть было всего, видно.

Я слышал, как шепотом говорили родители о случившемся, побежал по деревне, к ребятишкам, по дороге меня догнал Родион. Он ехал на телеге, опустив непокрытую голову, думая о чем-то. Мне очень хотелось прокатиться, но я боялся конюха и бежал за телегой — лошадь шла шагом. Конюх повернулся ко мне и придержал коня. Я остановился, чтобы тотчас же удрать к дому.

— Залезай, — сказал конюх, — чего же ты заробел?

Я взобрался на телегу и сел на другую сторону, свесив босые ноги. Лошадь тронулась, и мы молча доехали до избы Шапкиных, где уже собрался народ. В тот день я как бы впервые увидел Родиона Мулянина: он сам заговорил со мной, подвез, то есть обратил на меня, мальчишку, внимание.

Кажется, в тот же год, осенью, гуляли у нас и я, лежа на печи, свесив голову, наблюдал, как среди избы под гармошку плясал с бабами конюх Родион. Вспотевшая лыси-на его блестела при свете керосиновых ламп. Одна из баб никак не хотела сдаваться, конюх, наступая, загнал ее в угол между кроватью и печью, где был лаз в подполье. Пятясь, баба наступила на плохо прикрытую крышку, крышка сорвалась, и баба ухнула в подполье, на кринки с молоком.

Жил Родион Ефимыч на левобережье Шегарки, не так уж и далеко от нас, в конце улицы, идущей от моста к березовой согре. Изба неновая, но крепкая, под тесовой крышей, черемуха под окнами, рубленые, под тесом сени, за ними — просторный огород, саженьях в десяти от сеней, в стороне, образуя вместе с забором ограду, — сарай, глухой соломенный скотный двор. Жил — не тужил, даже в годы войны, оставаясь в деревне возле коней. Была у него и жена, проворная говорливая баба — Нюра звали ее, и неродной сын Василий Кульгазин — бравый такой парень, рослый да сильный, прошедший всю войну на полуторке. Он и в своей деревне, демобилизовавшись, несколько лет на полуторке проработал, а потом переехал в Пихтовку — районное село, что в шестидесяти верстах от нас.

Перед тем как уехать, Василий надумал жениться, выбрав невестой из деревенских девок ровесницу, пригожую и работающую. Но невеста чем-то не понравилась Родиону. Казалось бы — чего там, сын неродной, жить с отчимом не собирался, девка из доброй семьи, ан нет, не хочу, и все. Василий его, понятное дело, слушать не стал, засватал невесту, расписался в сельсовете и в день регистрации — свадьба вечером — катал подругу на машине от нашей деревни до соседской. Вот возвращаются они от Юрковки, невеста в кабине рядом с женихом, друзья-подруги в кузове, день теплый, солнечный, праздничный, с песней едут, а Родион залег край деревни с жердиной в бурьяне и ждет. Колдобина там была по дороге, как раз недалеко от усадьбы Марьи Серegiной, машина должна была сбавить ход, вот он там и затаился в бурьяне густом.

Полуторка сбавила ход, пьяный Родион выскочил из бурьяна и наотмашь, что было силы, хлестанул жердиной по лобовому стеклу. Вдребезги разлетелось стекло, завизжала невеста, завизжали-закричали в кузове, прыгая через борт. Василий — на войне, видимо, с ним и не такое случилось — выскочил из кабины, сгреб отчима и на глазах у всех дал ему трепку, катая по бурьяну, охаживая обломком жердины. Приятели жениха разняли дерущихся. Бросили они машину и пошли гурьбой в деревню, а помятый Родион по-за огородами пробирался к своей избе, чтоб не видели люди. Свадьба прошла своим чередом, Родиона на ней не было, его сразу же после праздника вызвали в контору, отругали и сделали начет: отремонтировать машину за счет заработка. После Родион с пасынком помирились, но Василий, чувствовалось, не доверял отчиму, был всегда

настороже с ним. Родион же, при всей своей силе, не кидался на пасынка, помнил руку, что швырнула его в бурьян. Да они, к слову сказать, и не жили после свадьбы никогда уже под одной крышей, в гости приезжал Василий, мать проведать, и все.

В компаниях Родион не скандалил. Гуляли по деревне часто, с осени по весну в каждом дворе, по кругу, устраивались сабантуи. Раз в год, а то и два Родион сам собирал и угощал, насколько хватало сил, во всех застольях пил он до последнего, пел и плясал, но не помнил никто, чтобы затеял Родион во хмелю ссору. Растаскивал сцепившихся, и тут сила его была нужна. Один раз плотник Желтовин, крепкий ловкий мужичок, полез, забывшись вероятно, на Родиона. Родион Ефимыч поймал Желтовина за воротник левой рукой, пригнул к полу, засунул голову его меж своих ног, ухватился левой же рукой за брючный ремень, а правой растопыренной пятерней стал шлепать плотника по заднице, как шлепают маленьких ребятишек. Плотник возился под Родионом, кричал тонким голосом: «Отпусти-и!» А Мулянин хлестал его ладонью, с каждым разом крепче, приговаривая: «Будешь знать, такой-сякой! Будешь знать! Я тебе покажу драться! Покажу кузькину мать!»

Хохот стоял во всех углах, такого еще на гулянках не случалось. Не смеялась только жена плотника, она все пыривалась кинуться на защиту мужа, но ее удерживал стыд: как это — баба выручает мужика, потом над тобой же подшучивать станут.

— Больно! — завопил взмокший плотник, изнемогая, хмель и задор из него вылетели разом. — Отпусти-и, спину ломит! Ефимыч!

— А-а, — сказал Родион, освобождая плотника, — то-то и оно. Иди, да не попадайся больше. Ишь ты, какой храбрый выискался!..

Красный, с выступившими слезами, ни на кого не глядя, плотник скрылся. Ушла и баба его, не могла она оставаться дольше.

С женой своей Родион Ефимыч ладил, но ругала она его чуть ли не каждый божий день: выпивал конюх, не помогала ругань.

— Черт лысый! Сатана рыжая! — честила его тетка Анна. — У всех мужья как мужья, а этот... И-и, залил с утра глазищи, ни стыда, ни совести. Уходи с глаз долой, чтоб следа в доме не было. Чтоб духу твоего здесь.. Одна проживу... К Ваське уеду!..

Родион обычно отмалчивался, сопел лишь да тянул толщиной в палец самокрутку, свернутую из самосада или махры. Но один раз не выдержал он, сорвался, и о случае этом долго говорили-вспоминали по деревне. Крепко был пьян Родион Ефимыч два дня подряд. Стала Нюра браниться, стала гнать его со двора, вот это-то и разозлило более всего конюха. Как это так — его, хозяина, выгоняют. Мыслимое дело — уходи. Куда он пойдет с подворья своего, где столько лет прожито, где все вот этими руками сделано. А жена одно: убирайся да убирайся. Надоела ей канитель.

Вытолкнула она мужа из сеней, дверь на засов закрыла. Родион постоял в ограде, оглядываясь, пошел в сарай, взял вычищенное, смазанное перед этим ружье, положил в карман пиджака несколько заряженных пулями патронов, забрался на крышу сарая, залег за копной сена, зарядил ружье и стал ждать. Нюра потомилась-потомилась, в дверь Родион не ломится, не слышать и снаружи, глянула в окно — в ограде нет, решила, что муж ушел в баню спать или вообще ушел куда-то, и занялась обыденными делами.

Пора было кормить свиней, и, намесив полный таз картошки с отрубями, держа его обеими руками, прижимая к животу, открыв коленом сенную дверь, Нюра вышла в ограду. Огляделась на всякий случай — не подстерегает ли где муж, и только хотела шагнуть по направлению к сараю, как с крыши ударил выстрел. Она не поняла сначала, что стреляют в нее. Потом уж...

С того места, откуда стрелял Родион, до крыльца по прямой линии метров тридцать, не больше. Литая круглая, шестнадцатого калибра, пуля саданула в таз, взметнув мезиво, разодрав край, вырвала таз из рук бабы. Охнув, та кинулась за ворота и бежать вниз по улице, к мосту, на другую сторону Шегарки. Пока Родион слезал — прыгать не решился — с сарая, выскакивал из ограды, Нюра была уже далеко. Она бежала резво, оглядываясь, белый платок ее сбился на шею. В девках, наверное, никогда не бегала так.

— А-а! — хрипло воскликнул Родион и — следом. Бежал он тяжело, держа в опущенной руке ружье. Улица была длинна, пустынна. — Сто-ой, паскуда, — запаленно орал Родион, — все одно убью! Сто-ой, твою душу мать! Нюрка, кому говорю!..

Поняв, что не догнать жену, Родион привстал на колени и ударил навскид, едва целясь. Дорога сухая, до блеска

накатанная телегами, Родион занизил, и пуля пошла рикошетом, взрыхляя утоптанную землю. Когда, перебежав мост, Нюра подымалась на крутой берег, Родион выстрелил еще раз. И остановился, больше патронов у него в карманах не нашлось. У моста конюха перехватили мужики, подошедшие на выстрелы, уговорили, отвели домой. А Нюра, не сбавляя хода, чесанула в соседнюю деревню, откуда подъехала с кем-то до района и жила у сына, пока Родион не привез ее обратно. С той поры Нюра стала сдержаннее, не выгоняла мужа, прятала ружье и патроны, когда муж был пьян.

— Что же ты, Ефимыч, — говорили Мулянину мужики, — последнее дело — в жену стрелять. Да ты что?! А убил бы — что тогда? Тюрьма — один разговор. Это хорошо — промахнулся. Всю деревню переполошил. Война, да и только. А если б зацепил кого? Ну-у, Ефимыч!..

— Хе-е, убил, — гундел в нос Мулянин. — Чего ж ее убивать — пушай живет. Или я совсем умом рехнулся. Попужать — другое дело, чтоб место свое знала. Промахнулся... Лося на бегу бью без промаха, на сто сажений почти. А тут — бабу. Небось не промахнусь. Зато теперь — как шелковая, обедать сажусь — наливает, не спрашивает...

Выпивал. Но не до сшибачки, как говорили по деревне. Сколько бы ни выпил, домой добредет сам, с роздыхом, но дойдет. Если слышно — чаще всего в сумерках — песню «Под окном черемуха колышется» — значит, Родион Ефимыч наугощался и переулками пробирается к себе. Песню о черемухе любил он почему-то больше других и пел охотнее. В застолях с мужиками-бабами, в одиночку.

Часто заходил к нам. Отец и мать называли его кумом, Нюру — кумой. Каким образом, не знаю, оказался он в кумовьях. Присядет, закурят с отцом самосаду, заговорят. Сапоги на нем высокие, самодельные. Штаны, рубаха, пиджак. Пиджак всегда расстегнут. Кепку не носил. С мая по октябрь ходил он так, надевая с первым снегом шапку, фуфайку, пимы с калошами. За голенищем правого сапога постоянно короткий, косо отточенный, плотно обмотанный по рукоятке тряпкой, острый сапожный нож. Редкие знали по деревне, что без ножа он почти и не выходит на улицу.

— Зачем ножик-то носишь, Родион? — спрашивал его отец, хмурясь.

— На всякий случай, — отвечал Мулянин и улыбался губами, а взгляд тверд и прям, не пересилишь, отведешь глаза первым. Вот так.

Помню, отелилась у нас корова. Отел был летний, июльский. С дальних выпасов прибежал в полдень пастух с известием. Взволнованная мать, торопясь, пошла к Мулянину. Родион Ефимыч запряг племенного жеребца, сели они втроем в телегу, и конь, задирая под дугой голову, размашистой рысью повез их за Дегтярный ручей на Святую полосу, где паслось стадо. Положили теленка на телегу — корова шла следом, — привезли домой. Удачный отел — радость, угостила мать Родиона за помощь, а вечером, когда пригнали стадо, попотчевала пастуха: бежал мужик в деревню, запалился, надо угостить...

На второй день — мать была на работе — возвращаясь из школы, подходя к избе, услышал я, еще в переулке, пение. И голос и песня были знакомые. Конюх поет, догадался я, пошел в сени, в избу — там никого не было. Я вышел из избы, обошел двор, заглянул в сарай, сходил в баню — никого. Песня доходила будто из-под земли. Я направился в огород, к погребу, заросшему бурьяном. Чем ближе подходил, тем яснее слышалась песня конюха и голос отца. Крышка погреба была откинута, встав на колени, заглянув в погреб, я увидел, что в закроме на проросшей прошлогодней картошке лежит отец, а прямо напротив лаза, с кружкой пива в руке сидит Родион и, закрыв глаза, горестно потряхивая головой, поет о черемухе.

В погребе, в большом глиняном кувшине, стояло у матери пиво. Конюх пришел к нам взглянуть на теленка, как он сказал потом, стали искать выпивку, в доме ничего не нашли, отец предложил посмотреть в погребе, попросил кума спуститься. Родион спустился, обнаружил кувшин и посоветовал отцу: выпить можно и в погребе, чего вытаскивать кувшин, а потом ставить на место. Разобьем еще. Да и прохладнее здесь, никто не мешает...

— Давай, кум! Захвати пойдя кружки да огурчиков пару сорви.

Кувшин зараз одолеть они не смогли — литров десять в нем было. Выпили половину и спали в погребе, пока не протрезвились. К этому времени пришла мать, вытянула кувшин, помогла мужикам выбраться, а то бы они, опохмеляясь, до утра просидели в погребе, дочерпывая остатки. Пошатываясь, ушел Родион домой.

Позвал меня как-то помочь распилить дрова. Пришел я утром, Родион ждет в ограде. День погожий, март во вторую половину перевалил, без рукавиц можно работать. Хозяин установил козлы хорошенько, чтоб не шатались.

— Завтракал? — спросил Родион, осматривая пилу, подняв ее на уровне лица, прижмутив один глаз. Долго смотрел, целясь вроде.

— Завтракал, — сказал я, сбрасывая к козлам верхний кряж.

— Ну, давай тогда начнем, — Родион прислонил пилу к плетню.

Мы положили — хозяин брал с комля — на козлы первый кряж, примерились, сделали зарез. Дров непиленых в ограде лежало воза два конных, не больше. А возле городьбы поленница длинная, прошлогодней еще заготовки. Распилили несколько кряжей, Родион Ефимыч и говорит мне, да серьезно так. Я стою, слушаю его.

— Знаешь что, пойдем, баба пироги с калиной пекла сегодня. Работа тяжелая, силы нужны. Передохнем малость, а потом остальные допилим. Поедим, покурим, веселее работа пойдет...

— Да я и не устал, — говорю, — и есть совсем не хочу. До обеда еще далеко. Воз распилим, тогда и отдохнуть можно. Кто ж так работает? Взялись, Ефимыч. Вон тот кряж, самый толстый.

— Идем, идем, — Родион направился к сениям. — Не горячись шибко. Молодой, успеешь, наработаешься. Наломашь спину еще, погоди.

Мы вошли в избу. А мне как-то неловко было перед хозяйкой: только начали пилить и сразу же есть захотели. Хоть бы воз один закончили. Но раз хозяин перестал, что ж делать...

— Накорми парня, Нюр, — сказал Родион, раздеваясь. — А мне налей стаканчик, спину чтой-то ломит, застудил, видно. Ни согнуться, ни разогнуться. Налей, не скупись. Выпью, может, кровь разгуляется. Садись, — пригласил он меня к столу, — чего ж ты. Не стесняйся.

— Тебя, черта рыжего, колом не пришибешь, — недовольно сказала Нюра, собирая на стол. — Выпивку почуял, вот и заломило спину. Застудил... Пилить-то два воза всего. На, пей-глотай! Глотень!..

— Все бы ты ругалась, Нюра. — Родион подмигнул мне и поднял кружку с пивом. Я нехотя поел, и мы скоро вышли. Пила у конюха была хорошо разведена и наточена, кряжи он привез нетолстые и без суков, день стоял чудесный, и пилить было одно удовольствие. До обеда Родион еще раз приглашал перекусить, но я отказался. Он хотел было пойти один, но не решился. Дрова распилили.

Крал Родион Ефимыч всю жизнь. Куры его круглый год клевали овес — тянул из конюшни, за что и сняли с конюхов. Мог с тока осенью прихватить зерна, когда никого не было поблизости. А то развезет весной семенное к сеялкам, оставит мешок в кустах, опосля заберет. А с мешками так смухлюет, что сеяльщик не поймет, не догадается. Висит что на изгороди у хозяина — веревка, вожжи, овчина, еще что-то — пройдет мимо Родион, приметит. Если забыл хозяин прибрать к ночи, утром уже нету, не ищи. Вилы, скажем, кто оставил на покосе, топор обронил с саней или телеги по дороге из леса — попало на глаза Мулянину, взял унес. С конюшни сбрую брал частями, запасался. А зачем ему сбруя, спрашивается?

Зашел он однажды к Сбойчиным, соседям своим, за огородом его жили, зашел, а взрослых дома никого не оказалось, один парнишка-первоклассник. В сенях у Сбойчных бычья кожа выделанная свернутая лежала на полу. Мулянин, выходя, прихватил ее. Парнишка выглянул в окно, глядит: Мулянин уходит напрямик мимо огорода к своему дому, под мышкой кожа зажата. Вот вернулся отец домой, спросил, где кожа, парнишка все и рассказал ему. Кожу Родион Ефимыч вернул. Как уж они там разговаривали — никто не слышал, не знает. Выпили, должно быть. Или пообещал что-нибудь Родион. Лосятины, скажем. Мирно разошлись, не случилось скандала.

Со Вдовина, из деревни, что в шести верстах от нас, где я учился в школе-семилетке и жил в интернате, принес я домой большешапого пестрого щенка — взял у директора школы. Суку директор привез откуда-то из-за Урала, кажется, издалека. Щенок рос быстро и поднялся в широкогрудого, с тяжелой головой и вислыми ушами пса, густой и грозный лай которого отличался от лая беспородных деревенских собак. Пес был силен: вставая на задние лапы, рывками натягивая цепь, он несколько раз выдергивал из стены сарая кольцо, ввинченное мною в крепкое бревно. На ночь мы его спускали с цепи и — днем, когда никого не было дома. Оставил пса, можешь спокойно уходить из дома.

В сентябре, в пору, когда копают картошку, лунной ночью к нам на крышу сарая забрался Родион Мулянин. Накануне мы срезали в огороде созревшие шляпы подсолнуха, выколотили семечки и рассыпали их тонким и ровным слоем сушиться на разостланный брезент по тесовой крыше сарая. Днем Мулянин проходил или проезжал мимо нашей усадьбы и заприметил семечки. А за полночь уже про-

брался с мешком к глухой стороне сарая через огород, поднялся по лестнице — лестница там была прислонена — и стал набирать семечки в мешок. Да тихо так прокрался, что чуткий пес, лежавший в ограде, поначалу не услышал. Пес учуял и услышал вора позже. Деревня спала, луна светила высоко и ровно, вор был спокоен.

Родион Ефимыч уже ссыпал семечки и стал сворачивать брезент, чтобы заодно унести. Или брезент зашуршал по тесинам, или наступил конюх неосторожно на тесины, и они закрипели, только пес вскинулся внезапно и стал водить поднятой мордой, наставляя то одно, то другое ухо. Если бы пес зарычал сразу, Родион Ефимыч спохватился бы, конечно, попытался бы скрыться, но пес молча обогнул избу, увидел при лунном свете человека на крыше, разогнавшись, взлетел на сарай и с ходу прыгнул на спину не успевшего выпрямиться и повернуться конюха. От неожиданности и от тяжести Мулянин упал на колени. Положив передние лапы Родиону Ефимычу на плечи, задними упираясь в тесины, сцепив на воротнике пиджака пасть, рыча, пес начал трепать конюха, и лысая голова того моталась из стороны в сторону. Не знаю, забыл он или не мог в таком положении вытащить из-за голенища нож. Я потом часто об этом думал: как же нож-то он... Убил бы собаку...

Рычание пса услышала мать. Она спала в избе с маленькими ребятишками, отец дежурил на сушилке, охраняя ток, я был во Вдовине в интернате. Мать долго не могла ничего понять, ей все казалось, что это во сне, после сна. Потом она вышла на крыльцо, прислушалась: действительно, рычал пес и рычание доходило сверху. Пугаясь, мать пересекла ограду, отойдя в дальний угол, повернулась к избе и вздрогнула: на крыше сеней, на коленях, пригнувшись, сидел человек, на нем, распластавшись, — пес. А луна как раз стояла над усадьбой, и хорошо все было видно. Мать медлила, не зная, что же ей делать. Ночь, никого нет поблизости. Кричать?!

— Ой, кто там? — спросила она, не слыша голоса своего. Пес зарычал сильнее, ответа сидевшего мать не разобрала. Вроде застонал он. Или заплакал. Обмирая, мать обошла сарай вокруг, стала подниматься по лестнице. А пес захлебывался рычаньем.

— Кто это? — спросила мать снова, вглядываясь, стоя на лестнице и не решаясь влезть на крышу. — Кум, ты? — мать угадала в сидевшем кума Родиона. — Да ты как здесь оказался-то, кум? Ночью?..

— Я, кума, — сдавленно ответил конюх. — Освободи меня, ради христа. Задушил, проклятый, сил моих больше нет. О-ох! Освободи, кума!..

Приходя постепенно в себя, мать ступила на крышу, оттащила пса, согнала на землю. Мулянин долго сидел на тесинах, крутил шеей. Потом встал, расстелил брезент, высыпал семечки, разровнял их и, держа пустой мешок в руках, повернулся к матери. Рыжее лицо его при свете луны было синим, он сипло дышал, оглядываясь.

— Кума, прости, христом-богом молю, — сказал конюх. — Бес попутал. У меня этих подсолнухов — девать некуда, весь огород засажен, сама знаешь. А вот не удержался. Прости, кума, что хошь сделаю. И куму не говори, а? А то начнут по деревне трепать. А я вам...

— Да ладно уж, — сказала мать, обрадованная тем, что все так благополучно закончилось. — Иди с богом. Погоди-ка, я слезу наперед, пса привяжу. А то догонит, порвет. Ох, кум, кум. И охота тебе этим заниматься. Грешное дело, правда... Спускайся, привязала. Ну, иди...

Утром, когда Родион Ефимыч гнал мимо нашей усадьбы табун, отец вышел на дорогу, перегородил конюху путь, расставив костыли. Мулянин остановил коня, поздоровался. Поздоровался, но смотрел вкось и молчал.

— Ты что же это, кум, — спросил отец, усмехаясь, — бабе моей по ночам спать не даешь, а? Да и семечки сырые еще, не подсохли.

Не отвечая, Мулянин тронул коня, объезжая отца. А вечером пришел с выпивкой, мириться. Просил у отца прощения, у матери просил, каялся, прижимая руку к груди. — Кума, на колени встану! — кричал пьяный. — Своих мешок принесу! Да что я еще! Кума-а!.. — Простили его.

Он нам помогал, случалось. Огород сколько лет пахал по веснам. И не только нам, всем, кто попросит. Бабам, особливо что без мужиков хозяйство вели. Ну, угостят его. Тут уж Родион Ефимыч выпьет от души, про черемуху затынет за столом.

Повзрослев, сразу же после семилетки, покинул я на время деревню. Попытался определиться в одном городе, в другом, вернулся обратно. Пасу коров однажды, а Родион Ефимыч идет неспешно с сенокоса, литовка на плече. Остановился покурить. Сели на траву мы друг против друга, разговорились. Дело к вечеру, коровы наелись, я их подгонял, направляя к дому. Сидим, курум, говорим.

— Ты вот все ездешь — а меня, помню, возили. Дале-

ко-о. И билета не требовалось — вот как. — И пропел вдруг, сильным голосом своим:

Тише едешь — дальше будешь,
Говорили в старину.
Я послушал и заехал
Далеко — на Колыму...

— Чего это он, — спросил я вечером отца. — На Колыме побывал?

— Родион-то? Давно, до войны еще. Горячий больно был, куролесил.

Ходил я с ним на охоту. Охотником Мулянин был заядлым и удачливым. Знал тайгу, далеко забирался от деревни. А вот рыбачить не любил. Не упомяну я, чтобы на озерах он хоть раз забросил сети или на Шегарке поставил мордушки. Не было с ним особых случаев на охоте, но один раз столкнулся Родион с медведем. Выстрелил в зверя шагов за пятьдесят, одностволка дала осечку. Родион еще взвел курок, опять осечка. А медведь — уже вот он, в метрах считанных, на задние лапы вскинулся, идет на охотника. Родион Ефимыч опешил слегка — впервой такое дело с ним.

— Куда-а, твою мать! — что было мочи заорал охотник на медведя. — Стоять! Стоять, кому говорю!

Медведь остановился и даже голову чуть повернул, вслушиваясь будто. Этих секунд было достаточно, чтобы Родион перезарядил ружье и выстрелил в упор, совсем не целясь. Медведь упал. Пятясь, конюх дошел до осины, прислонился к стволу взмокшей спиной, перевел дух. Потом шагнул к медведю, чтобы снять шкуру.

— Что делать бы стал, осекись ружье снова? — спрашивали мужики.

— Прикладом, — смеялся Мулянин. — Да разве собьешь его, лешего.

В тайгу конюх с собой никого не брал, ходил один. Но я попросился сам, отец попросил за меня — сильно мне хотелось сходить с Родионом в самую глубь нашей тайги, верст за двадцать.

— Возьми парня, кум, — сказал отец Мулянину, — видишь, горит весь.

Мулянин согласился. Мне тогда семнадцать только исполнилось.

Пошли. Весна была, на полянах снег уже почти стаял, а в лесу держался, застыв от утренних морозов, образуя крепкий наст. Через неделю-другую должна была вскрыть-

ся речка. Вышли мы с Муляниным ночью, чтобы на рассвете оказаться на островах — высоких сухих местах, поросших осинником. Мулянин в то время держал двух кобелей. Кобели здоровые, в ограду не пустят, но на охоте не слишком ловкие. Если в паре с чьей-то чужой, ищущей собакой — тянут, а одни ленились. Острова оказались пустыни, собаки не брали след, не искали, как ни кричал, ни замахивался на них хозяин. Плелись сзади. Мы повернули обратно. Вышли из глубины последнего острова и остановились на краю, передохнуть. В обе стороны перед нами лежала голея — голое пространство, поросшее карликовой березкой. За голеей заново начинался лес и тянулся до сенокосов и полей, переходя перед деревней в перелески. На востоке взошло солнце, оно едва поднялось над болотом. На голее, скрытые карликовой березкой, токовали куропатки.

— Присядем, — попросил я Родиона Ефимыча, — смотри, как хорошо, а!

И где бы я потом ни был в жизни своей, часто вспоминал ту охоту... Тайга, раннее утро, солнечно, свежо. Мне семнадцать лет, сижу на валежине на краю широкой голен и слушаю, как токуют куропачи. Рядом охотник Родион, собаки. Тихо, лишь куропачий гомон. Так бы и слушал, не двигаясь.

Долго мы отдыхали этак, около часа. Потом перешли голею. На брусничнике, около леса, собаки вспугнули глухаря. Глухарь протянул краем леса и сел на высокую разлапистую сосну. Мы заметили, где он опустился, и перебежками, прячась за деревьями, кинулись туда. Собаки наши молчали. Обычно они облаивают сидячую птицу на дереве, бегая вокруг, вскидываясь с лаем, ставя передние лапы на ствол. А эти даже не залаяли, когда глухарь взлетел с брусничника. Вялые совсем были псы в тот день.

Мы с Родионом подобрались почти к самой сосне, на которой сидел глухарь, остановились за соседним деревом и стали шепотом спорить, кому стрелять. До глухаря было метров тридцать, не больше, он сидел, едва видимый меж разлапистых веток, и ничуть не беспокоился. Чувствовалось, что птица не пугана, впервые видит и собак и людей. А мы все спорили с Родионом Ефимычем.

— Ефимыч, — умолял я конюха, — дай мне выстрелить. Не промажу, ей-богу. Вот увидишь. Я чирка влет бью, а тут сидячая. Дурак не попадет...

— Дробь не возьмет, — возражал Родион, — картечи у

тебя нет. Пулей промажешь. Поберегись, сейчас я его хрястну. Тише, спугнешь!

— Дай из твоего ударю, — просил я, — с упора. Я утку влет бью...

— Из своего не дам, — сказал Мулянин, — испортишь. Своего ружья никому не даю. Дай чужому хоть на выстрел, опосля держи для ворон — не ружье уж. Испробовано. Отойди-ка в сторонку...

Стрелял он. Стрелял картечью и убил. Да и глупо было не убить с такого расстояния сидячую дичь картечью из ствола шестнадцатого калибра. Глухарь завис между сучьями. Я хотел взобраться на сосну и снять, но Родион сказал: «Не надо», — подошел под дерево, выстрелил из левого ствола, где была пуля, и перебил сук. Глухарь тяжело упал к нашим ногам. Мулянин положил его в рюкзак, висевший за спиной, и мы пошли домой. Ничего нам больше не попало на пути, ни глухаря, ни рябчика, и я переживал всю дорогу, что не убил глухаря. Возвращаться пустым с охоты всегда неловко, когда же идешь с добычей по деревне к своему дому, все кажется, так и смотрят на тебя. Можно было бы сказать сверстникам, что вот ходил с Муляниным на охоту и убил глухаря. И ничего, что сидячего, — глухаря редко кто с охоты приносит, очень они осторожны, если уже стреляли в них.

У меня было ружье тридцать второго калибра, купленное в сельповской лавке. Ствол его уступами сходил от патронника к мушке. Ловкое такое ружьецо, с затвором и предохранителем. Фронтвики говорили, что переделано оно из японского карабина. Я ружье внимательно осмотрел, никаких знаков, что оно японское, на нем не было. Пружина у ружья была сильная, бой точный — два года уже охотился я с берданкой на уток и тетеревов. Глухаря же подстрелить мне не удавалось. Как и гуся, идущего весной — осенью перелетом над нашими местами. Правда, далее, чем на сорок — пятьдесят метров, берданка уже не поражала цели, но мне и не нужен был шибко-то дальний бой. В том-то и охота, чтоб подобраться как можно ближе к птице. Никто в деревне не имел подобного ружья: ни взрослые, ни ровесники. Просили продать, обменять на другой калибр, я не соглашался. Продать легко, купить вот...

Собаки убежали вперед, а мы шли ровным шагом, молча, потому как конюх вообще был человеком не особо разговорчивым, а об охоте он и совсем ничего никогда не рас-

сказывал, считая это дурным признаком. Если уж случай какой необычный, как тогда, с медведем. Свои правила у него: ходить в тайгу одному, ружей не давать, добыл что или пустой вернулся из тайги — помалкивать...

Скоро выбрались мы на дорогу, по которой ездят за дровами, и через некоторое время были в деревне. На въезде, где расходились каждый к своей избе, Родион Ефимыч, приостановившись, сказал:

— Глухаря поделим пополам. Баба обрабатывает его и принесет тебе твою долю. Хороший глухарь подвернулся, повезло нам.

Глухарь был большой, тянул, пожалуй, килограммов на шесть. Но в куске, что принесла на следующий день Нюра Мулянина, было от силы килограмма полтора. Да и не самая лучшая часть птицы. Нюра сказала, что глухарь оказался худым, мяса мало, одни перья да пух. Я промолчал — что скажешь.

К тому времени Родиона сняли с конюхов. Колхоз перевели в совхоз, начальство поменялось, начались всякие, большие и малые, преобразования, конюшню, как и скотные дворы, перенесли на правый берег Шегарки за деревню, чтоб меньше было в деревне навоза, запахов и мух. Ухаживать за конями поставили другого мужика, а Мулянину предложили возить в соседнюю деревню сливки. Работа подручная, конь в твоих руках. Родион Ефимыч согласился.

Все видели, как переживает Родион Ефимыч свое отстранение от работы, к которой привык давно, видели также, что птицы у него различной полон двор и не только зимой подкармливал их хозяин зерном, но и летом. Двух свиней ежегодно выкармливал. Сняли. Родион выбрал себе коня и стал возчиком сливок. Каждое утро пропускали через сепаратор надоенное на ферме молоко, полученные сливки разливали по флягам, фляги эти Родион грузил на подводу и вез до Вдовина, откуда их, собрав по деревням, на тракторе или на машине везли в Пихтовку, на маслозавод. Любая погода — поезжай, задерживать нельзя. Возил, успевая к сроку.

Выпивал он тогда частенько, тосковал по конюшне, по лошадям. Бывало, едет во Вдовино — мы в ту пору уже на правой стороне Шегарки жили, неподалеку от дороги, связывающей деревни, — остановит коня у ворот, сбросит на фляги тулуп и в избу, к нам. Войдет, напустив холоду, и от порога всего одно слово: «Кума!» А сам смотрит на мать.

Если есть что — мать нальет. Он выпьет, поблагодарит и — за дверь. Вернувшись порожняком, скажет в конторе бригадиру:

— Ну и работенку вы мне подыскали, одни убытки. Ты мне за поездку рубль восемьдесят начисляешь, а бутылка водки в магазине два с лишним стоит. Сам посуди. Хоть отказывайся.

Недолго Родион Ефимыч возил сливки. Осенью возвращались мой младший брат с товарищем из интерната домой, зашли в кусты, верстах в двух от деревни, прутья срезать для игры, глядь — в траве фляга стоит. Открыли — сливок полна. Загустели сливки, в сметану превратились. Ребятишки бегом в деревню, рассказали отцам. Те — в контору. Поехали проверять — верно, фляга со сливками. Сначала хотели караул установить, чтоб поймать вора на месте, но порассуждали и отказались от затеи. Кто знает — сколько придется ждать, когда это он придет за флягой. Привезли флягу в деревню, в контору внесли, вызвали Мулянина. Родион явился как ни в чем не бывало. Пришел, сел спокойно на лавку, закурил.

— Твоя фляга? — спрашивают его.

— Нет, не моя.

— А чья же?

— А я почему знаю.

— Но ведь ты сливки возишь? — нажимают на Родиона Ефимыча. — Больше некому спрятать. В кустах нашли, по дороге во Вдовино. Сознаться, все одно раскопаем, доведем до конца, Родион?!

— Мало ли чего — вожу, — без всякого волнения сказал Мулянин. — А вы фляги пересчитайте, сколько у меня их числится и сколько в наличии имеется. В бумаги посмотрите, там все расписано: сдал — получил. Проверьте сначала, а потом и разыскивайте виновных...

Пересчитали фляги, пересмотрели документы — сошлось: фляги целы, литры учтены. Так и открутился Родион. Но со сливок его все-таки сняли, послали на общие работы. Зимой он сено возил с полей, за дровами ездил в лес для конторских печей, клуба, магазина, телятника. С началом сенокоса садился на сенокосилку. Делал — что заставят, но только чтоб на конях: условие такое ставил.

Ходил у него в запряжке Дунай, вороной статный мерин. Родион сам обучил его и долго, до пенсии почитай, на нем одном и работал. Летом вороной так возле дома. Мулянина и пасся, не загоняли его в конюшню, привыкли.

— Дунай! Дунай! — закричит от ворот Родион Ефимыч, и конь, вскидывая голову, встряхивая отросшей гривой, бежит ко двору, раздувая ноздри, отзываясь на голос ржанием. Придет Мулянин в контору выпивши, начнет просить начальство, чтоб продали коня.

— Продайте, все равно совхоз ежегодно выбраковку делает, на мясокомбинат отправляет. Куплю в один день, не мешкая. Сколько?

— Да на что тебе конь? — смеялись над Родионом мужики. — Он и так подле тебя круглый год, из рук не выпускаешь. Вот чудак!

Предпоследний раз видел я Родиона Ефимыча Мулянина, когда возвращался он с похорон. В то время я уже не жил в деревне, бывал наездами. Хоронили старуху, что отжила свой век. Как водится, провожать на кладбище пошли чуть ли не всей деревней. Четверо несли гроб, остальные тянулись следом, редко и тихо переговариваясь, думая каждый о своем. И среди них Родион Мулянин. С кладбища пошли на поминки. На поминках, известно, выпивку подают в меру, помянут покойного, да и все. Родиону Ефимычу показалось мало, он заглянул в соседний дом, там добавил. Из этого — в следующий. Запел про черемуху, забыв, что возвращается с похорон, да так с песней и пошел по деревне к своей усадьбе. Шел он серединой улицы и пел — все такой же тяжелый и медлительный в ходьбе, лысый, краснолицый, но постаревший. Я не поздоровался, не отвлекая, а он просто не заметил меня. Он шел и пел, а я смотрел ему в спину, грустя и вспоминая.

Это был последний рабочий год Мулянина. Пенсии он ждал как не знаю чего, как ребятишки праздника. Только и речи было о пенсии, о старости, с кем бы Мулянин ни затевал разговор.

— Все, — говорил он, — отработал свое, хватит. Сколько можно чертомелить. Вот охлопочу пенсию, отдохну. Охотничать буду, пасеку, глядишь, разведу. Давно собирался, да руки не доходили до пчел.

Стал оформлять документы, собирать необходимые справки и — захворал. Скрутило его быстро, таял на глазах.

Я пошел попроведать. Родион Ефимыч лежал на кровати, худой, бледный, сипло дышал. День был субботний, он едва помылся, едва добрался от бани — ослаб. Я посидел немного, поговорили. Простился.

— Мулянина и не узнать, — сказал я дома, — изменился

сильно. И на него нашлась. Голос слабый, едва слова произносит...

— Изменился, — покивала мать головой. — А думали, износу не будет — здоров был. Да и то посуди, сколько им выпито-искурено за жизнь, это какой же организм выдюжит. Вон, поглядишь, железо ржавеет, рассыпается в прах. А человек... Теперь уж все, не встать ему...

В бреду звал Дуная, больше никого не вспоминал. Приходя в сознание, жалобно говорил сидевшей рядом жене:

— Нюр, умру, а пенсию-то отдадут тебе или нет? Пенсия... скоро принести должны. Нюр, пенсию... сколько дней осталось? Столько ждал. Ты уж попроси, чтоб отдали. Ох, так и не дожил... Вот ведь... Нюра, прости...

Умер. Похоронили. Избу и утварь купили свои деревенские, мать забрал приехавший на похороны Василий. Не помню, выплатили первую пенсию Муляниной Нюре за мужа или нет — я был в отпуске и скоро уехал. Хоронить Мулянина я ходил вместе со всеми...

Лет двадцать прошло, пока собрался я навестить родные места. Приехал — деревни нет: два дома жилых, лесника да пенсионера, остальные заколочены. Ходил я по затравеневшим улицам и переулкам, заросшим сенокосам, полям, на кладбище завернул. Трава там по грудь, березы разрослись густо, шумят. Часть крестов попадала, много держалось. Среди прочих могил нашел я могилу Мулянина. Крест был еще крепок. Малина выросла на могиле, переспелые ягоды падали в траву. Я положил на сухую теплую крестовину руку, постоял, вспоминая Родиона Ефимыча, каким знал его. Вот он, Родион Мулянин, и другие мужики, со всеми своими достоинствами и недостатками, с их семьями, избами и дворами, составляли вместе то, что называлось нашей деревней.

А сейчас окрест тишина, да ветер, да шум лесной...

Тетя
Феня

После университета я некоторое время учительствовал. А жил в степном промышленном городе, где не было ни реки, ни речки, ни лесной зоны за окраиной, а были шахты, которые когда-то находились в степи, а теперь оказа-

лись в черте города, возле шахт высились громадные дымящиеся терриконы, их хотели превратить в зеленые холмы и засеяли травой, но трава на терриконах не стала расти.

Были в городе различные фабрики и заводы, металлургический комбинат, коксохимический комбинат, еще какие-то, над их трубами подымались желтые, зеленые, черные, оранжевые дымы. Над городом, заслоня солнце, как развернутая гигантская овчина, висел многолетний пласт дыма, дожди в городе шли грязные, и какой бы силы ни дули предзимние степные ветры, они не могли проветрить город, расшибались о разноэтажные дома, теряли силу.

Промышленными были не только город и область, промышленным было все довольно большое степное пространство, называемое угольным бассейном, и по этому бассейну, в безводной степи, где росли только кукуруза да подсолнух, располагались большие и малые города, похожие один на другой.

Я жил не в центре, но и не на окраине, на улице Воробьевской, которая состояла из частных старых домов, машины здесь проходили редко, росла по обочинам улицы низкая твердая трава, росли старые, как и дома, акации. Улица, особенно в сумерках, напоминала деревенскую, если бы не маслянистый, с угольной гарью воздух. Самая тяжкая пора в городе — с мая по сентябрь, когда жара доходит до тридцати и выше, но, слава богу, каждое лето я уезжал из города, возвращаясь лишь к началу учебного года.

Верхним концом улица Воробьевская выходила к трамвайной линии, дальше был базар, нижним концом улица спускалась до пятиэтажных домов нового квартала, построенного на месте таких же, как и Воробьевская, улиц и переулков. Если идти от базара, по правой стороне, то седьмым от края стоял ничем не отличавшийся от других саманный, под бурой черепичной крышей дом, хозяйкой которого была тетя Феня, а я у нее квартировал.

Дом тети Фени смотрел на улицу двумя окошками (окнами их нельзя было назвать — малы), еще одно оконце выходило во двор. Двор от улицы отделял дощатый заплот, когда-то крашенный зеленой краской, краска давно потемнела, облупилась местами, доски обветшали, столбы, державшие заплот, подгнили, и он слегка завалился внутрь двора на подпорки, подставленные тетей Феней. На покосившихся столбах, тоже с подпорками, на одной верхней петле висела дощатая дверь, ее на ночь закрывали на крю-

чок, хотя открыть крючок было просто, как просто было снять с петли и унести саму дверь или перелезть во двор через заплот. От соседей справа усадьбу тети Фени отделял такой же забор, и его давно не чинили: некому, некогда, главное — нечем, достать в этом безлесом краю доску или тесину было мудрено.

В глубине двора за деревьями стояло саманное строение, разделенное надвое: в одной половине находилась летняя кухня, в другой — сарай, там хранились уголь, дрова, старая одежда, прохудившиеся кастрюли и ведра, изношенная вконец обувь.

В кухне жил я. Стояла здесь печка, разохшийся, без дверцы, шифоньер, куда я вешал свою одежду, стол, два стула, один для меня, другой для гостей. Находился тут же топчан с постелью. В летнее время кухней тетя Феня пользовалась лишь в дождливую погоду, обычно она готовила на печурке, сложенной возле сеней. Зимой печь топили в доме. В кухню из года в год тетя Феня пускала квартирантов.

Семья тети Фени состояла из четырех человек: она сама, дочь Леночка, зять Толик и внук Гришка, которого домашние, соседи и знакомые называли Гриней. День у тети Фени начинался рано, в половине шестого. Я слышал, как, загребая ногами, тяжело дыша, проходила она мимо кухни, в угол двора в уборную, потом умывалась возле сеней под рукомошкой, подвешенным на дереве, брала в сарае дрова и начинала растоплять в ограде печурку, чтобы успеть приготовить еду дочери и зятю. Наладив печку и поставив вареву, тетя Феня принималась будить зятя. В доме был будильник, но зять Толик не заводил его. Будильник звонил резко, громко, неожиданным своим звоном раздражал и даже пугал Толика. Тогда у него с утра начинала болеть голова. Поэтому будить себя Толик поручал теще. Теща должна была подойти, мягко дотронуться до плеча зятя и негромко сказать: Толик, вставай, пора на работу. Так она и делала. Но будить следовало ровно в семь, ни позже, ни раньше. Один раз тетя Феня разбудила зятя до семи, он встал, оделся, вышел в переднюю, увидел, что на часах без пятнадцати семь, разделся, снова лег и пятнадцать минут пролежал с закрытыми глазами, пока теща не вошла во второй раз и не произнесла необходимых слов. С недовольным видом, что вот опять надо идти на работу, зять нехотя завтракал и направлялся к трамваю: он был рабочим, и трудовой день его начинался с восьми часов.

Немного позже вставала Леночка, она относилась к инженерно-технической интеллигенции, и на работу должна являться к девяти.

Проводив молодых, тетя Феня продолжала управляться по дому. Если вечером у дочери и зятя было хорошее настроение, а у тети Фени хватало смелости попросить их принести воды и они приносили, то хозяйке сейчас надо было идти на базар, а если воды с вечера никто принести не догадался, она брала ведра, коромысло и шла к колонке. Это было для нее самым тяжелым делом — принести воды. Колонка находилась на углу перекрестка, саженях в двухстах от дома, тетя Феня долго шла туда, еще дальше — оттуда, по дороге отдыхала два-три раза, поставив ведра, опершись руками и грудью на коромысло. Шла она медленно, мелко переступая, раскачивалась, и вода плескалась на пыльную траву, на оплывшие ноги тети Фени, обутые в разношенную обувь.

В обычные дни воды по хозяйству уходило три-четыре ведра, столько же они и приносили, но по субботам, когда затевалась стирка, мыли полы, воды требовалось больше, и тогда тетя Феня напоминала дочери:

— Лена, завтра суббота, не забудьте воды натаскать.

— Толик, завтра суббота, — передавала тут же Леночка мужу, — не забудь принести воды маме. — Она так и говорила: «маме».

— Хорошо, — отвечал Толик и утром в субботу, сразу же после завтрака, старался незаметно скрыться в город, чтобы сбежать от домашней работы. Воды принесешь, грязную после стирки и полов заставят выносить на помойный слив, еще что-нибудь придумают: не отвязаться...

Принеся воды, тетя Феня садилась в ограде на шаткий табурет, чтобы передохнуть перед базаром, но руки ее в это время все равно что-то делали, чистили, мыли картошку, перебирали лук, отделяя проросший от хорошего, толкли соль. Тетя Феня всякий раз торопилась с водой, чтобы успеть сходить на базар до того, как проснется внук. Но редко ей удавалось так. Внуку милое бы дело спать до десяти, но он вставал в девятом, вставал с криком, и тут у тети Фени сразу втрое прибавлялось хлопот.

— Где мама? Где папа? — спрашивал Гриня, оглядываясь. Чувствуя, что родителей нет, он слезал с кровати, ложился на спину на пол и начинал с ревом сучить ногами. Работы у тети Фени приостанавливались.

— Гриня! Гринюшка! — говорила она, пытаясь поднять

внука. — Ну, чего ты кричишь, маленький? Разве можно так кричать? Перестань, горлышко заболит. Сейчас я тебе кашку сварю! Сейчас я тебе... А кто это к нам идет? Погляди...

— Га-аа! — орал трехгодовалый Гриня, отбрыкиваясь от бабки.

Уговорив внука, пообещав купить баранку с маком, тетья Феня одевала его, брала в правую руку кошелку, в левую — Гринину руку и шла на базар, куда она ходила почти каждый день, чтобы на обратном пути зайти еще в магазины за хлебом, сахаром, мылом, другим товаром, необходимым для дома.

На базаре тетья Феня выбирала картошку, лук, огурцы, укроп. Грине надоело ходить за бабкой из ряда в ряд, он начинал проситься домой, проситься на руки, и если тетья Феня принималась объяснять ему, что тяжело ей брать его на руки, Гриня тут же опрокидывался на спину и начинал визжать, дрыгая ногами. И зачастую можно было наблюдать, как, возвращаясь с базара, переваливаясь по-утиному с ноги на ногу, тетья Феня шла по Воробьевской, держа в правой, опущенной до отказа руке полные кошелки, а левой, сгибом придерживая под зад, прижимала к груди толстого сопящего Гриню.

Вернувшись с рынка, расшевелив потухшую печурку, тетья Феня начинала готовить еду на вечер к приходу дочери и зятя, чтобы сразу накормить их, убирала постели — свою и молодых, подметала, протирала влажной тряпкой полы, мыла посуду, кормила и в полдень укладывала Гриню спать, присматривала, чтобы играл он в ограде, не выскакивал на дорогу, меняла ему штаны, когда Гриня залезал куда не следует и пачкался, прополаскивала несколько раз за день его одежду и развешивала тут же на бечевку, протянутую между деревьями, доглядывала за плитой, выносила помой на слив, колола сырой короткий и толстый горбыль на щепу, чтобы она подсохла к следующему растопу, зашивала зятю рабочие брюки, делала много других дел, не желая оставлять их на завтра, потому как всякий новый день приносил свои заботы.

Молодые с работы возвращались вместе, редко — порознь, обычно они поджидали один другого на остановке. Сразу же садились за стол. Садился со всеми и Гриня, хотя бабка перед этим кормила его. Руки Грине никто не мыл, тетья Феня, собиравшая на стол, говорила родителям, что сына надо умыть, но они делали вид, что не расслы-

шали, а тетья Феня была занята и не могла. Грязными руками Гриня лез в тарелку, крошил хлеб, плескал на себя суп, ныл и поминутно просил чего-то.

— Хочу воды, — просил Гриня.

Ему предлагали чаю, компоту, но он хотел именно воды, и бабка, взяв стакан, шла в сени, где на лавке стояло ведро с водой.

— Хочу пряник, — тянул Гриня и влезал бабке на колени, чтобы она кормила его супом, о прянике он тут же забывал.

Толик и Леночка спокойно ели, склонясь над тарелками. Они отработали свое, и сейчас едой и отдыхом должны были восстановить затраченные силы и подготовить себя к следующему рабочему дню.

— Гриня, — иногда говорила Леночка, — веди себя прилично за столом. Ведь ты хороший мальчик.

Утром Леночка и Толик завтракали дома, обедали они на работе, теперь — ужинали, перед сном будут пить чай. Тетья Феня за целый день первый раз садилась за стол и вставала из-за него, не поев как следует.

Поужинав, Толик выходил во двор, брал принесенную почтальоном газету, опускался на скамью под деревом. Леночка, примостившись рядом, заглядывала в газету через плечо мужа или возвращалась в дом, к телевизору. В дни, когда программа была малоинтересная, тетья Феня могла лечь в одиннадцать, в двенадцатом часу, но в выходные дни, в праздничные она засыпала поздно, дожидаясь, пока выключат телевизор. Гриня спал с бабкой, толкался во сне, клал на бабку ноги, разворачивался поперек кровати. Иногда он просыпался среди ночи, просил кефиру, и бабка, шаркая ступнями, натываясь в темноте на стулья, долго искала двери — выйти в переднюю, принести кефир. А в шестом часу она подымалась, никто ее не будил. Так шли дни, недели...

В конце лета, осенью хлопот у хозяйки прибавлялось. Надо было сварить на зиму варенье, засолить огурцов, помидоров, заготовить кабачков и баклажанов. Теперь тетья Феня ходила на базар каждый день, а то и по два раза на день, выбирая огурцы помельче, помидоры покрепче, молодой зеленый укроп, непереспелую, непомятую ягоду. Выносились из сарая запыленные трехлитровые банки — их было штук тридцать, не меньше — тетья Феня срочно мыла банки, выставляла просушиться, надевая на сучки деревьев, на штакетины. На плите с утра до темноты сто-

яла эмалированная чашка с разваривающейся в сахаре ягодой, рядом кипела вода для рассола: рассолом заливали огурцы и помидоры, уложенные в банку вперемешку с укропом, чесноком, перцем, лавровым листом, хреном. Банки закрывали — закручивали жестяной крышкой, опрокидывали вверх дном, выстаивали, после чего переносили в прохладу, в подполье, где они и стояли всю зиму.

Варенье сварено четырех видов, разлито по банкам, закрыто капроновыми крышками. Огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны рядками стоят в прохладном темном подполье. А уже сентябрь, первые дни. Скоро пойдут дожди и будут идти, идти, идти, чуть не до Нового года, до заморозков, первого снега. Случалось, зима проходила без снега, с туманами, слякотью. Ночью вроде схватит немного мороз, днем развезет — надевай резиновые сапоги. До дождей надо успеть запастись на зиму топливом, успеть посуху перетаскать в сарай уголь, распилить, поколоть дрова и тоже сложить поленницей в сарай.

Тетя Феня брала Гриню за руку, шла в домоуправление или в какую другую контору, ведавшую углем и дровами, оставляла заявление, платила деньги. Иногда привозили скоро — через неделю, иной раз — дней через двадцать. Сваливали уголь на улице напротив дверей в ограду, сваливали тут же дрова. Дрова и уголь лежали день, и два, и три. Леночка и Толик дважды в день проходили мимо, глядели. Тетя Феня молчала. Потом она брала старые ведра и, как носила из колонки воду, начинала носить в сарай уголь, пересыпая в закром, а дрова — к сараю, их еще следовало пилить и колоть. На это уходил весь день. В такие дни тетя Феня уставала больше всего. После ужина, не дожидаясь, когда выключат телевизор, она ложилась спать, неуверенно, как бы ощупью, доходя до своей кровати.

— Мама, ну зачем ты это делала? — говорила вечером Леночка. — Или мы не видим, что дрова привезли. Сами бы и перетаскали. Ведь верно, Толик?

— Я бы один перетаскал, — вступал тут же Толик. — Выходного дождался просто. В обычные дни устаешь, рук не поднять. Так и думал: выходные настанут — примусь за уголь и дрова...

«В выходные тебя черти с фонарями не същут», — думала, наверное, про себя тетя Феня и прекращала ненужный разговор.

Дрова: обломки досок, перекладин, толстые осиновые горбыли, отслужившие свое половицы, подгнившие у осно-

вания, упавшие от собственной тяжести столбики, некогда державшие изгородь, поломанные оконные рамы — все это тетя Феня начинала на следующее утро сортировать. То, что под силу было ей порубить топором, откладывала ближе к печи, остальное оставляла возле сарая, в надежде на помощь Толика. В привезенных обломках дерева было много гвоздей, попадались скобы, крючки, видимо, собирали такие дрова на стройке. Один раз привезли шпалы — тяжелые, пропитанные креозотом, бывшие в употреблении, со следами костылей, которыми к шпалам крепятся рельсы. Шпалы ничуть не подгнили, чувствовалось, что их недавно вывернули из земли, поставив взамен бетонные или же вообще сняв линию. Мы с Толиком, сгибаясь от тяжести, перетащили шпалы во двор, он начал было рубить их топором на чурки, но рубить шпалы зазубренным хлябющим топором — дело тяжкое. Я спросил пилу, пила нашла, совершенно заржавевшая, тупая пила, ей пользовались, судя по всему, еще до войны. Одной ручки у пилы не было. Я вспомнил отцовскую выучку, снял с полотна керосином ржавчину, развел и наточил пилу, поставил в гнезда новые ручки. Все это делалось не сразу, так как не было керосина, разводки, треугольного, с мелкой насечкой напильника. Нужное Толик приносил от соседей или с работы. Кое-как мы перепилили шпалы.

В запасе нарубленных дров почти никогда не было. Случалось нередко, что перед самым затопом тетя Феня начинала рубить дрова. Она не рубила, ломала. Выберет тонкую дощечку, часть рамы, положит одним концом на чурку, второй конец прижмет к земле ногой и ударит в середину топором, переламывая. Тетя Феня, с трудом вскидывая над плечом топор, рубит-ломает дрова, а Толик в трех шагах от нее на скамейке под деревом читает газету.

— Толик, — говорила, выйдя из сеней, Леночка, и показывала глазами.

— Мама, что же вы?! — вскидывался зять. — Не могли сказать, что дров нету? Я бы нарубил сразу. Всегда вот так. Давайте топор. Сколько нужно?

Как-то в дождливый день топили печку в доме. Тяга была плохая, дрова никак не хотели разгораться, дым ветром выбивало из печи в комнату. Тетя Феня попросила зятя принести сухих поленьев, а лучше — щепок. Набросив на голову куртку, Толик вышел во двор. Дождь не переставал. В сарае ни щепок, ни поленьев не оказалось. Рубить же мокрые, осклизлые доски не имело смысла. Над

дверью кухни, где я жил, небольшой навес-козырек под-держивали два высоких сухих столбца. Взяв топор, Толик выбил из-под навеса один столбец, перенес в сарай, изрубил на щепье и принес в дом, к печи.

— А где же столбик? — спросила тетя Феня зятя на второй день, увидев опустившийся низко край навеса.

— А он сломался, — отвечал Толик, глядя на тещу своими чистыми и кроткими глазами блаженненького. — Подгнил и сломался. От тяжести. Навес ведь тяжелый.

Пришлось мне пасаживать-расклинивать топор, долго вытаскивать его брусом, снимая глубокие зазубрины, вытесывать из плахи столбец и ставить на прежнее место.

Это — с дровами. Но самая главная забота в осень-зиму у тети Фени — дом. Дом строил еще дед хозяйки перед самой русско-японской войной, на которой он и погиб. Прошла русско-японская, прошла другая — германская, потом революция, гражданская и Отечественная войны. А дом все стоял. Саманный дом, под черепичной крышей. Стоял и сарай, где я квартировал, построенный тоже дедом. Шестьдесят пять лет прожила тетя Феня в этом доме. Дом осел, скосбочился, крыша черепичная от тяжести прогнулась седловиной, и сама черепица замшела, крошилась за это время, сдвинулась отчасти со своих мест, провалилась кое-где, упав на потолок. Дом протекал, отмокшая штукатурка кусками шлепалась на пол. В дождливые дни с потолка капало, тогда подставляли под капель тазы, банкиведра. С северной стороны в углу появилась трещина, всякий раз осенью хозяйка забивала ее глиной, замазывала, забеливала, но трещина год от году увеличивалась, стены отходили одна от другой. Внутри дом делился на две комнатухи, комнатенки, но никак не комнаты. В большой, где стоял диван, стол, телевизор, самодельные книжные полки, размещались молодые. В той, что поменьше, с оконцем во двор, печкой, кроватью, находилась тетя Феня с внуком.

После войны, году в сорок восьмом или девятом, из горбылей, случайных досок, глины с помощью досок и гвоздей прилепила тетя Феня к дому пристройку, разгородив ее надвое, накрыв толем. Первая со двора половина стала сенями, вторая прихожей. Матицу в пристройке тетя Феня положила одну, жидкую, матица переломилась посередине, потолок провис, угрожая рухнуть. Тогда сверху сквозь потолок пропустили в двух местах проволоку, обвязали по обе стороны пролома матицу, а там, наверху,

проволоку завязали, закрутили поверх доски, положенной плашмя на крышу. Доска чудом удерживала потолок. Я всегда боялся проходить через переднюю. А тетя Феня и домашние ее спокойно садились за стол, под самым проломом, уверяя меня, что проволока достаточно крепкая, а доска широкая и толстая.

Текло в пристройке сильнее, чем в доме, хотя на дыры истлевшего толя накладывали пластами новый, заливали смолой. В августе еще, в жару, тетя Феня месила глину, обходила дом вокруг, замазывала наружные щели, замазывала щели внутри, белила, в надежде, что в эту осень будет поменьше дождей или совсем не будет. Ремонтировать дом по частям, полностью ли не имело смысла, его нужно было, ни минуты не раздумывая, давно сдвинуть бульдозером и разровнять место. Но в доме продолжали жить, не надеясь уже на какие-то изменения, не надеясь на переезд в хорошую квартиру, где не надо уже будет думать о воде, дровах...

Лет семь назад прошел слух, что дома по улице Воробьевской будут сносить как пришедшие в негодность, жильцам дадут квартиры в новом районе, а здесь построят один за другим жилые корпуса, чтобы потом с соседних улиц переселить в них людей. Все обрадовались, было много разговоров и предположений: когда начнут сносить? Куда переселят? Кому сколько дадут комнат?

В эти дни примерно ходила тетя Феня к депутату райсовета поговорить о доме: жить, мол, невозможно в нем, течет всюду, осенью-зимой холодно, сколько ни топи, крыша скоро рухнет. Депутат подтвердил тогда, что слухи относительно улицы Воробьевской верные, есть решение — улица будет застраиваться. А тетя Феня пусть спокойно возвращается к себе, не надо расстраиваться, жаловаться, все придет своим чередом. Через полгода тетя Феня будет жить в новой благоустроенной квартире, а может, и раньше. Семья большая? Трехкомнатную получите — тут и рассуждать нечего. Три комнаты, да. Ждите. До свидания.

Прошел год, второй, еще один. Сносить дома на улице Воробьевской никто не собирался, разговоры стихли, улица продолжала жить прежней жизнью: замазывала щели, затыкала дыры, запасалась топливом. Пошла тогда тетя Феня опять в райсовет. Депутата того уже не было, сидел другой, этот ничего не сулил, попросил оставить заявление и сказал, что заявлений таких поступает очень много, разбираются они раз в месяц. Через месяц ждите комис-

сно. Вас предупредят специальным извещением.

На исходе второго месяца комиссия явилась. Она осмотрела дом снаружи и внутри и пришла к выводу, что оснований для беспокойства у хозяев нет, дом вполне пригоден для жилья, следует только следить за ним хорошенько. Так и в бумагу записали. Тетя Феня приуныла совсем. Как отремонтировать дом? Чем?

Прошло еще четыре года. На улице Воробьевской никаких изменений не произошло, люди лишь постарели, да дома обветшали сильнее. Дом тети Фени, казалось, еще глубже врос в землю.

— Напишите в газету, — приставал я неоднократно к хозяйке. — Напишите. И не надо вам ходить, в очередях томиться. Сами придут. Давайте попробуем, тетя Фень. Посмотрим, что из этого выйдет.

— О-ох, милый, — вздыхала тетя Феня, она просто не понимала, что это такое и как делается. — Как же я напишу? Я и буквы-то не все знаю. Ленка если. Да и она, поди, не сумеет.

— А толку? — махнула рукой Леночка. — Пиши не пиши. Пока не начнут сносить дома, квартиру не дадут. Гореловы вон в Москву писали. Ну и что?! Из Москвы переслали в горсовет, из горсовета в райсовет. Оттуда пришли, посмотрели: дом не аварийный, ремонтируйте и продолжайте жить. Больше никуда не пишите...

В редакцию написал я. Не в столичную, в местную. Описал все, что видел своими глазами и знал из рассказов хозяйки. Заставил тетю Феню расписаться, отнес письмо на почту, послал заказным. Долго не было никаких известий. Письмо, как я и предполагал, из редакции попало в райисполком, из райисполкома пришла бумажка, извещавшая хозяев дома о том, что на днях должна быть соответствующая комиссия. В доме все притихли, гадали, что же будет. И я первую половину дня был дома, ждал.

— Я им все выскажу, — храбрилась тетя Феня, получив бумагу. — Пусть только придут. Я так и скажу. Да до каких же пор? Или пока не накроет нас здесь? Да неужто я себе квартиру не заслужила за столько лет, а? В шахте работала. Войну потом... Руки, вот они, посмотрите, — тетя Феня подымала над коленями, показывала кому-то бурные, распухшие в суставах, негнущиеся руки и начинала плакать.

Комиссия пришла часов в двенадцать дня, состояла она из двух человек. Председатель комиссии Софья Андреевна,

средних лет, подвижная, говорливая дамочка, и член комиссии депутат райсовета Сорокин, пожилой молчаливый рабочий завода.

— Вы хозяйева? — громко спросила Софья Андреевна, входя в ограду. — Вы писали в редакцию? Давайте, показывайте дом.

Тетя Феня при появлении комиссии заметно оробела, забыла приготовленные слова и, стоя возле плиты, все комкала в руках передник, вытирая сухие руки.

— Я писала, конечно, что ж отказываться, — сказала она с запинкой. — А дом — вот он. Смотрите. Чего показывать. Дверь открыта.

Комиссия не пробыла у тети Фени и получаса. Обошли вокруг дома, в сторонку отошли немного, чтобы взглянуть на крышу, побыли внутри, вернулись во двор. Тетя Феня наблюдала молча.

— Дом старый, — покашливая, осторожно сказал Сорокин. Он видел, что дом отслужил свое, изнашился, как бывает, изнашивается одежда до такой степени, что штопать или латать ее нет смысла, нужно отдавать как тряпье в утиль — и только. Так вот и с этим домом. Стоит, а тронь едва — развалится. Но Сорокин молчал, ожидая, что скажет председатель комиссии. Он недавно ходил в депутатах, жил в условиях чуть лучше, чем тетя Феня, и сам надеялся скоро получить жилье. Ему жалко было тетю Феню, хозяйку этого никудышного дома, ему хотелось помочь ей, но он боялся рассердить Софью Андреевну, потому и молчал.

— А по-моему, жить можно, — быстро обернулась к Сорокину Софья Андреевна. И в то же время она смотрела на тетю Феню.

— Аварийным дом мы признать никак не можем. Дом аварийным считается только в том случае, когда обваливается не штукатурка, как у вас, а потолок...

«Тогда и дураку ясно, что — аварийный», — подумал Сорокин, но промолчал. Он уже и не рад был, что согласился пойти осматривать дома по жалобам. Что их осматривать, сносить нужно скорее.

— Надо ремонтировать, — продолжала Софья Андреевна. — Ведь вы же не одинокая, правда? У вас дочь, зять. О пристройке не говорите, это не капитальное сооружение. Я все понимаю, течет. Надо ждать. К сожалению, мы не можем сразу обеспечить жильем всех нуждающихся. — (Софья Андреевна так и говорила: «мы». Кого и что она

имела в виду, не знаю.) — Да, — говорила она, укладывая бумаги в сумочку, — совершенно верно. Обещали. Было такое решение по поводу вашей улицы. Но потом решение пересмотрели... Идемте, Михаил Семеныч, нам до перерыва в три двора еще надо успеть зайти. Не огорчайтесь, гражданка. До свиданья. А дом ремонтируйте...

— Оно, конечно, — невнятно говорила тетя Феня, провожая комиссию за ворота. — Раз такое дело — чего же... Подождать, одно слово. Не одни мы, верно. Только вот крыша течет и стена, опять же... Трещины... А так — жить можно... Сколько годов живем...

После ухода комиссии мне стало неловко и стыдно перед хозяйкой, я старался реже показываться на глаза, а уж о доме речи больше не затевал.

Два года прожил я у тети Фени и подружился за это время лишь с нею. Леночка и Толик испытывали ко мне скрытую неприязнь, я это постоянно чувствовал. Гриню я невзлюбил с первых же дней за его противное нытье, за те хлопоты и беспокойства, какие он доставлял своей бабке. А с Леночкой и Толиком мы не сошлись вот почему. С некоторых пор им начало казаться, что я стал вмешиваться в их хозяйственные дела. Все началось с того, что я привел в порядок уборную. В дальнем углу двора за кухней-сараем, где я бытовал, стояла уборная. Она в свое время была покрыта обрезками теса, а сверху — толем. Толь от непогоды сгнил, гвозди, державшие тесины, поржавели, да и сами тесины подгнили по краям, ветром их сорвало, свернуло на сторону. Уборная сколько лет стояла без крыши. В нее лил дождь, заносило снегом, в осень-зиму там было мокро, грязно, и всякий раз неприятно было входить. Тетя Феня видела, понятно, но руки до этого дела у нее так и не доходили. А Толик с Леночкой таких пустяков не касались вовсе.

Я прислонил к уборной лестницу, поднялся по перекладинам с молотком и гвоздями в руках; найденный в сарае лоскут толя был зажат под мышкой. Ржавые гвозди вытащил я клещами, поставил тесины на место, прибил, накрыл сверху толем, обрезал неровные края, подогнул, чтобы не сорвало ветром. Доски стен кое-где отошли то с нижнего, то с верхнего гвоздя, я их подправил и внутри навел порядок. Тетя Феня без усталости благодарила меня, а Толику не понравилось, что я занялся этой работой. Но он промолчал. Он промолчал и тогда, когда я таким же образом подправил крышу сарая. Покрытие прогнило, обра-

зовалась дыра, через эту дыру на сложенные в поленицу дрова попадала вода. И переложить дрова некуда было, тут им как раз и место, рядом лежал уголь.

Крышу я сделал, времени она у меня и часу не отняла. Потом из обломков кирпича через весь двор от крылечка дома до дверей своего жилища начал выкладывать я полу-метровой ширины дорожку. Обломки кирпича приносил я с заросшего бурьяном пустыря, где не так давно стоял жилой дом. На нашей же улице.

Тут уж Толик не выдержал. Судя по всему, тетя Феня сказала ему, что вот чужой человек делает работу, помогает, а он, мужик в семье, хозяин вроде бы, а ничего делать не хочет.

— Ткни носом, — говорила про зятя тетя Феня, — делает, да и то над душой надо стоять. А не скажи, сам никогда не догадается. Ах ты, боже мой, до чего же ленивый человек уродился...

— Слушай, — подошел ко мне Толик, я сидел на корточках, постукивая обухом топора по уложенным кускам кирпича, выравнивая. — Слушай, — сказал Толик, — зачем ты все это затеваешь: уборную, сарай, дорожку теперь? Это же не нужно. Я бы и сам давно мог сделать. Зачем? Лишний труд. Все одно дома скоро сносить будут. Из-за тебя разговоры всякие...

— Ты не сердись, — сказал я Толику как можно спокойнее. — Я ведь не назло тебе. У меня времени свободного больше, чем у тебя. Кроме того, я пользуюсь всем этим: уборной, сараем. И по дорожке буду ходить. Какие тут обиды?.. Любой бы так поступил.

Я его не убедил, конечно. Мы не поссорились, но я видел, что Толик не доволен. При нем я старался не начинать работу, потому как он сразу же бросался ко мне, вырывая из рук топор, лопату, напильник. Делал без него. Дорожку через двор я стал тянуть потому, что в пору дождей во дворе всегда по щиколотку стояла вода, а потом еще долго держалась грязь. Двор лежал много ниже улицы, и когда по осеням, да и летом, шли дожди, вода под воротами ручьем стекала с улицы во двор. Я взял лопату, глубиной на штык прокопал в несколько метров канавку, собирая из луж воду, отводя дальше по улице, куда она свободно потекла под уклон. Это нужно было сделать Толику самому лет шесть назад, когда осенью, в дожди или перед ними — не знаю, он женился на Леночке и перешел жить в дом тещи.

Позже между мной и Толиком установились отношения, похожие на дружеские. Иногда по вечерам он заходил ко мне в сарай, и мы разговаривали. Я преподавал литературу, он был человеком читающим, нередко с книжного базара, из магазинов приносил книги. Читал он в основном детективы или что-нибудь приключенческое. Они с Леночкой библиотеку собирали, для сына.

— Что это у тебя за книга? — спросил однажды Толик, увидев, что я сижу с раскрытой книжкой. Я показал, назвал автора.

— «Следы на снегу» читал? — поинтересовался он, сядя на табурет напротив.

— Не-ет, не читал. Не помню, во всяком случае.

— Да ну-у! А «Тайна старого чердака»?

Я почувствовал, что интерес его ко мне исчезает.

— Ты бы «Преступление и наказание» прочитал, — неуверенно посоветовал я Толику, не зная, как поддержать разговор с ним.

— Пробовал, — сказал он. — До того, как убьют старуху, — читаю, дальше не могу, неинтересно. Рассуждения какис-то. Слушай, — Толик понизил голос и зачем-то оглянулся на дверь, — скажи, ты лошадей любишь?

— Люблю, — сознался я. — В деревне родился, вырос. Очень люблю.

— Ну-у, деревня... Какие там лошади? На них только дрова возить. На ипподромах бывал когда-нибудь?

— Давно.

— Ставить не пробовал на бегах? Не играешь?

— Нет, не пробовал. А что?

— А я играю постоянно. Игрок. Школьником еще ходил на бега. Понимаешь, какое дело, — он придвинулся ближе вместе с табуретом, — для меняя неделя — как во сне. Нароботаешься за смену, домой придешь — обязательно делать что-то нужно. Ребенок еще. Ни отдохнуть, ни почитать. Подумать некогда. Всю неделю жду выходных. По воскресеньям на ипподроме бега. Там я отдыхаю, понимаешь. От работы, от семьи. Душой отдыхаю. Поставишь на серого или гнедую и ждешь — душа замирает. Вот это жизнь. Все остальное — ерунда...

— Выигрывал? — спросил я. — Помногу?

— Случалось, — подумав, ответил Толик. — Я бы, знаешь, в жокеи пошел. Да не возьмут. Надоело мне все это: верстак, напильник, гайки. Неинтересно живу...

— Почему не возьмут в жокеи?

— Рост не позволяет. Вес согнать можно, а рост... Все жокеи, ты заметил, маленького роста. А у меня сто семьдесят пять. А то бы. Знаешь что, пойдём со мной в воскресенье на бега. Приз будут разыгрывать. Давай сходим, а? Попробуешь счастье...

Дождались воскресенья, поехали. Долго добирались трамваем. На краю города, за высоким деревянным забором зеленое поле ипподрома, беговые дорожки, табло. Трибуны, конюшни, другие постройки. Низкорослые сухие жокеи в рейтузах с лампасами, в майках с номерами, цветных кепках с длинными козырьками. Заезды. Размашистый бег тренированных лошадей, запряженных в легкие коляски, рев трибун и игра, непонятная для меня ипподромная игра, где все надеются выиграть, нервничают, курят, чертят на программках какие-то схемы, ругаются, советуются со знатоками, которые сами почему-то ставят редко или не ставят вообще. Игроки же ставят, проигрывают и опять ставят, в надежде на очередной заезд. А после уходят. В пивную, если осталась мелочь...

Толик привел меня на свое обычное место в третьем ряду возле одного из столбов, поддерживающих крышу над трибунами. У него здесь было много знакомых; пока мы пробирались к столбу, Толик здоровался с ними. Кругом шумели, листали программки, гадали, на какую поставить. Было много выпивших. Я заметил, что выпивку приносили с собой, ставили бутылки на пол трибуны, между ног, чтобы прямо из горлышка взбодриться перед каждым заездом. До начала оставалось полчаса. Жокеи и служители вываживали лошадей, часть лошадей проминали в колясках. Разыгрывался главный осенний приз «Урожай».

— Ты деньги взял? — спросил вполголоса Толик, наклоняясь ко мне. Он уже дважды пролистал программку. — А то у меня пятерка всего. Не удалось заработать на этой неделе. Знаешь, — усмехнулся он, — мы в цехах, между прочим, ножи делаем для домохозяек. Столовый сделаешь — три рубля, капусту рубить — пять. Если с наборной цветной ручкой — дороже. Часто заказывают, но у меня эта неделя пустой оказалась. Давай поставим вот на эти номера: третий, седьмой, одиннадцатый. Никогда не ставь на четные — бесполезно. Проверено практикой. — Толик говорил быстро, было заметно, что он возбужден. Его о чем-то спросили с верхнего ряда, он не слышал.

— А эти придут наверняка. Платят за них... Сейчас, — он посмотрел на табло, набросал цифры на обороте про-

граммки, — выиграем семьсот пятьдесят рублей. Через две недели беру отпуск. Поедем в Анапу, там у меня знакомые. Море, лодка. Теплынь до ноября. Отдохнем, а? Жаль, что не можешь. Где деньги? Сейчас заезд, в кассу надо успеть. Потерпи, вот-вот начнется...

Он вынул свою пятерку, взял у меня влажной рукой пять рублей и ушел к кассе. По радио объявили о начале заезда. Лошадей выстроили в ряд. Раздался выстрел, как щелканье бича, и лошади пошли, ломая линию, удаляясь, уходя за поворот. Трибуны на минуту притихли, все, вытянув шею, привстав с мест, смотрели, как лошади проходили дальнюю часть круга. Вот они вышли из-за левого поворота на прямую, стали приближаться к трибунам, и мы увидели ритмично и далеко выбрасываемые ноги рысаков, их раздутые ноздри, темные от пота бока, услышали дыхание лошадей, гиканье пригнувшихся к передкам тележек жокеев. Над трибунами перекатами стоял гул. Рысаки пронеслись дальше, к финишной черте. Все вскочили с мест, заслоня лошадей.

Мы проиграли.

— Черт, не на тех поставили, — Толик бросил программку. — Слушай, дай три рубля, завтра верну. Вот на какие номера надо было ставить. Это уж точно. Сыграем? Не переживай. Давай шесть рублей. Скорее, сейчас объявят второй...

Мы проиграли двадцать рублей: пять Толика и пятнадцать моих. И ушли. Больше на бега он меня не приглашал, да я бы и не пошел. Лошади, конечно, бегают быстро, что и говорить, но как-то заученно бегают они. Да по кругу. Да определенные минуты. А на них в это время ставят деньги. Лошади даже не знают об этом...

Парнишкой я любил скакать на конях по полевой дороге на дальние сенокосы. Без седла, без кепки, босой, расстегнутая рубашка навыпуск. Затравеневшая дорога, вокруг полосы хлебов, скошенные поляны, зеленый лес. В лицо тебе ветер, ты сидишь на горячей конской спине, слушая, как с мягким стуком опускаются на малоезженую дорогу некованные копыта. Это совсем другое дело...

Я все присматривался к Толику внимательно. Это был выше среднего роста, худощавый, с прямой спиной, темно-волосый, слегка кудрявый молодой человек лет двадцати восьми. Лицо у него было мелкое, с узким подбородком, чуть ли не девичье, лицо блаженственного. Особенно когда он улыбался. Но с некоторых пор я перестал доверять

этой улыбке. Улыбкой своей он долгое время вводил в заблуждение тещу, пока она не поняла, кого ей послала судьба в зятя. А Леночку, на мой взгляд, улыбка эта покорила. Он улыбался не тогда, когда ему хотелось улыбаться, а тогда, когда Толик намечал что-то сделать для себя. Уйти, например, из дома в субботу утром, когда затевалась уборка и нужна была его помощь. «Сейчас», — говорил Толик и улыбался, глядя на жену и тещу. Он никогда не отказывался. «Сейчас сделаю», — обещал Толик, вставая и выходя во двор. Это означало, что через минуту его не будет, вернется поздно, делая вид, что ничего не произошло.

Толик вышел из состоятельной семьи, отец его был заведующим крупным ателье по ремонту электроприборов, мать не работала вообще. Толик был вторым сыном в семье, младшим. У родителей его был дом в наиболее благоустроенном районе города, кирпичный, под железом дом о четырех комнатах, с кухней, прихожей и верандой. В родительском доме Толик жил до той поры, пока не женился на Леночке. Но родители не выделили сыну комнату в кирпичном, под железом доме, где застекленную просторную веранду затеняли вьющиеся побеги винограда. В доме, где он вырос и куда, по обычаю, должен был привести жену. Родителям не понравился выбор сына. И Толик пошел жить на улицу Воробьевскую в саманный, образца 1903 года дом тещи, у которого седловиной прогнулась крыша, а окошки на четверть приподымались над тротуарами. Правда, полгода после свадьбы прожили молодые на частной. Обиженный Толик решил: раз он не может жить в своем доме, значит, не будет жить в доме тещи. Это позор. И они пошли с Леночкой на частную. За частную же надо было ежемесячно платить, и не сколько-нибудь, а пятьдесят рублей, там Леночке надо было самой заниматься стиркой, самой готовить еду и, кроме всего, соблюдать правила, установленные хозяйкой. Через полгода молодые перебрались на Воробьевскую. Вот тогда-то тетя Феня по-настоящему узнала своего зятя. В то время когда Толик делал Леночке предложение, он уже работал слесарем. А до этого несколько месяцев был учеником слесаря. А еще раньше закончил школу и пытался поступить в институт. Но не поспешил, при всем желании и старании родителей, потому как не смог сдать экзамен. На первом экзамене писали сочинение, и Толик, вместо «штукатурка», написал «щикатурка» и еще какие-то слова, не совпадавшие по количеству букв и смыслу с действительными.

— Ну, хотя бы в техникум, Толик, — просила мать и смотрела на сына. Но в техникум сын не хотел, да и поздно уже было. Разве что на следующий год. И в ателье сын не хотел, куда его брал отец. Толик хотел самостоятельности. И он пошел на завод, что поближе к дому. На заводе его долго учили, как правильно держать в руках напильник, молоток, другие инструменты. Наконец срок ученичества закончился, Толик сдал на разряд, самый низший разряд в тарифной сетке, на этом разряде застыл он на долгие годы. Дома Толик говорил, что зарабатывает сто двадцать рублей, семье приносил сто, двадцать, следовательно, шли на вычеты. На эти сто рублей теща должна была зятя кормить месяц, жена покупать ему одежду, оставлять на содержание сына, непредвиденные расходы и прочее.

Леночка, сама она зарабатывала столько же, сообразила, что если не возьмется как следует за мужа, то он до самой пенсии будет крутить гайки за сотню в месяц. Леночка закончила технологический. И вот она стала готовить мужа для поступления в этот институт. Выбрали факультет, на который даже на дневное отделение не было конкурса, выбрали отделение — заочное, чтобы Толику не ходить по вечерам в темноте на вечернее, оставалось сдать экзамены. Толик написал множество страниц под диктовку жены, слово «штукатурка» он теперь писал правильно. Кроме всего, Леночка заготовила ему десятка полтора шпаргалок, с учетом различных вариантов. Экзамены Толик выдержал. На тоненькие троечки, но — выдержал. И был зачислен на первый курс заочного отделения. Это было событие невероятное. О нем говорили в родительском доме, о нем говорили в доме жены, об этом узнали соседи, ровесники Толика, которые давно уже были специалистами.

С первой же сессии у Толика появились задолженности, потом их прибавилось. На второй курс его перевели с условием, что в самое ближайшее время он задолженности ликвидирует. Весеннюю сессию второго курса Толик завалил полностью. Сначала он скрывал это от жены — Леночка ему делала контрольные и курсовые, но потом во всем сознался и сказал, что в институт больше не пойдет, так как ему уже сейчас не нравится его будущая специальность. Но родителям он этого сказать не мог. Родители всюду говорили, что их младший успешно занимается в технологическом. Время от времени Толик приносил показать им зачетную книжку, где по всем предметам стояли вписанные Леночкиной рукой оценки «хорошо» и «отлич-

но», за оценками выведены были подписи преподавателей, придуманные Леночкой. Из института Толика скоро отчислили за неуспеваемость, он был рад этому, а родителям сказал, что учебу вынужден был оставить по болезни. Леночка была огорчена очень. Но мужу ничего не сказала. Она никогда не ссорилась с ним, ни в чем не упрекала его. Леночка любила своего мужа.

К тому времени, когда я поселился у тети Фени, Толик уже оправился от потрясений, связанных с учебой, и пребывал в своем обычном состоянии: ходил на работу, на бега, читал книжки про шпионов, скучал по вечерам в семье, задумывался иногда. Мне очень хотелось знать, о чем он думает. Но Толик не говорил.

— Вот балбес, — сокрушалась тетя Феня. — Есть дураки, а этот без всяких просветов. И откуда он только взялся на мою голову. Мужик называется. Сто рублей в семью приносит. Ни в поле, как раньше говорили, ни дома. Нешь таким мужик должен быть, а? Тридцать лет, а он — как вареный! Чужой человек ему уборную роет. Тьфу! Провалиться от стыда сквозь землю! Да у тебя все в руках гореть должно, вот как!

— Ох, и хватанет же с ним Ленка, — помолчав, продолжала тетя Феня. — Долог век покажется. В семье хоть один кто-то тянуть должен, а они оба — не раскачаешь. Нашли один другого! А врать! Придет к своим и наговаривает, что-де теща работой замучила, присесть не дает. А та — на стенки кидается с пеной на губах, так уж ей сынка жалко. Сюда прибежала, ругаться. А я ей говорю: вон, глянь на крышу, пятый год течет. Жалко, пусть к вам переходит, комнат у вас полно, заблудиться можно. У меня пожилы, пусть у вас поживут. Ушла. С работы вернулся, я ему все высказала. Плохо здесь, иди к маме своей. Усмехается молчком. Враль, хуже бабы последней. Ох, горюшко ты мое горькое...

— Зачем же Елена вышла за него? — спросил я тогда у тети Фени.

— Зачем? Сдуру. Боялась, что никто другой не возьмет. Вот и вылетела. Надо бы подождать годок-другой...

Леночке двадцать девять лет, она на год старше мужа. Ростом ему по плечо, может, чуток повыше. Следит за фигурой, боясь располнеть. Нос слегка вздернут, в лице некоторая миловидность. Губы, ресницы и брови не красит. Не красит и не укладывает мягкие русые волосы, а расчесывает их по обе стороны головы и опускает на

грудь, как у актрисы из польского журнала. Одевается просто, как можно просто одеваться на сто пятнадцать рублей в месяц, учитывая вычеты и расходы по хозяйству.

Леночка, несомненно, умнее мужа, хотя ей также не хватает организованности. Видно, что она жалеет мать, но во всем, что касается домашней работы, полностью надеется на нее. В спорные минуты, не задумываясь, становится на сторону мужа. Она считает Толика красивым мужчиной, хорошим мужем и опасается, что он, переутомившись от домашних забот, уйдет к другой женщине. Мать умрет, она останется с Гриней, да еще в таком доме. Кто ее тогда подберет, кому будет нужна. Поэтому, когда тетя Феня, выйдя из терпения, начинала браниться, Леночка всячески защищала мужа, говоря, что он и без того устает, потому что работа у него физическая. День над верстаком гнется, а потом дома...

У Леночки работа умственная. Она инженер-технолог. Сидит в лаборатории. Чем она там занимается, я так и не узнал. С Толиком Леночку познакомила подруга, за которой Толик ухаживал какое-то время. Они ходили в кино, в кафе-мороженое, в парк, потом Толик предложил ей пожениться. Она рассмеялась.

— Да ты что! — воскликнула Леночкина подруга, обидев смехом своего кавалера. — Толенька, как мы с тобой жить станем, подумай?!

Толик об этом не думал, ему просто захотелось жениться, и все. За Леночкой он ухаживал так же добросовестно и скоро сделал ей предложение. Леночка долго раздумывать не стала. Она была одна. В школе в нее никто не влюбился, в институте никто не влюбился, на службе в отделе интересных мужчин не было. А Толик был интересный: высокий, волос вьется, улыбка. Поженились.

— На частную уходили, — рассказывала тетя Феня. — Пяти месяцев не выдюжили. Праздновали. Каждый день торт, каждый день конфеты в бумажках. Прибежит: мамка, займи десятку. А у меня пенсия сорок шесть рублей. Вот как. Захожу раз, гляжу — а у нее под кроватью ворох грязного белья. Собрала в узел да к себе — стирать. Деточки вы мои милые, думаю, как же вы дальше жить-то думаете. Смотрю, приходят с вещами, в темноте уже. Днем, видно, стыдно. Мама, принимай. Нажились. Приняла, куда деваться.

Леночка умела шить, вязать. Я видел, как она вязала свитер мужу. Но все это у нее как-то стихийно происходи-

ло. По вечерам Леночка обычно смотрела телевизор. Сядет перед экраном с вязаньем, засмотрится, отложит работу и забудет о ней на месяц, больше.

Интересно они с мужем воспитывали сына. Гриня у них получал полную свободу. Он мог смахнуть на пол чайную чашку, залезть рукой в кастрюлю с супом, взобравшись на диван, дотянуться до книжной полки, взять книжку и порвать ее, как порвал он свои книжки. Так однажды на моих глазах Гриня разорвал юбилейное издание Аксакова «Записки ружейного охотника». Леночка, сидевшая тут же, повернула голову, спрашивая равнодушно сына:

— Что ты делаешь, Гринька? А-а!..

Как-то смотрели мы все вместе интересную передачу: Леночка, Толик и я. Гриня сидел на полу, стучал молотком, пытаюсь забить в половицу гвоздь. Гвоздь не слушался. Отбросив гвоздь, Гриня встал, подошел к телевизору и занес над экраном молоток.

— Разобьет! — закричал я, вскочил и оттащил Гриню к двери. Гриня брякнулся на спину, завизжал, ноги его ходили ходуном. Леночка в тот же вечер сделала мне замечание такого рода.

— Ребенка ни в чем нельзя ограничивать, — сказала она, нахмурясь. — Следует создавать естественные условия. Ребенок должен делать то, что ему хочется делать. Понимаете? Так пишет доктор Спок. Иначе получится, что ребенок находится в невидимой, но осязаемой клетке: то воспрещается, это воспрещается. Серьезно.

Я не понимал Леночкиных рассуждений. А доктора Спока к тому времени еще не прочел. Детей у меня не было. Да и не верилось, чтобы доктор Спок писал о подобной свободе. Больше мы с Леночкой на эту тему не говорили. Я старался быть с ними вежливым, неназойливым. Я мог подправить крышу сарая, но давать советы, как надо воспитывать детей, — не собирался. Просто мне было жаль тетю Феню, ей приходилось постоянно заниматься внуком, а он отнимал у нее много сил и времени.

Леночка была младшей дочерью тети Фени. Старшая, Надежда, не жила давно уже с матерью. За все время, прожитое на Воробьевской, я один раз видел Надежду, приезжавшую попроведать родных. И еще я не знал, что отцы у Леночки и Надежды разные...

Получив аттестат, Надежда уехала дальше на юг, в город, стоявший у моря. Там она поступила в педагогический институт, жить стала в общежитии. Город был тихим,

зеленым, хорошо в нем дышалось. Был в городе порт, куда заходили торговые пароходы всех стран, было много старины, крепость, построенная бог весть когда, — была своя история, уходящая в глубину веков. Город нравился Надежде, и она решила остаться в нем.

На втором курсе Надежда вышла замуж за адвоката, которого потом сделали заведующим юридической консультацией. Адвокат был старше жены лет на двенадцать, он воевал, был ранен в руку, имел награды. У адвоката был уступчивый характер, что более всего нравилось в нем Надежде. Родители адвоката были крепкие селяне, они и в войну оставались крепкими селянами, они хорошо поддерживали молодых на первых порах их семейной жизни. А потом у тех само по себе пошло все как следует.

В институте на всех курсах Надежда была известна как активная общественница: выступала с речами на собраниях, собирала профсоюзные взносы, критиковала отстающих в учебе. При распределении она была рекомендована на руководящую должность, там показала себя, ее заметили, выдвинули, и теперь Надежда была на виду у всего города.

Мать Надежда навещала редко. Если случалось бывать в командировке в родном городе, проездом, — заходила на несколько часов, на день — не больше.

— Что, не получили квартиру? — спрашивала Надежда из ворот, хотя видела и дом, и мать в ограде, и все то, что видела в прошлый свой приезд. Но с этой фразы она всегда начинала разговор.

— Не получили, — отвечала тетя Феня, идя навстречу дочери.

— А почему? — спрашивала Надежда таким тоном, будто мать была виновата, будто давали ей квартиру, но она отказалась.

— Не дают, — просто объясняла тетя Феня, обтирая передником руки.

— Не может быть, — говорила Надежда, целовала мать и проходила в прохладу сеней и передней. Проходила в глубь дома боком, боясь нависшего потолка. Была она, Надежда, выше матери, стройная еще в свои сорок пять лет, едета дорого, но строго: туфли, юбка, блузка с отложным воротничком, жакет или вязаная кофта, темные волосы назад, на затылке узел, мочки ушей украшают крошечные с жемчугом серьги, на шее — тонкая золотая цепочка, на правой руке кольцо, на левой перстень, в руках ма-

ленькая, черной кожи сумочка. Если осень — плащ, переброшенный через руку.

С институтских времен, когда была Надежда профоргом факультета, выработались у нее тон, манера говорить, походка, жесты, и сейчас, стоило раз взглянуть на ее лицо (такие лица принято называть волевыми), как становилось ясно, что женщина эта по природе своей создана, чтобы руководить и ничего больше. Она и с матерью разговаривала, будто делала указания подчиненному, и тетя Феня, чувствовалось, побаивалась своей старшей дочери, говорила тихим голосом, извинялась будто.

Тетя Феня угощала старшую, чем могла. За столом они разговаривали, после обеда Надежда ложилась на диван отдохнуть, тетя Феня присаживалась рядом, опустив руки на колени, и все просила Надежду подремать с дороги.

Отвечая на вопросы матери, спрашивая сама, Надежда оглядывала стены, потолок, окна комнаты, с трудом представляя, что это и есть тот дом, где она родилась и в котором прожила почти до восемнадцати лет, куда приезжала на каникулы, а потом все реже, реже... А вон тот человек на стене, на фотографии, — ее отец. Она помнит, как провожали его. И все. И больше ничего. Письма еще, похоронную... Как ходили с матерью к шахтам — во-он аж куда — выбирать из выброшенной породы уголь. Большие кучи породы. Мать несла в мешке уголь, мешок держала на правом плече, в левой руке корзина. Надя помогала нести корзинку, подымала упавшие куски угля... Немца помнит, который бил ногами мать... А вот эту пристройку, где теперь сени и прихожая, они лепили с матерью, когда Надя окончила школу, перед самым ее отъездом. Лена была совсем маленькая, а тот человек — Ленкин отец, солдат, привезенный матерью из госпиталя, уже ушел от них...

Приезжая вот так к матери, всякий раз с наплывом воспоминаний, Надежда чувствовала перед матерью свою вину, но чувство вины сменялось тут же чувством досады на Елену и ее мужа. С сестрой у нее были с некоторых пор отношения прохладные, с Толиком Надежда сдержанно здоровалась, так же сдержанно прощалась. Такие молодые — и не могут изменить свою жизнь. Сидят, ждут чего-то. Давно бы вступили в кооператив, давно бы встали на квартирную очередь, каждый на своем производстве. Давно бы... Что еще, Надежда и сама не знала, но знала твердо, что каждый человек должен сам о себе думать, а не ждать, пока кто-то придет со стороны, подскажет, поможет,

принесет. Такого не бывает: никто не придет, ничего не принесут. Надо бороться, расти, а они... Тоже и Елена... разговаривать лишний раз не захочешь, хоть и сестра. Можно было бы уже сорок раз написать диссертацию и защититься, и стать кандидатом, и возглавить ту же лабораторию, а не сидеть на сто пятнадцать рублей. Не по душе тема техническая, бери свободную. Было бы желание. Желания, видно, нет у них с мужем.

Сама Надежда несколько лет как защитила кандидатскую. Она стала ученым. Это ей во многом помогло.

Муж Елены... Это надо же так опрометчиво и неудачно выйти замуж! И мучься теперь с ним всю жизнь. Уж если он совсем не способен к учению, то хоть бы бригадиром стал каким-нибудь. Что ж, так и будет до пенсии стучать молотком...

Мать выходила во двор, где ее ожидали дела, а Надежда, лежа в полудреме, невнятно думала о том, что вот, после той жизни, которой она жила сейчас, никак себя не представляет опять в этом вот доме, на месте своей матери, в доме с желтыми подтеками от дождей, нависшим потолком в прихожей, туалетом во дворе. И заботься, чтобы вовремя привезли уголь, переживай, хороший ли привезут на этот раз. А еще дрова. А еще базар и магазины. Вода, которую надо на себе носить из колонки в любую погоду. Топить печку углем, в непогоду она разгорается плохо, и надо угадать, когда закрыть трубу, а то угоришь. Осень, зима... Во дворе грязь, на улице грязь, даже нет тротуара, и машина не ждет возле дома, нужно идти к трамваю, а уж он повезет тебя за три копейки на все четыре стороны...

Трамвай исчез из ее обихода со времен студенчества, как и многое другое, как магазины и базар, куда с сумками по сей день ходит мать. Надежда уже и не помнила, когда в последний раз бывала на базаре или в магазинах, всем этим занималась домработница.

Еще она подумала, что все пока слава богу и дома и на службе. Муж не выпивает, держится семья, сын закончил институт, поступил в аспирантуру, дочь заканчивает институт, собирается в аспирантуру тоже. Одного скоро женить, другую замуж выдавать. И с этим Надежда управится. Летом дочь поедет в международный студенческий лагерь, а они с мужем и сыном в Голландию. С путевками вопрос давно решен.

В первые после института годы они отдыхали с мужем

на курортах Крыма и Кавказа. Скоро это им прискучило, и они ежегодно на месяц стали уезжать за границу, путешествовать. Совершили на пароходе круиз, побывали в Швейцарии, Франции, Швеции. На этот год намечена Голландия. А еще Надежде хотелось побывать на островах в Тихом или каком другом океане. В доме хранилось несколько альбомов с фотографиями: где и как они отдыхали. Что касается службы, то там требовалась предельная сосредоточенность, умение поставить себя, знание дела, свободная ориентация в некоторых, тесно связанных с работой вопросах и в конечном счете чутье, чтобы вовремя почувствовать, откуда и куда дует ветер. Все эти качества у нее были в достаточной мере.

Обычно Надежда гостила у матери день, на второй уезжала. Под вечер первого же дня ее начинали раздражать неудобства: теснота, глупость Толика, невоспитанность Грини. С Еленой разговора не получалось, мать занята. Она выходила во двор, но воздух с угольной гарью был тяжел, возвращалась в дом — Гриня лез на колени. Наутро Надежда уезжала. Часам к двенадцати подъезжало заранее заказанное такси, чтобы увезти гостью в аэропорт. Тетя Феня, собрав внукам гостинцы, выходила за ворота проводить старшую, которая жила какой-то непонятной для нее жизнью. Постояв, посмотрев из-под руки вслед удалявшейся машине, шла к плите, где кипело в кастрюле и лилось через край...

Если Леночку я видел ежедневно и мог через определенное время составить о ней какое-то мнение, то о Надежде знал только по рассказам тети Фени, причем рассказы о теперешней ее жизни носили очень уж расплывчатый характер.

Да и о тете Фене я мало что знал. С расспросами не приставал, стеснялся, сама же она почти ничего не рассказывала. Так, из общих разговоров, мог я догадаться о том, как жила она до войны, в войну, после. Кое-что узнал от соседки, той, что справа от заплота. Когда дома никого не было, соседка затевала со мной долгие беседы.

Недели через три после того, как поселился я на Воробьевской, сидел как-то в ограде, готовясь к урокам, вдруг вижу: над заплотом поднялась женская голова, подвязанная подсиненным платком, посмотрела туда-сюда, потом пристально на меня.

— Что вам нужно? — спросил я, отложив книжку в сторону.

— Фенька ушла, что ли? — женщина опустила на заплот руки.

— На базар ушла, — пояснил я. — А что вы хотели?

— Да так. Ты это, поди-ка сюда, — поманила меня соседка.

Я продолжал сидеть, женщина ничуть не обиделась.

— Ты что же, постоялец новый у них? — спросила она.

— Да, на квартире, — ответил я не совсем дружелюбно. Лицо и голос соседки мне чем-то сразу не понравились.

— С кормежкой пустили или как? Сколько берут с тебя?

— Просто на квартире. А что вас интересует?

— Конечно, без кормежки, — рассуждала женщина. — Куда же... Ей, Феньке-то, на своих успевай готовь. Сколько платишь за сарай?

Тут послышался стук открываемой двери, в ограду вошла тетя Феня. Я поднялся, чтобы взять из ее рук сумки, и увидел, как, пригнувшись, оглядываясь, от заплота к крыльцу торопится соседка. Она почти бежала, подавшись вперед.

Через несколько дней, когда я шел от колонки с полными ведрами воды и остановился напротив соседкиного дома передохнуть немножко, она опять заговорила со мной:

— Помогаешь? Феньке не под силу самой, верно. А смолodu, помню, вот здорова была. Там грудина — что у коня. Ох и здорова. С мужиками становилась веревку перетягивать. Соберутся мужики в праздники на улице и давай веревку тянуть, кто — кого. Так Фенька против троих мужиков становилась, перетягивала. Сначала руками тянет, потом повернется, перекинет через плечо, пригнется чуть и — пошла. Мужики за ней. Она — шахтерка. До войны, говорю, в шахте работала, а потом... ох, ведь и долго рассказывать...

Что было потом, я мало-помалу узнал от самой тети Фени. Иногда, редко правда, теплыми вечерами, перед сном, дожидаясь, пока утихнет в доме, тетя Феня садилась во дворе на скамью под деревом. Положив руки на колени, глядя в темноту перед собой, не шевелясь, подолгу сидела она, большая, грузная, белея зачесанными назад седыми волосами. Мне всегда хотелось знать, о чем думает она в такие минуты. Я присаживался рядом или напротив, на давний нерасколотый чурбак. Мы разговаривали негромко, час и два. Вот первый наш разговор. Вечером, в ограде.

— Что, — спрашивала тетя Феня, — не заболел? Ды-

шишь тяжело. — Сама она дышала сипло, надсадно, всей грудью.

— Нет, не заболел, — отвечал я. — Воздух такой.

— Не привык. Не приживешься здесь?

— Нет, видно. Да я и не собираюсь долго...

— А земля-то твоя где? Скучаешь небось? Скучаешь, да.

— Далеко. В Сибири. Далеко отсюда.

— Сколько же тебе лет? — тетя Феня смотрела на меня. — На вид ты старообразный. И бороду носишь. Как старовер.

— Тридцать скоро исполнится, — не сердясь, говорю я. — А бороду давно ношу. Привык.

— Семейю надо заводить, — кивает головой тетя Феня. — Старики живы? Ну, вот. Домой ехать да жинку заводить. Жинку надо. Добрую жинку. Иначе пропадешь. Что ж в тридцать лет по чужим углам.

— Тетя Феня, расскажите, как в войну жили? — прошу я старуху. Она долго молчит. Не вспоминает, нет. Все в памяти. Не знает, с чего начать. Я долго жду, гляжу на нее.

— Да разве расскажешь — как жили, — говорит наконец. — Самому пережить надо, иначе не почувствуешь. Как жили?.. Не праздники — война... Тогда и не спрашивали при встрече о жизни...

Опять молчит. И я молчу. Начинает тетя Феня изда-лека.

— На шахту я попала в шестнадцать. Здоровая была, не замужем еще. Дед мой шахтерил, отец. Я за отцом потянулась. Стала работать. А в ней, в шахте-то, — ого-го, выйдешь наверх — шатает, земля плывет. И Дмитрий там. Сама я местная, а он из москалей, прибился на нашу сторону. Я его и привела сюда, в дом этот, — тетя Феня указала глазами на дом. — А он оробел, Дмитрий. Матери говорю: вот, зятя привела, гляди. А она: привела, твое дело, тебе с ним жить, ты и гляди. Стали мы с Дмитрием жить. В той половине жили, где ты сейчас спишь...

Тетя Феня смотрит в сторону сарая. Я знаю, она видит в эти минуты там своего молодого мужа и себя рядом с ним. Может, слышит даже голос его. Интересно, что это был за человек...

Я наблюдаю за лицом хозяйки. Мне всегда нравилось лицо ее. Скоро семьдесят, но лицо не было обычным, старчески дряблым, не было на нем складок и резких морщин, хотя видно, что это лицо старого человека. И глаза не утратили своего цвета.

Рассказывает, голос спокойный.

— Потом завалило меня в шахте, — вспоминает тетя Феня. — Не одну меня, сорок человек. Взрыв случился, пласт и обрушился. Двое суток откапывали, Дмитрий с ними. Утром откопали. Это уж потом рассказывали нам. В живых-то я осталась да еще трое. Помяло сильно, сознание потеряла, а дышала — воздух откуда-то проходил. А иначе бы — конец. Так и вынесли без сознания. Ну, лежала в больнице, операцию делали. Кости срослись, а ухо правое не слышало совсем. Долго я с одним ухом ходила, а потом уж, через несколько лет, отпустило. Но не совсем. Слышу, а не так чутко, как раньше. Вышла из больницы, в шахту не полезла больше, стала уборщицей в конторе шахтной работать. А куда? Грамоте не знаю. Едва-едва печатные буквы понимаю да расписываюсь. И сила уже не та ворочать уголь. Уборщицей. Потом в больницу перешла, в ту, где лечилась. Сиделкой. Врачи помнили, взяли. Доктор, что операцию делал, он признал меня. Уважительный такой, до сей поры помню. Это уже перед войной самой. Да, перед войной...

В тот день, как войну объявили, иду домой с дежурства, ночью дежурила, а Дмитрий, вот он, навстречу. И повестка в руке. О-ох, боже ты мой! Я ему: Дмитрий, с тобой поеду! Совсем ополоумела баба. И про Надьку забыла. А он смеется. Куда, говорит, тебя, ты ведь глухая. И не услышишь, как немец подойдет. Собирай меня...

Собрала, проводила. А разговоров кругом! И слышно — к нам война приближается. Стали нас тогда наряжать на оборонительные работы. Окопы за городом рыть, сооружения всякие строить. А земля — не угрызешь. Отдежуришь ночь, утром лопату на плечо — и пошла. Надька со мной. Только не помогло ничего — пришли немцы в город. Стрельба, наши назад, а эти — за ними. Слышу, идут по улице, разговаривают. Стою середь двора, не знаю, что делать. Надька прижалась ко мне, плачет. Подошли к дому, ка-ак он ударит ногой в ворота, ворота настезь. Выходит один, ружье вперед выставил, сзади — человек шесть. Руки вверх, на нас. Подняли мы руки. Обошли кругом; посмотрели, показали, что станут в хате жить. Мы с Надькой в сарай ушли, кровать там стояла старая...

— Вот хоть и войну возьми, — сбиваясь с повествования, говорит тетя Феня. — Да, войну. Рассудить — одна страна, всем горе, всем равно. А нет, не всем горе. Видела я много, кому война — не война. И в войну жили, не бед-

ствовали. Жаловались на людях, что им, дескать, тяжело, им достается. Стонали. А сами... Да вон хоть Ефимику возьми, — тетя Феня кивает на заплот. — Ох, и сучка, свет белый таких не видывал! Офицер у них жил, так она с офицером тем сдружилась. Когда прогнали немцев, тыловика приняла. В кителе ходил, сапоги хромовые. Морда до того сытая, аж чуть не треснет. Года два кормилась возле него. Потом исчез он куда-то. А ей жрать надо — как же. Покрутилась — никого рядом нет, чтоб подхватил ее. Устроилась тогда на молокозавод, только что открылся он. Подсобницей, что ли. В грелке молоко выносила. Привяжет грелку внизу живота и пошла напропалую. На соседних улицах продавала, ребятишки у кого. На пенсии сейчас. Вот как...

— А муж у нее? — я хотел спросить, был ли у Ефимовой муж.

— Убили. Вместе с Дмитрием уходил на войну. Тоже шахтер. Мужик был справный, ничего плохого не скажешь. Да не ту выбрал. Убили. Похоронную ей раньше принесли. Это уж когда немцев выгнали из города. Уж и не помню, плакала она по мужу или нет...

Стали уходить немцы, торопятся. А стрельба, слышно, в той стороне, куда отступали наши. Немец прибежал, из тех, что жили в доме, один, и давай в мешок запихивать последнее, что у нас с Надькой осталось. Я Надьку в сарай закрыла: сиди, говорю, сама за лопату и к воротам. Ворота на крючок, спиной к ним встала, жду. Жду и молю бога, хоть бы наши быстрее, хоть бы из ихних не прибежал никто. Выскакивает тот немец из дома, в правой руке ружье, в левой мешок. Увидел меня с лопатой, понял. Остановился: матка, показывает, отойди. А я лопату наотмашь, сейчас секану. Если б сила девичья при мне да без ружья он, я б его руками сломала. Вскидываю лопату, а он меня сапогом вот в это место. Я и села. Да по боку, да вдругорядь, прикладом уже. Стрелять не стал, побоялся, видно, антихрист. Опомнилась: Надька кричит, Ефимиша надо мной наклонилась, водой в лицо брызгает. И жалостливо: ушиб он тебя, Фенюшка. Встанешь? Я встала да опять за лопату. Уходи, говорю, шкура поганая с моего двора. Ушла. Потом все по улице лебезила, как ни встречусь: Фенюшка, Фенюшка. В глаза заглядывала. Боялась, что заявим на нес. Молока сколько раз приносила, я ее от ворот с молоком этим гнала, как собаку...

— Что же вы не заявили? — спросил я тетю Феню. — Ведь все же видели. Молоко воровала, с немцами...

— Сначала не заявили, а потом уж и ни к чему вроде. Да и чего заявлять, она и так богом обиженная. Я вот не разговариваю с нею, не могу. Уж сколько лет прошло, а душа не лежит...

Похоронную на Дмитрия получили в сорок четвертом. Как раз в конце года. Я в госпитале работала. Госпиталь разместили в больнице той, где раньше лечилась. Вот сорок пятый год прошел, сорок шестой. В сорок седьмом привела я домой из госпиталя Алексея. Был он весь ломан-переломан. Пока лечился, что-то поджило, что-то срослось. Деваться ему некуда было, по госпиталям належаюсь, родных — никого. Жил он до войны в Курской области, близ станции какой-то, в деревне. Станцию ту снесли подчистую и деревню заодно. В деревне оставались у него мать и жена с парнишкой. Писал им с фронта, ответа ни разу не получил...

Тетя Феня опять умолкает. Я чувствую, сейчас возле нее Алексей, в памяти те дни, когда она предложила искалеченному солдату жить у себя. Молчит, а губы шевелятся. Или кажется мне...

— ...Привела, значит, Алексея. Мужик, а на мужичью работу не гош. Один костыль под мышкой, другой в руке. Лицо обожжено. Глаза, слава богу, целы. Пенсию определили ему, стал он еще в артель инвалидов ходить, вот тут, возле базара, артель была, замки ремонтировали, обувь. Я его выходила, как могла. Прихожу домой раз, он сидит в ограде, письмо в руках. Увидел меня да как заплачет. Я к нему: что случилось? Он письмо подает. Говорю: мне не прочесть, читай сам. Читать не стал, рассказал. Оказывается, жива семья его: и жена, и парнишка. А мать умерла. Как немец взял Курск, они и подались на восток, до Урала добрались, там перетерпели. А теперь вот объявились в своих местах. Алексей из госпиталя написал в несколько деревень, где его знали, и напал на след. Сельсоветские помогли. Письмо от жены было...

Гляжу на него — лицом изменился, сидит, думает. А сам решил уже. Стал прощения просить у меня. А я ему: «Чего ты каешься. Ты передо мной не виноват. Я тебя сама выбрала. Езжай, не переживай». Получил он пенсию как раз, в артели ему при расчете деньжонок дали, разделил он все пополам: это тебе, Феня, это мне на дорогу. А я свернула деньги да в карман ему. Мне, говорю, износу не будет, руки-ноги целы, заработаю. Собрала, проводила на вокзал. Иду обратно, и что-то так нехорошо мне стало.

Я уж в ту пору шестой месяц Ленку вынашивала. Иду-иду — и шатнет меня, аж земля поплывет под ногами. Ухвачусь за дерево, отдышусь и дальше. В сентябре это, в сорок седьмом...

Я вспомнил, как соседка в один из наших с нею разговоров сообщила: «Ленка-то у Феньки от другого мужика, не слыхал? Приняла, а он ушел от нее. Не сжились. От другого. Мы-то знаем. Чужим она не сказывает...»

— Не писал вам потом Алексей? — спросил я тетю Феню.

— Нет, не писал. А зачем? Душу только травить. Это — как в воду. Вспоминала я его попервости. Добром вспоминала. Дай бог, говорю, чтоб раны твои зажили, чтоб жилось тебе там, среди своих...

— Как же вы потом жили? — удивленный, спросил я. — Девок подняли да еще выучили их, сумели? Другой бы на вашем месте... — Я и не знал, что сказать. Да и что мои слова значили для нее.

— Сами учились, — тетя Феня посмотрела на меня. — А что же мне, по-твоему, оставалось делать? — она усмехнулась моим рассуждениям. — С яру прыгать вниз головой? Вот ты сам, вот твоя жизнь — живи. И станешь жить, куда денешься...

Работала. Только, видишь, сила не та была, что раньше. Шахта помяла, немец добавил туда же. Все меньше, меньше силы. Я ночь сиделкой отдежурю, вздремну часок какой, а утром в другую контору иду, уборщицей. Квартирантов в сарай пускать стала, старалась, чтобы муж с женой попадали. Пустишь девок — ребята к ним каждый вечер, ребят посели — девки ночами визжат, спасу нет. Одно и то ж. Ленка когда родилась — Надежде школу заканчивать. Она, Надежда, как в институт поступила да вышла замуж, сошла с рук моих. Мне, правда, от нее помощи не было никакой, ни тогда, ни потом, но и с меня не тянула. Вот так вот, милый. А ты говоришь — расскажите. Да разве расскажешь все, что пережил-перевидал. Жизнь, она во-он какая, а мы с тобой часу не говорили...

Иногда мы подолгу сидим молча, думаем каждый о своем. Тетя Феня молчит, молчит, а потом скажет, будто меня нет рядом, вроде бы говоря с собой:

— Вот умру, а уж тогда — как хотят, так пусть и живут. Вспомнят мать свою. А то все нехороша...

Я знаю — это она о Леночке и зяте. Что-то опять у них в семье не заладилось. Соседка из-за заплота рассуждала так:

— Фенька умрет, молодым хана. Слышишь, верное слово. Захлебнутся. Совсем неспособные к жизни. Пока мать жива, они шевелятся. Такие молодые, ай-я-я. Да я бы на их месте вином ходила. Да у меня бы на их месте все горело в руках. А они...

Я и без соседки замечал: когда тетя Феня прихварывала, все в доме останавливалось. Как-то не по себе было в такие дни.

— Захворала я, ребята, — говорила она тогда, будто винясь перед ними, ложилась на свою кровать и лежала так несколько дней, есть ничего не ела, лекарства не принимала, пила одну теплую кипяченую воду. И врача запрещала вызывать, отмахиваясь.

— Сама встану, — говорила она, — я свои болезни знаю. Это кости мои устали, и здоровые и поломанные. Сколько ни живи, конец наступит. Вы уж только телевизор не включайте, потерпите.

Зять с постным лицом увозил Гриню к своим родителям, которым он не шибко-то был и нужен. Теперь Толик должен был просыпаться сам, на работу идти не завтракая, вечерами дожидаться, пока Леночка сварит поесть. Не любил Толик, когда теща болела.

Дня через четыре тетя Феня подымалась. Держась ослабшими руками за стены, косяки, выходила во двор, если было тепло, добиралась до скамьи. Просила Елену купить на базаре курицу и сварить жиденький супчик. И этот супчик, где мелко нарезанная картошка разваривалась полностью, пила прямо через край, держа обеими руками глиняную расписную чашку, сохранившуюся с давних времен. Через неделю тетя Феня ходила по ограде в своих постоянных заботах, зять веселел. Гриню привозили обратно, и все шло обычным чередом, как и до болезни...

Вдруг вспомнит, что скоро праздники, значит, надо поехать к Надежде, побелить квартиру. Побелит там, вернется, начинает белить у себя. Станет собираться к старшей дочери, слабая совсем еще после болезни.

— Тетя Феня, — скажешь ей, — куда же вы поедете? Вы же еще и не выздоровели как следует. Неужели Надежде квартиру некому побелить? Сама, дочь. Да сама она и не станет заниматься этим: скажи — придут, побелят. Что угодно сделают. Ей ли думать.

— Побелят, понятно, — соглашалась тетя Феня, — есть кому, домработницу держит. Да разве домработница сможет так чисто, как я. Чужой человек. Знаю, как чужие де-

лают. Ну, а побелили, успели — мне же лучше. Пирогов напеку, внуков покормлю. Надежда поест сама, забегалась она по совещаниям, где ж ей испечь. Время нет. Девчонкой, помню, любила пироги с капустой. Поеду, навещу...

И поедет. И будет трястись на автобусе едва не десять часов, придерживая на коленях сумку с гостинцами. Поживет два-три дня, засобирается назад. Как там дома? Семья голодная? Стирки накопилось, на базар некому сходить. Хватит, поеду. До свиданья, приезжайте в гости. Вот приберусь, приезжайте семьей.

Белить, по рассказам, ездила чуть не каждый год. Выбелит, полы помоеет, мебель протрет, отдохнет денек и — обратно.

После наших с тетей Феней вечерних разговоров, у себя в сарае, лежа на прямом и узком топчане, ночами я подолгу раздумывал о разном, о том, у кого как складывается жизнь и как, с какой мерой мужества и достоинства каждый из нас несет свою ношу. Тетя Феня рассказывала от силы десятую часть того, что было в ее жизни. А ведь были еще мысли этой женщины, чувства или переживания, как мы говорим. Да мало ли чего...

Я сам за свои неполные тридцать лет не шибко-то и много хорошего видел. В сорок седьмом умирал от голода, не умер. Ел траву, ходил в домотканых штанах до самых заморозков. Меня порол отец, срывая зло от жизненных неудач. В семь лет я уже помогал в огороде и на сенокосе, в десять пас скот, в тринадцать самостоятельно ездил в лес за дровами. В пятнадцать работал на стройке. Так продолжалось до тех пор, пока уже взрослым, продравшись сквозь вечернюю школу, поступил в университет, стал студентом.

Теперь вот, оглядываясь назад, всегда останавливался я на том, что лучшее время моей жизни все-таки детство. Речка Шегарка, лес, сверстники, игра в лапту, школа. Было еще студенчество, не по времени и несытое. И студенчество я вспоминал. Но детство чаще. Остальное — работа. Потом я научился находить для себя радости. Прежде всего облегчение приносила природа: ее я любил в жизни больше всего. Уходил в лес во все времена года и возвращался успокоенный. Рыбачил на озерах, на Шегарке, сидел ночами у костра. А то поработаешь споро в огороде или в поле — тоже радость. С человеком хорошим поговоришь — глянь, день по-другому повернется, засветится новой для тебя гранью, и спать ложишься уже с легкой душой. Так

сложилось у меня. Повзрослев и устав, стал я делать все возможное, чтобы жизнь была интересней. Иногда мне это удавалось...

А тете Фене выпало жить в безводной безлесой степи, в жарком, задымленном городе, работать в шахте, пережить войну, потерять одного мужа, второго, вырастить, выучить дочерей. И никаких тебе университетов, пансионатов на морских побережьях, никаких Франций и Голландий. Дом, построенный в 1903 году, сорок шесть рублей пенсии, семья, заботы. Вот так.

Отработав положенное после учебы время, я уехал на родину. И пока обживался заново в своих краях, определялся с работой, семью заводил — время шло. Тетю Феню помнил, все собирался, собирался написать, узнать, что нового в их жизни, и руки никак не доходили до письма.

А под Новый год сел за стол, вложил в конверт поздравительную открытку и письмо, написанное разборчиво — мне хотелось, чтобы тетя Феня сама прочла письмо. Через месяц примерно получил ответ. Отвечала Леночка. Она писала, что тетя Феня умерла прошлой осенью, несла по двору к плите бак с бельем, упала и не поднялась. Они с Толиком живы-здоровы, Толик работает на заводе слесарем. Гриня большой, пошел в школу. Ходят слухи, что дома по улице Воробьевской скоро будут сносить...

Когда черемуха цвела

Вчера, в субботу, перед самой баней, они вроде бы поссорились, потом молчаливо помирились, но спать жена легла отдельно, в передней, и теперь, лежа в горнице, которая служила спальней, а ему еще и кабинетом, где он занимался, готовясь к урокам, Георгий слышал через плотно закрытую дверь, как Вера мягко и тихо ходит по большой комнате, растапливая русскую печь, налаживая варить и стряпать, и он тут же вспомнил, что сегодня ему исполняется ровно сорок лет. Георгий потянулся к подоконнику, взял лежавшие там наручные часы, взглянул — не было еще и семи, встал, не одеваясь, в трусах и майке, сел к столу, к окну, что выходило на речку (второе окно горницы выходило в палисадник), закурил и сидел так, редко

затягиваясь, не думая ни о чем, глядя на едва зазеленевший косогор перед усадьбой, на противоположный берег Шегарки, избы, дворы, огороды, уходящие к перелескам.

Горница была небольшая, хотя доставало в ней места для всего, что здесь находилось. Можно было даже расхаживать туда-сюда, от окна к дальней стене, когда надо было что-то обдумать или решить. Возле наружной стены (внутренней стеной, между передней и горницей, служила русская печь с лежанкой, дальше — двойная дощатая переборка) стоял давний диван, купленный сразу после свадьбы. Диван был удобный, ночью он служил кроватью, а днем на него можно было сесть, откинувшись затылком к стене, а то и прилечь, отдыхая между школьной и домашней работой. Над диваном висела большая географическая карта, между окнами, в углу, стояла самодельная этажерка, на ней, на четырех полках, книги. На трех верхних — художественные: Аксаков — «Записки ружейного охотника», «Записки об ужении рыбы», «Записки охотника» Тургенева, несколько книг Бунина, Никитин и Кольцов, биографическая трилогия Горького. Еще десятка три авторов. На нижней полке — книги по географии, различные справочники, учебники. На столе, покрытом цветной клеенкой (Георгий не любил голой поверхности столов), — лампа под абажуром, пепельница, ручка, несколько цветных карандашей, рассказы Гайдара — их Георгий читал перед сном. Над столом репродукции из «Огонька»: Левитан — «Над вечным покоем», «Стога», Рерих — «Заморские гости», Саврасов — «Грачи прилетели».

Жена мало бывала в горнице — когда уборку делала, ну и поздно вечером входила, ко сну. Она постоянно двигалась, находя любое заделье для рук, здесь ей не хватало простору, да и все стояло на своих обычных местах: ни убрать чего, ни передвинуть — привыкли. А он, Георгий, часами сиживал вот так, занимаясь или просто глядя в окно.

На косогоре, на самом верху, над береговой кручей, стояли три осины одна подле другой, старые разлапистые деревья. По осени листья на осинах становились разноцветными, и когда начинался листопад, хорошо было смотреть, как ветер несет сорванные листья через поляну, забрасывая их в палисад, на крышу избы и двора, в огород. Потом осины долго стояли голые и мокрые, весь почитай октябрь, пока не начинались заморозки, а следом — снегопад, и на мерзлые ветви бесшумно ложился снег. Зимой, в

феврале, с косогора стекала поземка, ометая сугробами избу, баню, двор, осины шумели на ветру, и шум их был слышен в избе глухими метельными ночами. От сильного ветра, от тяжести намерзшего снега слабые ветки не выдерживали, обламывались, падая в сугробы. Весной Георгий собирал ветки, уносил в ограду, чтобы сжечь в печи. Весной и летом осины шумели, кажется, всегда, даже в безветренную погоду, и шум их был ровен и успокаивающ...

— Гоша, — спросила жена через дверь, — ты что делаешь, Гоша? Проснулся?

— Ничего, — откликнулся Георгий, не повернув головы. — Что случилось?

— Пойди, управься на дворе. У меня квашня. Поросенку и курам я приготовила.

— Сейчас, — сказал Георгий, надел брюки, рубашку, убрал постель и вышел в прихожую.

Из жерла печи тянуло устойчивым жаром, в комнате было тепло. Возле стола в халате с короткими рукавами стояла Вера, раскатывая тесто для пирогов. Занавески всех трех окон были сдвинуты на стороны, на широких подоконниках, в горшках, теснились цветы, но в комнате было светло от утреннего света, да еще под потолком горела лампочка: Вера, проснувшись, включила, а потом забыла, видимо. Георгий нажал пальцем на выключатель и стал умываться над тазом под рукомойником, что подвешен был на гвоздь справа от двери, в углу. Причесываясь перед зеркалом, Георгий грустно улыбнулся себе одними глазами: ничего, брат, не поделаешь — сорок лет! Надел фуфайку, поднял за дужки сразу оба ведра, толкнул коленом дверь и молча вышел.

Дров и воды Георгий запас в избу еще вечером, и потому в избе ему особонечего было делать. Вчера, после бани уже, обсохнув и передохнув, выйдя, управься со скотом, Георгий долго сидел в ограде на колодезном срубе, курил, думал, глядя в темноту. Вечер был теплым, пасмурным и томительным. С деревьев в палисаднике капало. Георгию чудилось, будто бы он слышит, как в оттаявшей земле шевелятся, расправляются корни. Темнота сгустилась, а он все сидел, он сидел еще и после того, как открылась сенная дверь и выглянувшая Вера, поискав по ограде глазами, спросила:

— Гоша, ты где? Чего так долго? Иди, чайник остынет, ты же чай собирался пить. Иди, озяб небось, — поздно уже.

В баню они на этот раз ходили порознь, Вера мылась последней, хотя ссора была и не ссора, просто напряженный разговор, и теперь, выглянув в ограду, заговорив первая, Вера приглашала помириться и все забыть. И он не сердился вовсе, просто ему было грустно больше обычного и разговаривать не хотелось, даже с женой. Георгий отозвался на голос, сказал, что скоро будет, а сам продолжал сидеть в ограде. Спать не хотелось и в избу не тянуло, сидел бы вот так, даже не в лесу, на берегу речном или озерном, а вот здесь, возле избы, сидел бы всю ночь, дожидаясь утра. Костер бы еще развести небольшой, жаркий — хорошо...

Потом Георгий направился домой. Снял в сенях сапоги, закрыл сенную дверь на засов. В избе было чисто, прибрано — Вера с утра занималась уборкой. Хотя у них всегда было чисто и прибрано в избе — в будний ли день, в праздники. На окнах висели свежие занавески, промытый узкий половик дорожкой стелился от порога к лавке. Тапки стояли тут же.

Ходики показывали половину одиннадцатого. Вера еще не спала. Она сидела у стола, штопала его протершиеся, выстиранные и высушенные шерстяные носки, чтобы прибрать их до зимы. Георгий постоял посреди передней, хотел что-то сказать жене, не сказал, не стал пить чай, молча прошел в горницу и притворил дверь. И Вера ничего не сказала мужу, ожидая, что он сам заговорит, ведь она выходила к нему. Закончив с носками, вздохнув едва слышно, она разобрала постель в передней и легла одна. Она еще долго не могла уснуть, ворочаясь и вздыхая, уже не таясь.

Георгий тоже не спал, лежал на спине с открытыми глазами, потом тихонько встал, включил настольную лампу, взял с этажерки Гайдара, сел к столу и начал читать «Судьбу барабанщика». Было тихо в избе, тихо на деревне, не слышалось даже лая собак, за окном — темень, а он сидел и читал, подперев рукой голову, свесив волосы. Отвлекаясь от книжки, глядя перед собой на оранжевый абажур лампы, Георгий вспоминал окраину города, барак, где они жили с матерью, проводив отца на войну, смерть матери, похороны, уличную жизнь свою, крыши поездов, на которых путешествовал он, переезжая из одного города в другой, пока не оказался в детдоме. На какое-то время Георгию от всего этого стало совсем скверно, чуть не до слез, он закусил губу, покачивая головой, думая, что вот завтра ему исполняется сорок лет, потом пятьдесят — а вре-

мя летит, черт знает как быстро, — и все... Сорок лет — и он один. Ни отца у него, ни матери, ни братьев и сестер. И вот та рыжеволосая располневшая тридцатичетырехлетняя женщина, что лежит на кровати в соседней комнате, единственный родной ему на всей земле человек.

Он уснул расстроенный, во сне видел мать, похороны и плакал. Когда проснулся, лицо и край подушки были мокрые. Георгий подумал, что, видимо, кричал ночью он, — если кричал, Вера, конечно, слышала и скажет. Но Вера ничего не сказала. Она попросила помочь на дворе и все.

Это было вечером и ночью. После ночи, в свою очередь пришло утро, светлое, солнечное. Георгий, не выпуская ведер из рук, стоял в ограде, улыбаясь, жмурясь от солнца. Стоял минуты какие-то. Ему надо было скорее освободиться от работы, он хотел пойти за деревню, погулять.

Сначала Георгий выгнал (напьются в любой луже) за огород корову, годовалого быка с теленком, следом за ними — овец. Стадо еще не собрали, не могли найти пастуха, и скот пока бродил близ деревни. Старый пастух отказался, что-то не устраивало его, да и травы еще не было — куда гнать. Выбросив из коровника в огород через специальное окошко навоз, Георгий перенес туда узкое длинное корытце, разложил курам корм, и пока они клевали, кудахтая и толкаясь, вычистил в курятнике и у овец. Потом перешел к свиньям. Тяжелый боров лежал на соломе, лениво и редко хрюкая, а поросенок бегал по клетке, повизгивая, — хотел есть.

К длинной, на две двери, рубленой избушке примыкал просторный глухой соломенный двор, тут и размещалось все хозяйство. Избушка делилась еще и на перегородки. С началом холодов, каждого в свое отделение, перемещали туда кур, поросенка, телка. В самые сильные морозы в избушку загоняли корову, чтоб не сбросила надоев, овцематок с маленькими ягнятами. Откроешь зимой дверь коровника — пар ударит в лицо...

Закончив работу, Георгий присел в ограде на чурку, прислонясь спиной к стене двора, закурил. Он всегда передыхал так, управясь. Работа была не ахти какая, обыденная работа, которую выполнял он ежедневно, на протяжении вот уже многих лет. Но всякий раз Георгий делал ее добросовестно, до некоторых пор, с удовольствием, а потом курил на обычном месте, отдыхая, с сознанием, что поработал он хорошо, как и требуется от человека. Загребая лопатой навоз, перегоняя из клетки в клетку поросен-

ка, рассыпая на чистом месте зерно курам, он, не отвлекаясь ничуть, отмечал попутно взглядом, где у него что не так. Избушка крепкая, простоит долго, и двор крепкий, нигде не продувает, не намедает снегу вовнутрь. А вот здесь половица прогнила, прогибается под ногой, глядь — проломится, надо завтра заменить. Здесь у гвоздя, поддерживающего на петле дверцу, перержавев, отлетела шляпка, нужно вытащить старый гвоздь, вбить новый. А тут следует выложить обломками кирпича, чтоб тверже ноге. В остальном же всюду порядок: надежны полы, матицы, слези, стены и крыши. Лопата для навоза и вилы стоят в одном углу, вилы для сена — в другом, каждой мелочи свое место, как в ограде, так и в избе. Все у него, до последней щепки, в памяти, обо всем он помнит, чередуя, к чему и когда приложить руки.

Но сегодня Георгий управлялся на дворе не то чтобы с равнодушием, а без обычного увлечения. Не порадовали его ни бороз, растянувшийся на соломенной подстилке, ни маленькие ягнята, подпрыгивающие в игре, ни теленок — Георгий приучил теленка подходить к своей руке и гладил его, разговаривая. И, сидя, по обыкновению, на чурке, затягиваясь горьким дымом, Георгий думал о чем-то далеком, не связанном с этой усадьбой, хозяйством своим, деревней, где он прожил ни много ни мало — пятнадцать лет.

— Сорок годков тебе, мальчик, — сказал он негромко, покачивая по привычке головой.

Боже мой — сорок, это надо же. Как быстро. Когда я жил в бараке, а потом в детдоме, я и не подозревал даже, что существует такой возраст. Когда приехал сюда, я был совсем молодым. А сейчас мне сорок лет. У меня жена. У меня изба, двор, баня, огород — все это называется усадьбой. У меня полон двор скота. У меня...

Сегодня придут гости, станут поздравлять, желать здоровья, счастья, успехов в работе, радостей в личной жизни, долгих лет. Сорок лет, скажут они, — это ерунда. Надо прожить еще столько же. Ну — чуточку меньше. А он будет благодарить их, улыбаться, тянуться с рюмкой, чокаясь, и опять благодарить. А потом гости уйдут...

— Гоша, — вышла на улицу Вера, — иди завтракать, яичница стынет. Тепло-то как, господи. Хоть бы погода наладилась. В прошлую весну в эту пору уже картошку посадили. А нынче... Идем, Гоша. Ты чего, не заболел, а?

В избе вкусно пахло стрянней, стекла пламенели — солнце играло в окнах. Помыв руки, Георгий сел к столу.

Он ел яичницу с хлебом, запивая кипяченым молоком. Вера сидела напротив, изредка взглядывала на мужа.

— Ты что сейчас станешь делать? — спросила Вера, заканчивая завтрак.

— А что? — Георгий допивал молоко. — Что ты хотела? Помочь чего нужно?

— Столы принес бы от Мишуковых. Два стола. Я договорила с ними. Сходи, пожалуйста.

— Принесу, — пообещал Георгий. — Потом, после обеда. Пока погулять пойду.

— Куда? Ты ненадолго, Гоша? В три мне столы накрывать, слышишь? Да переоденься, неужели так пойдешь? Я рубашку приготовила, в полоску. Шляпу надень.

— Так и пойду, — Георгий встал. — Кто же в шляпе за деревню ходит. Я недалеко, пройдусь берегом и обратно. К двум вернусь. Что ты смотришь?

Георгий обул возле крыльца резиновые сапоги и, как был в расстегнутом пиджаке, с непокрытой головой, притянул за собой калитку. Перейдя мост через Шегарку, он выбрался на высокий правый берег и неспешно пошел встреч течению, по старой, подсохшей уже, тропинке. На огородах, подступавших к берегам, лежала собранная в кучи темная картофельная ботва. Перед тем как пахать огороды, ботву будут жечь, но покуда она лежала осевшими кучками, мокрая и осклизлая, не успев просохнуть на ветрах. Весна была поздняя, речка вскрылась перед Майскими праздниками, на День Победы валил мокрый снег, дул ледяной ветер. Полевые работы велись кое-как, тракторы вязли в раскисшей земле, молодая трава едва пробивалась сквозь полегшую прошлогоднюю, по улицам ходили сторзой, держась изгородей, — грязь.

Сегодня двадцатый день мая, и это был первый теплый день за всю весну. Вода в речке немного убyla, но берега были голые, неуютные — не скоро, озеленя края, вырастут камыш и осока, расцветут белым и желтым кувшинки. Куриная слепота набирала цвет, но в сограх по кочкам еще держалась вода, и почки на березах едва проклюнулись — далеко было до листвы. Возле плетней крапива поднялась на три пальца, жгла руки.

Покусывая сорванную травинку, редко и крупно шагая, не застегивая пиджака, Георгий уходил правобережьем за деревню, к плавному речному повороту, где на крутом берегу над широким темным омутом рос старый раскидистый куст черемухи. Шел, глядя по сторонам, чувствуя

затылком солнце, ветер заворачивал ему на глаза светлые волосы, и Георгий на ходу поправлял их, отгребая со лба рукой. Черемуховый куст памятен был Георгию с первых дней жизни в деревне. Много раз отдыхал он под кустом, возвращаясь с дальних омутов с удочкой или с ружьем. Сюда они приходили с Верой, гуляя вечерами перед тем, как пожениться.

Высокие места оттаивали, прогревались быстрее, почки на черемуховых ветвях разбухли, полопались частью, готовые выбросить узкий лист.

«Скоро расцветет, — обходя куст, думал Георгий. — Когда черемуха цвела и пели соловьи, — вспомнил он слова не то песни, не то стихов. — Когда черемуха цвела и пели соловьи. Когда черемуха... А как же дальше?»

Соловьи в этих местах не водились, но черемухи было много, и по веснам Георгий любил уходить в перелески, смотреть, как она цветет. Он знал все почти дальние и ближние черемуховые кусты, и в палисаднике у него росла — цвела черемуха, посаженная в ту осень, когда построена была изба. Цвела. В полях, перелесках, по берегам. А потом появлялись, спели ягоды — на одном кусту мелкие и невкусные, на другом — крупные и сладкие. Черемуху рвали мало. Перезрев, ягоды морщились, сохли, в сентябре, в листопад, их склевывали дрозды, оголяя и рябиновые кусты.

— Когда черемуха цвела, — Георгий поискал, на что бы сесть, ничего не нашел, стал рвать горстями полегшую длинную и бурую прошлогоднюю траву, сложил под куст и сел лицом к речке, прислонясь спиной к стволу. Низкий левый берег переходил в распаханную полосу, засеянную озимыми хлебами, полоса подступала к сквозным пока березнякам, которые перелесками, перемежаясь с полями и сенокосами, уходили к бору. Георгий бывал и в бору.

Он сидел так, держа в пальцах потухшую папиросу, думая, что вот наступило наконец тепло, скоро зазеленеет все окрест, прогремит — перекатами от края до края по небу, с высокой семицветной радугой — косым сильным дождем первая весенняя гроза, вспашут и засеют поля, засадят картошкой и овощем огороды, расцветут, кому положено цвести, деревья, расцветут по полям весенние цветы, ребяташки будут приносить в деревню букеты огоньков и марьяных кореньев, зашумят под верховым ветром березняки и осинники, окаймят речные берега осока и камыши, вода успокоится, прогреется, станут выходить на

отмели шуки-травянки, станут брать на червя окуни и чебаки, в школе закончатся занятия, учеников распустят на летние каникулы, а он, Георгий, судя по всему, снова останется на лето в деревне. Подойдет своим чередом сенокос, и Георгий привычно втянется в него, заготавливая сено сначала для себя, потом для Вериных родителей. А еще полоть и окучивать картошку, а еще... Пролетят, не уследишь, летние месяцы, и он опять не побывает нигде, ничего не увидит. Которое лето подряд.

Неделю назад завела Вера разговор: через несколько дней его день рождения, надо подготовиться как следует, собрать побольше гостей — сорок лет. А Георгию так хотелось побыть в этот день одному, уйти за огороды в перелески, побродить, подумать. А к вечеру вернуться, успокоясь.

— Может, не будем затевать на этот раз? — спросил он жену. — Пропустим, а?

— Да ну-у, — вытянула губы Вера. — Начнут по деревне говорить. Скажут: вот, сорок лет человеку, а не отметил, пожадничал. (Георгий поморщился.) Я уже некоторых пригласила, Гоша. Водки припасла десять бутылок, три бутылки красного вина. Продавщица специально для нас оставила, я ее еще до праздников просила: как привезут, оставь. Наливки своей не хватит.

— Ну и хорошо, что припасла, — Георгий попытался улыбнуться, не получилось. — Пусть стоит себе, не пропадет, надеюсь. Сами же и выпьем. Вдвоем, после бани. Я белую, а ты красную. И песен попоем — одни, без застолья...

— Да ну, Гоша, — Вера не слушала мужа. — Тебе — шутки, а я какими глазами стану смотреть на людей. Пригласила, называется. Барана надо зарезать, Гоша. Того, с кривым рогом, покрупнее. Свинына и говядина есть еще.

Барана зарезал и разделал мужик из их переулка. Он всегда помогал по осеням Георгию и свиней колол. У самого Георгия духу не хватало убивать, он и охоту из-за этого бросил. Пришел мужик, сделал как надо.

С бараном управились, но в субботу утром Георгий попытался еще раз уговорить жену. Завтракали, она была в добром настроении, смеялась.

— Давай пропустим, Вер, — сказал он. — Знаешь, душа не лежит. Что-то не по себе, нездоровится, что ли. Сплю плохо. Обойдемся без гостей. Собираем же всякий раз и на твой и на мой дни рождения. По праздникам у нас застолье. Я не против гостей, но сегодня... Могу я побыть один в такой день?



— Да ну-у, — тянула недовольно Вера. — На День Победы мы были у Якушевых...

— Да эти Якушевы девяносто девять раз у нас перебывали, — сдерживаясь, сказал Георгий. — Осенью мы приглашаем. Зимой приглашаем. Новый год встречаем у вас. Восьмое марта отмечаем у нас. Майские только что... Зайдет кто-либо — сразу за стол, без этого не обходилось. Куда еще?..

Ничего не получилось, не убедил. Вера заплакала, закрылась в горнице, Георгий вышел на улицу. Так весь субботний день и вечер промолчали они, занятые каждый своим делом и мыслями, и лишь вечером Вера заговорила, когда он в темноте уже сидел в ограде, курил, слушая, как капает с веток.

Пятнадцать лет прожили Георгий с Верой, и все было ничего или — почти ничего, но последние три-четыре года стали заметно томить Георгия. Шестнадцать лет назад двадцатичетырехлетним парнем приехал Георгий сюда, на Шегарку, после института, учителем географии. Он сам попросил далекий район, далекую деревню. Хотелось резко изменить жизнь, отдохнуть от городов, пожить в глуши, где и речка, и озера, и лес. Посмотреть своими глазами, глазами постоянного жителя, а не приезжего человека, все то, о чем он до этого читал в учебниках и книжках. Знал по рассказам.

Деревня называлась Вдовино: медпункт, школа-восемилетка, почта, клуб с крохотной библиотечкой, магазин. Пятьдесят с лишним дворов по берегам речки — притока Оби. За огородами сразу березовые согры, дальше — тайга. Сельсовет от Вдовино почти в тридцати верстах, там центральная усадьба совхоза, школа-десятилетка, ремонтные мастерские, куда из областного города по сухой погоде летали маленькие десятиместные самолеты. Районное село далеко, город еще дальше. Вверх по Шегарке была еще одна деревня, Жирновка, школа там четырехклассная, учеников мало, учительница работала давно, тянула до пенсии, да и не могли его, специалиста с высшим образованием, направить в начальную школу. А подальше Жирновки не меренные вглубь и вширь, среди тайги, болота, где брала начало Шегарка, левобережный приток большой реки. Вот куда попал учитель географии.

Во Вдовино от сельсовета Георгий доехал на попутной машине, везшей почту. Прибыл он за неделю до начала занятий, первую ночь ночевал у директора школы, мест-

ного жителя. А наутро директор стал определять его на квартиру. Если бы Георгий был семейный, дали бы ему жилье — избу из пустовавших, одинокому же лучше всего было пойти на постой, как говорили в деревне. Вечером, перед сном, директор, рассуждая вслух, начал перебирать одну за другой — сначала по правому берегу, на котором находилась школа, потом по левому дальнему — семьи, где бы мог жить Георгий. Директору хотелось поближе к школе — весной, осенью грязь; чтобы хозяева были добрыми, чтобы они были чистоплотными, изба теплой и просторной, главное же, чтобы жили они сами по себе, отдельно от детей. Директор имел в виду детей взрослых, самостоятельных. Но ничего подходящего, со всеми нужными условиями, не находилось. Поселиться бы у одиноких стариков, не немощных, за которыми ухаживать надо, а в силе еще стариков, и жить без забот, сколько проживется, но стариков таких по деревне не было, и директор остановился на Верных родителях, прикидывая так и этак.

— Детей у них двое, — говорил он Георгию, — парень и девка. Но парня в армию взяли, проводили недавно. Хороший парень, на тракторе работал. Осталась с ними дочь. Восемнадцать лет девке, Верой зовут. Ученица моя бывшая. Закончила восьмилетку, от стариков отрываться не захотела, устроилась почтальоншей на почту. Начальница ее на пенсию вот-вот выйдет, Верку в замену себе готовит, наставляет ее, а с октября, слышно, на курсы шестимесячные посылает в райцентр. Остаются старики одни, вот ты у них и проживешь, пока суд да дело. А там видно будет, на улице не оставим.

Директор предварительно переговорил с хозяевами, те согласились, и Георгий стал жить на квартире своей будущей жены. Дом стоял на левом берегу, на задах. Усадьба как усадьба: изба, двор, баня, огород. За огородом сразу березняк, мать Веры туда ходила смородину рвать. В ограде колодец — на речку далеко по воду. Хозяева обходительны, не шибко словоохотливы. Хозяин молчалив. Он уже несколько месяцев на пенсии, но ходит еще по привычке на ферму, плотничает. Мать давно отработала свое, хозяйством занята с утра самого до вечера.

Вера оказалась рослой веснушчатой смешливой девушкой, аккуратной в одежде. Порядок в доме наводила она, помогая матери: любила уют. Вера уступила квартиранту горницу, он было запротестовал, но она не захотела слушать, родители поддержали ее.

— Что вы, — говорили они, — неудобное дело. Вам надо отдельно, а мы все свои, в одной поместимся. Заходите. Да Вера и уедет скоро, не успеешь оглянуться. Месяц всего остался...

С Верой Георгий подружился, вечерами ходили в клуб: фильмы в деревню привозили часто. В октябре, точно, уехала Вера на курсы, в письмах родителям передавала всякий раз Георгию приветы. А Георгий работал, втягиваясь. В школе он вел географию, с пятого по восьмой, а наряду с географией еще и физкультуру. Директор ему передал физкультуру, снял с плеч своих. В местном Георгия избрали, надавали кучу общественных нагрузок, поручили самодетельностью руководить. Коллектив учителей маленький, сработался давно, мужчин двое — директор и Георгий, учеников несколько десятков, был еще интернат за высохшим прудом, оставшийся от старых времен, когда в школу сходились ученики из шести деревень. Теперь в интернате жили только жирновские, остальных деревень не было и в помине, давным-давно разбрелись.

Вера училась на курсах, Георгий работал в школе и жил у ее родителей, присматриваясь к крестьянской жизни, расспрашивая, догадываясь сам. Он многое перенял от хозяев, и это ему ох как пригодилось потом, когда Георгий, женившись, стал жить самостоятельно. Научился на первых порах держать в руках топор, пилу, вилы. Топит хозяйка в субботу баню, Георгий рядом, наблюдает — как она в каменку поленья кладет, сколько дров уходит на один протоп зимой, сколько летом, как воду для мытья нагреть, как почувствовать, готова ли баня, чтоб не угореть. Разводит хозяйка квас, Георгий подсаживается поближе — и к этому у него интерес. С хозяином он в поля за сеном ездил, по снегу уже. Учился воз раскладывать на санях, меняясь — сначала один на возу, другой подает, и — наоборот. За дровами в бор ездили. Хозяин, видя сметку квартиранта, показывал, как валить в снегу с корня березу, крижевать, укладывать-увязывать дрова на санях. Но лучше всего потянуло Георгия к охоте, в тайгу. У хозяина широкие, обитые лосиной шкурой охотничьи лыжи, два дробовых ружья, старая умная собака. Хозяин на время, до возвращения сына, отдал Георгию одностволку. Тот разбирал ее, чистил, смазывал, собирал заново. Заряжал патроны, засыпая меркой порох и дробь, справляясь у хозяина, как льют пули.

В ту осень, лежа поздними вечерами за закрытой две-

рю в Веринной горнице, осмысливая настоящее свое положение, думая о будущем, Георгий рассуждал примерно следующим образом. Ну, что ж... С мая текущего года пошел ему двадцать пятый год. У него высшее педагогическое образование. Он одинок: ни родных, ни близких. В городах пожило, хватит. По натуре своей он не горожанин, всегда тянуло в деревню, вот он и приехал в деревню. Здесь ему приглянулось: тихо, лес, речка... Не грешно, как говорится, и жить и умереть на этом месте, когда наступит последний час.

Нравились люди, нравился размеренный уклад крестьянской жизни, с постоянными заботами, какое бы время года ни стояло. Георгий видел, как молчаливо и добросовестно работают деревенские жители в полях, на скотных дворах, делают домашнюю работу; понимая, что люди эти заслуживают самого высокого уважения, он проникся благоговением к ним.

Двадцать пятый год... Это не так уж и много, но и не мало. За ним придет двадцать шестой, тридцатый. Надо определяться, Георгий. Заново обретать родину, пускать корни. А что ж. Пожил по общежитиям. Теперь на квартире. Пора обзаводиться своим домом, своим углом, не будет же он жить в квартирантах годами. Нет, свой дом. Здесь или в другом месте. А почему в другом? Здесь, конечно. Работа у него есть, работу он знает, любит, ведет как следует. Иметь заботливую работающую жену, дом и на дворе все то, что необходимо в деревенской жизни. А летом поездки с семьей к морю, в горы, в степи: открывать дальние страны, о чем он так мечтал в студенчестве. Вот закончу институт, начну работать, появятся какие-то деньги, лето ежегодно свободное, стану ездить, смотреть, пока молод, пока интерес есть к жизни, жену возить, детей. А когда и одному... Так думалось в институте.

Надо было жениться, находить невесту. В институте у Георгия были подруги, но подошел выпуск — расстались, разъехались, забылись. Здесь поискать, в деревне. В деревне девок на выданье, кроме Веры, не было. Учительниц в школу не присылали, ни в прошлый, ни в позапрошлый годы. Была в медпункте медсестра, но она сама жила на квартире, да и не нравилась Георгию. А Вера нравилась. Вера была молода, здорова, проворна в работе, из хорошей семьи. И характер вроде не трудный. Георгий остановился на Vere.

На Новый год Вера приезжала попроведать родителей.

В школе была елка, Георгий пригласил Веру. Засиделись до утра. Первый Новый год встречал он в деревне. Шли домой в шестом часу: луна, мороз, снег скрипит — замечательно. К Восьмому марта послал Георгий Вере поздравительную открытку, писал, что скучает и ждет. Вера приехала в начале апреля, в мае приняла почту. Черемуха как раз цвела, и вот сюда, по берегу, к кусту и дальше, ходили они гулять. А осенью поженились. В октябре была свадьба. Старики Верины просили, чтоб подождать до праздников, а Георгий их уговорил: праздники сами по себе хороши. Ездили в сельсовет расписываться, дорога в комьях смерзшейся грязи, снегу не было. Сидели в кузове почтовой машины, мерзли и смеялись. Вера была в белом шерстяном платке...

Избу молодым рубил тесть, собрав в помощь стариков-плотников. Можно было бы жить с родителями Веры, но Георгий посчитал — тесновато, дети, надо полагать, появятся, да и парень должен демобилизоваться из армии. Кроме всего — самостоятельности хотелось. Место для избы выбрали веселое, просторное, на берегу Шегарки, у косогора с осинами. Стояла здесь брошенная полусгнившая избушка, раскатали ее на дрова, сгребли, сожгли мусор, выкосили бурьян. Зимой Георгий с тестем лес готовили...

А избу строить, оказывается, ох как непросто: умение нужно, время, запас материалов. Георгий в свободные часы присматривался, вникая во все, старался помогать мужикам. Как сладко пахли смолистые ошкуренные сосны — помнил он до сих пор. Возьмет стесанную щепу, поднесет к носу, потянет, зажмурясь, — аж голова кругом. Подняли под крышу избу, сарай в стороне поставили, баню — без бани усадьба не усадьба — поближе к берегу, чтоб легче воду речную носить, огород пригородили, распахав под снег целик. Придет из школы Георгий, поест наскоро и побежит к строителям. А там стучат вперебой топоры с молотками, крестят дранкой стены, месят глину, бьют печь большую, вставляют окна. Начали с первой прсталины, а вселились — осень уже, по первым заморозкам: два года пролетело, как приехал в деревню. Справляли новоселье. На свадьбе одаривали молодых — деньги «на блины» бросали, на новоселье приносили кто скатерть, кто полотенце или тарелку, дедовскую еще, расписанную цветами, чтобы изба не пустовала. Тесть с тещей выделили от себя телку, поросенка, трех овец, десяток кур с петухом. Отгуляли,

никто из строителей уже больше не приходил, а тесть долго еще топтался по усадьбе: двор доделывал, перегородки в сарае ставил, деревья сажал с Георгием в палисаднике. Каждой породы по одному дереву приносил Георгий из леса, высаживал рядками. Вроде бы все уже недоделки устранили, утром — глядь, идет тесть с топором — полюбил зятя.

Поначалу отраднo было сознавать Георгию, что вот есть у него наконец на земле свой угол, свой дом, где он хозяин, куда можно вернуться в полночь и за полночь, не опасаясь кого-то побеспокоить, можно приглашать гостей, можно... Еще на усадьбе двор, а в нем скот и птица, и ты умеешь уже ухаживать за всей этой живностью, заботиться, чтобы стояла она в сухих теплых чистых пригонах и клетках, вдоволь получая корма. Ты умеешь затесать кол, прострогать доску, обрубить надломившееся копыто теленку, протопить, если нездоровится жене, баню, подшить валенки, завести квас или квашню.

Возвращаясь с охоты с осенних полей, шагая по хрустящей под сапогами, заиндевелою от первых заморозков полегшей траве, завидя издали крышу своего дома, Георгию приятно было думать о том, как своевременно и хорошо подготовился он к зиме, не отстав ни в чем от деревенских. Какая у него просторная — на двух-то человек — изба. Завалинки давно подняты под наличники окон, вторые рамы вставлены и оклеены по зазорам полосками плотной бумаги, избяная дверь утеплена войлоком, сенная сама по себе закрывается плотно, к сеням пристроен тамбур, где всегда лежал запас дров, чтоб в снегопад, метели и мороз не бежать к поленнице. В тамбуре снимали сапоги, галоши с рабочих пимов, мокрый дождевик. В подполье, разбитом на закрома, лежала картошка, овощи. Стояли в посудинах соленые огурцы, помидоры, соленые и маринованные грибы. Варенье трех сортов, моченая брусника. В кладовой — кадка рубленой капусты, в деревянном ящике шесть ведер отборной клюквы. В огороде, недалеко от сарая, у Георгия погреб. И там запас картошки, свеклы, моркови, редьки. Ботва на огороде собрана, сложена до весны в кучи. Во дворе скотном — порядок: корова доится — на удивление, овцы дважды в год дали густую длинную шерсть, ягнята за лето выросли, бык — хоть на выставку отправляй. Быка он продаст, к Октябрьским мужики помогут завалить борова, четырех баранов — мясом он будет обеспечен до тепла. Это — свое, а еще охота подкармливала. На крыше

сарая у Георгия стоит — берег за огородом выкосил — небольшой стожок сена — на осень скоту, пока не проложат после снегопадов санные дороги в поля, где сметаны, при погоде, три стога, каждый центнеров по двадцати пяти. Все слава богу, всякая мелочь — на дворе и на своем месте. Школьные дела идут как нельзя лучше, поговаривают, что быть ему директором, когда старый уйдет на пенсию. Сам он молод, здоров, силен. Жена молодая, здоровая, сильная. Все есть — дети нужны. Сын или дочь — не важно, а то и оба сразу. А что?..

Рожать Вера собралась на третьем году семейной жизни. А до того не ко времени было: у родителей жили, строились. Собралась — и не родила. Стали ей помогать при родах, операцию сделали, ребенок не прожил и часа. А когда выписывалась из больницы — сказали, что детей у нее больше не будет. И не оттого, что операцию перенесла, потеряла ребенка, а от мысли, что бесплодной осталась она теперь на всю свою бабью молодость и муж, которого она любит, конечно, бросит ее, — расхворалась Вера, расхворалась, высохла, ссутилась, не узнать. Стала лечиться на дому по советам, пила отвар, настоянный на травах, собранных матерью, стала горевать, сидя у окна, плакать и все боязливо взглядывала на мужа, страшась лишней раз заговорить с ним. А у Георгия и в мыслях не было разводиться из-за этого с женой. Ребенка он не видел, думать о нем, как о живом человеке, не мог. И вины Веринной в происшедшем не находил. Мало ли чего. С любой женщиной подобное может случиться. Вдруг завтра потеряет он, к примеру, слух или зрение, ногу сломанную отнимут у него. И что же тогда — бросит жена Георгия? Да нет, не должна бы. Вот ведь баба — взяла в голову...

Стал он успокаивать Веру, уверять, уговаривать, чтоб не страдала, не переживала в слезах ежедневных. Плохо, понятное дело, что детей не будет. Но — что же теперь душу травить, выматывать. Жить надо продолжать, а там — видно будет. Можно со стороны взять на воспитание, было бы желание. Но это — потом: дела, разговоры. А пока надо выздоравливать, забыть о всех бедах. Живут люди без детей, не в каждой семье рождаются...

От разговоров ласковых, оттого ли, что муж рядом, уходить никуда не собирается, жалеет ее, заботясь вдвойне, помогая, Вера взбодрилась, начала веселее глядеть, есть, как ела раньше, выходить чаще на воздух, втягиваясь малопомалу в обычные житейские дела. А когда поправилась

совсем, обрела прежнюю легкость и сноровку в работе, всю свою любовь и жадность к жизни с еще большей силой перенесла она на мужа, на дом.

Успокоил Георгий жену, успокоился вроде бы и сам. Но внешне. Боль осталась в душе. Он старался не думать, не давая ей разрастаться. Значит, не будет у него сына, продолжателя рода. Умрет Георгий, и все — исчезнет фамилия. Не будет сына, который взял бы его отчество, фамилию. Георгий назвал бы его в честь отца, а сын в свою очередь назвал бы своего сына, в честь его, Георгия. Так бы и тянулась цепочка от отца к сыну. Можно, верно, усыновить или удочерить кого-то. Но чужой чужим и останется, никогда не заменит родного. Относиться к нему будешь хорошо, но душа... душу не обманешь, не пересилишь себя. Вот не везет тебе, Георгий, с малых лет: ни родителей, ни детей теперь — горе. А жить все одно надо.

Любя охоту, отчасти для того, чтобы отвлечься от разных тяжелых мыслей, Георгий в свободное время уходил с ружьем на речку, в лес. Подкрадывался к осторожным уткам, стрелял косачей осенью в пору жатвы, зимой — с чучелами, весной на токах. Сиживал у костра на озерных берегах, под звездным небом — прохладными августовскими ночами. Однажды в конце сентября, в листопад, в верховье пересохшего ручья, в березняке, поднял Георгий выводок косачей и перестрелял его, убив девять штук. Взлетев из травы, косачи расселись по березняку шагах в двадцати — тридцати от охотника, ничуть не пугаясь, вытягивая шею при выстрелах, а он, захлестнутый азартом, торопясь, бил навскид, почти не целясь, едва успевая перезаряжать подаренную тестем ободранную одностволку. Потом он собрал косачей на разостланный пиджак, чтобы завязать полы узлом и нести, опустился рядом на землю, покрытую листьями, и долго сидел, глядя на птиц, думая, зачем он это сделал. Ружье стояло за спиной, прислоненное к дереву. Это уже не было охотой, и никакой радости Георгий не испытывал. При определенной ловкости косачей можно было сбить палкой, камнем. А из ружья да на таком расстоянии.

Георгий завязал полы и рукава пиджака, поднял птиц, забросил ружье на левое плечо и через березняк, через листопад пошел по полям домой. Шагало тяжело, сгорбленно и все думал о косачах.

Охоту он бросил. Не сразу, выходил еще несколько раз и убивал, но труднее и труднее ему было поднимать ружье. Потом оставил совсем. Одностволку почистил, смазал и

повесил в горнице на стену — для воспоминаний: много было хожено с нею, много счастливых минут провел он с дробовиком по речным, озерным берегам и в тайге. Отвыкать тяжело было от охоты, ох как тяжко. Едва-едва пере-силлил себя. Отвык. А рыбу ловил. Ловил с началом тепла, как расцветала черемуха, и почитай до самого сентября, пока держался клев. Рыбачил только с удочкой. Ни сети, ни какие другие озерно-речные снасти не ставил. Сетью ловить — что выводок в упор стрелять, хмыкал про себя Георгий. Да и куда сразу столько рыбы: солить, продавать? И прелести той нет, что с удочкой. Забросил в заводи между лопушистых листьев кувшинки и, замерев, стоишь, ждешь, когда клюнет.

С удочкой прошел он шегарские берега в обе стороны от деревни на несколько верст множество раз, держа в памяти омота, речные повороты, плесы и заводи. Было у него по речке несколько любимых мест, где можно было даже в непогоду поймать десяток окуней или чебаков. Ловил он силушкой — тонкой проволочной петлей, привязанной к удилищу, шук, выходявших весной на отмели, в прогретую воду. Поймать шуку не так и просто...

А можно было, оставив ружье и удочку, пойти безо всего в любую сторону от деревни, побродить, подумать, послушать листопад, будь то осенью; пробежаться на узких гоночных лыжах по пробитой лыжне к бору и обратно в морозный солнечный день, когда деревья стоят в густом сверкающем куржаке; сходить в апреле по сырым, освободившимся от снега полям на дальние сенокосы, полежать там, отдыхая, на прогретом одонке — остатках невыбранного стога, глядя, как парит оттаявшая земля; а в мае посидеть на пне, на краю зазеленевшего перелеска, слушая доходивший из глубины березняка голос кукушки. Места вокруг деревни, от огородов до бора, были им изброжены, знал он наперечет все малинники и черемуховые кусты, знал, не хуже баб-ягодниц, где растет хмель, где смородина, где начинается в бору просека. Иногда он брал у конюха коня, седло и отправлялся после уроков часа на два, три куда глаза глядят. Надоедало сидеть в седле, слезал и шел по полям мимо перелесков, ведя коня в поводу, останавливаясь, отмечая приметы осени. Или запрягали коня в телегу и ехали на свой сенокос: рвать для пирогов позднюю калину, шиповник для заварки чая. В магазине чай он давно не покупал, заваривал ягодами, травами. Шиповник любил пить, мешая его с рябиной.

Георгию сильно хотелось пробраться в самое верховье Шегарки, к истоку, посмотреть, где же начинается речка. Жирновские мужики говорили, что где-то там, недалеко от начала, поселились бобры, пришедшие с Васюгана, Бакчара или какой другой речки, построили плотину, запрудив узкий в этом месте проток Шегарки. А сама река, судя по разговорам, начиналась в зыбких болотах, вправо от тропы, ведущей к озерам. Болота на большом пространстве заросли дремучим тальником — не продерешься, вот там-то, среди тальников, и начиналась Шегарка. От тропы, если напрямую, верст десять, не больше. Бывал на озерах Георгий, ходил по упомянутой тропе, видел издали тальники, а вот не пересек их, не разыскал истока. И бобров не видел, и плотины. А ведь планировал из года в год, загадывал: пройти в верховье, отметить начало, а потом, переходя от деревни к деревне, спуститься по Шегарке до самого устья, проследив весь ее путь. Какова она там, при впадении в Обь? Широка ли? Какие притоки питают ее, какие деревни стоят по берегам? Все это можно, конечно, посмотреть и по карте. Но карта картой, она висит на стене, и, лежа на диване, можно путешествовать где угодно, не только по Шегарке. А вот пройти пешком от начала до конца, а потом рассказать ребятишкам. Да и взрослым будет интересно послушать: никто из них, пожалуй, не спускался до устья.

И ружье, висевшее теперь на стене, удочки, заброшенные на крышу сарая, пешие прогулки по полям, прогулки верхом, сама мысль, что когда-нибудь все-таки пройдет он Шегарку от истока до устья, а потом обратно до деревни и расскажет обо всем, что видел и слышал по пути, — долгое время все это доставляло Георгию радость, пока не стало обыденным.

Лет пять прожил этак Георгий, как бы в забытьи, отстранясь напрочь от прежнего, открывая день за днем, год за годом что-то новое для себя в деревенской жизни. А потом постепенно новизна исчезла, все вошло в привычку, и он мало уже чем отличался от деревенских. Разве что работой. Ну, одевался, когда шел в школу. А в обычные часы: сапоги, фуфайка, поношенная шапка. Стоит возле двора, опершись на вилы, — мужик мужиком.

Все правильно, говорил себе Георгий, так оно и должно было случиться. Начнем теперь открывать дальние страны. Подойдет лето — сделаем первый выезд. А то я, чего доброго, мохом стану покрываться, заплесневею...

Однажды зимним вечером сидели они с женой в передней возле печки-голландки, картошку пекли. Захотелось вдруг печеной картошки, решили ею поужинать. Сидели в сумерках, тихонько разговаривая, свет Георгий выключил, любил посумерничать. Дверцы печки — настезь, угли Георгий отгреб кочергой подальше, на горячие колосники положил несколько картофелин средней величины, чтобы пропеклись лучше, переворачивал их длинной лучиной. За окном январь, стужа, а в избе тепло, тихо, только ходики стучат. Хорошо посидеть вот так, перед раскрытой печкой, смотреть на мерцающие уголья, подернутые тонким синим огнем. Вечер долгий, говорить особо не о чем, обо всем уже, кажется, переговорили, можно и помолчать. День закончился, работа дневная завершена.

— Лето настанет, — сказал раздумчиво Георгий, поворачивая лучиной картошку, — поедем куда-нибудь. Берика ты, Вера Семеновна (иногда Георгий называл жену так, чувствуя, что это ей нравится), за два года отпуск, в начале июня, скажем, и... самолетом туда, самолетом обратно, а?

— Куда? — спросила Вера, с некоторой тревогой глядя на мужа. Признаться, она давно ожидала этого и боялась заранее. Боялась, что надоест здесь Георгию и начнет он разъезжать, проситься куда-то на лето. Уедет раз, другой, а потом и... и... не вернется совсем. Найдет себе там подругу. А что ж...

— Ну — куда, — продолжал Георгий, — этим летом — к морю. На Балтийское или лучше на Черное. На Черном наверняка теплее. Купаться будем, загорать. В районо путевки попрошу, чтоб в санаторий. А можно и без путевки. Определимся, думаю, своими силами. Я море один раз всего и видел в жизни. Мальчишкой еще занесло в Керчь, — Георгий улыбнулся. — Вот и ты посмотришь. А на следующий год — в Прибалтику. Старина там. Ленинград рядом. В Ленинграде обязательно надо побывать. По музеям ходим вдоволь...

— Да ну-у, Гоша, — вытянула губы Вера. — Зачем и ехать — не знаю. Родных у нас нигде нет, к родным ездят в гости. Витька на рудниках живет, гарью дышит, какой у него отдых. Путевки могут не дать, Гош. А просто так ехать — кто нас ждет? Мне море не нужно. А тебе... чем здесь плохо? Речка под окнами. Загорай, купайся, сколько влезет. Поехать — легко сказать. А как хозяйство, огород? Сенокос подступит, кто сено поставит нам? Старики помо-

щи ждут. Их не бросишь — родители. Да и помогали они нам. А и поедешь — намучаешься только, не рад будешь отдыху. Витька с женой в третьем годе приезжали в отпуск, жена рассказывала — измучились, пока добрались. Толкотня, народу везде полно, ругань, билетов не достать. Семь рублей у нее вытащили в поезде — вот как. Хочешь, поезжай сам, Гоша, а я... Никуда я...

«Езжай сам» она произнесла неуверенно, зная, что, если Георгий и вправду уедет, ей ни в какую не поднять одной всю летнюю работу, особенно — сенокос. Придется кого-то просить со стороны, а кто согласится, лето, день — год кормит, у каждого своих забот сверх головы. Да и скажут в глаза, а то за спиной: вот, дескать, мужа к морю проводила, а сама ходишь по деревне, кланяешься: помогите. А это хуже всего — разговоры. Никаких морей.

Георгий молчал. Вгорячах, от мысли, что дождись лета — и можно будет уехать далеко-далеко, он забыл совсем о летней работе. Уехать, оставить Веру — нехорошо как-то получится. Да ничего она одна и не сделает тут без него, захлестнется. Сенокос чего стоит: себе накоси, собери, родителям накоси, собери. Это еще при погожем лете, при доброй траве. У отца Вериного руку правую свело-скрючило, топорница захватить не может, где уж ему с литовской-вилами управляться. От напряжения, признали, рука. Лет с пятнадцати топором машет — скрючит небось. А мать — что, на стогу лишь постоять может — старуха. Сын Витька, на которого надеялись родители, после армии пробыл с месяц дома, уехал. Служил он в городе, прихватил краем иной жизни, городской, в деревне не захотел остаться. Поехал обратно, к невесте, невеста не приняла его, отказала. Он в один город, в другой. Осел, помотавшись, на рудниках, женился, двое детей уже — не до родителей. Вера закроет почту и, прежде чем домой, к старикам заглянет — не надо ли чем помочь. А уж потом к себе. Редкий день не бывает у родных.

Это — одно. Второе, как понимал Георгий, сама поездка пугала Веру. Дальше райцентра нигде в жизни не была она. Да и в райцентре оказалась — учиться послали, а то бы и там не побывала. А города — ехать же надо, не ближний свет, — города, с их сутолокой, машинами, очередями, бывалым людом, заранее страшили Веру. Да и не понимала она, чего это — чтобы отдохнуть, надо обязательно куда-то ехать. Отдыхать можно и дома. Есть время — отдыхай. Главное — оторваться нельзя было от хозяйства, даже

на месяц какой-то. Георгий, наблюдая деревенскую жизнь, к удивлению немалому, отметил, что никто из работавших: ни механизаторы, ни пастухи-скотники, ни доярки и телятницы даже и не упоминали об отпуске, который был им положен ежегодно, как будто бы его и не существовало вообще. Не знал он также, выплачивали им отпускные или нет. Выплачивали, конечно, как же иначе. Да что там — отпуск, без выходных и праздников работали они из года в год и не возмущались, не оспаривали свое право на это. Да и как ей дашь выходной, доярке той же, телятнице. Замена нужна, а где ее возьмешь — замену, каждый человек на счету. Корова, она не понимает ни выходных, ни праздников. Настал день, корову надо подоить — утро — вечер, стойло вычистить, напоить, задать корму. А телята — с ними возни куда больше, чем с коровами или на конюшне. Поездка дальняя непривычна для сельского человека — верно, но не только в этом дело. Держала земля крестьянина круглый год возле себя как на привязи, хозяйство держало. Зимой еще вроде бы поменьше чуток работы, а что весну-лето-осень, тут знай держись. Какие уж там отпуска, никто и не думает о них.

Зимой можно выгадать, выпросить недельку-полторы да недалеко по родне поехать, попроведать. Но зимой он и отпуск, если отпустят, и поездка не в радость — лишний раз на улицу не высунешься. Весна наступила — работа началась: пахота, посевная. Едва отсеялись, вот он — сенокос, затянет до сентября вплотную. А там жатва хлебов. Это — в совхозе. А ведь и домашняя работа есть: огород, скотина. Вспаши огород, засади его. Пропалывай, поливай овощи. Пропалывай, окучивай картошку. Коси траву иди — июнь на дворе. Коси — торопись, сгребай — торопись, копни — торопись, мечи — торопись. Торопись да на небо поглядывай, чтоб до дождя успеть, иначе — сгниет, труд тяжелый пропадет, без сена останешься. Сметал, слава богу, по погоде. А уж осень — огород убирать пора. Заморозки — дрова готовить на зиму: зима долгая, холодная. Снег выпал, дороги в поля проложили: сено с полей вывози до метелей. И так — день за днем, год за годом, всю жизнь. Стороннему и не понять.

Георгию — легче, ему не на тракторе пахать, не навоз вычищать из коровника; работа чистая. Уроки провел, иди домой. Каждую неделю выходной, летом свободен. Правда, общественные дела захватывают, депутатские обязанности. А мужики... только успевай поворачивайся. Легче

вроде Георгию, а вот надо бы поехать — и нельзя. И Вера отпуск не брала, как приняла почту. Получит отпускные, и все. Написала раз заявление — замену не прислали из района, не нашли. А на девчонку, что почтальоншей теперь у Веры, надежды нет. Она едва в газетах-письмах научилась разбираться. Посади на свое место — запурхается, опосля за год не расхлебаешься. Уходить собирается девчонка, в город наметила. Ищи вновь кого-то...

Никуда не съездил в то лето Георгий. И на следующее не съездил. И на следующее. Прошло пять лет, еще пять, за это время побывал он дважды в районном селе — от школы посылали, вместо директора. Раз на зимних каникулах ездил в областной город, где родился, закончил институт. Пожил у приятеля-сокурсника четыре дня, побродил по городу, вспоминая. Барака их давно не было — громоздились девятиэтажные дома. И кладбища старого не было, на котором покоилась мать. Город разросся, продвинулся далеко в поля, сметая ближайшие деревни; в городе планировали строить метро. На месте кладбища разбит был парк культуры и отдыха: аллейки, аттракционы, эстрадная площадка. А вон здание ремесленного училища, где он после детдома два года учился на слесаря-сборщика. Теперь здесь ГПТУ. Вон и завод дымит трубой — там Георгий работал, станки собирал. Заводское общежитие, вечерняя школа — сюда Георгий ходил в восьмой, девятый, десятый классы. Областной педагогический институт имени Макаренко, студенческое общежитие. Городская библиотека...

Не побывал Георгий в ленинградских музеях, не побывал на Балтийском и Черном морях, не съездил в Карпаты, на Кавказ. И в Белоруссию не съездил, где под городом Могилевом, как сообщили ему еще в студенческие годы из Москвы, в одной из братских могил лежал его отец. От всего этого прибавилось много печали, стал он задумчив, малоразговорчив, старался побыть один, подолгу вечерами сидел в горнице, возле окна. «Засосало меня, как в трясины, — качал он головой. — Телята, поросята. В болото затянуло, и не заметил. Не освободишься ведь. А радовался сначала всему».

Сорок лет. Должен был произойти какой-то поворот в жизни: новый, интересный. Как тогда, шестнадцать лет назад. Завод, институт, а потом раз — деревня. Нужен был поворот, а поворота не было. И не видел его, даже издали, Георгий. А, черт!

Пошел как-то управляться, по обыкновению. В пригоне лежал бык и никак не хотел вставать с нагретого места. Георгий толкнул его ногой, бык нехотя стал подниматься. Озлясь, Георгий перехватил правой рукой вилы за рожки, огрел черенком быка по боку. Взмыкнув, бык вылетел из сарая. Георгию тут же стало неприятно, он поставил вилы, закурил. Бык был ни в чем не виноват, Георгий сам развел их: свиней, овец. Без них тоже никак нельзя, на картошке одной не просидишь. Мясa дай, молока, яиц...

А Вера была спокойна. Муж рядом, все слава богу. Родители, правда, постарели вконец, но — что делать: и она постареет со временем, и Георгий. Надо их забрать к себе, родителей. Поговорить с Георгием и перевезти. До каких же пор им одним оставаться, есть кому позаботиться, есть кому приглядеть.

Сейчас Вера готовилась к приходу гостей, торопилась все успеть сделать, поглядывала на часы, ожидая мужа. Где он там?

А Георгий сидел под черемуховым кустом, курил, смотрел на речку, на белеющие березняки. Вере нравилось быть женой Георгия, он видел это. Он видел ее радость. Она радовалась, что так удачно вышла замуж. Муж у нее образованный. Не тракторист, на которого стирать надо каждый день. Не пастух, что в любую погоду летом взял палку, взял сумку и пошел за стадом. А зимой за этими же коровами навоз ворочает. У Веры муж учитель. И сама она не доярка, не телятница, а начальник почты. Они с мужем интеллигенты, сельские интеллигенты — так Вера вычитала в газете. В работе Георгий старательный, учеников любит, директор доволен им, на собраниях всем в пример ставит. Из района приезжало начальство по школам, Георгию грамоту вручили. За успехи в работе, значит. И в деревне к нему с почтением относятся. Вере бабы наперебой еще после свадьбы говорили да и теперь. «Верка-а, муж-то у тебя, ой, молодец. Вот повезло-то. Не ругается, как наши мужики. Ребятишки не нахвалятся на него: Георгий Алексенч да Георгий Алексенч. Во как, уважение какое. А они ведь не всякого отметят, чувят. За столько лет ни разу выпимши не видели. Дома-то выпиват или как?» — приставали бабы.

— По маленькой, — смеялась Вера. — Рюмочку, с гостями. Вы же знаете сами.

— Знаем, знаем, — кивали бабы. — Ну, молодцы вы оба, спаси христос. Живите...

От таких разговоров Вера была счастлива совершенно. Она первая хозяйка по деревне, у нее чистота и порядок. По субботам уборка, баня. По воскресеньям блины. По праздникам гости. За мужем она следит, чтобы одет был всегда аккуратно. Работу свою на почте Вера ведет без замечаний. Жалоб от населения нет. Начальство ее отмечает ежегодно благодарностями и премиями. Все ее уважают, некоторые по отчеству называют. Больше Вере ничего не надо было. Детей бы еще... деток... но — лучше об этом не говорить, не думать...

Вера сама сходилась за столами к соседям. Принесла, поставила два стола торец в торец, накрыла скатертями. Что еще? Водку надо охладить. В воду колодезную опустить бутылки...

«А что, собственно, держит меня здесь? — думал Георгий, покусывая травинку. — Сорок лет, подумаешь... возраст. Уехать, бросить все. Будет новая жизнь, новая семья, дети. Начать все заново, а? Пока не поздно? Решай, Георгий Алексеевич».

Но тут же он устыдился своих мыслей. Стало совестно перед Верой. Как это, шестнадцать лет прожили и — бросить. Тогда не бросил, после больницы, а сейчас... Он представил, как останется она со всем их хозяйством, с большими старыми родителями. Будет плакать, горевать. За муж ее никто не возьмет. Женихов нет, да и... Да и не пойдет она за другого, после такой жизни с Георгием...

Как жена Вера — лучше не сыскать. Ни разу не обидела его, не оскорбила, заботлива во всем...

Георгий повернул руку с часами, встал. Пора было идти домой. К четверем начнут собираться гости.

Вторичное сырье

С некоторых пор, вместо выехавшей семьи, соседом моим по квартире стал крепкий такой мужик, по фамилии Балдохин, приземистый, плотный, прихрамывающий немного на ходу, с быстрой, слегка несвязной речью, всегда куда-то спешащий, озабоченный.

Вот останавливает он меня однажды в коридоре и скороговоркой, проглатывая слова, с бесцеремонностью не-

обыкновенной, перекладывая из руки в руку, встряхивая связку ключей, говорит. Коридор общий, я только что вышел из квартиры.

— Слушай, а ты что делаешь? Спрашиваю, что делаешь? Не работаешь, что ли, а? Совсем не работаешь? Странное дело!

— А что такое?

— Я смотрю, ты постоянно дома. На работу не ходишь. Не работаешь, стало быть? А как живешь? Чем? Деньги ведь нужны?

Ясно было, что меня принимали за тунеядца. Пугаясь, стал объяснять, что вот, дескать, литератор я и так далее.

— Пишешь, что ли? — перебил Балдохин. — Писатель? Книжки пишешь? А как фамилия? Не слышал. Вас ведь развелось сейчас, писак — гиблое дело. Куда строчите? Все равно никто не читает. Мне их на базу, книжки ваши, машинами привозят. Мы книжки рвем, превращаем во вторичное сырье. Из него делают рубероид, отправляют на стройки. Вот как. Двадцать женщин сидят, рвут. Корки — туда, страницы — туда. Одна баба говорит: эк наворочали книжищ. Взяла б сейчас лопату деревянную да навернула б хоть одного, чтоб бумагу зря не переводили. Руки отнялись — рвать. И кто им столько бумаги дает на разорение?..

Я стоял, чувствуя, как наливаются уши. Но помалкивал.

— Ты это, слышь, — со смешком продолжал Балдохин, — сознайся, какие насочинял. Я прикажу, чтоб в сторону откладывали, не рвали. Полезным делом надобно заниматься, а вы...

Пробормотав что-то, что вот, слава богу, хоть помогаем кому-то выполнять планы по рубероиду, я поспешил уйти. Разное приходилось слышать о пишущих, о написанном, но такого, как Балдохин, никто никогда в лицо не говорил. Когда обида утихла, зашел к соседу, присмотреться. Захватил одну из своих книжек. Балдохин покрутил книжку, с улыбкой сунул на полку, сказав, что на досуге полистает. Потом он сознался, что прочесть так и не смог, не поправилась.

Стали мы разговаривать. Выяснили его литературные пристрастия: кое-что Балдохин прочел. Правда, названные им книги не были отмечены высокими художественными достоинствами, но все же. Еще Балдохин сказал, что приехал из другого города, возглавил Вторсырье, втягивается в работу. Я сидел напротив, наблюдал, как держится хозяин, как говорит. Отвечал на его вопросы. Встречались

мы и позже, но о литературе разговора более не затевали. Судя по всему, я для Балдохина так и остался потенциальным производителем материала для рубероида. Не обрел в лице Балдохина нового читателя...

Он же меня заинтересовал, и вовсе не как читатель, а как руководитель. В лице нового директора Вторсырья Балдохина увидел я природного хозяйственника, каких, признаюсь, не приходилось встречать до этого. Хозяйственников, надо сказать, по сей день я не касался, не трогая производственной темы. Писал в основном о деревне, руководители редко попадали в герои. Да и кому, скажите на милость, придет в голову сделать героем своего произведения, хоть и положительным, работника базы Вторсырье, занятого какой-то там макулатурой. Отношение наше, за редким исключением, к этому самому вторичному сырью почти с детских лет легкомысленное, определяется оно бытовым выражением «утиль», отождествляясь с чем-то крайне не нужным нам, бросовым. Да и кто, думалось, из серьезных людей станет ведать подобным — утилем, хотя бы и в масштабах области. Неудачник если, случайный человек...

Так примерно думалось мне до некоторого времени в отношении макулатуры. Оказалось — нет, очень важное дело. Необходимое. Государственное. Только надобно поиному взглянуть на это дело. Взглянуть с позиции хозяина, и хозяина цепкого.

По-иному взглянуть помог Балдохин, возглавивший Вторсырье. Она и до него, конечно, существовала, база. О работе базы узнал я от бухгалтерши, проживавшей ранее в той самой квартире, где ныне поселился новый директор. Помню, все жаловалась она, собираясь уходить, подыскивала лучшее место. Дела на базе идут через пень колоду, рассказывала бухгалтер. Руководит действительно случайный человек, случайные люди работают под его руководством, из тех, кого уже никто нигде на работу не принимает. Из года в год план не выполняется, постоянные убытки, долги кругом. Подходит день зарплаты — платить нечем, банк денег не дает. За последние двадцать лет поменялось одиннадцать директоров, более двух лет никто не держится. Сама контора и территория базы в таком состоянии, что и на работу ходить неприятно. Никто нам не помогает, никто нами не интересуется, один стыд и срам. Вот доработаю год, да и перейду от греха куда-нибудь...

Плачет, а все служит. Любопытно мне стало. Дай, думаю, посмотрю. Пошел. Контора и база располагались тогда чуть ли не в центре города, на одном из проспектов. Деревянный старый покосившийся дом-контора, в которой, по рассказам, зимой держится такая температура, что застывают чернила. Часто сотрудники не раздевались, не снимали рукавиц. Нет заборов, нет ворот. На территории под открытым небом свалены как попало тряпье, кости, бумага, битое стекло, изношенные автомобильные покрышки. Нет складов, чтоб все это сложить.

Лето — над костью рой мух, бродячие собаки грызут, таскают кости. Тут же валяются бочки, различные железяки, чурбаки, куски досок, просто мусор. Стояли прессы, на которых велась прессовка макулатуры. Зимой, прежде чем начать работать, рабочий разгребал снег, освобождая прессы, затем — сырье. Работа начиналась в одиннадцатом часу, вагон грузили два-три дня. Рабочие сидели на бревнах, курили, отмахиваясь от мух. Бичи, которым некуда было деваться. Они шли в «утилку», где их брали порой и без документов, по одной какой-нибудь справке.

Понимаешь состояние человека, принявшего разбитое корыто. Спрашиваю Балдохина, что думал он тогда, в первые дни, с чего начинал. Не всякий согласится руководить подобной базой.

— Ни о чем не думал, — сердито отвечал он. — За свою трудовую деятельность несколько раз впрягался в такие же вот предприятия. С нуля начинал, с пустого места. Разгребал мусор, на расчищенном начинали строить. Дворцы возводил на пустырях...

Здесь прежде всего следовало рассчитаться с долгами. Обратился к властям — помогите с рабочей силой. Своей-то не было. Дали рабочих, школьников. Поехали на старую базу, там — здоровая площадь — вот уже пять лет лежал метровый слой макулатуры. Около двух тысяч тонн. Представляешь?! Все лето работали. Драли пласт, прессовали, отправляли в города. Из-под прессов коричневая вода бежала. Тюки тяжеленные. Думали — откажут города, не примут, потому давали большой процент скидки на влажность. Приняли. А мы спешим-торопимся, прессуем, отправляем. Собрали за лето на старой базе тысячу тонн макулатуры — она списанию подлежала. И распрекрасному Вторсырью нашему, ожидавшему очередных убытков, сэкономили почти шестьдесят тысяч рублей. Вот как, шестьдесят тысяч! А ты говоришь — с чего?

Школы крепко помогли. Это я уже по опыту знал — выручат школы, лишь наладь прием от них. Так и случилось. А до этого в школах с макулатурой курьезы происходили. «Вторсырье» к ним не обращалось, школьники соберут бумагу по собственному почину, а что делать с нею — не знают. Куда нести, кому сдавать? В одной школе трижды за год собирали, потом вынесли в ограду и сожгли — девать некуда. Пришел пожарный, оштрафовал директора за костры, а тот сразу же запретил сбор.

Я в горону, к заведующему. Как же так? Решили вопрос, наладили график вывоза. Если руководству школы говорили, что машина будет в три часа дня, то в три часа дня машина стояла в условленном месте. Дисциплина. Ну и сказалось, понятно. До меня за год по городу школы сдавали всего тридцать тонн макулатуры, а в первый год, как принял базу, сдали триста тонн. На второй — около девятисот, на третий — более тысячи. Тысяча тонн! Школы! Представляешь себе, как развернулись?!

Я все присматривался к новому соседу своему. Жили через стенку, а виделись редко, еще реже разговаривали. Да и когда? Вставал он рано. В семь слышалось щелканье замка, тяжелые по коридору шаги, стук закрываемой коридорной двери, шум мотора под окном — Балдохин уезжал на работу. Возвращался поздно, не раньше восьми, летом — в девять, в десятом часу. Вечер. Смотришь, прихрамывая, как бы неуверенно ступая, идет он от машины к подъезду, держа в опущенной руке что-то завернутое в бумагу, чаще всего курицу. Либо колбасу несет под мышкой.

Мы были с ним совсем разными людьми, никаких отношений между нами не сложилось. «Доброе утро», «Добрый вечер», — говорили мы друг другу при встрече. Каждый был занят своим делом, не докучая один другому. Часто я просто забывал о нем, как, видимо, и он обо мне. Но иной раз, видя Балдохина, устало хромающего к дому, испытывал и жалость, и удивление, и даже восхищение перед этим человеком, чего толком не мог бы объяснить. Испытывал и стыд перед ним, Балдохиним.

Старался представить его жизнь. Вот поднимется он сейчас на третий этаж в свою, потерявшую после выезда семьи уют, однокомнатную квартиру, где давно следует делать ремонт, пройдет на кухню, разделает, поставит варить курицу, сядет подле плиты и станет хмуро смотреть в окно, куда смотрел и вчера, и позавчера, и еще раньше. И не закурит, потому что не курит. И не выпьет от устало-

сти и одиночества, потому как не пьет. А уже одиннадцать, начало двенадцатого. Надобно ложиться, чтобы в половине седьмого встать. Завтракает ли он по утрам? Да и какой завтрак в такую рань, темень еще...

Редко, но заходил. Постучит, откроешь, он стоит перед дверью. Порога не переступит. Луковицу попросит, соли, хлеба или пару яиц. А то картошки нет, купить не успел, дайте картошки.

— Тяжело одному, Михаил Михайлович, — затеял я однажды разговор. — Жениться надо. Старая семья — что, не едет к вам?

— Это ты к чему завел? — Балдохин поднял широкое лицо.

— Да ни к чему... Просто так... Гляжу вот, как вы один...

— Просто так никто ничего не делает, все с умыслом. Жениться? Был женат, двадцать лет прожили, а теперь врозь. Ясно? Ей, видите, проценты-алименты могут мужа заменить. Заменят — пожалуйста, получай, я не против. Только и ко мне не суйся. А второй раз — не потяну. Сорок шесть лет трахнуло. Не мальчик на юбки поглядывать. Ну, что поделаешь? Так сложилось...

Позвонил мне один раз вечером, к телефону подошла жена.

— Твой дома? — спросил Балдохин, будто разговаривал на базе.

— Дома, — ответила жена.

— Пускай заглянет.

Зашел. Балдохин в пижаме лежит на диване, смотрит телевизор. На полу, рядом с диваном, газеты. Прочитал — бросил на пол.

— Садись, посиди, — кивнул Балдохин на стул. Скучно, вероятно, стало ему, захотелось поговорить, вот и позвонил взял.

Я сел напротив хозяина, влоборота к телевизору. Молодежный оркестр, не то «Янтарь», не то «Изумруд», что-то там наигрывал, напевал, приплясывал. Балдохин презрительно косился на экран, молчал, сопел, шевеля пальцами ног. Молчал и я.

— Эк лоботрясов развелось, а?! — кивнул Балдохин. — Оркестрики! Сколько их по стране, оркестров таких, — не счесть. В названиях одних запутаешься, а все одинаковы, не различишь. Играют! Дали бы мне их на базу, три-четыре оркестра, я бы за месяц годовой план выполнил. Развелось, как футбольных команд! Э-эх!..

Заметил мою улыбку, приподнялся живо, опустив ноги на газеты. Пижама расстегнута, волосатая грудь широка.

— Усмехаешься?! Знаю, все вы смеетесь над Балдохиным. Дескать, в мусоре копаются. Чистюли. Это для вас таких — мусор, а для хозяйственного человека — деньги, доход, выгода. Вот как! А вы — мусор. Ты хоть задумывался раз, что такое экономика, куда это идет? Ну, вот. А пишешь. О чем ты пишешь? Как птички поют, как цветочки цветут. А что-нибудь дельное — тут у вас сразу заедает. Вторичное сырье — вот о чем писать следует в первую очередь. Двадцать лет занимаюсь этим. Двадцать лет — жизнь целая. Такое дело... наипервейшее. Начнешь объяснять какому-нибудь чинуше, а он улыбается, безграмотность экономическую показывает. За границей на вторичном сырье давным-давно комбинаты громадные работают, а у нас только разворачиваться начали, да и то с оглядкой друг на друга. Богаты, видите ли, слишком. По деньгам ходим, миллионы рублей на мусорные свалки вывозим. Сжигаем. Миллионы рублей в небо с дымом летят, вот как. А нам задуматься об этом некогда — дела разные...

Балдохин волнуется и скребет пальцами грудь. Я слушаю. — В трех областях налаживал дело. Наладил. В трех областях. Эта четвертая. Приехал, а здесь тишь да благодать. «Что такое вторичное сырье?» — «Вторичное сырье? — смотрят на меня. — Отбросы, видимо». Ах, какие мы все воспитанные, — Балдохин качает головой. — Какие мы все тонкие натуры, — он морщится, страдая. — Какими важными делами мы все заняты. Где уж там макулатура. Нет, чистые деньги мы не выбросим никогда. Рубль, скажем, или хотя бы двадцать копеек. Наних можно что-то купить. Соли, спичек, булку хлеба. А вот пачки прочитанных газет мы выбрасываем ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Эти пачки газет в конечном счете могут обернуться пачкой денег. Да, да. А вот выбрасываем. Одному, видите ли, стыдно... как это он пойдет куда-то с тряпьем, сдавать. Второй ленив, третий пренебрегает такой мелочью. Четвертый настолько обеспечен, что плевать хотел на тряпье и кости. Пятый — я уверен, таких большинство — не знает, куда идти, где искать приемный пункт, кому сдавать. Проще выбросить в специальный ящик для мусора. Балдохин увлекается. Широкое лицо его потеет, потеет набухшая шея. Он подается вперед, левой рукой отбрасывает со лба волосы, правая, с растопыренными пальцами движется перед моими глазами, подтверждая сказанное. Я слушаю.

— Как бы все это нам преодолеть и побыстрее, а? — проглатывая слова, спрашивает Балдохин. — Ложный стыд, лень, пренебрежение, брезгливость, высокомерие. И взглянуть на дело по-хозяйски. Принесем пользу и себе, и государству. Вот, — Балдохин поворачивается к столу, вытаскивает из пачки схваченные скрепкой листки бумаги, — слушай внимательно, что написано. Внимательно! «Использование в народном хозяйстве вторичного сырья, — напрягаясь, громко, как глухому, читает он, — значительно сокращает расходы ценных сырьевых материалов, позволяет более экономно расходовать электроэнергию и топливо, высвобождая рабочую силу, транспорт для других нужд. Экономические выгоды этого дела очевидны, об этом сами за себя говорят цифры.

Использование вторичного текстиля (тряпья) экономит в производстве около тридцати процентов шерсти, хлопка. Из одной тонны обработанного шерстяного тряпья можно получить восемьсот килограммов восстановленной шерсти. Одна тонна восстановленной шерсти, заменяя натуральную, дает в производстве тканей экономию от одной до шести тысяч рублей. Большое количество тряпья идет на изготовление толя, рубероида, картона. Из одной тонны макулатуры получается семьсот пятьдесят килограммов бумаги, при этом экономится четыре кубометра древесины и одна тысяча киловатт-часов электроэнергии. Необходимо знать, что стоимость бумаги и картона, изготовленного из макулатуры, в два раза дешевле продукции, выработанной из древесины. Сохраняются гектары девственного леса...

— Кости животных, — передохнул Балдохин, взглядывая на меня, — служат основным сырьем для изготовления высококачественного клея. Из одной тонны костей можно получить сто шестьдесят килограммов столярного клея, сорок килограммов технического жира и около пятисот килограммов костной муки. В нашей стране, — прокашлялся Михаил Михайлович, — ежегодно изнашивается более миллиона тонн автомобильных, тракторных и других покрышек, из которых можно извлечь для повторного использования примерно семьсот пятьдесят тысяч тонн резины, сто пятьдесят тысяч тонн химического волокна, сорок тысяч тонн стали». Какие цифры, а? — Балдохин потряс листками. — Слышишь, тысячи тонн! Тысячи! Из чего?! А из ерунды — хлама, мусора! Вот как! А вы! Эх, ничего вы не соображаете в этом деле, скажу. Ты когда-нибудь в жизни своей хоть раз задумывался над этим? — Балдохин при-

стально смотрит на меня. — Видишь, не задумывался. И другой, и третий. Эту памятку, — Балдохин бросил листки на стол, — надобно перепечатать во всех газетах, центральных и местных. Расклеить на остановках, у входов в дома, школы, другие учебные заведения. Чтоб все прочли, все знали...

— Слушай, — сказал он несколько дней спустя, — да хватит тебе сочинять небылицы. Поедем, посмотришь хотя бы, чего мы достигли за три-то года. Лучше разок взглянуть своими глазами, чем без конца слушать. Поехали, не пожалеешь. Одевайся...

И мы поехали на его служебном темно-красном фургоне «Москвич», на котором Балдохин мотается изо дня в день. Машину Балдохин вел стремительно, посылая ее от перекрестка к перекрестку, беря обгон, лавируя, тормозя. Я сидел рядом, глядя вперед, думая об одном, как бы... Вот самосвал. Куда же мы?!

— Не переживай, — заметил Балдохин, — живы останемся. Машину чувствую, правила соблюдаю. Я несколько лет гонщиком был, профессионалом. Там и ногу повредил. Гонщиком, представляешь себе? Прибыли. Вот это и есть наша база Вторсырье. Пошли.

Он водит меня по территории, объясняет. Его обычно суровое, озабоченное и даже чем-то недовольное лицо меняется. Чувствуется, что ему приятно показать постороннему человеку результаты труда и своего, и коллектива. Я иду сбоку, оглядываю.

— Три года назад здесь ничего не было, — говорит Балдохин. — Пустырь, грязь, бурьян рос. Болото, словом. А сейчас. Глянь-ка...

Если бы я не увидел своими глазами всего, я бы никогда не поверил. Ну, во-первых, сама контора, в которую хоть сию же минуту, не страшась, можно переводить Дворец бракосочетаний. Двухэтажная фасонистая контора с ее парадным крыльцом, парадной дверью. А газоны напротив. А цветники. А голубые (и где только находят такие) елочки в несколько рядов. Ну и ну!

На первом этаже мужские и женские душевые, раздевалка, отдельные кабинеты для рабочей одежды, прочие подсобные помещения. На первом этаже столовая: уют, чистота. На столах букеты цветов, салфетки. Готовят хорошо. От городских посетителей отбоя нет, со всех сторон бегут сюда обедать, пришлось установить пропускную систему. На втором этаже размещены администрация, гостиница,

великолепно отделанный зал заседаний: впору проводить в нем высокие научные конференции.

— Это гараж, — указывает Балдохин на просторную добротную постройку. Ходим по территории, он рассказывает, я слушаю. — Когда три с небольшим года назад принял базу, — говорит Балдохин, — из шестнадцати имевшихся машин на ходу была одна. Да и ту не всегда могли завести, особенно — зимой. Теперь наш автопарк состоит из двадцати четырех единиц. Раньше все машины круглый год стояли на улице, теперь же вот в этом гараже. Тепло, освещение. К гаражу пристроен ремонтный бокс. Все это, между прочим, сделано своими руками и за очень малый срок.

Идем дальше. Вот ангар. Еще ангар. Склад. Весовая. Подъездные пути. Территория заасфальтирована, обнесена отличной металлической, на кирпичном фундаменте оградой: триста восемьдесят метров ограды. Всюду светильники. Чуть поодаль от базы автобусная остановка, построенная ими же. Никто не заставлял, взяли сами, построили. «Из уважения к городу», — смеется Балдохин. И не какая-нибудь там бетонная коробка, а симпатичное, художественно оформленное сооружение. И тут же, со стороны улицы, где автобусное движение, опять газоны, цветники, ровные рядки голубоватых елочек. Красиво, черт подери!

Будь моя власть, думаю себе, водил бы сюда руководителей городских предприятий, показывал бы и говорил: смотрите, любуйтесь и учитесь хозяйствовать, уважаемые товарищи.

— А вот здесь, — продолжал Балдохин, — три раза подряд у нас устанавливалась на Новый год двадцатипятиметровая елка. Украшаем ее, освещаем цветными лампочками. Устраиваем детские утренники. Приглашаем из драмтеатра Деда Мороза, Снегурочку, баяниста. И ребятишки довольны, и родителям радость.

— Вот вам и «утилька»! — говорю я. Балдохин улыбается.

— Михаил Михайлович, — спрашиваю, — как же... все-таки? Три года назад был пустырь, болото, а нынче... либо посмотреть. Каким образом, способом каким достигается подобное, хотелось бы...

— Дис-цип-лина! — отдельно выговаривает Балдохин, не дослушав меня, и подымает указательный палец правой руки. — Дисциплина буквально во всем. В мелочах. Но прежде ты ее сам должен соблюдать, руководитель. Неукоснительно. А уж потом требовать от сотрудников, от

коллектива. Будет слаженность, будут результаты труда. А безрезультатный труд — труд пустой, дураку ясно.

Как было раньше, ты знаешь. Принял базу — смешки за спиной: ну, директор новый, что-то будет. Ладно, думаю, смейтесь. Стал день ото дня легонечко к порядку приучать. Вижу, не шибко и нравится. Один подал заявление, второй, третий. Разбрелись бичи кто куда, конторские работники поувольнялись. Распался старый коллектив само собой. Из прежнего два-три человека всего осталось. Что ж, надобно новый создавать. Стал принимать. Принимаю по такому принципу, чтобы каждый рабочий, кроме основной специальности, шофера скажем, мог и еще что-то делать. Плотничать, штукатурить. И такой коллектив постепенно образовался. Дело совсем не простое. Попробуй отбери настоящих...

Порядок у нас теперь таков: я на работе в семь, в начале восьмого. Рабочие собираются минут за двадцать — двадцать пять раньше положенного времени. И вот эти-то двадцать минут каждое утро уходят на обсуждение прошедшего дня. Нарушитель трудовой дисциплины — такое иногда случается — объясняет бригаде, что стряслось. Ежели причина неуважительная, тут же происходит совет администрации с бригадой, как наказать виновного. И только после этого издается приказ. Иной раз бригада берет провинившегося под защиту — это допускается. Если же он провинился вторично, подвел товарищей, то наказывается и за старые и за новые грехи. Наказания какие? Лишаем премии. Месяца на три переводим на другую работу, рублей этак на семьдесят-восемьдесят. С двухсотпятидесяти рублей обычного месячного заработка. Ощутимо? Так вот и поступаем.

Интересно вот что: наказанный не увольняется. Заработок твердый, условия работы хорошие. Наоборот, на стороне, он даже с некоторой гордостью рассказывает знакомым, что вот такая у нас сегодня строгая дисциплина. Желающих устроиться к нам много, но берем не каждого, по выбору. Просят-ся, запомните это. И — боже упаси, чтоб кто-то выпил на работе или заявился во хмелю, завтра же его на базе не будет, возьмем стоящего. Как-то раз, — Балдохин умолк, припоминая, — заехал на одно из предприятий по делам. Смотрю, пьют. В проходной, в столярке, в слесарном цехе, в аккумуляторной. Как воду. Во время рабочего дня. И — ничего, будто бы так и надо. Не-ет, у нас не выпьешь...

Ну, что еще рассказать. Участка по области три. Соборания регулярные, подведение итогов недели, месяца, квартала. Созданы советы бригад, они и решают вопросы премий. Результаты налицо. Суди сам. Если раньше один вагон грузили два-три дня, то теперь стало обычным делом погрузить за день несколько вагонов и платформ. Если раньше база Вторсырье, кроме пятидесяти, семидесяти тысяч ежегодных убытков, ничего не приносила государству, то сегодня база дает столько же прибыли...

Балдохин поясняет, а я слушаю его и не слушаю. Чего-то недопонимаю, смущает что-то. Хочу поймать нужную мысль, не могу.

— Михаил Михайлович, послушайте. Что-то я... не доходит до меня суть дела. Видимо, причина не в одной лишь дисциплине? Три года — срок малый, согласитесь. А что же получается, вечером так, утром уже иначе. И машины на ходу, чуть ли не все новехонькие. И бульдозер у вас свой. И экскаватор у вас свой. Газоны, ограда, светильники. Возьмите контору, гараж — кирпича одного... десятки тысяч штук. Откуда кирпич приплыл к вам, а? Откуда все взялось за три года — вот что хотелось бы знать?

— Э-э, — улыбается Балдохин, — а это уже секрет. Собственно, секрет для тебя, для таких, как ты, но не для нас, хозяйственников. Ты не хозяйственник, не понять тебе всех тонкостей нашей работы. А тонкостей здесь... ого! Слушай. В любом городе сотни различных предприятий. Они не существуют обособленно, они связаны между собой. Да, незримо. Всякими отношениями. Вот в этом и вся суть — в отношениях. Слушай.

У тебя, к примеру, ничего нет: пустырь, бурьян, дощатая будка — контора. И один допотопный бульдозер. Но он на ходу. А ты — начальник базы, директор — принял ее. Си-дишь, думаешь, с чего начинать. А начинать надо, раз принял. Бульдозер, значит. Вот с этого бульдозера и следует начинать. Оглядываешься, в соседях у тебя какие-то предприятия. У соседа ближнего, узнаешь ты, нет бульдозера, который ему позарез нужен. Но у него есть грузовики, а у тебя их нет, они тебе необходимы, чтоб собрать по школам макулатуру. Входишь, ежели голова соображает, с соседями в договор, в отношения. Ты ему бульдозер на неделю, он тебе три грузовика. У него работа идет и у тебя движется.

Дальше. Пока на чужих машинах работаешь, свои срочно ремонтируй, чтобы завтра дать кому-то пяток гру-

зовых, а он тебе за это труб триста метров, скажем. Так и пошло. Трубы тебе не нужны, но ты бери, отдашь туда, где нужда в них, а за трубы выменяешь необходимое. Он тебе стекло, ты ему известь. Он тебе — тесу, ты ему гвоздей десять ящиков. Давай, но чтоб с выгодой взять. Сегодня ты беден, завтра встал на свои ноги, а послезавтра уже смотришь — дать или придержать покамест, минуты нужной дожидаясь. Дождался. Он тебе мыло, ты ему шило. Он тебе семена, ты ему стремяна. Он стонет, но деваться некуда, давай.

Так и кирпич появился. В августе завезли, а к октябрю мне гараж необходим — осень, дожди, куда машины ставить. Я нанял шабашников, все одно они по городу слоняются, работы денежные вынюхивают. Нанял, установил сроки: к концу сентября гараж чтоб был готов. Переплатил им, конечно, зато выгадал по времени. А деньги эти, переплаченные, на другом отыграл. Контору построили таким же образом. Ограду провели. Светильники...

— Позвольте, Михаил Михайлович, — перебиваю, — но ведь это... ненормально получается, а? То есть я хотел сказать, что ежели так работать, то... Неужто и другие организации...

— Хе, ненормально! — Балдохин сдвигает на затылок шляпу. Для тебя — ненормально, а для нас, хозяйственников, давным-давно стало нормой. Годами так работаем, десятилетиями. Он мне, а я ему. А иначе — как? Об этом всюду знают — в трестах, главках, министерствах. Если бы я варился сам по себе, то за мно-огие годы не расхлебался бы, сидел бы на пустыре в дощатой будке. Ждал, когда это мне трактор по разнарядке дадут. Нет уж...

Зимой я еще раз побывал на базе Вторсырье. Балдохин сидел в кабинете, за столом, спиной к окну. Зашел он взять нужную бумагу, сел, задумался. В бессменном поношенном полушубке своем, полушубок расстегнут, воротник поднят. Без шапки, спутанные волосы на лоб. Смотрит перед собой в стол, молчит. По обе стороны от него на стенах различные знаки высокого труда — дипломы, свидетельства, вымпелы, почетные грамоты, поздравительные телеграммы всевозможных инстанций.

Наблюдая за Балдохиним, думаю, что, вероятно, этому человеку тесно в рамках вторичного сырья, хотя для меня уже давно было ясно, что как хозяйственник он ходит по краю.

— Устали, Михаил Михайлович? — спрашиваю. Мы поч-

ти ровесники с ним, но, разговаривая с Балдохинным, я всегда ощущаю разницу в возрасте этак лет в пятнадцать. Обращаюсь к нему на «вы», обращаюсь с почтительностью. Почему — объяснить не могу. По моему убеждению, в подобных людях таится страшная взрывная сила. Не она ли настраивает нас на подобное обращение...

Да, думаю, тесновато такому здесь. Необходимо что-то другое, крупное. Трест. Синдикат с множеством ответвлений.

— Нет, — отрицательно качает головой Балдохин, — никаких трестов. Устал. Сверх всякой меры. Восьмой год без отпуска. И не первое предприятие на веку своем рабочем вытягиваю из грязи в князи. А работаю с тринадцати лет. Без отца жили. Брата поддерживал, помог образование получить. Мать до последнего дня была на моих руках. Сам-то заочно техникум народного хозяйства одолел, вот и все ученье. Устал. Предлагали недавно перейти в одну контору, замом. На «Волге» кататься. Отклонил.

А вот отдохнуть бы пора. Давали в прошлом году путевку бесплатную в путешествие на пароходе, с заходом в разные страны, отказался. А надо бы согласиться. Поехать, посмотреть. А то так и жизнь вся пройдет в хлопотах...

Тогда же возил он меня смотреть магазин «Силуэт», открытый на одной из улиц города. Построенный со вкусом, как и контора, напоминая видом терем, отделенный от проезжей части елочками, «Силуэт» украшал улицу. Магазин работал, принимал макулатуру, выдавая взамен товары: книжки, что не купишь в книжных магазинах, шампунь импортный, другую парфюмерию...

— Первый в городе, — кивнул Балдохин. — Намечено построить ряд подобных магазинов. Скоро пустим по улицам специальные вагоны, они будут служить передвижными приемными пунктами. Развернем пропаганду плакатами, рекламой, объявлениями. И народ пойдет к нам. Дело сделано — заложена основа, создан коллектив. Будем продолжать работу...

Месяца через два Балдохина сняли. Дней около двадцати ходил он понурый, редко с кем разговаривая, спрашивая одно и одно: «За что? Почему? Не понимаю. Разве для себя старался? Для государства. На пустыре... На бурьяне воздвиг... За что?»

Потом — смотрю, подъезжает к дому на машине опять, но не на «Москвиче», на другой совсем. Закрыв дверь, руку протягивает. Повеселевший, прежний Михаил Михай-

лович Балдохин, как в лучшие часы жизни. Костюм на нем клетчатый, галстук. Причесан.

— Как поживаете? — спросил я, видя явную перемену.

— Живу. Работу вот подыскали. Первый день сегодня...

— И где же вы теперь?

— На тарной базе. Директором. Бывшего отстранили.

— Ну как там, на тарной, дела?

— На тарной? Развал. Полнейший развал. Поднимать буду.

И пошел, прихрамывая, к подъезду.

Подъезжая под Раздоры

1

Неделя прошла в заботах, дни стояли облачные, душ-ные, как перед грозой, Григорьев уставал от встреч-разговоров по учреждениям, куда приходил, будучи командированным, больше уставал от сутолоки огромного города, машин, запаха перегоревшего бензина, и в пятницу, возвращаясь под вечер в гостиницу, чувствуя на спине и под мышками мокрую рубашку, он думал только об одном: скорее добраться, скинуть одежду, помыться и лечь.

Окно номера выходило в гостиничный двор, где росли высокие старые деревья, уличный шум почти не беспокоил — это было отрадой, окно было открыто постоянно, но свежести, даже среди ночи, ничуть не ощущалось, все ждали грозу с ливнем, после которой меняется погода, но гроза и ливень никак не могли собраться.

Повернув в дверях ключ, Григорьев поставил к стене портфель, стянул рубашку, разделся, шагнул в ванную комнату и долго и с удовольствием мылся: сначала просто лежал в теплой воде, откинувшись затылком на край ванны; спустив воду, на коленях, согнувшись, намылив дважды, промыл под краном голову, намылился весь, растерся длинной удобной мочалкой и встал под горячий сильный душ, подставляя под струи спину, грудь, ухая и улыбаясь.

Босой, в одних трусах, с полотенцем на плечах, не расчесав волос, Григорьев прошел к столу, сел в мягкое кресло, налил из сифона полный стакан газированной воды и, глядя в окно, стал пить маленькими глотками, щурясь и

морща нос от газа, поднимавшегося пузырьками со дна и стенок стакана.

Закончилась неделя, пятница была, вечер, второй жилец по номеру уехал утром, днем никого не подселили и, судя по всему, не должны были подселить до понедельника. Лежа поверх одеяла на кровати, просматривая, уже при свете настольной лампы, купленные утром газеты, отвлекаясь от газет, Григорьев думал, что все это хорошо — побыть вот так одному, но впереди подходило два выходных дня, надо было как-то занять их, чтобы не томиться и не скучать, и Григорьев стал размышлять — как занять.

Можно было пойти в театр или на концерт, так поступало большинство приезжих, но театралом особым он не был, хотя, случалось, ходил в театры, да и билетом заранее не запасся, а стоять за версту от театра, спрашивая, нет ли лишнего билета, показалось неудобным. Столичные музеи знакомы были Григорьеву по прошлым наездам, приятелей здесь он не завел. Оставались еще магазины и просьбы жены купить то и это для семьи — список необходимых покупок, составленный женой, лежал в портфеле, — но хождение по магазинам для Григорьева было куда тяжелее, чем духота и толчея на улицах и в троллейбусах, он всегда оставлял магазины на предпоследний день, покупал, что понадалось на глаза, обычно же говорил, что обошел множество магазинов, но нужного не видел.

Были у Григорьева в Москве старые добрые знакомые, приезжая, он обязательно звонил им, но ненадоёдливо, привозил гостинцы со своей стороны, приглашался в гости. Иногда, по погоде, будь то лето, как теперь, или осень, они выезжали за город на день — субботу, воскресенье, и не на дачу — дачи не было, а просто за город: в лес, на речку. Григорьев подумал, что, конечно, самое лучшее сейчас — связаться с ними, уговорить, а может, они и сами собираются, поехать куда-нибудь, в сторону Загорска скажем, сойти, где не таклюдно, побродить по перелескам, полежать в траве, подышать.

Не подымаясь с кровати, Григорьев потянулся к телефону, набрал нужный номер, подождал, подошла хозяйка, узнала по голосу, поздоровалась, они поговорили, и разговор их, как всегда, был дружеским.

Нет, сказала она, за город не думаем. Муж сразу после работы уехал навестить стариков, вернется в воскресенье к ночи, а ее одолели хозяйственные заботы. стирки одной накопилось ворох.

— Да ведь ты можешь поехать и один, — говорила Григорьеву знакомая. — Места помнишь? Ну и прекрасно. А если самому неохота, можно с кем-нибудь, на пару. С кем? Запиши давай телефон. Записывай, не стесняйся. Это моя давняя знакомая, работаем в одном институте, в разных отделах, правда. Почему неудобно? Ты же не собираешься делать ей предложение, прости господи. Или еще чего-то там. Сошлешься на меня. Да я наперед сама позвоню, объясню ситуацию. Одинокая женщина, молодая, тридцати пяти, кажется, нет еще. Блондинка, довольно милостивая. Между прочим, кандидат наук. У нас почти все кандидаты. Возглавляет лабораторию. В меру умна, в меру грамотна — поговорите о чем-нибудь. Зовут Светлана. Светик — так она привыкла. Их там компания целая отстоялась, человек тридцать. Нет, не из института, сборная. Она не любит со своими — на работе надоели друг другу. Которое лето уже ездят на одно и то же место, играют в волейбол. Недалеко, куда-то по Белорусской дороге, час езды. Мы с мужем не были ни разу, но знаем по рассказам. Соглашайся. Может быть, — знакомая рассмеялась, — понравится — мало ли чего...

Тут Григорьев хотел попрощаться, но она первая сказала: «До свидания. Бегу, бак с бельем кипит на кухне». И опустила трубку. Григорьев еще некоторое время лежал, осмысливая разговор, взял газету, взглянул на записанный телефонный номер, положил обратно на тумбочку. Поворот был совсем неожиданным. Бывая время от времени в командировках, останавливаясь постоянно в гостиницах, Григорьев, и из уважения к жене, с которой прожил шесть лет, и из обостренного чувства брезгливости, никогда не затевал коридорных романов, знакомств на улице, хотя слышал по этому поводу множество историй, одна другой чище. И сейчас ему неудобно стало за свою московскую знакомую, выступившую на этот раз как бы в роли сводни, и стыдно перед семьей: они дома ждут его, а он здесь намерен развлекаться.

А что, собственно, плохого будет в том, если я познакомлюсь таким вот образом и поеду, минутами позже говорил себе Григорьев, расхаживая по номеру. Ничего страшного. Необычно, конечно, но... Ведь не собираюсь же я ухаживать за нею. Мне надо отдохнуть, и только. Доберемся, и пусть она присоединяется к компании своей, играет в волейбол или еще что-то там делает, а он станет гулять по лесу, загорать и купаться, если есть где купаться. Не сидеть же

ему в гостинице два дня подряд. Вдруг на самом деле окажется интересным человеком.

Позвоню, решил он, ну чего я теряю. Согласится — хорошо, откажет — не страшно, пойду по магазинам. А то один поеду, старым путем, — найду.

Григорьев сел напротив телефона, помедлил, снял трубку. Услышав протяжное: «Да-а!» — он сказал:

— Добрый вечер! — Представился и сбивчиво стал объяснять, кто он есть такой и по какому поводу беспокоит. Но женщина, не дав договорить, смеясь, сказала, что все уже о нем знает, их общая знакомая дала ему самую высшую аттестацию, она ей вполне верит и конечно же возьмет Григорьева с собой, надеясь, что он останется доволен. Там такое раздолье! Такие виды — залюбуешься! Хорошо сделали — позвонили...

Договорились встретиться утром на Белорусском вокзале. В девять. Электричка в девять пятнадцать. «Запомните, пожалуйста, вторая платформа, возле спуска в подземный переход. Рядом высокий металлический столб-опора, на нем часы. Так вот — ровно в девять под часами». Она поднимется из перехода, в левой руке у нее будет коричневая сумка, в правой... журнал «Экран». Григорьева она узнает по словесному портрету. «Не опаздывать, — женщина опять засмеялась. — Купите заранее билеты. Конечная станция — Раздоры».

— Все понятно, — сказал Григорьев, — спасибо вам. Постараюсь не опоздать.

Ну, вот и определилось, мысленно разговаривал с собой Григорьев, укладываясь спать. Буфет открывается в половине восьмого, надо будет поесть захватить. День долгий, оголодаешь. И пить что-то, обязательно. Может, пиво окажется в буфете.

Утром Григорьев позавтракал на своем этаже, завернул в газеты, сунул в портфель пиво и еду, доехал в метро до Белорусского, купил билеты и вышел на вторую платформу. Прохаживался неподалеку от столба, поглядывая на часы, на выход подземного перехода.

Электричка уже стояла на путях, готовая отойти по расписанию, пассажиры входили в вагоны, стараясь сесть возле открытых окон. Утро было такое же пасмурное, как и вчера, застоявшийся воздух тяжел, взглянув на небо, Григорьев подумал, что загорать, по всей вероятности, не придется. До отправления оставалось пять минут. Григорьев медленно шагал мимо вагонов, а когда повернулся назад,

увидел, что возле столба под часами стоит среднего роста светловолосая женщина с журналом и сумкой в руках и улыбается ему навстречу.

— А я на условленном месте и наблюдаю, как вы гуляете, — сказала женщина, когда Григорьев подошел и молча поклонился, здороваясь. — А я вас сразу узнала, безошибочно. У меня глаз, знаете... Давайте поздороваемся за руку, ведь мы уже знакомы заочно, — и подала Григорьеву маленькую слабую руку. — Билеты купили?

— Купил, — сказал Григорьев, — и даже места хотел получше занять, но опасался пропустить вас. В какой вагон сядем? Давайте вашу сумку.

— Безразлично в какой, — женщина шла чуть впереди, оглядываясь на Григорьева, подымая острый подбородок, поправляя правой рукой в тонкой оправе очки. Лицо ее было продолговато, с белесыми бровями, рот крашен помадой морковного цвета. — Давайте пройдем в хвост состава, там свободнее. Хотя сейчас мало народу — рановато, да и утро хмурое. Все дома отсиживаются, выжидают — а вдруг дождь. А мы перехитрим их...

Говорила она живо, той правильной, обкатанной городской речью, которой говорит московская, да и не только московская, интеллигенция. И, улыбаясь, поправляла очки.

«Хорошо, что она общительна, — улыбался и Григорьев, слушая, — а то пришлось бы мне затевать необходимые в таком случае вежливые и тягостные разговоры. Она понимает все это...»

Они сели в предпоследний вагон, к окну, несколько скамей было не занято. В девять пятнадцать электричка мягко тронулась и поехала, набирая стремительно скорость, чтобы через некоторое время так же стремительно сбросить ее и остановиться на очередной по маршруту станции. Они сидели возле окна, друг против друга. Светик листала журнал. Григорьев смотрел в окно. Город скоро закончился, пошли поля, перелески, деревни вблизи и вдаль, маленькие полустанки — электричка свернула правее от звенигородской дороги. Вагон покачивало, в окно врвался ветер, всюду было зелено, спокойно, в огородах цвели подсолнухи. Хорошо было сидеть вот так бездумно, забыв о делах, о том, что ты в другом городе. Еще неделя, и отправишься домой...

— Станция называется Раздоры, — Светик положила журнал на колени, улыбаясь, пристально смотрела в лицо Григорьеву сквозь изящные свои очки. — Станция — гром-

ко слишком, полустанок, полустаночек даже... Посадочная платформа, будка, а в ней кассир. И все. Раздоры... Но несмотря на такое название, раздоров среди нас не случается. Наоборот, союз наш день ото дня крепнет, — женщина засмеялась. — Отчего вы молчите? Вам скучно? Зовите меня Светиком. Скажите, вы умеете играть в волейбол? У вас такая фигура... спортивная. Метр восемьдесят рост, да? Угадала?

— Угадали почти, выше я немножко. А в волейбол не умею играть, сознаюсь. Не помню, когда и играл. В школе разве. Фигура... от отца, наверное. Мы все рослые, — сказал Григорьев и сконфузился. «Черт знает что горожу, — подумал он, — при чем здесь отец».

— Ничего, — кивнула Светик, — не робейте — мы вас научим. Где это мы едем? Так, четвертая остановка наша. — И опять взяла журнал.

— Подъезжая под Раздоры... — Григорьев стоял возле окна, положив руки на опущенную раму. Ветер трепал его волосы. — Подъезжая под Раздоры, я взглянул на небеса. А небо в тучах...

— Нам сходить, — Светик тронула Григорьева за плечо. — Идемте.

Они вышли из вагона, подождали минуту, пока отъедет электричка, перешли через рельсы с правой стороны на левую, остановились. Почти к самому железнодорожному полотну подступал лиственный лес, напротив полустанка он расступался, образуя неширокий, саженой в сорок, затравеневший прямой прогал, уходящий далеко-о, пока хватало глаз; по прогалу тянулась, исчезая где-то за пригорками, малоезженная дорога, от нее к лесу ответвлялись тропинки. По дороге, по тропинкам шли от полустанка группами, поодиночке, парами, семьями, держа на плечах и в руках сумки, рюкзаки, портфели. Небо приподнялось, над лесом, обещающая солнце, редели облака, дул несильный верхней ветер, деревья ровно шумели, дышалось глубоко. Григорьев оглядывался.

— Куда пойдём? — спросила Светик. — Здесь недалеко пруд есть. Видите, большинство сворачивает вправо, за краем леса. К пруду направляются. Пруд довольно большой, проточный, купаются в нем. Дно вязкое, правда. Да и неухожен он. Раньше там, говорят, деревня была, пруд ей принадлежал. А теперь деревни нет. И пруд стал ничей, общий как бы. Поэтому без догляду. Мусору много остается после горожан, никто не убирает. Но можно не выходить

на берег, в лесу остаться. А можно и к нашим присоединиться. Во-он мужчины пошли вдальеке. Это наши. Там в лесу поляна. Не одна — много полян, но мы на большой собираемся. Сейчас сетки натянут, разобьются по командам и начнут сражаться.

Светик и Григорьев шли по дороге, медленно, отдыхая в ходьбе. Их обгоняли, позади никого не было и впереди — разбрелись.

— Идемте к пруду, — предложил Григорьев. — Посмотрим, выкупаемся. А надоест — можно и в другое место. Или просто погулять по лесу.

Они свернули. Дорога шла краем леса, где росли старые редкие сосны — от полустанка их не было видно. С другой стороны дороги находилось большое поле, засеянное клевером. Высокий клевер цвел, ветер из край в край гнал по полю волны, и Григорьев остановился, любуясь. Он вспомнил родные места на Шегарке: такие же полевые дороги, клевера, сенокосы, березовые согры. Светик ушла вперед, и Григорьев стал догонять. Под соснами и на маленьких полянках близко от дороги располагались люди, доставали еду. В основном — семьи. Дети бегали, рвали клевер в букеты, мамы лежали, папы, раздевшись до плавок, стоя читали газеты или задумчиво прогуливались. Но встречались и группы в четыре, шесть человек. Слышен был магнитофон, гитара висела на суку. Вот двое готовятся жарить шашлык, третий маленькой лопатой в тени кустов роет колодец, опустить бутылки, чтоб не пить теплое. Одиночки лежали в подвешенных гамаках, читая книги, пожевывая, готовые к дреме.

К пруду подошли по тропе — дорога загибалась плавно влево, куда-то к селению. Пруд был большой, но мелкий, заросший по краям травой. Вытекая из леса, недалеко от тропы впадал в пруд ручей, образуя в устье трясиину. Лесистый берег, на котором оказались Светик и Григорьев, откосом спускался к воде, на противоположном берегу, пологом и просторном, и дальше к плотине было ужелюдно, стояли машины, за ними возле низкого кустарника виднелись палатки — наверное, приезжали с ночевкой. Возле самой воды над костерком, на перекладине, висел котел, девчонка томилась подле с поварешкой в руке.

«Уху, что ли, варят, — подумал Григорьев. — Интересно, есть ли в пруду рыба?» Он осмотрел берега, с удочками никого не было.

Они опустились на траву под раскидистую, с низкими

ветками березу, росшую в саженях десяти от пруда. Григорьев сразу снял ботинки, не раздеваясь, лег на спину, вытянулся, заложил руки за голову. Лежать было удобно — он видел пруд, плотину, дым костра. Над головой нависали ветки березы. Не хотелось ни думать, ни разговаривать. Купаться он не решился, представляя, как войдет в воду, ноги тут же увязнут в трясине и со дна вместе с мутью начнут подыматься и лопаться на поверхности воздушные пузыри.

Лежа с закрытыми глазами, Григорьев думал, что, наверное, он невоспитанно ведет себя — лег, а рядом дама. Надо что-то делать, оказывать ей какое-то внимание, какое — он не знал. Это самое тягостное — оказывать внимание только вежливости ради. Он совсем не знал ее, женщину эту, не знал, чего она хочет, что ей нужно сейчас, в данное время. Он всегда был неловок с женщинами. Да еще малоразговорчив от природы. А молчаливых они не любят. До женитьбы были у него подруги, ухаживал он за многими, но не всегда удачно. Одна ему так и сказала напрямую: «Не умеешь ухаживать, не берись».

Григорьев попробовал было тогда подстраиваться под них, под каждую, но это было еще хуже, тут же ему стало противно, стыдно за себя, и он начал держаться так, как держался всегда. Многим это не нравилось, но это было куда лучше, чем сюсюкать. А потом он женился, и все прекратилось. Он уже работал, а девушка, что стала его женой, едва перешла на четвертый курс биофака университета. Все два года они встречались, надо было ей дать закончить учебу, да и ждали, пока Григорьев получит квартиру. В семейной жизни он не изменился, остался таким же, каким был до женитьбы, каким был в студенчестве.

Сейчас ему хотелось лежать вот здесь, на траве под деревом, на берегу пруда, лежать и ничего больше. Но рядом находилась женщина, она привезла его сюда, и надо было оказывать ей внимание. Хотя бы заговорила она, что ли. Молчит. Григорьев пошевелился и открыл глаза. Он, кажется, задремал. Женщина присела на корточки возле своей сумки, что-то там переключивала. Григорьев приподнялся, опершись на локоть.

— Давайте обедать, — предложила Светик, — одиннадцать уже. Вы ели?

— Спасибо, я завтракал, — Григорьев прислонился спиной к березе. — Да и рано еще.

Тут он вспомнил о пиве и подумал, что зря взял пиво,

лучше бы минеральную воду. В пруду бутылки не охладить, придется пить степлившееся — никакого удовольствия. Он встал, вынул бутылки из портфеля, они были обыкновенные на ощупь: ни холодные, ни теплые. В колодец бы их опустить на полчаса...

— Пиво у нас с вами в запасе имеется, — сказал Григорьев Светику, покачивая на ладонях бутылки. — Чешское. А стаканы я забыл. Вы любите, Светлана, пиво? Я хотел вино взять, да не знал какое.

— Я пью только водку, — сказала Светик, глядя на Григорьева. — Современные женщины наравне с мужчинами курят и пьют водку. Курить я не научилась, а водку... пожалуйста. Скажите, а ваша жена курит? Как вы относитесь вообще к курению?..

— Нет, жена не курит, — Григорьев положил бутылки обратно в портфель, достал плавки. — И я не курю. А зачем? И так нечем дышать. Я говорю о городах. Вам доводилось бывать в Челябинске, скажем, или Донецке? Чудные города. Хотя и там курят, конечно.

Он отошел недалеко за кусты, оглянулся и стал раздеваться. Вышел в плавках, принес свернутую одежду под березу. Светик сидела на траве, подтянув колени к подбородку, смотрела на противоположный берег пруда. Григорьев поднял голову — солнца все еще не было. Надо еще придумать — чем заняться. Вот дела...

— Что станем делать? — спросил Григорьев.

— А что? — Светик не подняла головы от колен.

— Погулять не хотите, к плотине?

— Я была, — дернула плечом Светик. — Ничего интересного.

— Я схожу, — сказал Григорьев, — взгляну, что дальше. Прогуляюсь.

Он ушел, а Светик все так же сидела, уткнувшись подбородком в колени, грустно глядя перед собой. Переодеваться ей не хотелось — купаться Светик не собиралась. Загорать — солнца не дождешься, никак не могло оно прорваться сквозь сизую пелену. И книжку Светик не захватила, надеясь, что день пролетит весело и незаметно.

Светик подумала, что, пожалуй, зря она послушалась свою подругу и согласилась поехать за город с ее знакомым. Сидит вот, не зная, чем заняться. День, похоже, пропал, а поехала бы одна, теперь бы носилась она по поляне с мячом, а потом, наигравшись, удобно лежала бы в гамаке, читая, или просто лежала, слушая шум деревьев, вспоми-

ная что-нибудь. Вечером вместе со всеми шла бы к электричке, болтая, срывая на ходу полевые цветы в пестрый букет, чтоб привезти домой и поставить в кувшине на стол. От выходных до выходных не выкидывали цветы... «Вернется, надо уговорить его пойти на поляну, пусть он там делает, что хочет, а я буду играть», — решила Светик и стала искать глазами Григорьева, но его не было видно. Любопытный, ушел за плотину... Ушел, оставил ее одну. Кавалер Иваныч...

Светик со многими мужчинами приезжала сюда: были и москвичи, и иногородние. Держались они разное, кто как. Но никто не вел себя так незаинтересованно, как Григорьев. Каждый чего-то хотел. Собственно, хотели они все одного: сразу здесь или позже в городе, и Светик, дотянув до вечера, расставалась с ними.

— Нет, — говорила она ровным голосом, — мотыльков-однодневок мне не надо. Спасибо, я дойду сама. Счастливо. Желаю успехов...

— Для чего же мы тогда забрались в этот лес? — спросил раз очередной ее спутник, осердясь. — Ты ведь знала, что я женат, семья у меня, дети. Знала, а поехала? — спрашивал он, когда Светик, оттолкнув его, сказала о мотыльках. — А ухаживать мне за тобой некогда, милочка. Мне не семнадцать лет тары-бары разводить...

Собрался и ушел на полустанок. Светик потом долгое время ездил одна. Точнее, с теми, кто приезжал на поляну постоянно. Никого не приглашала. Григорьев — это уже после перерыва...

Когда она увидела Григорьева на вокзале: развернувшись, он шагнул навстречу — высокий, черноволосый, черные внимательные глаза, узкое бледное, немного усталое лицо, сухие не улыбающиеся губы, — она обрадовалась и похвалила себя, что согласилась взять за город этого человека. В вагоне Светик все поглядывала исподволь и открыто на спутника, и он становился ей все более симпатичным: как смотрел и слушал, говорил, раздумчиво, подбирая слова. Как, открывая лоб, отбрасывал обеими руками сбитые ветром волосы, а они ложились, будто причесанные. Особенно нравилось, как Григорьев смотрел на нее. Умный взгляд. Но во взгляде этом Светик не заметила интереса к себе. Она не понравилась Григорьеву. Не понравилась — не то, просто ему это не нужно было. Светик всегда и сразу чувствовала, когда она нравилась мужчинам. Когда они хотели поиграть с нею — авось получится. Или же взгляды

были равнодушными. Вот как у Григорьева — вежливый, но равнодушный взгляд...

Дорогой она пыталась расшевелить, разговорить его, но едва пришли к пруду и он лег на траву и закрыл глаза, она поняла, что ничего не получится, день пропал. Интуиция редко подводила Светика. Предложив поесть, она отчасти испытывала Григорьева. Ей было важно знать и видеть, как мужчины относятся к еде. Они раскрывались, сами того не желая. Привозят ли свое или рассчитывают на нее, Светика. И как едят — много и жадно или аккуратно, но с безразличием, лишь бы поесть. Жуют, думая...

Она всегда брала еды на двоих — просили, не просили об этом. Захвати только на себя — не хватит, не станешь же есть в одиночку, когда кто-то рядом. Одни договаривались так: Светик, ты еду сообрази, а я что-нибудь для души прихвачу. И прихватывали выпивку. Это было хуже всего. Приходили на место, едва располагались, как он предлагал тут же, а не перекусить ли нам? Открывал бутылку, и — начиналось: себе чуть не полный и Светику столько же, чтобы та охмелела сразу. Подпаивал. Когда же она отказывалась и от вина, и от прогулки в лес после вина, он выпивал еще, один, пьянел, начинал нести ерунду или засыпал. Хорошо — если засыпал. Светик тогда была вроде бы уже ничем не связана с ним, отдыхала сама по себе: играла в волейбол, гуляла, читала, лежа в гамаке. «Свинья, — с отвращением думала она. — Что ему женщина, природа. Ему бы нажраться скорее, и все. Выехал за город. Свинота...»

Иной из скупости или лени не привозил с собой ничего, надеясь на Светика. И она кормила его. Один, помнится, ел и сокрушался: какие огурчики! Жалко, бутылочки нет под них! И я забыл — надо же так. В следующий раз непременно захватим, а?!

Этих вот, которым, прежде чем поесть, хотелось еще и выпить из ее, Светика, бутылки, она ненавидела сильнее всех других. «Кот! Котище! — думала она с брезгливостью, слыша, как хрустят огурцы. — Жить за счет женщины! Ну нет, я тебя скоро отважу, голубчика! Ты меня живо позабудешь! Ишь, повадился!..»

А Григорьев вообще отказался есть. Рано, говорит. И ушел. Зря она про водку лягнула. Да он понял. Понял, конечно. Он все понимает — лицо вон какое. Интересно, сколько же ему лет?..

Сидя этак у пруда, одна, размышляя над прошлым, Светик затосковала, лихо так стало ей, до слез, она запла-

кала. Сморкаясь и всхлипывая, без очков, косясь по сторонам и пугаясь, что вдруг покажется Григорьев неожиданно и застанет ее в таком состоянии. Она плакала, жалея себя.

«Боже мой, во что я превратилась, — думала Светик, прерывисто дыша и вздрагивая. — Вожу сюда кого попало, женатиков всяких. Кормлю, развлекаю их. А они... самцы противные! Зачем мне все это нужно, спрашивается? Стыдно перед собой. Стыдно перед матерью. Не поеду больше ни с кем, провались они... И сама не поеду. Черт с ним, с замужеством. В конце концов, и одной можно прожить жизнь, не такая уж она и долгая».

А уж если суждено ей познакомиться с настоящим человеком, это произойдет — к черту поляны! — само собой, естественно, и уж он тогда станет ухаживать за ней, полгода будет ухаживать, год, пока не поймет, что она за человек, пока не поймет, что она та самая, единственная, без которой ему как без воздуха. Она не какая-нибудь. Не дура. И вязать, и шить умеет. Готовить. И диссертацию написала. Не разболталась, живя с матерью, без отца. Не ходит ежевечерне с сопляками разными по кафе, накуриваясь до позеленения. У нее, слава богу, зарплата — не всякий специалист столько зарабатывает. Она может в любой компании поддержать разговор.

Светик опять разрыдалась, стараясь плакать потише, прикусывая нижнюю губу. Потом решительно встала, прошлась туда-сюда, глубоко вздыхая, успокаиваясь. Платок мокрешенький...

«Хватит, Светка, — сказала она себе, когда с дыханием наладилось и высохли слезы. — Сегодня последний день, больше ты сюда не приедешь. Да, Светлана Борисовна! Ну-ка их всех. Ничего...»

Светик стояла под березой, держа в руке маленькую круглую пудреницу, в крышку которой было вделано зеркальце. Поворачивая лицо, снимала следы слез. Ревела — глаза покраснели даже...

«Работа, дом, театры, книги, музыка — вот что тебе нужно. Гимнастика по утрам, чтоб не раздобреть. Тебе всего лишь тридцать шестой год. Ерунда. И в пятьдесят выходят. Не следует только суетиться перед ними, они это видят и смеются в душе. Над тобой же и смеются. Больше уверенности — все придет само собой. Пусть они суетятся, пусть они приглашают тебя за город. С меня достаточно. Надо и уважение иметь к себе, дорогая. Да, да».

...Это называлось: «Поехать на поляну». Четвертое лето, каждую, за редким исключением, неделю, по выходным, приезжала сюда Светик. И все впустую. Не совсем, конечно, без толку, польза какая-то была. Пробыть два дня в неделю на воздухе, в лесу, уже само по себе неплохо. Она загорала на берегу пруда или на лесных полянах, много гуляла, много играла в волейбол, спала в гамаке — как оздоравливает такой сон. Все это нужно было ей, городскому человеку, но это не было главным, ради чего она приезжала в Раздоры. Главного не случилось — она ни с кем не познакомилась, не подружилась за это время. То есть знакомств новых было сколько угодно, они все здесь перезнакомились между собой, но никто не увлекся ею настолько, чтобы сделать предложение. И постепенно Светик стала терять ко всему интерес, терять душевные силы, надежду, как в свое время потеряла надежду найти друга жизни в городе. И зимой она приезжала в Раздоры, походить на лыжах. Но не всякий выходной и не на целый день, часа на два, не больше. Час электричкой до полустанка, час обратно, два в лесу. Но и в зиму никто не встретился ей, и зимы проходили в одиночестве, и осени, и весны...

Четыре года. А до этого Светик жила обычной городской жизнью: работала, занималась домашними делами, писала диссертацию. Это являлось целью: собрать материал, сосредоточиться, написать, защититься, стать кандидатом наук. На это уходили силы, время. В тридцать пять она стала кандидатом химических наук, начальником лаборатории в научно-исследовательском институте. А еще раньше она была пять лет студенткой, поступив в институт двадцати лет, проработав, набирая стаж, два года лаборанткой в школе, которую закончила. В школе Светик любила химию и считалась способной ученицей, в институте она считалась способной студенткой. Более того — Светику предлагали остаться на кафедре, поступать в очную аспирантуру. Но ей нужна была практика. Светик получила удачное направление при распределении: Москва, НИИ. Диссертацию она написала оригинальную, найдя смелое решение, — так говорили оппоненты на защите. Но все это было связано со службой, а вот личная жизнь... В личной жизни Светик оказалась несчастливой.

В школе в девятом, десятом классах они, девчонки, уже рассуждали о женихах, свиданиях, счастливой и несчаст-

ной любви. Некоторые сразу же после школы выходили замуж. Но Светик не одобряла раннего замужества. «Еще успеешь, поворочаешь чугуны возле печи», — говорила она себе, смеясь. Эту фразу Светик слышала от матери, мать у нее была из крестьян, до войны жила в деревне. Светик многое переняла от матери.

В институте, курса с четвертого, сокурсницы всерьез начинали подумывать о семье: отметались всякие глупые увлечения, ненужные встречи, приглядывались, примерялись к одному, к другому, взвешивая все. Выходили перед выпуском кому за кого было выйти. А Светик не вышла, не было у нее жениха — ни среди студентов, ни в городе. Правда, тогда она не больно-то и беспокоилась по этому поводу, хотя отчетливо понимала — всему свое время. Потеряешь время — не вернешь. Надо спешить все успеть вовремя. И семью заводить. Столько забот — голова кругом...

В двадцать пять Светик получила диплом. Возвращаясь домой после прощального вечера одна — никто не провожал ее, — Светик подумала: а ведь пора уже. Двадцать пять — это двадцать пять, и ничего тут более не скажешь. Теперь все пойдет под гору, медленно, но под гору. Диссертацию, допустим, я напишу, но моложе и краше от этого не стану. Напротив — подурнею, пока буду возиться с нею. Пора, но за кого. Никого не было рядом, кто бы жаждал на ней жениться. «Защитусь, может, степенью кто прельстится, — усмехалась она. — А что?! Жена — кандидат наук. Начальник отдела».

К двадцати пяти Светик оставалась девицей, у нее на руках был диплом, в минуты грусти она так и этак рассматривала себя в зеркало: рост — метр шестьдесят три, фигура худощавая, спина ровная, талия тонкая, ноги нормальные — не очень стройные, но и не безобразные, лицо чистое, шея гибкая, зубы ровные, глаза серые, очки, придающие лицу некоторую интеллигентность. Все вроде бы, как и следует быть, и в то же время — ничего такого, что выделяло бы ее среди других женщин, привлекая внимание мужчин. Обыкновенная внешность. Потому и возвращалась одна с прощального вечера и долго сидела дома, не раздеваясь, глядя в окно. Институт казался теперь уже чем-то далеким очень, невозвратным: лекции, зачеты, экзамены. Подруги, приятели, споры-разговоры. Институт. А школа — та еще дальше. Ей двадцать пять, она сидит на кровати и смотрит в окно: а что впереди... Ничего, тут же успокаивала она себя, не переживай, Светка. Мы еще свое возьмем.

Подумаешь: годом раньше, годом позже. Вот пойду работать: новый, интересный, большой коллектив. Институт, не какая-нибудь там ткацкая фабрика, где слесаря-наладчики станут за тобой ухаживать. А здесь — образованные люди: кандидаты, доктора. Всякие младшие и старшие научные сотрудники. Кто-нибудь да ждет ее в институте том. Один — но ждет. Не может быть, чтобы все были заняты. Неправда, такого не бывает. Ну кто мог, скажи на милость, позариться раньше на меня? Малокровная студентка, и только. А сейчас — другое дело. Сейчас я самостоятельный человек, специалист, в перспективе — ученый, если уж вы хотите знать, уважаемые товарищи...

Отдел, куда попала Светик, состоял из женщин, женщина и возглавляла его. Двое, возраста примерно Светика, недавно вышли замуж, еще одна — собиралась, ходила уже с животом, оставалось лишь зарегистрироваться. Остальные сотрудницы пожилые все, им уже было не до любви. Но в соседних отделах мужчин было полно, кандидаты встречались, а уж младших научных сотрудников — сколько угодно. На первых порах к Светику был проявлен определенный интерес: свежий человек! Что да как! откуда?! И Светику было любопытно в самом начале. А потом успокоились.

Отдел жил давней размеренной жизнью: рассказывались разные житейские истории, уличные происшествия, отмечались пирушками дни рождения, даты, юбилеи. Приходили с поздравлениями кандидаты и просто сотрудники. Светик была представлена кое-кому из них, но дальше знакомства дело не пошло. Да и что для них Светик. Там такие львицы ходили по коридорам, что ай да ну! Правда, после бурной молодости, после разводов, но внешность есть внешность. Хотя им, как понимала Светик, было ничуть не легче, чем ей. У нее перед ними, так рассуждала Светик наедине, было громадное преимущество — она была девушкой.

Но мысли о семье все-таки еще не были главными в жизни, они шли параллельно с другими мыслями, не перекрестываясь, не сбивая их в стороны. Надо было сдавать кандидатский минимум, искать научного руководителя, начинать первые главы диссертации, осмысливать работу в целом, проводить многочисленные лабораторные опыты, консультироваться, читать основную и подсобную литературу — словом, делать все то, что необходимо делать в подобных случаях. Дня не хватает, ночи не хватает: спешу.

В отделе ее ценили за добросовестность, даже отмечали как-то. Ни с кем она особо не сошлась, хотя со многими была в добрых и даже дружеских отношениях. Женихов ей уже по институту не искали: Светик не любила подобных разговоров. Пошутили раз, другой: «Выдадим тебя здесь замуж», — и достаточно. Сама определится, если надо, не маленькая. Подумайте лучше о своих доченьках, присмотрите для них подходящих женихов...

Ладно, сказала она себе, отложим всякие мечтания до поры, до времени. На потом, как говорят. Первое дело — диссертация: написать, защититься. А там — видно будет. Займемся наукой. Авось что-то и получится. А не получится — что ж, не дано, значит. Выходи замуж.

Получилось. Об этом говорил и научный руководитель, и оппоненты, и все остальные, кому выпало ознакомиться с диссертацией. Но вымотала она Светика — не приведи господь. Дважды Светик должна была делать долгие перерывы — переутомлялась. Когда после защиты, поздравлений, речей на банкете, с цветами пришла она домой, увидела в зеркале свою вымученную улыбку, синь под глазами, худую шею — заплакала, так стало жаль себя. Светик сразу взяла за два года отпуск, уехала к морю в санаторий, позже в Молдавию к институтской подруге, где за неделю съела столько винограда, что и сама удивилась. На обратном пути заезжала еще в Киев, у тетки пожила несколько дней.

Дописалась ты, красавица, корила она себя. Так можно и... Достаточно. Никакого напряжения, никаких волнений — размеренная жизнь. Если и возьмусь за докторскую, то не раньше, как через десять—пятнадцать лет. Надо привести себя в порядок, надо, наконец, подумать и о семье. Одной хорошо, слов нет, но... вдвоем, говорят, лучше. И ребятшек еще. Двух. Сына и дочь. Близнецов.

Тогда-то Светик стала регулярно заниматься по утрам гимнастикой, стала выезжать по выходным за город.

В первую после защиты зиму, несмотря на отдых у моря, загар, купания морские и молдавский виноград, она скверно себя чувствовала, прихварывала часто, собиралась даже лечь в больницу, но продержалась на ногах. В конце зимы, в феврале уже, купила лыжи, начала учиться ходить на них возле дома в сквере, а потом несколько раз уезжала одна за город, недалеко, в памятные по студенческим дням места. Она притихла и все думала о чем-то, думала. Морщины на лбу появились.

— Надорвалась, — повторяла мать, — и на кой тебе нужна была писанина. Загубишь ты себя, Светлана. Полюбуйся, на кого ты похожа. В гроб краше кладут. Тебе теперь бы с годик у моря пожить...

— Мам! — коротко произносила Светик, и мать тотчас же умолкала, вздыхая. Светик закрывалась в комнате, просила не тревожить.

Сидя дома на больничном в ту зиму, скучая, рассматривая свою жизнь так и этак, Светик понимала, что время она таки упустила, ровесники попереженились давно, стали папами, что по любви ей теперь уже никогда не выйти, учитывая возраст ее, рядовую внешность, болезненность. Приходится руководствоваться уже не сердцем, а разумом, идти на определенные уступки, перебирая различные варианты. Вариантов на подобные случаи было предостаточно, все они были насколько хороши, настолько и никудышны. Но и ждать, рассчитывая на счастливый случай, дело рискованное, неопределенное, ждала она долгое время, надеясь, со студенческих лет, можно сказать, ждала, а толку никакого. Романтика хороша, но... до поры, сейчас надо определяться более грубо, иначе — куковать одной. Сколько их таких ходит, одиноких. Вот и Светик к ним присоединится.

Зиму-весну, чтобы не томиться вечерами в квартире, Светик, тщательно одеваясь и прихорашиваясь, стала ходить по театрам, на различные концерты, часто бывала в гостях, расширяя знакомства, и подружилась с несколькими женщинами своего круга и положения. Одни из них когда-то были замужем, но неудачно, развелись, оставшись кто с детьми, кто без детей, другие, как Светик, «проморгали» женихов и теперь готовы были на все. Наблюдая жизнь их, слушая разговоры, Светик поняла, что они только об одном и думают, как бы обрести семью, что с каждым ушедшим годом проблема эта становится для них сложнее и сложнее. У каждой почти был любовник из женатых — малая утеха, и они довольствовались этим, пока, надеясь на лучшее. Соберутся человек до шести, подруги, подопыют да как затянут «Ромашки свянули...» — грустная картина. Светик разок побывала на таком «девичнике», позже отказывалась от приглашений. Сердце болит, глядя на них. Одна знакомая, узнав, что Светик девушка, откровенно посмеялась, а когда Светик, хмурясь и краснея, спросила, что же в этом плохого, воскликнула: «А что и хорошего? Пользы от этой девственности. Я тоже лет до двадцати шести

ходила как ты, гордилась. А потом... махнула рукой. Перед подружками стыдно. Начнут спрашивать, а я... Вижу, невеста из меня никудышная, сватать никто не собирается. А, думаю, хоть этим порадуюсь. А ты что, до пенсии себя сберегать станешь? Решиться надо, и все... Сейчас это не в моде, никому не нужно. Им надо, чтобы у бабы вот здесь было и здесь, а остальное их не интересует ни капельки. Для деревенских женихов — важно, а в городе...»

«Ну — нет, — мысленно возразила Светик, — если я решусь на такое, то тогда вообще никому не буду нужна. Хотя остаться старой девой радости мало. И женщиной себя не почувствуешь. Не поймешь, что это такое. Не будешь ведь разговоры заводить из любопытства. Вот уж и не снилось, что об этом переживать буду...»

У этих женщин-одиночек, новых знакомых своих, исподволь училась Светик жизни. От них узнала о всевозможных вариантах избавления от одиночества. Однако ни одну из женщин ни один вариант не выручил. Поначалу Светик не принимала их разговоров, но время шло, она подумала и «одумалась», усмехаясь этому слову. С чего начинать. Не знала, но начинать надо было. Светик нервничала, грубила матери, была рассеянной на работе, помышляя лишь об одном. Она проворачивала в уме все возможные варианты замужества, выбирая наиболее подходящий, приемлемый для себя, естественный. Естества ей хотелось. А ведь если не естественно что, то... не хорошо, каждому ясно и понятно.

Значит, так... Можно выйти за пожилого человека. Одинокого. Он всю жизнь ходил в холостяках (встречаются такие) или же похоронил когда-то жену, а детей нет. Или же есть дети, но живут самостоятельно, к нему никакого отношения не имеют. Одинокий этот, что называется перебесился, ему нужна спокойная старость, заботливая жена. Он обеспечен, квартира, всякие там сервизы, серебро, все оставит тебе, только... Он может и на пятнадцать лет быть старше тебя, и на двадцать, и на... сколько угодно. Детей ему не нужно, пожилому, куда на старости лет возиться с ними. Жену он ни в чем не стесняет, обожает, окружает заботой и довольством. Через несколько лет благополучно умирает, а ты остаешься хозяйкой квартиры и дачи (если есть дача) и всего прочего, что есть в квартире. Можно начинать новую жизнь. Такие браки любят студентки и аспирантки, выходя за профессоров. Да и не только студентки-аспирантки...

Пожилой не устраивал Светика. Ну их — сервисы эти, сама наживет. Выйдешь, а у него болезней скрытых девятью девять всяких, и станешь гонять в аптеку каждый день. Да и что хорошего — с пожилым. У него и взгляды другие на жизнь, интересы...

Отбить у какой-нибудь разини мужа. Да, да, отбить. Заворожить его, закружить, чтобы забыл он скоро семью свою, жену свою и перешел к ней. Отбить бы можно, давно такое практикуется среди женщин, но совесть-то должна быть у тебя? Забрать отца у детей, а как они? Хотя, если рассуждать твердо, совесть тут ни при чем. Никто его силой не тянет, ушел, значит, там плохо, а здесь хорошо. Но отбивать Светик не осмеливалась, что-то тревожило ее. Да и не с ее внешностью отбивать. Отбивать, получается, надо у той, что еще несчастней тебя, слабее во всем, некрасивее. Да на такую, как говорится, рука не подымается...

Выйти за разведенного. Квартиры, как правило, остаются женам (большие квартиры делят, конечно, разъезжаются). Но бывают и такие, что делить ничего не хотят, скорее бы уйти. Вот тут-то и надо его ловить. Разведенный в волнении большом душевном, угла нет, без денег — предложение делает, не задумываясь. Лучше всего, понятно, когда жильё у него...

Познакомиться с командированным, ошарашенным Москвой, которому давно все надоело в его глухой далекой провинции, прельстить столичной жизнью, переманить. Их сколько угодно, желающих в Москву. Возле гостиниц погулять вечерами...

Можно, когда уже совсем безвыходное положение, найти любовников, менять их, а самой вести свою основную линию в жизни. Докторскую писать, скажем, или еще что-то. Но Светику и тут было совестно. Ну что — любовник, ведь не на всю жизнь он. Сегодня с тобой, а завтра — фю-ить! — к другой удалился, надоело, а ты ищи очередного. Ну — нет, не для нее это. Да и останешься с ним, рассуждала Светик, волей-неволей начнешь о жене его думать, как она там, ждет, поди, мужа, переживает, а он... Жалко, такая же баба, как и ты. В заботах: работа, магазины, кухня, ребятишки. А он вернется, врать начнет, выкручиваться. А ну их всех — любовников этих. Стыдно и подумать, что такие мужья бывают...

Светик злилась, на кого — непонятно, злилась вообще, понимала, что это нехорошо, старалась сдерживать раздражение, особенно на работе, но иногда оно прорывалось.

И видела, что женщины тоже злятся. Одиночки. И стараются, если представляется возможность, сделать больно другой, что, по их мнению, счастливее устроилась.

Придет, к примеру, какая-то в компанию, смотрит, а там незнакомая или малознакомая с кавалером заявила. И вот эта, первая, ставит своей целью увести того кавалера. Хоть чем-то, но досадить счастливой. Укусить ее побольнее. Доказать, что и она ничуть не хуже. Наоборот. Гляди, пришел с тобой, со мной уходит. И начинает ухаживать за ним, и это на глазах у всех. А то и мужа зацепит чьего-то, не шибко стойкого. Если не уведет, то телефон дать-взять успеет. Все это, как правило, скандалами заканчивалось. Светик подальше сторонилась от подобных курьезов. Приревнует какая, попробуй тогда отцепись. А что, случалось видеть всякое. Глаза бы не глядели на такое...

«Бог весть, что происходит, — с грустью думала Светик, — прямо осатанели бабы. Это все потому делается, — печалилась Светик, — что нас гораздо больше, чем мужчин. Вон статистика опять свидетельствует: женщин больше. И откуда развелось. Было бы меньше, куда с добром, по пяти на каждую приходилось бы — выбирай по вкусу. Тогда б, верно, мужчины между собой перессорились...»

Светик купила кольцо и стала носить его, выходя в город, надевая на левую руку. А на работе снимала. Она знала, многие так делают. С кольцом Светик чувствовала себя немножко спокойнее и увереннее. Разведена, и все — кому какое дело. У вас нормальная жизнь, а у меня... И отстаньте, пожалуйста, с расспросами. Ничего, ей и одной славно. Ради бога, не беспокойтесь...

В первый год еще когда работала Светик в институте, кто-то из женщин их отдела, отдыхая в Прибалтике, привез показать небольшую газету «Рекламное приложение», где печатались различные объявления. Был в газете той раздел «Знакомства», в которой одинокие люди объявляли о своем желании найти подругу, друга для совместной жизни. Газету читали с интересом необыкновенным, она обошла все отделы, разговоров хватило на неделю. Светик попросила газету домой, на один вечер. Читали с матерью. Мать качала головой, вздыхала горестно — дожились...

«Миловидная двадцативосьмилетняя женщина, историк (рост 165 см, блондинка), хочет стать верной подругой мужчины мужественной профессии». Ниже подробный адрес, фамилия.

«Такая же, как и я, — подумала тогда Светик, — рост

мой, блондинка. Видно, дошла до ручки, раз дала объявление».

Дальше. «Скромная, с неплохим характером женщина, образование высшее...» А вот... «Мужчина (43 года, рост 175 см, не был женат, характер уравновешенный, непьющий, некурящий, свободное время проводит на природе) желает встретить будущую супругу, не старше тридцати лет, симпатичную, стройную, трудолюбивую, с мягким характером». Подробный адрес, фамилия.

Объявления из номера в номер занимали целую колонку, газета выходила раз в неделю.

«Вот такое мне вполне подходит, — думала Светик, перечитывая еще раз объявление мужчины, — ему бы я написала. Попробовала бы, во всяком случае. А может, я бы не подошла ему, не понравилась. Благодать им, ей-богу, — завидовала Светик, — дал объявление и сиди себе, жди. Не переживай, не мучайся в поисках — сам придет. Слышно, дома встреч открылись в некоторых городах. Люди идут туда с единственной целью — познакомиться, найти необходимого человека. Дом встреч. Еще десять — пятнадцать лет назад все это звучало бы необычайно дико, сейчас же стало как бы нормой».

Дома встреч, объявления... А в Москве ни домов подобных, ни «Рекламных приложений». Раз уж начали, вводили бы во всех или хотя бы в крупных городах. Каждому понятно, что тянуть дальше некуда: вопрос превратился в проблему. Человек не может создать семью — вот тебе на. Казалось бы, чего проще. Ан нет. Дошло до того, что государство начало помогать: вот вам дома встреч, вот газета. Знакомьтесь, влюбляйтесь, живите на здоровье. И это хорошо, с одной стороны. Будь в Москве «Приложения», Светик из номера в номер давала бы объявления. Это лучше, чем ходить вечерами на танцы в парк культуры и отдыха. И в то же время, сколько всего в этом ненормального, ненатурального, лишнего той простоты, того естества, что искала и ждала Светик. Но люди уже стараются не думать об этом, они перепробовали все и теперь дают объявления. Кого не коснулось, тот, пожалуй, не поверит никогда, что в многомиллионном городе человек может быть одинок. А на самом деле — так оно и есть. Вот вам город, вот вам человек. Он мечется, он ищет, он не находит. Он в страхе, что в старости придется остаться одному. И тогда он начинает изыскивать любые возможности, идет на крайности. Он дает объявления, спешит в дом встреч,

в гости, куда ему вовсе неохота, но где его обещали познать. Он ищет себе человека в поездах, самолетах, пароходах, домах отдыха, гостиницах. Он пользуется услугами сводни. Да мало ли чего приходится делать ему.

А Светик стала ездить на полянку. Врачи советовали ей бывать как можно чаще за городом, в тишине, потому что уличный шум, которого раньше она вроде бы и не замечала, теперь стал действовать на нервную систему, раздражать с утра. Из разговоров разведенки слышала Светик однажды, что там-то посуху и теплу собирается люд, семейных не бывает, одинокие, кто откуда, то есть не с одного учреждения или предприятия. Отдыхают, играют в волейбол, знакомятся. Места красивые, недалеко. Можно в эту субботу поехать, посмотреть. А чего стесняться. Ерунда какая! В субботу позвоним тебе, седи утром дома...

Кто-то из них привез Светика, а потом она сама стала приезжать. Места Светику понравились: лес, поля, пруд. Пруд в стороне, правда. Где-то, говорили, недалече протекала речушка, но Светик туда не ходила. С дороги сворачивали в лес, где было несколько полей, соединенных между собой небольшими прогалами. На каждой поляне своя группа. Светик всегда останавливалась на большой. Ни семейных, ни молодежи на полянах не было. Приезжали — кому за тридцать, за сорок. Но и откровенно пожилых Светик ни разу не видела. Привозили волейбольные мячи и сетки, привозили бадминтон, шахматы. Поглядеть — прямо спортивная площадка. Равно было почти и женщин и мужчин, будто специально отбирались. Играли, присматривались друг к другу, знакомились. Усаживались группами по пять-шесть человек, обедать. Не замечала Светик, чтоб кто-то из мужчин выпивал явно или украдкой. Держались, желая показать себя с лучшей стороны. А может, и непьющими все были. И не курили — берегли легкие...

Время от времени образовывались пары. К электричке уже шли вдвоем и из вагона выходили вдвоем. Глядишь, через месяц пара исчезла. Да и вообще состав менялся: одни уходили, другие приходили. Надоедало, теряли надежду или искали новые места. Знакомые приводили своих знакомых. Посмотришь в мае — все почти новые, почти никого, с кем прощался осенью. Зимой же сюда Светик ездила, ну, еще несколько человек. Тех, с кем Светик познакомилась на полянке в первое лето, никого уже не было. Иногда Светик встречала кого-то из них в городе, но никогда они не останавливались, не здоровались, испытывая какую-

то неловкость друг перед другом — знали, зачем приезжали на полянку. А многие просто забылись. Когда случались такие встречи, Светик целый день ходила грустная, ничего не хотела делать, как будто часть души твоей кто-то отнял...

Уходили, а Светик продолжала приезжать. Ради здоровья — прежде всего, ну и с определенной надеждой. Она чувствовала по себе, как ей необходим подобный отдых: игра, прогулки, купание, сон в лесу на свежем воздухе. «Набираюсь сил на зиму, — говорила она. — Зимой редко выезжаешь, то пурга, то мороз жжет».

Обдумав все подробно, она остановилась на одном: ей нужен человек, старше лет на десять и никак не больше, разведенный (что поделаешь — холостяки редки), с квартирой и без детей. Главное — с квартирой. Но — без детей. Чужих детей Светик не собиралась растить. Свои, даст бог, народятся. А чужой, он чужой и есть. Неизвестно, что из него получится, неизвестно, как станет относиться к тебе, покуда будет жить рядом, не начав самостоятельной жизни. Да и потом. Чужого не шлепнешь лишний раз, не скажешь резкого слова. Вообще-то дети при разводах с матерями остаются, но разные бывают случаи. Разведенный, бездетный, не очень старый...

Светику было много труднее, чем другим женщинам-одиночкам, которые могли к себе привести мужа, жениха до свадьбы или просто временного ухажера. Тех женщин, что имели достаточную жилплощадь. А Светик не могла, это и осложняло ее выбор, затягивая год за годом. Она должна была идти к мужу. И по правилам, и без правил. Светик жила с матерью в маленькой однокомнатной квартире, где не то что вдвоем или втроем, одной было тесно. Квартира была материна, точнее, квартиру эту получил отец, в сорок шестом еще, сразу после госпиталя, когда они с матерью поженились. Так мать рассказывала. Отец вскоре умер, не излечившись от ранений. Светику тогда было всего три года, и она плохо помнит отца. А мать продолжала работать медсестрой и растить Светика. Теперь мать на пенсии. Комната у них шестнадцать квадратных метров, в комнате книжные полки, столик, два креслица, два раскладных дивана. На одном спит мать, на другом Светик. Есть балкон. Маленькая кухня, маленький коридор. Ну, ванная комната еще, где и умывальник и туалет вместе. Вот и все. На институт надеяться не было смысла, институт своего жилищного фонда не имел, то есть строительством домов не занимался, все шло через райиспол-

ком, и очереди́на была жуткая. Светик и заявление не подавала, чтоб не томиться в многолетнем ожидании.

Вот и попробуй тут выйти замуж. Замуж, допустим, выйти еще можно, но привести мужа нельзя. Придет муж, а матери куда деваться? Выносить в коридорчик диван — он там и не поместится. Раскладушку на кухне ставить? Мать свою Светик очень любила и обижать ее никак не собиралась. Ей наперед уже было стыдно перед матерью. Пока они будут жить так, как живут, а когда Светик найдет и полюбит мужа с квартирой и переберется к нему, можно будет обменять квартиру матери и мужа на одну большую и жить всем вместе. Самый верный выход, иного Светик ничего не хотела. Раздумья проклятые — голова гудит уже от них...

Светик ездила на полянку лето, второе, третье. Поздоровела, научилась играть в волейбол, но знакомства нужного не случилось. Были, но не те. Иногда она приезжала на поляну не одна. Когда в городе, на улице или в троллейбусе, с нею заговаривали мужчины, она не отходила молча, как раньше, а живо отзывалась, поддерживая разговор, разрешала проводить, соглашалась на встречу, приглашала на выходные за город. Но, понаблюдав за каждым раз, другой, выяснив из обыденных разговоров необходимое, Светик без сожаления расставалась со знакомцами, чтобы начать заново. Некоторые побывали у нее дома, были представлены матери. Этим Светик как бы доказывала матери, а заодно и всем остальным, что она не так уж и одинока, как о ней принято думать, есть поклонники и постоянно, но ни один пока ее не устраивает. Так оно и было в действительности: никто из тех, с кем она в последние годы знакомилась, ее не устраивал. И не потому вовсе, что не было у них квартир. Квартира квартирой, конечно, но сам-то человек должен Светику хоть немножко нравиться. Да, нравиться. А иначе как? Как станешь жить с нелюбимым? Мученье, что там и рассуждать...

3

А с Григорьевым было совсем по-другому. О нем попросила Светика приятельница по институту. Из кратких объяснений Светик узнала, что Григорьев в командировке, женат, не знает, куда деть себя на выходные. Может, пригласить его за город? Если Светику это удобно и прочее. И Светик, как человек вежливый, обязательный, пообещала

все выполнить самым наилучшим образом, не строя заранее абсолютно никаких иллюзий по отношению к Григорьеву. Командированные, да еще женатые, ее не интересовали. Но почему не познакомиться с человеком, о котором так хорошо говорят. Свежий человек всегда интересен, если он не откровенный глупец. Посмотрим, что это за командированный. Таков ли он, как обрисовала его знакомая...

Григорьев ей понравился. Он понравился ей сразу, на вокзале, когда повернулся и пошел навстречу, поправляя рукой зачесанные назад волосы. Теперь вот он ушел куда-то надолго, гулять, совершенно равнодушный к ее особе, а она сидит под березой и ревет, боясь, что Григорьев вернется внезапно и застанет ее такую, опухшую от слез. Успокоясь, Светик пошла за куст переодеться, решив сделать несколько упражнений.

Когда Григорьев подошел, Светик, уже в купальнике, скрестив ноги, усаживалась поудобнее на подстилку, расслабляясь, вяло шевелила полуопущенными руками. Тут же уперев руки в бока, Светик принялась раскачивать корпус, наклоняясь взад-вперед, потом выпрямила спину, набрала полную грудь воздуха и замерла, задержав дыхание. Лицо ее посерело, посерели уши, глаза ввалились, узкие губы натянулись крепко. Она не дышала.

— Что это вы? — спросил Григорьев, останавливаясь. Не отвечая, Светик подалась вперед, падая, резко, со стоном, выдыхая: ы-ых! И опять: ы-ых! И еще несколько раз. Григорьев молча наблюдал, стоя подле. Он подумал, что женщина, судя по всему, не совсем...

— Йогой не занимаетесь? — спросила Светик. — Для общего укрепления организма. Погодите минутку, я сейчас закончу упражнения. Только, ради бога, не смотрите так на меня. Я пока еще в своем уме. Отвернитесь, прошу вас.

Потом они обедали, достав каждый свои припасы, положив их вместе на развернутую газету, сидя на подстилке почти рядом и разговаривая. Григорьев пододвинул Светику сосиски...

— Пейте компот, — Светик отвернула крышку с высокой стеклянной банки. — Это персиковый компот, персики подружка прислала с юга. У нее там сад свой, виноградники развели под окнами...

— Давайте что-нибудь одно, — Григорьев открывал бутылку. — Давайте пиво попробуем. Не прокисло? Вам удобно из бутылки?

— А у меня кружка есть, походная, — Светик потяну-

лась к сумке, достала зеленую эмалированную кружку, налила пиво, поджидая, чтобы осела пена. Григорьев открыл вторую бутылку, отхлебнул — теплое.

— Где же вы это бродили так долго? — спросила Светик, быстро взглядывая на Григорьева, держа в одной руке сосиску, в другой кружку с пивом, отпивая маленькими глотками. — Я уже испугалась, не заблудился ли человек? Хотела крикнуть: «Ау!» — а тут и вы, живой и невредимый. Даже не дали себя поискать. Где пропадали?

— А я по ручью спускался, — Григорьев прислонился спиной к березе, сел поудобнее, поставив между ног бутылку с пивом — он пил прямо из горлышка. — Прошел за плотину, прошел еще — посмотреть хотелось, что же там, дальше. Далеко забрался. Ручей расширяется, глубже становится. Родники питают, видно, по пути. Говорят, он в речку впадает, но я не добрался. Любопытно бы взглянуть.

— Вы мне так ничего и не рассказали, — Светик чистила яйцо. — Кто вы? чем занимаетесь? по какому случаю в Москве? Подхватились и ушли себе. А тут сиди, переживай — нервничай, — Светик засмеялась.

— А-а, — улыбнулся Григорьев, — неудобно как-то сразу рассказывать — кто да зачем. Я думал, что вы от нашей общей знакомой узнали, чем я занимаюсь. По образованию я географ, преподаю в университете. Два года назад в нашем университете при биологическом факультете образовалась новая кафедра, кафедра охраны природы. Вот я там и преподаю. А в Москву приехал... хлопотать об издании книжки. Мы, преподаватели кафедры, написали коллективную книжку, назвав ее «Природа и мы». А теперь хотим издать ее, эту самую книжку. Вот и направили меня в Москву, похлопотать. Ходок я, понятно вам, Светлана?..

— Это интересно, — Светик переменяла положение тела. — И от кого же вы, простите, охраняете природу? От пришельцев из космоса, может быть?

— От кого, — Григорьев вскинул правую бровь, — от себя охраняем, от кого же еще. Видите, сколько здесь мусора? Это вокруг пруда только. А если по лесу походить? Приехали, набросали и укатали. На следующий выходной на другое место поедут, где почище. Сами загадим, а потом делаем вид, что это не мы вовсе, кто-то другой постарался, бескультурнее нас. Круговорот получается.

— Думаете, поможет книжка ваша, если издадите ее? — явно иронизируя, спрашивала Светик. Ей было жаль Григорьева, но она столько уже слышала разговоров об ох-

ране, столько перечитала книг и газетных статей, что набилась оскомины. А мусор — вот он.

— Этого я не могу сказать, — ответил Григорьев, глядя перед собой. — Скорее всего — нет, не поможет. Книжек таких издано достаточно, много принято всяких постановлений по этому вопросу, однако мало что изменилось на сегодняшний день. Книжки книжками, а трубы коптят, реки загрязняются, отбросы... Но это моя работа. Я обязан разъяснять студентам важность дела, писать, издавать и прочее. Борьба, одним словом...

Григорьев почувствовал, что голос его стал чисто лекционным, смутился и умолк. Так и сидели молча некоторое время.

— Ну что, идемте к волейболистам, — Светик посмотрела на часы, — уже третий час. — Она все уложила в сумку и теперь ждала Григорьева. Отвернувшись, взглянула в зеркальце, поправила помаду.

— Идемте, — Григорьев оттолкнулся спиной от березы, поднялся. — Мы ничего не забыли? А пруд хороший, правда, привести бы его в порядок. Почистить, рыбы напустить. Карася, скажем. Прижился бы. Карась любит такие пруды, чтобы дно вязкое...

Они шли от пруда, но уже другой дорогой, через лес, по тропкам, пробитым наперехлест. Небо еще не очистилось от наволочи, но солнце часто проглядывало, в лесу было сухо, весело, слышно было птиц, редкие сосны светились желтой корой. Григорьев шел медленно, покусывая сорванную травинку. Ему всегда нравилось бывать в лесу. Но этот лес совсем не был похож на тот, что на родине его, в верховьях Шегарки. Там была тайга на много верст окрест. Там можно было идти день — и все тайга, бруснично-клюквенные болота, осиновые острова, где жили лоси...

«Ну чего он такой квелый? — Светик шла по тропинке рядом. — Думает все».

— Вам скучно со мной, а? Потерпите, скоро отправитесь в свою гостиницу. А потом домой. Улыбнитесь. Хотите, я вас поцелую крепко-крепко. Сама. Ну! А то раздумаю.

— Нет, не нужно, — сказал Григорьев, приостановившись. — Зачем же. Ведь я просто так сюда приехал, отдохнуть. Смотрите, сорока!..

Светик прошла вперед, независимо помахивая левой свободной рукой.

— А пока-пока по камушкам, — запела она. — А пока-пока по камушкам...

Голосишко у Светика был слабенький, она и не пела никогда, даже в подпитых компаниях, где поют все разом, кто как умеет, и можно петь, не страшись, что тебя осудят.

— По круглым ка-амушкам, — сипло пропела Светик и умолкла — не хватило духу дотянуть. Но она сделала вид, что ничего не случилось, ей расхотелось петь, и только, а теперь она поет без слов, одними губами, в нос, мурлыча. Оглянулась, будто отводя ветку, не смеется ли Григорьев, но он отстал на добрых десять шагов и шел сам по себе.

Григорьев понимал, что происходит с женщиной. Он догадывался, как она живет, да и отчасти, что было можно, рассказала ему о ней его знакомая. Он не знал лишь одного, что, предлагая поцеловать его, Светик рисковала сделать это совсем неумело. Она еще ни разу, кто бы мог подумать, в свои тридцать пять лет, не целовалась вдо-сталь. Было в студенчестве, но так давно все...

Одинокая. Это не было для Григорьева особой новостью — женщин, подобных Светику, он встречал достаточно и в своем городе: в доме, где жил, на работе. Да и не только в доме или на работе. Умные, образованные, в меру привлекательные. Или вообще не может выйти замуж, или выходила, но оказалось — не тот человек. А уж как развелись да осталась с ребенком, тогда одно — жди счастливого случая. А когда он придет — счастливый случай. Но что Григорьев мог поделаться? Пожалеть? Посочувствовать, как принято говорить. А нужно ли им — это сочувствие? Навряд ли...

Григорьев вспомнил свою жену, пятилетнего сына Сашку и тихо засмеялся. «Надо подарков им привезти, — подумал он. — На все деньги, что останутся, накуплю подарков. Завтра пойду по магазинам, в «Детский мир» загляну. Жене сумку поискать — просила...»

Светик по-прежнему шла впереди, не заговаривая. Они молча пересекли дорогу, идущую от полустанка, углубились в лес и скоро вышли к поляне — гулккие удары по мячу были слышны издали. Светик обернулась, лицо ее было спокойно, надменно чуть разве. Григорьев улыбнулся ей.

— Это самая большая поляна, — не отвечая на улыбку, сказала Светик, — во-он под деревом тем — мое местечко. Здесь у каждого свое место. Надо было раньше нам уйти от пруда...

Народу было порядочно, играли через сетки и просто кругом, перебрасывая друг другу мяч. Несколько пар склонились над шахматными досками, положив доски на

пни. В стороне от волейболистов играли в бадминтон. Гамаки развешаны были по краю леса, в них лежали, читая, те, кто уже наигрался. Толстячок прыгал через скакалку, сбивая вес.

— Привет, — сказала кому-то Светик, помахав рукой. — Ну, как игра?

Ей что-то ответили.

— Привет! Привет! — говорила Светик, улыбаясь, стараясь держаться ближе к Григорьеву, они пересекли наискось поляну. Светику нравилось идти рядом с Григорьевым, чувствуя на себе взгляды играющих. — Здравствуйте, Нина Сергеевна! Как вы?! О-о, и Павел Афанасьевич здесь? Здравствуйте!..

— К нам, Светик! — крикнули ей из круга. — И кавалера давайте сюда!

— Сейчас! — откликнулась Светик. — Ну вот мы и пришли. Здесь можно положить сумки. Какая старая береза, а?! Лет сто прожила, не меньше. Играть пойдете? Нет. Тогда разрешите, я вам гамак подвешу. Вот к этим деревьям я всегда привязываю, по нижним сучьям. Можно подремать, а то и поспать. Скучно станет — приходите в круг. Я вам покажу, как «свечи гасить» надо...

— Спасибо, — сказал Григорьев, — я и сам смогу подвесить. Идите.

Светик сбросила сарафан и убежала. Григорьев видел, как расступился слегка круг, впуская ее, как тут же подали ей мяч, и она, подпрыгнув, ударила его правой, срезая. Григорьев привязал гамак между двумя молодыми осинками, захлестнув петлей концы тесьмы поверх нижних сучков, опробовал руками — надежно ли — и пошел по лесу, посмотреть. Он обошел все поляны, всюду играли, трава на полянах была выбита дотла, а в траве под кустами часто замечал он газетные свертки. Морщась, Григорьев развернул один, в свертке была бутылка из-под воды, пустая консервная банка, яичная скорлупа, огрызки яблок, огурцов, корки хлеба...

Когда он вернулся обратно, Светик уже играла через сетку — видимо, ее приняли в команду. Он посмотрел, как, чуть пригнув плечи, расслабься, держа наготове напряженные руки, пританцовывает она в ожидании мяча, не стал обращать на себя внимание, снял ботинки и лег в гамак. Он лежал так, глядя в небо, слушая шелест листьев, ни о чем не думая конкретно и в то же время думая обо всем сразу, потом незаметно для себя уснул.

А когда проснулся, был уже вечер, в мяч не играли, народу заметно ubyло, Светик сидела неподалеку на пне, в который раз перелистывая журнал. Григорьев пошевелился, она заметила.

— Ну, как спалось? — спросила, улыбаясь. — Какие сны вас посетили?

— Ой, чудесно, — сказал Григорьев смущенно, вылезая из гамака. Ему было неловко перед женщиной за свой сон. — Просто чудесно, знаете. Давно не спал так, в лесу. В деревне своей летом я, бывало, на сеновале спал. Сарай в огороде, на чердаке сарая сено...

— То-то и оно, — Светик стала отвязывать гамак, Григорьев помогал. — Спали вы здорово. Я подойду, погляжу, а вы... Идемте, в семь пятьдесят электричка. Осталось двадцать минут, должны успеть. Понравилось? — спрашивала она на ходу, срывая рядом с дорогой ромашки. — Здесь прелестно. Можно еще и завтра поехать. На речку сходить, искупаться. Давайте договоримся заранее. Хотите?

— Спасибо, — сказал Григорьев. — Пожалуй, не получится. Уезжать скоро, дела. Да и не будет лучше, чем сегодня. Это уж всегда так — примета. Ого, впереди спешат. Сколько минут в запасе у нас?..

Электричка подошла минута в минуту, они вошли в вагон, сели опять к окну и незаметно и непринужденно проговорили всю дорогу до Москвы. Светик рассказывала о своей работе, опытах.

— Знаете что, — сказала Светик на привокзальной площади, где Григорьев хотел было уже распрощаться, — знаете что, идемте ко мне в гости. Я живу недалеко, прямым автобусом шесть остановок. И от дома моего вам удобно ехать — без пересадок доберетесь до гостиницы. Ну чего вы засыдете сейчас в номере, что станете делать? Пойдете в буфет сосиски жевать? А мы попросим маму приготовить ужин. Я вас познакомлю с мамой. Послушаем музыку. У меня есть несколько прекрасных пластинок — хоровое пение. Чудно поют. Хоровая капелла Юрлова. Приходилось слышать?..

— М-м, — запротестовал, отказываясь, Григорьев, не зная, что и сказать.

— Идемте, — Светик взяла его за руку повыше локтя, — не пугайтесь, это вас совершенно ни к чему не обязывает. Я приглашаю вас в гости, и все. Домашние ваши и сослуживцы, надеюсь, не узнают, что в Москве вы проводили время с женщинами...

— Ну хорошо, — сказал Григорьев, — но сначала нужно зайти в магазин, купить что-то. Вина приличного. А то неудобно — в гости принято приходить с чем-то. — Григорьеву совсем не хотелось в гости: сидеть за столом, говорить о чем-то...

Они сели в автобус и через малое время сошли на нужной остановке. Магазин находился неподалеку от дома, где жила Светик. Григорьев купил две бутылки сухого венгерского вина, поднялись на четвертый этаж старого дома, к балконам которого подступали деревья, Светик своим ключом открыла дверь, пропуская Григорьева. Навстречу им из кухни вышла небольшого роста женщина, в цветном, на пуговицах халате. Лицо ее было спокойно. Она остановилась, глядя на Григорьева. Григорьев молча поклонился, здороваясь.

— Мама, у нас гости, — сказала Светик. — Знакомьтесь, это моя мамочка. Зовут ее Екатерина Владимировна.

— Здравствуйте, — сказала женщина. — Проходите в комнату. Да не нужно разуваться. У нас и тапочек-то мужских нет. Купить надо.

— Это друг семьи моей приятельницы из института, — объяснила матери Светик, выйдя из умывальника с полотенцем в руках. — Он в командировке, скучает по выходным, вот она и попросила взять его за город. Мы ездили в Раздоры. Представляешь, — Светик говорила быстро, глядя то на мать, то на Григорьева, — ему там очень понравилось. Редкой красоты места. Отдохнули мы просто великолепно. Я наигралась. Никогда еще не играла так удачно...

— Ну вот и хорошо, — сказала мать спокойно, — отдохнули. Ужинать будем? Что приготовить? Есть холодный зеленый борщ. Второе...

— Мама, наш гость из Сибири. Давай сварим пельмени, у нас есть пачка. С лучком, с перчиком, с маслицем. А, мамусь?..

— Сварим пельмени, — согласилась мать, — салат придумаем еще.

— Поставьте, если можно, вино в холодильник, — попросил Григорьев Светика. Он вспомнил о пиве — третья бутылка так и лежала в портфеле. Подал Светику бутылки, завернутые в папиросную бумагу. Пиво решил увезти обратно в гостиницу, выпьет утром.

Светик вышла, а Григорьев, осматривая комнату, сидел возле приоткрытой балконной двери. Ветки клена лежи-

лись на перила балкона. Шума машин не слышно было. В комнате чисто и прибрано, книги стояли на полках. Григорьев подошел взглянуть: справочники по химии, словари. Стихи Ахматовой...

— Вот так мы живем, — сказала Светик, вернувшись, садясь на свой диван. — У вас большая квартира? Две комнаты. А у нас вот эта. Здесь мы живем с мамусенькой давно-давно. Здесь я родилась и прожила всю жизнь. Поставить музыку? У меня есть пластинка «Русская хоровая музыка». Бортнянский, Березовский, Ведель... Исполняет академическая капелла. В институте подарили.

Они сидели и слушали пение, а мать на кухне готовила ужин. Потом она пригласила их к столу. Григорьев сходил в умывальник, вымыл руки. Стол был накрыт скатертью с кистями. Сели за стол. Григорьева посадили лицом к окну, к свету.

— Вы как любите пельмени? — спросила хозяйка Григорьева. — С маслом или со сметаной?

— С бульоном, — сказал Григорьев, — я их ем тогда как суп. — И засмеялся. Ему нравилась мать Светика. Ему нравились чистоплотные хозяйственные женщины. Говор у нее был удивительный... вятский, что ли. Редко приходилось слушать подобную речь.

Чокнулись и выпили вина из высоких тонко звенящих рюмок. Вино охладилось и было очень вкусным. Вкусной была еда. Григорьев охотно ел. Хозяйка добавила ему пельменей, он улыбнулся.

— Назююкаешься опять, — блестя живыми глазами, сказала мать дочери, когда они выпили еще по рюмке. И стала рассказывать Григорьеву: — На день рождения Светланы гости были. Ну, каждый тянется с рюмкой, поздравляет. С каждым и выпить надо. По глотку да по другому. По глотку да по другому. Поздно разошлись. Ложимся спать, а Светлана и говорит: «Ох, мама, и назююкалась же я!»

Хозяйка с Григорьевым рассмеялись, Светик смутилась чуть.

Матери гость приглянулся: не охальный, как некоторые, ест аккуратно и лицом пригожий. И пьет без жадности. А иной, если принес вино, не отступится, пока не допьет. Допил — и заговорил. Несет что попадя, другому не даст слова вымолвить.

— А я ведь и воевала, — сказала хозяйка Григорьеву. — Медали имею. Ох, и потаскала вашего брата, солдатушек,

на себе. Ох, и потаскала. Вовек не забыть мне их. Мы перед войной около станции жили железнодорожной, на станции военкомат. Как война началась, я туда все бегала, на фронт просилась. Раз да другой, бессчетно раз. Взяли. Послали наперед в Вятские Поляны. Городок есть такой, слышал небось. Вот. В Вятские Поляны, на курсы медсестер. А уж потом — туда, в пекло. До сорок пятого, до победы шла. Да, видно, звезда моя высоко горела — не зацепило ни разу, не задело. А сколько смертей видела вокруг кажин день, сколько смертей. Помню, тащила лейтенанта одного. Сначала волоком — головы не поднять, стреляют. А потом на спину взвалила, пригнулась и побегла. Я хоть и низка ростом, а крепкая на ногах — в девках кули с картошкой приходилось ворочать. Ташу, ноги его по земле волокуются, сам хрипит — в живот раненный. Молодой совсем, долгий да черный, как вы. Посмотрела на вас, сразу вспомнила. Бегу, а уж и силы мои кончаются, ноженьки подсекаются — вот как. Хоть бы не упасть, молю господа: дай мне силушки чуток...

— Вынесли? — спросил Григорьев, глядя на хозяйку. — Вынесли его?

— Нет, не донесла. Живым не донесла. Положила подле своих и — обратно.

Мать сидела минуту в задумчивости, вспоминая, как увидела лейтенанта. Он лежал возле воронки от разрыва снаряда, лежал на спине, прижимая ладони к разорванному животу, и молча смотрел вверх. Лицо его было в слезах. Они почти высохли, слезы. Наверное, он уже умирал тогда. Черноволосая голова его была не покрыта, и какое умное, всепонимающее и в то же время отрешенное лицо было у него. Она тогда подумала — девкой была молодой, глупой, а вон как правильно подумала, — что людей с такими лицами не надо бы отправлять на войну. Их там убивают в первую очередь. Когда его похоронили, она не знала. Не видела могилу. Ушли скоро. Не донесла...

— Открывайте, чего же вы, — указала мать на вторую бутылку.

— Хватит, может быть? — Григорьев посмотрел на Светика. — Пусть стоит. В следующий раз выпьем. А то назююкаюсь и до гостиницы не доберусь. Швейцар не пропустит — строгие они, швейцары...

— Нет, нет, — запротестовала хозяйка, — зачем же так. Если не хватает сил, — она засмеялась, — я сама открою. Дайте-ка штопор.

Ей очень не хотелось вставать из-за стола, посидеть еще часок вот так, поговорить. А встанешь, Светик тут же уведет гостя в комнату, прикроет дверь, и они будут там разговаривать, а тебе убирать посуду со стола и ждать возле окна одной, пока уйдет гость. А после что делать — спать? Раздумаешься — и сны не берут...

Григорьев налил вино, мать потянулась к его рюмке, чокнуться, и опять поразилась сходству с тем лейтенантом. Будто отец и сын, или братья, или сам лейтенант, но как бы уже постарше годами. Она их сотни вынесла за годы войны, живых и мертвых, солдат и офицеров. А крепче других почему-то запомнился тот, черноволосый. Пуще всего было жалко его.

В тот день она вынесла еще одного лейтенанта. Он нашел ее потом, после госпиталя уже. Долго его лечили, не вылечили до конца. Война закончилась, они приехали в Москву и стали жить вот в этой квартире. Он дал жизнь Светику, а сам вскоре умер, не прожив и тридцати лет. Он не был здоров от природы, да еще изранен, и не передал дочери достаточно сил. Светик переняла от него обличье, характер, только ростом пошла в мать. Она часто хворала, и матери приходилось трудно. Мать работала медсестрой до самой пенсии, а работая медсестрой, попробуй подыми ребенка, хоть и одного. Были детство и юность, были школа и институт, и вот теперь она сидит рядом, ее дочь Светлана, тридцатипятилетняя девушка, умная, грамотная, кандидат наук, начальник лаборатории и — одинокая. Время от времени она приводит гостей, знакомит с матерью, мать готовит ужин или обед, приглашает к столу, угощает, разговаривает. Потом гости уходят, мать провожает их, благодарит. Просит заходить почаще...

А гости были разные. Их было не так уж и много за все время, гостей, человек до десяти если, но ни один из них не приглянулся матери. Чего-то в них не хватало. Стержня, пожалуй, не хватало, что держит человека, делая его самостоятельным. Или, может, так казалось матери. И это бы еще ничего не означало, что они не приглянулись ей, они, судя по всему, не приглянулись и дочери. После этого ни одного из них мать уже не видела.

А вот Григорьев понравился. И не потому вовсе, что походил на черноволосого лейтенанта и напомнил ей войну. В нем чувствовалась самостоятельность, которую мать не всегда замечала в людях. Она была бы сейчас совсем не против, если бы дочь надумала оставить у себя гостя

до утра. Она не могла сказать сама об этом дочери, но когда бы та решилась, мать ничего бы не сказала. Наоборот, была бы рада. А сама бы ушла ночевать в соседний подъезд, к подруге, одинокой женщине. До каких же пор ей выжидать, дочери. В тридцать лет трудно, а в сорок еще труднее. Жизнь — она не из одной молодости состоит, не успеешь оглянуться, как постареешь враз. Ей, дочери, надо родить, родить от хорошего человека. И это ничего, что так получилось бы, зато ребенок был бы здоровым и разумным. Покуда она, мать, в силе еще, она бы возилась, помогая. Ох, мысли, мысли. Хорошие — нехорошие. Да что поделаешь. Ничего не поделаешь...

— Идемте в комнату, — сказала Светик Григорьеву, — мам, ты уберешь со стола? Убери, пожалуйста...

Они прошли в комнату и опять слушали русскую хорошую музыку, негромко разговаривая. За окном стемнело заметно.

— Я пойду, однако, — Григорьев посмотрел на часы, — поздно уже. — И встал.

Светик выключила проигрыватель, они вышли в коридор.

— Мам, я ненадолго, провожу и обратно, — сказала Светик.

— До свидания, — сказал Григорьев, пожимая руку хозяйке. — Спасибо вам. Посидели хорошо, ужин был замечательный...

— Вам спасибо, — сказала мать. — Спасибо, что зашли. Приходите...

Григорьев и Светик молча дошли до остановки и коротко попрощались. Григорьев поехал в гостиницу, Светик же стояла в своей комнате на балконе и плакала. А мать сидела на кухне и смотрела в окно.

Вечера

Бывало, вернешься с полей, в сумерках уже, отпустишь пастись быка на край деревни, за огородами, пройдешь затравеневшим переулком к избе своей, на берег Шегарки, повесишь веревочную уздечку в ограде на штакетину, поужинаешь картошкой с молоком, выйдешь на крыльцо, сядешь на верхнюю ступеньку и, облокотясь на колени, долго будешь сидеть в сладком томлении, вбирая редкие звуки затихающей к ночи деревни.

Лучшее время этой поры — конец июля, август: комар исчез, слабеет и даже в полуденную жару редок паут, мошка еще не началась, погожие, с высоким небом дни переходят в долгие теплые вечера, зелено окрест деревни, в перелесках и сограх не видно желтого листа, зелено в огородах: вовсю цветет, подымая головы над городьбой, подсолнух, мак отцвел, отцвела картошка, наливается по грядкам морковь, кое-кто уже пробует первые огурцы; скоро начнут поспевать в лесу ягоды, сенокос в самом разгаре, и люди ежевечерне возвращаются с полей усталые.

Мужики редко берутся за домашнюю работу после ужина, курят перед сном, сидя в оградах на козлах или суковатых, не расколотых с зимы чурбаках, осторожно держа в натруженных чернями вил руках самокрутки, бабы, накормив семью, подоив корову, управясь с молоком, стараются лечь пораньше — им и вставать раньше всех, до выхода на работу надо успеть подоить, выгнать в стадо корову, приготовить завтрак, сделать другие незаметные, но необходимые утренние дела, чтобы не зависали они на день, прибавляя забот вечером — вечер свои заботы принесет.

Ти-ихо. Сумерки густеют, скрывая городьбы, березовая согра за огородом сливается, пугая темнотой. Избы, сараи, бани как бы расплываются, делаются чуть ниже, мягче в очертаниях, сильнее пахнет трава, звучнее бой кузнечиков. Вдруг взлает за соседним двором собака, смолкнет сразу, опять тихо, и тут с дальнего конца деревни дойдут до тебя волнующие звуки гармошки — это Петя Сверчок вышел из дома и медленно идет сначала по переулку, потом улицей через мост к конторе, где под тополями собираются каждый вечер девки и парни. Приходили и мы — подростки, посмотреть, как танцуют, играют парни с девками, послушать гармонию, разговоры — ведь мы тоже скоро станем взрослыми.

Петя далеко, но ты видишь его, потому что знаешь давно, знаешь голос, походку, привычки. Петя — парень. Еще год-полтора назад он дружил с нами, бегал босой, играл в лапту, возил на быках копны, сгребал подсыхшую кошенину на конных граблях, и вот, незаметно для глаз наших, будто за одну ночь, Петя неузнаваемо изменился: стал выше ростом, плечи расправились, окрепли руки, голос сделался глуше, и Петя отошел от нас, присоединившись к взрослым парням. Теперь его посылают на мужичью работу, он носит сапоги, пиджак и кепку-восьми-

клинку, он курит табак, зачесывает чуб на сторону, провожает с гулянья девку, и мы, бывшие его товарищи, завистливо следим издали, нам хочется как можно быстрее стать парнями. Но Петя старше нас — кого на год, кого на два, три года.

Петя идет серединой переулка, идет не спеша, гармонь его звучит негромко, это мелодия какой-нибудь грустной протяжной песни, от этого сумерки еще печальнее, хочется выйти вслед за гармонистом за деревню и идти, замирая, по накатанным телегами дорогам в любую сторону, куда только он поведет. На Пете тяжелые от дегтя кожаные, со сдвинутыми голенищами, самодельной работы сапоги, простые, прокатанные рубелем и каталкой штаны его на поясе стянуты ремнем, штанины для форсу чуть напущены на голенища, на Пете выходная светлая, в полоску рубаха, кепка-восьмиклинка сбита на затылок и на сторону, открывая чуб, пиджак наброшен на плечи, в руках полухромка. Заменяв женившегося прошлой осенью гармониста, Петя первый теперь на деревне гармонист — женатые под тополя не приходят, если они играют — в компаниях.

Стать парнем — мало повзрослеть, надо, чтобы родители справили тебе сапоги, пиджак и кепку. Иначе ты — парень не парень. А штаны должны поддерживаться ремнем. Это уж обязательно. Если пришел под тополя в сапогах, при пиджаке и кепке, а без ремня — засмеют, не признают за парня. Первое лето ходит в парнях Петя, радости полон. Сапоги ему старший брат уступил, ремень отцов — ремнем этим отец порол его, случилось, пиджак и кепку сшил деревенский портной. И гармошка Петру от старшего брата досталась. Играть Петя выучился лет двенадцати, играл дома, выносить гармонь за ворота не разрешали, а нынче весной, как подсохла потеплу земля и распустились деревья, вышел Петя с гармонью на улицу, волнуясь, прошел под взглядами по деревне.

Вот он идет, идет улицей уже к мосту через Шегарку, раздумчиво, как бы для себя, наигрывая «Синий платочек», гармонь слышно во все концы, и взрослые, кто не заснул еще, отмечают в полудреме: Петя пошел. А девки и парни наряжаются, прихорашиваются, торопятся под тополя. Девки — особенно. Девки девками тоже становятся как-то враз, не заметишь. Вчера еще девчонкой неприбранной бегала, нос рукавом утирала, а сегодня развернулась — не угадать. Юбку ей подавай со складками, полуботинки, носки с каемочкой, платок цветастый на плечи, гребенку хоро-

шую в волосы. Волосы теперь у нее не как попало — надо лбом подняты волной, а сзади, пониже затылка, гребенка полукруглая держит. Некоторые косы носят, кто аккуратен и следит за собой — коса ухода требует, времени.

Контора колхозная на правом берегу Шегарки недалеко от моста, соединяющего речные берега. Контора — обычный крестовый дом: крыльцо, сени, кладовка для колотых дров, просторная, в три окна, с печкой прихожая, лавки у стен, из прихожей — дверь в комнату поменьше, это кабинет, где сидят председатель и счетовод. За конторой — длинные бревенчатые амбары, под окнами изгрызенная коновязь, старые раскидистые тополя с трех сторон высоко поднимают вершины над тесовой крышей конторы, слева — луговина, на ней из года в год с первых сухих теплых дней до осенних дождей собирается вечерами деревенская молодежь.

Уже луна поднялась за деревней, над далеким сосновым бором, светло, хоть иголки собирай, как говорят бабы, на луговине людно, девки стоят отдельно, ребята — сами по себе, мы, ребяташки, взобрались на коновязь, уселись рядком, наблюдаем. Ребята покуривают, разговоры у них разные — о работе, домашних делах; Петя с ними, гармошку он на табурет поставил — кто-то принес для него из ближайшей избы. Девки — в сторонке чуть, кружком стоят, пересмеиваются, одна семечек прошлогоднего подсолнуха принесла, оделяет всех по горстке в подставленные ковшиком ладошки. Грызут семечки, утирая рты сложенными платочками.

«Петя, сыграй!» — просит кто-нибудь из девок. Сейчас начнутся танцы. Петя берет гармонь, садится на табурет, кладет ногу на ногу, на них гармошку, надевает на правое плечо ремень. Он готов, давайте заказы. «Краковяк сыграй, краковяк, — просят наперебой девки. — Подгорную! Петя! Табора!» Петя начинает вальс «На сопках Маньчжурии», ребята приглашают девок, кружатся на утопанной подошвами земле.

А мы сидим на коновязи, тихонько переговариваясь между собой, обсуждаем, кто как танцует, кто как одет, кто с кем «ходит». Мы знаем, что за вальсом Петя начнет играть краковяк, потом танго, табора, барыню, которую пляшут все, а в самом конце — плясовую на заказ, когда желающий сплясать вызывает себе напарника. Это, пожалуй, самое интересное. Мало кто умеет хорошо плясать, кто умеет — показывает здесь.

Петя разгорячен игрой, он уже в одной рубашке, пиджак набросил на плечи своей подруге, она стоит за спиной его, обмахивая лицо гармониста веточками, как бы отгоняя комаров, создавая кавалеру прохладу. Весной, когда комар кипит, девки по очереди оберегают гармониста, чтобы не отвлекаться тому, отмахиваясь. Петя взглядывает на подругу, улыбается.

Ребят и девок по деревне не равно, одних больше, других меньше. Устойчивых — пар десять бывает всегда на луговине, остальные или не нравятся друг другу, или стесняются еще ухаживать-проводить. «Не отстоялись пары», — говорят про таких. «Ходят» год, и два, и три. Поженились, сошли с луговины, их место занимают вчерашние подростки. Редко распадаются пары, но случается и такое. Разошлись — заново начинать тяжко. «Петя, русскую!» — кричат гармонисту. «С выходом, Петя!» — просит тот, кто заказывает плясовую. Петя на минуту сжимает мехи, меняет под гармонью ногу, поправляет ремень. Ме-едленно — басов почти не слышно — развивает «выход». Обычно пляску затевает девка. Становятся кругом, девка, растянув за концы лежащий на плечах платок, расправив, отогнув чуть назад плечи, мелко переступая, «пльвом» обходит внутри круг, выбирая из ребят напарника, кто получше пляшет, останавливается напротив него, отступает шаг-другой и какое-то время на одном месте «бьет дробь», вызывая. Тот, кого вызывает девка, соглашается сразу или для виду куражится — тогда его выталкивают на круг. Это — выход. После выхода начинается пляска. Пляшут обязательно с припевками. Девка, стоя на одном месте, слегка переступая ногами, поводя плечами — кисти рук, растянувшие на плечах платок, немного опущены, — поет частушку:

А мне милый изменил,
А я не опешила,
В переулке догнала,
Оплеух навешала.

Парень, пока девка поет, винтом ходит вокруг нее, бьет сапогами в землю, вскидывает руки, вскрикивает. А Петя режет что есть мочи, вопрекл аж — молодец! Закончила девка, парень тут же останавливается, перебирая ногами, запекает свою частушку:

Ах, милка моя,
Чтоб ты сдохла,

Теперь уже девка пластается вокруг него, изгибается, кружит юбкой. Все внимательно наблюдают: интересно — кто кого побьет. Первыми, сколь ни затевалось плясок, с круга сходят парни. Девки подсмеиваются над ними, за-рекаясь впредь вызывать плясать.

Наплясались. Петя встает, кладет гармонь на табурет. Но это еще не все, не конец. Сейчас начнутся игры. Играют «в третий лишний», с ремнем и в «ручеек». В «третий лишний» — становятся двойным кругом, попарно, девки образуют внутренний круг, ребята — внешний. Двое свободны. Один — с ремнем, он догоняет другого, стараясь огреть его ремнем, а тот спешит убежать, проникнуть внезапно в середину круга и встать неожиданно впереди какой-нибудь пары. Теперь уже их трое, третий — с внешней стороны круга, он лишний. Тот, что с ремнем, хлещет лишнего изо всей силы ниже спины (девок бьют слабее, щадят), бросает на землю недалеко от круга ремень и убегает сам; побитый хватает ремень, бежит следом, желая догнать и отомстить, пока убегающий не заскочит в середину круга.

А в «ручеек» парни и девки становятся друг против друга, образуя две шеренги, сцепив в кистях поднятые руки, сделав «потолок». Одна девка должна остаться без пары, она начинает игру. Девка проходит между шеренгами под «потолком», идет и вдруг быстро касается рукой плеча кого-то из стоящих ребят (может выбрать и подругу), «отмечает» и тут же бежит прочь от играющих, а отмеченный старается догнать ее. Вернувшись, они становятся в конец шеренги, а тот, у кого забрали напарника, в свою очередь проходит под «потолком», «отмечая» того, кого желает. Бывает, «отметит» кого-либо, а он не хочет бежать, выбирай второго.

В этой игре выяснялись взаимные симпатии. Бывает, нравится парню девка и он ей нравится, а подойти к ней вечером просто так робеет парень, да не танцует еще, не научился, так и простоят один весь вечер, один и домой уйдет. Днем, случается, работают вместе на сенокосе, разговаривают, но разговор обыденный, днем — одно, вечером — совсем другое. Да хоть и танцует и осмелился пригласить желанную — не поговоришь на виду у всех как следует. А в игре легче все, естественней. Тут уж не зевай.

Если девка «отметила» парня просто так, поиграть, и побежала, то ни в какую не даст себя догнать, изматает



бегуна, сделав круг, вернется обратно, а он, глядишь, плетется следом. Когда же хотят выяснить симпатии, девка, отметив парня, бежит не шибко, для виду, отбежав в темноту, на шаг переходит. Долго их нет. Смотришь — возвращаются, взявшись уже за руки, иной, осмелев совсем, за талию слегка придерживает подругу или руку на плечо положит ей. Другие — не возвращаются вовсе к игре, свернут в переулочек — не ждите. С этого вечера они — пара, начинают «ходить».

Играют. А мы сидим на коновязи, как ласточки-подлетьши на изгороди, смотрим. Учимся, переживаем. Каждый ставит себя на место того или иного парня. Каждый выбрал уже себе подругу по гроб, отвергнув многих.

А ночь светлая. Теплынь. Луна высоко поднялась над деревней. Видно ближние дворы, видно дальние. Луна волнует нас всех, и больших и малых. Чудесно пахнет полынь — запах полыни самый сильный в ночи. Вечер скоро перейдет в ночь, но никому не хочется расходиться по домам. Парни-девки наигрались, сбились в кучу: смеются, говорят возбужденно. Наигрались, но и это еще не все. Перед тем как разойтись парами, пройдут гурьбой с песней из конца в конец деревни — без этого вечер не вечер.

Девки берут друг друга под руки, человек пять их так становятся — на ширину дороги. И еще человек пять — следом. Самые голосистые — посредине. Ребята с боков, позади. Опосля всех — мы, ребятишки. Кто-нибудь из подростков несет Петину гармонию. Петя наказ дал, чтоб не роняли. «Костры-ы горя-ят далекие-е», — начинают от конторы девки, ребята помогают им, кто любит петь. А кто не поет, просто идет вместе со всеми. Споют «Костры горят...», и «На позицию девушка...», и «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...», и «Под окном черемуха колышется...», выйдут за деревню, постоят на выходе за крайним огородом — так тянет дальше лунная ночь, — повернут обратно, и — опять с песней — станут отставать пары одна за одной, сворачивая в переулочки, затаиваясь в тени палисадовых тополей. И ребятишек все меньше — разбрелись. К конторе подходят несколько человек.

Разошлись. Мы остаемся с Шуркой Городиловым, нам надо через мост на левую сторону Шегарки. Рядом Федька Храмов, ему дальше за конторку, в край улицы. Он глядит куда-то мимо тополей, подходит к нам и шепчет:

— Колька Сергунов Кланьку Вязову за амбары повел. Видели? Только что.

— Ну и что? — спрашивает Шурка. Он не любит Федьку, они и в школе воюют.

— Тискать станет ее, целовать — уговаривать. Айда глядеть. Из-за углов выглянем — не заметят. А? Или к Дарье Маскаехе в огород заглянем. Горох у нее налился — стручки лопаются. Я утром проходил мимо, заметил. Пошли! А то оборвут до нас, опередят. Сама спит давно, собаки у нее нет. Ну?!

— Знаешь что, — сказал Шурка, — иди-ка ты сам. А мы — домой. Нам вон аж куда — край дальний. Утром на работу. Пошли, Алешка, поздно уже. Проспим утро.

— Тогда и я домой, — подумав, говорит Федька. Отходит от нас и медленно идет по улице, держась близ городьбы. А мы с Шуркой сворачиваем к мосту. Мы знаем, что домой Федька не пойдет, дождется, пока мы скроемся из виду, нырнет от городьбы под тополя, пробежит по теневой стороне к амбарам и будет высматривать из-за угла, кто это там стоит и что делает. А потом еще в чей-нибудь огород заберется. Федька старше нас с Шуркой года на полтора. На следующее лето он готовится выйти на улицу парнем, пока же водится с нами. Он тоже работает на сенокосе, сгребает на конных граблях подсохшую кошенину, а мы с Шуркой на быках возим копны. Федька любит подглядывать за парнями, когда те остаются наедине с девками. Его уже прихватывали и драли крапивою. Он и в бани подглядывает, если бабы с девками моются. Один раз подполз в субботний день по бурьяну к Мекешиной бане, к окошечку самому. Федька думал, что моется тетка Мекешиха с дочерью, шестнадцатилетней Танькой, на которую он и хотел посмотреть, а мылись в это время Мекешины ребята, Иван да Павел. Они заметили Федьку, выскочили из предбанника голяком, поймали его тут же в бурьяне, повалили, прижали к земле, один держал, а второй расстегнул Федькины штаны и насовал туда крапивы. Штаны застегнули на пуговицы, Федьку подняли и велели рысью бежать краем огорода, к дороге. Вот он орал, на всю деревню. Смеху потом было, разговоров. Дразнили Федьку, кто только хотел. Но Федька так и не успокоился. В бани перестал подглядывать — за парами следил. Держаться старался подальше, чтобы успеть убежать. И нас уговаривал пойти с ним. Стоит, наверно, за углом абмара.

Мы с Шуркой не спеша переходим мост, глядя в темную воду. Луна плавает неглубоко возле самого берега, можно нагнуться, зачерпнуть кепкой. Проходим мимо

усадыбы Шадриных и заворачиваем направо, на свою улицу. Шуркин дом третий по левобережью Шегарки от въезда в деревню, наш — пятый. Время, чувствовалось, близко к полуночи, может, уже и полночь наступила, а мы разгулялись, спать не хочется, так бы и бродили по деревне, где ни одного огонька, тихо и только зыбкий лунный свет. И собак не слышно — спят себе по дворам.

Мы дошли до нашего огорода, взобрались на городьбу и сели рядом, опустив ноги на нижние жерди.

— Скоро картошку подкапывать начнут, — сказал Шурка, глядя в огород, где рядами, темнея отцветшей ботвой, росла прополотая, окученная картошка. — И огурцы подойдут. Я так люблю молодую картошку с первыми огурцами. А ты любишь? — Шурка посмотрел на меня. — У вас картошка рассыпчатая.

— Люблю, — сознался я. — И с малосольными огурцами люблю. Только не скоро начнут подкапывать, июля еще шесть дней. Мать всегда в середине августа начинает подкапывать. Старую варим, она уже дряблая, проросла.

— Знаешь что, — предложил вдруг Шурка, — давай я к Безменовым в огород сбегаю, морковку выдерну. У них каротель из года в год — сахар!

Безменовы — наши соседи с левой стороны. Избенка у них об одну комнату, с ветхими сенями. Ближе к дороге — соломенный скотный двор. Живет в избенке семидесяти-восьмилетняя бабка Матрена с сорокалетней незамужней дочерью Марьей. Справа от нашей усадьбы изба Дорофеевых. Старик со старухой в ней живут, дочь у них — намного моложе Марьи, а у нее ребенок, нагулянный в девках. Старик суров видом, малоразговорчив. Выйдешь утром, а он уже управился по хозяйству, стоит возле двора, опершись на палку, кашляет. Борода на грудь, желтая, с прозеленью борода. Он стар, но крепок еще. За дровами в лес один ездит. На корове. Корова у них красная, рогатая, здоровая — чисто лось. Любой воз наложи — поперет.

Я еще не ходил в школу, когда мы переехали в эту избу, на берег Шегарки. А до этого жили на северном краю деревни, возле самого леса. Там тоже было хорошо. Переехали. Долго не приходил к нам дед Дорофеин проведать, как соседей. А потом зашел. По осени, кажется, уже в огородах убрали. Снял шапку, поздоровался, сел на голубец около большой печи. Закурили они с отцом самосаду, отец на кровати полулежал — нога прибалывала. Закурили, стали разговаривать. Старик первый завел:

— А я ведь, Егор, плохо про твоих ребятишек думал сначала. Как переехали вы — ну, думаю, спасу теперь от них не будет, в огород начнут лазить, на грядках все с корнями повывергивают. Так и со старухой решили. Выходил до сколь разов на улицу, проверял. Во дворе затаивался вечерами с хворостиной. А они — ничего.

— Наши не безобразят, — кашлянув, сказал отец. — Никто еще не жаловался.

Редко заходил старик. А бабка Матрена бывала каждый день, приболеет если — не попроведает. Сядет на тот же голубец, заговорит с матерью.

— Дунюшка-а, — скажет, — расхворалась я вчера в вечер, седни поднялась едва. Стирку затеяла утром, сходила три раза с коромыслом на Шегарку, и так мне спину что-то заломило. Ой-ой, силы никакой нет. Как дальше?..

— Матрена Васильевна, — засмеется мать, — да что ты говоришь — силы нет. У тебя восьмой десяток на исходе. Дай бог нам дожить до таких лет. Тебе ли с двумя ведрами из-под берега вылазить. Тут — сорок пять, и то шатает, накрутишься за день. А уж в твои-то годы на печи лежать...

Мне что-то жалко стало бабку Матрену, когда Шурка захотел сорвать морковки с ее грядок. Вспомнил я, как приходит она к нам, огибая по-над речкою огород по стежке, ею же пробитой, маленькая, согбенная, семена, опираясь на батожок. Как возится она на огороде своем, став на колени, пропальывает грядки с той же морковкой.

— Шурка, — сказал я тогда, — давай я у себя нарву морковки. У нас тоже каротель, не хуже соседской. И таиться не надо: мать разрешает рвать — морковь крупная уже. Помнишь, позавчера я приносил на сенокос?

— Ну, сходи, — сразу согласился Шурка. Видно, ему самому было совестно лезть в чужой огород. Он уже пожалел, что предложил. А тут я назвался.

Я пошел за морковкой, а Шурка прыгнул в огород, лег в высокую густую траву между городьбой и картошкой, дожидаясь меня. Залезть в чужой огород не считалось особо зазорным по деревне. Это велось издавна, и хозяева не шибко обижались, они сами когда-то были молодыми. Забрался — ничего, только чтобы не напакостил сильно. Из ребятишек мало кто занимался этим, среди парней любители находились. Провожает парень девку переулком, проходит мимо чужого огорода, и захочется ему враз удаль свою показать перед подругой, угостить ее чем-нибудь. Махнет через городьбу, почти не пригибаясь, пробе-

жит к грядкам, на ощупь сорвет пару огурцов или карман стручками гороха набьет и — обратно. А то своротит шляпу подсолнуха, который поспелее, высмотренный заранее.

Я подошел к грядке, приглядываясь, где ботва потолще, и вытянул четыре каротелины — крепкие, ровные, с тупыми концами морковки. Отряхнул от земли — не хотелось спускаться к Шегарке, мыть, — понес Шурке. А он все лежал в траве, прислонясь плечом к жердям, смотрел на луну — она стояла высоко-око, как раз над Панкиным сараем. Мы обтерли морковку о траву и, держа за ботву, стали есть, хрустя. Морковка была сочная, и чувствовалось даже по запаху, что молодая.

— Алешка, — сказал Шурка, поворачиваясь ко мне, — я вот сейчас, когда тебя не было, на луну смотрел. Знаешь что? Ты видишь там лицо человечьё?

— Вижу, — ответил я. — Если долго смотреть — оно расплывется. А взглянешь сразу — отчетливо видно. Нос, глаза, губы. Прямо лицо живое — и все.

— И я вижу, — продолжал Шурка. — Даже жутко как-то — сверху на тебя глядит. Мама рассказывала, что давным-давно, когда еще и людей на земле не было, жили на луне два брата. Ну, вот... жили-жили, добра наживали. А потом что-то не поделили промеж собой и поссорились. И один брат, старший кажется, невинно убил другого. Стамеской. Вот лицо убитого и проступает на луне. Мама говорит — это для того, чтобы люди на земле помнили постоянно про братьев и зла друг на друга не таили понапрасну. Только я думаю, что все это выдумка. Ведь не доказано, что жизнь на Луне есть. И на других планетах. А может, есть. Как ты думаешь?

— Выдумка, конечно, — согласился я. — Учитель по географии говорил, что это просто пятна. Он объяснял, что за пятна, — да я позабыл. А похоже — лицо.

— Славная ночь, — помолчав, сказал Шурка. — Светло, тихо. Слышишь, коростель кричит. Чего это он — в это время? А вот, слышь, ботало звякает — кони за согрой пасутся. Конюх не загоняет их на ночь в конюшню, до зари пасутся. А чуть свет — в косилку, косари рано выезжают. На следующее лето нам уже не копновозить — на грабли посадят, накатаемся на конях верхом. Завтра метать на Святой полосе начнем, звеньевой сказал. Копен там — не сосчитать. Ну, что — по домам? Пойдем, Алешка, поздно уже.

— Ты где спишь? — спросил я Шурку. — На сеновале?

— На сеновале, — ответил он.

— А ты?

— В кладовой. Там, если комаров нет, благодать. До самой осени спать можно, до холодов. Я старую кровать перенес, установил у оконца.

И мы пошли спать.

Иногда посуху раза два, а то и три в лето привозили к нам в Жирновку кино. Почтальонша, которая каждый день ходила во Вдовино, на почту за письмами и газетами, приносила в деревню эту новость, рассказывала своим ребятишкам, а мы узнавали от них.

— Кино во Вдовине показывали, — передавали нам ее дети. — Завтра у нас. Подводу велели посылать, мамка сказала.

— Завтра кино! — кричали мы, обрадованные. — Кино привезут завтра, почтальонша сказала!

— Как называется, «Тарзан»?!

— Нет, «Смелые люди»!

Плохо, если почтальонша не догадывалась спросить название или забывала по дороге. Тогда наша радость была неполной. Посылалась во Вдовино подвода, приезжал киномеханик, погрузив на телегу аппарат, жестяные коробки с пленкой. Мы, ребятишки, если не были заняты работой, встречали его за деревней. Случалось, бригадир посылал за киномехаником кого-нибудь из нас. Счастливый шел на ферму, запрягал в телегу быка, взяв вожжи, садился на край телеги, свесив ноги, рядом усаживалось человек пять — сколько вмещалось, и мы долго ехали во Вдовино, до которого было от нас шесть верст. Обратным путем на телеге сидел один киномеханик, придерживал аппарат, мы, переговариваясь, шли за телегой, выпрашивая у киномеханика — интересный ли фильм, про войну ли он.

Клуба в деревне не было, в конторе — тесно, не вмещала она всех зрителей, и показывали кино обычно в амбарах. Одно лето показывали в коровнике. Начали строить коровник, подняли сруб, ни пола, ни потолка не было в нем все лето, там и показывали. Смотреть кино приходила без малого вся деревня. Приносили скамейки, табуреты, рассаживались в амбаре, образуя ряды. Киномеханик, установив аппарат, вешал на стену перед зрителями мятую, давно не стиранную простыню, обходил ряды, собирая медяки. Аппарат надо было крутить за ручку, как крутят сепаратор или мясорубку, тогда только на экране появлялось изображение, крутить было тяжело, крутили по очереди взрос-

лые ребята, за это им разрешалось смотреть бесплатно, сам же киномеханик лишь менял катушки с пленкой. Пленка была старая, часто рвалась, вместо восьми частей иной раз прокручивали шесть, кино было немое, никто не слышал, кто что говорит на экране, но впечатление чуда от этого не исчезало, и мы, посмотрев фильм, с неделю еще обсуждали его, спорили и делились мнениями. Потом вместе с аппаратом киномеханик стал привозить движок, немые фильмы сменились звуковыми, и это было для нас еще большим чудом. Когда показывали впервые звуковой фильм и с экрана раздались голоса, зрители оцепенели — так это было неожиданно, люди на экране не только двигались, но и разговаривали. Вот из глубины экрана, увеличиваясь, дымя, с грохотом, прямо на зрителей пошел паровоз, тянувший состав вагонов, мужики и бабы, молодые ребята и девки стали отклоняться назад. Сидевшая в первом ряду семнадцатилетняя девка, опрокинув скамью, с криком кинулась из амбара и, не видя ничего со страху, сшибла с ног стоявшего в дверях инвалида.

— Дура-а! — заорал тот, поднимаясь, подбирая костыли. — Куда летишь, глаза вылупила? — А девки уже рядом с амбаром не было — убежала. Зрители, забыв про испугавший их паровоз, хохотали над девкой, и назавтра все говорили по деревне про нее.

Мы посмотрели тогда и «Семеро смелых», и «Смелые люди», и «Падение Берлина», а главное, мы посмотрели несколько серий «Тарзана», как, раскачиваясь на лианах, перепрыгивая с одного дерева на другое, дрался он с крокодилами и львами, кричал, приложив руки ко рту. Какой он был смелый, ловкий и сильный, этот Тарзан...

В те вечера, когда показывали кино, гулянья под тополями не было. Дождавшись, пока взрослые расходились по домам, парни и девки еще некоторое время стояли возле амбара, со смехом и возгласами вспоминая содержание фильма, потом парами уходили в темноту. Шли и мы домой.

Иной вечер мы с Шуркой Городиловым и еще кто-нибудь из ребятшек нашего края сговаривались поиграть в городки на поляне за огородом и играли долго, по нескольку партий, пока были различимы фигуры, или, смастерив черемуховые луки и камышовые, с жестяными наконечниками, стрелы, тренировались тут же, на поляне, в стрельбе в цель, споря, чей лук упруже и чья стрела летит дальше и ровнее, кто точнее попал в цель.

Ни в осенние дожди, а потом в заморозки с комьями смерзшейся по дорогам грязи, ни в долгую заснеженную зиму с санным, через деревни, путем, ни в весеннюю распутицу кино не привозили, но нам от лета до лета хватало воспоминаний. Если забывали что-то, додумывали.

Осенями, в дождливые глухие темные вечера, мы сидели дома, готовили уроки при свете керосиновой, подвешенной над столом, лампы, читали книжки. По заморозкам, потом всю зиму и весну, до поры, пока не подсыхала возле тополей луговина, парни и девки собирались в конторе, в передней, где печка в углу и лавки у стен. Мы с Шуркой, да и другие ребяташки, не ходили в контору. Там было тесно, накурено, на полу валялись окурки и подсолнечная шелуха, и хотя приносили всякий раз гармонь и танцевали одетые, было совсем неинтересно, и парни и девки не казались нам такими, какими казались они на луговине в летние тихие лунные вечера. Если гармонии не было, парни и девки играли в «дурака».

Зимой у нас были свои развлечения: мы катались с высоких крутых берегов Шегарки. Лучшие зимние месяцы для этого — декабрь и январь, когда после снегопадов устанавливаются ясные морозные дни и светлые вечера: светло от луны, звезд, снега. В ноябре идет снег, и мы молим, чтобы выпало побольше. Февраль—месяц метельный, не покатаешься, в марте ждешь весну, дни прибывают, прибавляет тепла, сугробы подтаивают, оседают, ниже становятся наши снежные горы, да и охоты уже такой нет к катанию, как зимой. Меняются времена года, меняются и твои желания.

Кататься с берегов выходишь лет с шести, обычно возле своего дома, если живешь на берегу; кататься начинаешь на санках. Но санки не в каждом доме, если даже в семье есть хозяин, не всякий может сделать санки, как и запряжные сани, — специалистом надо быть, плотником или столяром. У нас санок своих никогда не было, когда случалась нужда, брали у кого-нибудь из соседей, а для катания с берегов мать делала нам из коровьего навоза лотки. Выкладывала из теплого еще навоза дно, борта, лепила лоток не круглым, а продолговатым немного, чтобы можно было в него поставить ноги, вмазывала крепкую веревочку дав смерзнуться лотку, переворачивала, обливала несколько раз водой дно, оно покрывалось тонким слоем льда, и — лоток готов. Но на лотке не очень удобно кататься — он крутится при движении, и приходится на-

правлять ход ногами, да и не со всякой горы съедешь на нем, а лишь с той, которая хорошо накатана. Поэтому на лотке катаешься до школы, в первую школьную зиму, а потом — в паре с кем-нибудь из школьных товарищей, у кого есть санки. А лет с двенадцати становишься уже на лыжи.

В ту осень, когда мы купили у Самариных избу на берегу Шегарки и переехали в нее, я только пошел в школу. Под Новый год мать сделала мне лоток, и мы катались на нем с Шуркой с правого берега, напротив нашей избы. На правом берегу, напротив нашей избы, жил Харкевич, маленький глуховатый старичок, жил он с женой, такой же престарелой, как и сам, и с сестрой — больной, редко появляющейся на улице женщиной. Изба Харкевича сенями выходила к речке, возле сеней выкопан был погреб, с этого высокого погреба, который пологим боком своим выравнивался с берегом, мы и катались с Шуркой на лотке. Снег был до нас еще утрамбован, накатан, лоток набирал скорость, едва съехав с погреба, и долго несся вниз, к невидимой береговой черте, потом через речку и останавливался у противоположного берега. Лоток нам прослужил недолго. Была моя очередь съезжать, Шурка подтолкнул меня в спину, чтобы спуск был еще более скорым, лоток закружило, понесло, подобрав ноги, не управляя лотком, как обычно поступали мы, сжавшись, держась за гладкие борта руками, я сидел в лотке. Лоток понесло на речку и со всего маху ударило торцом о кучу мелкого, смерзшегося льда возле проруби. Удар был крепким, лоток раскололся надвое, меня выбросило в сторону. Хорошо, что не на кучу льда — иначе ободрался бы я и ушился. Погоревав, мы бросили половинки лотка в сугроб под берег, а сами стали кататься в очередь с теми, кто приходил со своими санками.

На гору сходились ребяташки ближайших домов, всегда оказывалось трое-четверо санок, некоторые жадничали, катались самостоятельно, другие уступали через раз и предлагали садиться вместе. У Харкевича были санки, я часто брал их, чтобы вывезти из скотного двора в огород навоз. Давая санки, Харкевич всякий раз наказывал сразу же после работы вернуть их, я так и делал, но иногда, когда хотелось покататься независимо ни от кого, я, будто бы забывая, зная, что старик не заругает, и вечером выходил с санками на гору. Санки были большие, с отводами — как розвальни, с горы они шли ровно, не меняя направления. Скотившись, тяжело было втаскивать их с речки

на погреб, но ташил не один я, а сразу в несколько рук, потому что, кроме меня и Шурки, в санки садилось еще двое. Первым, возле головашек, селся Шурка, позади него — я, за моей спиной еще кто-нибудь; четвертый, подтолкнув санки, схватившись за наши плечи, становился на концы полозьев, и мы неслись, горланя от восторга, и крики наши в тихой светлой морозной ночи далеко слышны были по деревне. Крику, смеху и визгу полно было на каждой горе, а гор таких насчитывалось несколько, если пройти по Шегарке от крайней избы до крайней на другой конец деревни. Каждый катается рядом с домом, хвалит свою гору и редко идет на соседнюю. Но иногда собираются вместе человек пятнадцать, тогда санки катятся чередой, налетая друг на друга, переворачиваясь, и голов — на версту во все стороны. Бывает, сорвется одной ногой тот, кто, оттолкнув санки, стоит на полозьях, сорвется, вцепится в плечи сидящего, потянет всех назад, перевернет санки на полном ходу, и мы летим под гору кувырком, роняя шапки и рукавицы. Накувыркаешься, пальтишко в снегу, одной пуговицы нет — оторвали, варежки сырые, шапка на сторону сбита, стоишь, передыхая, хватая раскрытым ртом воздух, а санки уже утащили на гору, насело человек шесть, один на другого, отвода не поломали бы, попадет от Харкевича. В другой раз не даст.

— Сторонись! — кричат. — Сшибем!

Санки сразу взяли наискосую, к проруби, чертя правым отводом снег, на полпути накренились сильнее, и задний через голову полетел в сторону. За ним — остальные. Санки — перевернуты.

Разогрелись, хоть раздевайся. А уж и домой пора. Вон трое уходят по речке за поворот. Подымешься на свой берег, оглянешься напоследок, а на горе — никого, слышно, голоса удаляются. Подойдешь к сеним, ударишь шапкой о столбец крыльца, обметешь голяком пимы и — в избу. Пальтишко расстегнуто, лицо горит, варежки в одной руке зажаты, руки мокрые. Мать посмотрит, спросит: «Накатался?» — «Накатался», — кивнешь. «Раздевайся, ужинай да лезь на печь. Время — вон уже, девятый час. Завтра не добудишься».

Разденешься. Пимы мать в большую печь положит, иначе не просохнут. Или на плиту поставит, если она не слишком горячая, а то подпалятся. Варежки в печурку. Одежду развесит возле печки-голландки, за ночь и одежда высохнет. Поужинаешь и быстрее на печку. Задернешь занавес-

ку, подложишь что-нибудь под голову, фуфайкой материнной теплой накроешься, лежишь минуту, вспоминая, и не заметишь — как заснешь.

Учась в четвертом классе, с осени еще, по первым заморозкам, до снега, мы с Шуркой договорились сделать себе лыжи, чтобы после снегопадов, когда снег уляжется и отвердеет, можно было на своих собственных вместе со всеми выйти на гору. Кататься на лотках и санках рядом с девчонками нам уже надоело, мы подросли, ходили в последний класс начальной школы и завидовали тем, кто имел лыжи. Лыжи по деревням ребятишки делали сами, взрослым было не до лыж. Отец (у кого вернулся он с войны) в лучшем случае мог прострогать тесину с той стороны, которая ложилась на снег. Остальное — сам. Находили две узкие, толщиной в палец тесинки, метра два длиной — не больше, заостряли топором тесинки с одного конца, распаривали в горячей воде заостренные концы, загибали их, давали высохнуть, и — лыжи готовы. Оставалось прибить гвоздиками посередине брезентовые ремни — петли для ног. Становись и — гони. Хочешь — с горы на гору, хочешь — по целику за согру, искать заячьи тропы. Сделал лыжи — береги, надолго хватит, младшему брату передашь.

Тесинками мы с Шуркой запаслись до снега еще. Пошли в бондарку, где мужики-инвалиды делали сани, дуги гнули, вязали рамы, — выпросили четыре подходящие, и дядя Аким Панков прострогал нам их тут же. Обрадованные, понесли домой, войдя в предбанник нашей бани, положили на потолок, за месяц они просохли, стали совсем легкими.

Нам повезло — тесинки попались березовые, только из березы лыжи получались гибкие и прочные, еловые хороши, а если из сосны — долго не накатаешься, прыгнешь с трамплина, они — хряп и пополам. Или носками заостренными налетишь на что-либо, враз сломаются. Делали еще и из осины. Но нам, ребятишкам, особо выбирать не приходилось, что попадало под руки, из того и мастерили. Сейчас — береза досталась, посчастливилось.

Перед Октябрьскими праздниками топили мы баню, помылись, я посидел часок дома, обсыхая, дожидаясь Шурку — они тоже баню топили. Товарищ скоро пришел, и мы отправились работать. Фуфайки сняли в предбаннике, вошли, притянули дверь, зажгли коптилку, сели на скамью. Баня хранила тепло. Я мылся последним, уходя, наклонил слегка флягу с горячей водой и сунул туда заостренные

концы тесин. Теперь нужно было распаренные концы загнуть и закрепить в таком положении на несколько дней, чтобы концы высохли и остались загнутыми — тогда уже тесины превращались в лыжи. Мы поставили к стене — напротив двери — скамейку, через нее, уперев под бревно стены, перегибали распаренные концы, а на противоположные, прижатые к полу, клали груз, так, чтобы концы не высвободились и работа не пропала даром. Долго возились, сделали.

Быстро, как всегда, пролетели праздники. Баню зимой мы топили раз в две недели, лыжи наши дней десять находились под грузом, я заходил посмотреть, но не трогал. Потом как-то, вернувшись из школы, мы с Шуркой освободили их, вынесли на улицу. Лыжи загнулись хорошо, не очень круто, как коровьи рога, но и не полого, когда носок втыкается в любую снежную кочку, — загнулись в самый раз. И высохли. Мы попробовали руками — загиб был упругим, лыжи — легкими. И по ширине лыжи были хороши — не слишком широкие, не слишком узкие. Когда лыжи узковаты — на них и с горы плохо съезжать, и по полю заснеженному идти, врезаются в снег, тонут глубоко. Широкие сделал — намучаешься: съезжать неловко, не повернешь, когда надо — не слушаются ног. И по пробитой лыжне не пробежишь — не получится. Широкими охотничьи делают, чтобы держали охотника на глубоких снегах. На охотничьих лыжах, обитых лосиной шкурой, с гор не катаются, по лыжне не гонят. На них ходят в тайгу, размеренно передвигая ноги. Кто из мужиков охотой занимался, у всех такие лыжи сделаны.

Из брезентового ремня, шириной в три пальца, мы отрезали и прибили к лыжам петли, такие, чтобы нога, обутая в пим, входила свободно. Ни ремешка, ни веревочки, которыми прихватывают к лыжам пимы, привязывать не стали. Когда съезжаешь с горы, лыжные петли должны быть просто надеты на пимы, и все. Если не удержался на ногах, лыжи легко соскочат с них. Будут лежать рядом или сами по себе скатятся на речку. Когда они привязаны к ноге, то будут мешать при падении — можно подвернуть ногу, сломать лыжу, удариться лицом о загнутый лыжный конец.

Лед на речку лег еще в октябре, но снегу к тому времени, что мы возились с лыжами, выпало на четверть — не больше. Мы попробовали лыжи возле бани, они шли ровно, слушались ног и не рыскали по сторонам. Шурка взял

свои под мышку и пошел домой, а я свои поставил в сених, за дверью. Теперь чуть не каждый день мы говорили о том, как в декабре, светлым морозным вечером, выйдем на горку — и наши лыжи будут не хуже других. Так и было. Мы катались в ту зиму весь декабрь, январь и немного в феврале, пока не начались сильные затяжные метели.

Прибежишь из школы, пообедаешь и сразу садишься за уроки. После подготовки надо еще помочь по дому, а уж потом ты свободен, занимайся, чем вздумается. Перво-наперво, пока не стемнело, следует убраться на скотном дворе: вычистить у коровы с телком, у овец и поросенка и вывезти навоз на санках в огород, в самые отдаленные углы, пока снег мелок — по глубокому снегу груженные санки не протащишь. Двор у нас холодный: сверху на жерди пласт соломы положен — крыша, стены — двойной ряд досок, между ними тоже солома набита, пола нет. К двору примыкает небольшая рубленая избушка, перегороженная надвое: в одной половине живет поросенок, в другой овцематки с ягнятами. Чистить двор надо каждый день, дело это ребячье, взрослые навоза не касаются, если поленился и запустил, потом труднее намного.

Управился с навозом, прислонил перевернутые санки к стене двора, идешь с топором на речку, прорубать прорубь. Утром уже брали из проруби воду, ледок чистый, тонкий, хрустает под топором. Корова сама ходит пить, телку надо нести в ведрах. Еще два ведра воды в избу. На крыше двора сметано в стожок привезенное с полей сено. Сбросить несколько навильников: часть раздать сейчас, остальное — на ночь. Теперь нужно принести из поленицы к большой печи и к голландке несколько охапок дров. Если мать больше ничего не заставляет делать, спросишься у нее — можно ли пойти покататься. «Иди», — коротко скажет она. Выскочишь на улицу, а вот и Шурка. Он тоже занят был, помогал. В воскресные дни у нас времени свободного меньше. Надо в лес за дровами ехать — до обеда воз, после обеда воз. А если не дали в конторе — идти заготавливать, чтобы привезти потом, как тягло будет. Или за сеном ехать в поля — это еще тяжелее, чем дрова. Когда сено и дрова запасены — пилить кряжи, колоть чурки, поленья складывать в поленицу. Снег расчищать в ограде. В феврале за ночь заметет так — на крыльцо сугроб выложит, дверь сенную не открыть. Работы хватает, успевай справляйся только.

— Еле отпросился, — говорит Шурка. — Давай сегодня

возле себя, а? С погреба Харкевича. Берег пологий, если наискосок проложить лыжню — вон аж куда вынесет, за поворот. А на большую гору — в следующий раз. Давай?!

— Пошли к школе, — уговариваю я. — Чего будем от других отставать. Там все соберутся. Посмотрим, чьи лыжи лучше. Васька Климов хвастался.

И мы пошли к школе. Самый высокий берег — напротив школы. Речка здесь плавно поворачивает, правый ровный берег кажется полуостровом и зимой и летом, а левый вознесся на несколько саженей, он и летом крут, зимой же, как нанесет снегу, и подавно. Кататься на лыжах приходят сюда. Учатся возле дома: с маленьких горок, с маленьких трамплинов, за огородом — бегать по ровному месту, чтобы ноги привыкали к лыжам, не вихляясь, шли прямо. Взбираться на гору «елочкой» или «ступеньками», кататься в паре, держась за руки. Это все дома. А появился с лыжами на гору к школе, на глазах у всех, — будь смел, иначе — засмеют. Мы с Шуркой еще в прошлую зиму становились на лыжи — брали у сверстников, кто поближе живет, а в эту, как только навалило снегу, тренировались на своих, с погреба катались всюду, так что насмешек особо не боялись. Да хоть и посмеются — ничего, каждый падал и с лыж, и с санок.

Береговой изгиб, самая его высокая часть, от которого подалее к дороге отступила школа, утоптан, утрамбован пимами, санками, лыжами. Немного не от крыльца начинается скат для санок и лотков, левее чуть, с гребня тяжелого, с застругами сугроба, уходят вниз — прямо, наискосую — лыжни. По накатанной лыжне скатиться с такой высоты страшновато, но еще страшнее бить самому лыжню. Собираются на этой горе чуть ли не каждый вечер самое малое человек десять; в начале зимы сперва осматривают лыжи друг у друга, прихваливают, потом начинают выяснять храбрость — кто откуда съедет, устояв на ногах. Начинает всегда Колька Сушкин. Мы с Шуркой ровесники, он постарше нас и рослый — многие ему по плечо. Лыжи у Кольки самоделки, короче наших, но так послушны ноге, так ловко он управляет ими, что, скатываясь, едва не восьмерки выписывает. Любой трамплин ему нипочем, перед трамплином присядет слегка, раскинет руки, ухнет вниз, думаешь — ну, конец, кувырком пойдет, глядишь, а он уже катится дальше, очертит дугу, разворачиваясь, и стоит лицом к нам, смеется. Следом за ним, скатываясь, отчаянно прыгает с трамплина Васька Климов — цепкий парниш-

ка, проворный во всем, хоть драку затеять, хоть с горы сигануть. Но Кольке уступает. Пальтишко расстегнуто, шапочка свернута набок, взъерошен, как воробей, летит с гиком, прыгает, стараясь проехать так же далеко и развернуться по Колькиному следу. Развернулся, доволен.

Мы с Шуркой подряд перепробовали лыжни, начиная с пологих и все круче, наконец — с самой обрывистой, когда скатываешься, сжавшись нутром, падая вперед; удовольствия тут мало, главное — устоять на полусогнутых в коленях, дрожащих ногах, показав, что и ты можешь отовсюду съехать, не страшась. Накувыркались мы с Шуркой бесчисленно, но научились.

Лучше всего съезжать по крутой и в то же время долгой лыжне, с берега она выходит на речку и тянется, тянется, загибаясь, бывает, за речной поворот. Она накатанна, ровна, лыжи идут легко, летишь, немного пригнувшись, чувствуя, как ветер заносит назад уши твоей шапки, выжимает слезы из глаз, сквозь слезы эти радужным, в разноцветных кругах и пятнах кажется снег на речке и берегах, и так тебе радостно, так свободно в эти минуты, такой небывалый восторг охватывает, а ты все катишься, едешь, и нет никакой охоты, никакого желания остановиться. Это — как летом, когда через зелень полей и перелесков по полевой дороге скачешь на дальние сенокосы на молодой горячей лошади. В лицо тебе ветер, и слезы на глазах, и тот же восторг, та же радость охватывает тебя, ты скачешь, и кажется, дороге не будет конца.

С трамплина я упал раз шесть подряд, ушибся боком о ребро лыжи, полежал с закрытыми глазами, встал, заново полез на гору. Колька Сушкин растолковал мне, как надо держать тело и ноги при прыжке с трамплина. «Смотри, как я!» — сказал он и погнал первым. Я подождал немного, оттолкнулся, и лыжи понесли меня. Прыгнул, тело бросило вперед, в сторону, я устоял, остановился и с речки уже понаблюдал, как, без напряжения, перелетают через трамплин Колька Сушкин и Васька Климцов.

Накатались с трамплина и на обычной лыжне, выяснили, что все храбрые, трусливых нет, пошли тогда к самой школе: Колька с Васькой решили съехать по гладкому спуску, взявшись за руки. Санками и лотками так укатали берег, что он блестел, на подошвах пимов можно было съезжать, а уж взобраться тем же путем и не думай — скользнешь. На лыжах здесь трудно съезжать — раскатываются в стороны, и разгона по речке нет; слетел — сразу

уткнешься в нависший козырьком сугроб противоположного берега. А свернуть по ходу речки на такой скорости почти невозможно. Мы по очереди съехали каждый, чтобы попробовать — каково, кто упал, кого шатнуло, но он сумел устоять, а потом Колька с Васькой встали рядом на бугре, взялись за руки, оттолкнулись и покатались, стремительно набирая скорость. Ни тот, ни другой не упал, но на полпути они разъединились и скатились всяк сам по себе. Мы с Шуркой надумали попробовать, на самом разгоне грохнулись и катились с боку на бок по бугру, через речку, до правого берега, слыша, как наверху хохочут, свистят и улюлюкают сверстники. Съезжать вдвоем оказалось куда как труднее, чем одному: лыжи то ползли в сторону, то налезали носками одна на другую, и катились мы не рядом, как хотелось, — Шурка стал обгонять меня, потянул за собой, я пытался удержать его, отклонился назад, ноги подсеклись, и я брякнулся на спину, свалив Шурку. Лыжи опередили нас. Мы поднялись на бугор, съезжать уже никому не хотелось, ни одиночкой, ни в паре — накатались. Постояли еще немного около школы, остывая, говоря вразнобой, — стали расходиться. Мы с Шуркой пошли в свой край, держа лыжи под мышкой, на ноги не хотелось надевать. Хорошо было идти улицей, разговаривая, чувствовать под пимами твердую дорогу.

На гору к школе ходил я не так и часто, в зиму раз пять-шесть разве, как выпадало свободное время и узнавал, что соберется много ребятни — тогда веселее. А просто прокатиться разок-другой можно было всегда возле своего дома, а если берега покажутся низки, отойти немного в ту или другую сторону, выбрать место покруче, прогнать долгую, насколько хватит движения лыж, лыжню.

Пройдет декабрь, январь. В феврале выпадает несколько морозных дней, сугробы и берега выше, намело, но катаешься уже без прежней охоты. А в марте и совсем редко кто выходит на берег, хотя дни светлее, просторнее, вечера дольше.

В феврале начинают кружить метели. Стоят слепые, с мутным низким небом дни. Морозы враз спадают, дуют низовые ветры, гонят по полям поземку, — стоя в огороде, видишь, как ползут они из-за согр и перелесков к огородам, укладываясь в высокие, до верхней жерди, сугробы возле городьбы. Метели разыгрываются под вечер, темнеет быстро, по деревне спешат засветло управиться по хозяйству, топят с вечера печи, потому как редкую избу не

выстудит за ночь. Метели метут по несколько дней кряду, неделями, стихая под утро, усиливаясь к вечеру. Утром на крыльце сугроб, забивает снегом палисад, ограду; приходится расчищать ежедневно сугробы в ограде, вокруг избы и двора. Возле иного двора так наметет, сугроб — с крышей сравниет, на лыжах съезжать можно. Баню обложило по восьмой венец — оконца не видать, прорубь приходится по два раза на день откапывать, над погребом поднялся снежный холм, бурьян и репейник между баней и погребом скрыло — чуть макушки выглядывают; Шегарку перемело во многих местах, сровняло берега — не угадать, заново приходится бить тропинки и дороги. На ветвях деревьев снег — сгибает их.

В феврале, в глухие вечера, любили мы играть в прятки. Собирались человек пять — больше для этой игры и не надо, — собирались в своем краю, у нас или у Шурки Городилова. В прятки интересно играть там, у кого большой, примыкающий к избе, соломенный двор с сенником, навесом для дров, где много закоулков, укромных местечек. Тот, кто водит, будет тебя искать, проходить мимо, не видя, а ты стоишь в темном соломенном углу, вздрагивая от напряжения и смеха, вдруг выскочишь неожиданно, за спиной его, в ограду и постучишь поленом о козлы или чурбак — обо что условились заранее.

Договорившись еще в школе поиграть вечером в прятки, сходились в назначенное время на нашей или Шуркиной ограде, становились кругом, и один кто-нибудь начал считалку, с каждым словом указывая поочередно на игроков. Тот, на кого приходилось последнее слово, отступал из круга. За ним — второй, третий. В конце оставалось двое — кто считал и еще один. Игру начинает вести игрок, на кого не пришлось последнее слово. Все прячутся, он ищет. Считает игрок, кто помнит слова считалки хорошо.

— Шмукет, букет, бэ, — ровно произносит Ленька Глушин, отмечая каждого рукой, — абер, фабер, ку-ма-не, ики, пики, грам-ма-тики, ин, клин, выйди камушек один.

Откуда взялась, кто придумал считалку — никто не знает.

Один свободен. Счет продолжается. Выходят другие. Игру вести выпало Адику Патрушину. Он не доволен, но — ничего не поделаешь. Игра. Без обид.

— Стучать здесь, — говорит Адик и показывает на козлы, стоящие рядом с поленницей. Потом он отходит в дальний угол ограды, так что двор со всеми его тайными зако-

улками, остается за спиной Адика, а мы в это время разбегаемся кто куда — прячемся. Адик минуту стоит молча и громко, чтобы все слышали, говорит:

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать!

Теперь он, не отдаляясь шибко от козел, ходит по ограде, поглядывая на крышу, где сметано стожком сено, заглянул за поленницу, за угол сарая. В сенник, под навес, во двор Адик не заходит — попробуй угляди в темноте. Единственная надежда на то, что кто-то из нас, не выдержав, высунется, тут-то ведущий должен заметить его, громко выкрикнуть имя и постучать о козлы приготовленным поленом. Но мы затаились — сидим не шелохнувшись. Ведущий топчется на месте, вытягивая шею, глядит туда-сюда, но надо искать, таковы правила, иначе его заставят водить второй раз. Адик подходит к воротам сенника, они открыты настежь, чтоб не мешали игре, останавливается в проходе, положив руку на ворота, внимательно всматривается в темноту. От козел он отошел шагов на двадцать. В это время, выскочив из-за стожка, прямо с крыши двора в ограду прыгает один из игроков, летит, опережая Адика, к козлам. Успел, стукнул поленом. Осталось трое. Адик, хотя бы одного надо заметить-застучать, иначе опять водить игру, а водить — искать никому не охота, все настроены прятаться. В этой игре, как и во всякой другой, много хитростей. Отвлекают внимание ведущего, выручая друг друга. Меняются одеждой. Поменялись шапками и даже фуфайками или пальтишками, выдвинет кто-то плечо из-за угла, другой голову выставит и ждет. Ведущий заметил знакомую шапку. «Петька, — кричит, — вылазь, я видел!» И к козлам — стучать. А это вовсе не Петька, а Гришка. Ошибся — стук не засчитывается.

Ведущий прозевал — все простучали. Опять ему вести — искать. Так бывает по нескольку раз подряд, если ведущий неповоротлив и несметлив. Но такое — редко, чтобы один и тот же вел игру с начала и до конца. Обычно кто-то попадает, как ни хитрит, и начинает вести. Игра как-то сама по себе произвольно складывается так, что все по очереди должны побывать ведущими, сколько бы человек ни участвовало в игре. Сыграли по кругу, каждый раз вел, четыре раза прятался. Если желание не прошло, продолжаем игру по новому кругу, ведет — кого застукали.

В прятки напрашиваешься играть рано, лет с семи; как только поймешь суть игры. Играешь сначала с братьями своими, соседские ребяташки приходят. Пошел в школу —

школьные товарищи появляются, с ними собираешься для игры. В прятки играли только в феврале, только в метельные вечера и никогда больше — ни в какой другой зимний месяц, ни весной, ни осенью, ни тем более летом. И — до определенного возраста. Учишься в начальной школе — играешь подряд во все игры, перешел в семилетку, стал жить в интернате, от многих игр отходишь постепенно. В пятом еще когда — играешь в прятки по-прежнему, в шестом — редко, а в седьмом и не вспоминаешь про эту игру. Другие увлечения, другие интересы и заботы. Из игр — лапта, иногда городки. Это — весной. Летом, когда свободен от работы, удочка заменяет все игры. Осенью — грибы, ягоды. Зимой — ружье, куропачьи наброды, заячьи тропы прямо за огородом, в согре и дальше по перелескам, до самого бора. Косачи на березах в ясные морозные дни декабря и января. А в феврале — прятки, лучше нет для нас игры.

Играем. Затаишься в сеннике в углу, упав на хрусткое, пахнущее лугами сено, слушая, как свистит ветер в заледенелых ветвях тополей, и вдруг, забыв об игре и приятелях, задумаешься глубоко — что вот тебе уже идет четырнадцатый, следующим будет седьмой класс, потом выпуск, в десятилетку не пойдешь — далеко, да и нужда, и что-то придется делать, а впереди так много всего, дороги в разные стороны, а тебе недавно исполнилось лишь тринадцать лет. Тринадцать, и ты играешь в прятки.

В феврале, в долгие зимние вечера, лучше всего сидеть дома. В избе тепло, светло, на стене висит лампа — стекло промыто, высушено — сияет. Ты приготовил уроки на завтрашний школьный день, помог матери протереть для квашни картошку, у тебя интересная книжка «Два капитана» или Гайдар, ты лежишь на печи и, отодвинув край ситцевой, в цветочках занавески, чтобы свет от лампы падал на страницы, читаешь. Большую печь мать топила утром, она прогрета, долго будет держать тепло, ты лежишь, прижавшись спиной к чувалу, подстелив под себя заношенную материну фуфайку, подложив под голову пимы, читаешь «Судьбу барабанщика», слушая, как на разные голоса гудит в трубе ветер.

— Вот разыгралась метель, — говорит мать, подойдя и наклоняясь к замерзшему, залепленному снегом темному окну. Ты вздрогнешь, как от озноба, представляя, что делается сейчас по деревне, в полях, меж перелесков, в бору, куда ездят за дровами, прижмешься теснее к чувалу, при-

кроешь ноги краем фуфайки, перевернешь страницу, открывая новый рассказ — «Дальние страны».

В марте, уже в первые дни месяца, незаметно для глаза начинают подтаивать, оседать снега. Подтаявший верхний слой, схваченный ночным морозцем, превращается к утру в крепкий звонкий наст — чурым, по которому можно бегать без лыж хоть до самого бора — не провалишься. Иной раз перед закатом, когда после полуденного солнца начинает заметно подмораживать, я становился на лыжи и уходил на часок-другой за огород, за согру, покружить в ближайших перелесках. От молодых березок, от осинок и таловых кустов ложатся уже на снег сизые тени, но на полянах еще много солнца, сугробы искрятся, переливаются множеством мельчайших разноцветных огоньков, ты щуришь глаза, размашисто бежишь через поляну, и лыжи твои крепко постукивают о наст. Чувство радости снова охватывает тебя, когда бежишь ты один к дальнему перелеску, дыша ровно и глубоко, ты бежишь и бежишь, огибая перелески, по полянам и полянкам, знакомым тебе с малых лет, к последнему сенокосу, к бору. Вот болото, по нему — скрытые снегом — кочки и пни, а за болотом, на краю смешанного леса, стоит молодая сосна, и зелень хвои ее рядом с голыми ветвями осин и берез кажется еще ярче. За болотом начинается сосновый бор, с осиновыми, приютом лосей, островами, с высокими белоствольными березами. Ты разворачиваешься, проходишь с полверсты, приглядывая удобное место, чтобы передохнуть, садишься на краю согры на пень, лицом к затухающему солнцу, откидываешься спиной к осиновому стволу и, закрыв глаза, сидишь несколько блаженных минут. Небо поднялось, очистилось от февральской наволочи, в полях стало просторней, исчезла глушь, оттаяли ветви деревьев и, если налетит сейчас верховой ветер, он уже не сломит осиновую ветку так легко, как в морозные зимние дни. Солнце скрывается за согрой, надо идти домой. К деревне приближаешься в сумерках, ставишь лыжи в угол сенника, и в этот вечер больше не выходишь на улицу. Наутро в школе рассказываешь, что был рядом с бором.

В апреле мы ждем ледохода, ручьев, птичьих гнезд, первых проталин, обдутых ветрами полян, чтобы поиграть в лапту. Вечерами сидишь дома, идти на деревню — слякоть. В ограде, до темноты самой, возишься со скворечнями — чистишь, ремонтируешь старые, мастеришь новые. Забота большая. Первая апрельская неделя на исходе

уже, скоро прилетят скворцы. Надо заранее припасти доску, нужной длины гвозди, паклю. Чтобы под рукой были всегда ножовка, молоток, клещи. Необходима жердь — сухая, тонкая, прочная. И не с гордыбы снимешь ее — за это взбучку дадут, — а вырубись сам в осиннике, осенью еще, да одну в запас, на всякий случай. Притащишь волоком домой, очистишь от коры и — на сарай. Если у тебя два скворечника, один обязательно должен быть поднят высоко на жердине, чтобы отовсюду был виден. Второй можно под тесовым скатом, между окон, а есть еще — вешай, куда пожелаешь. Иной надевает — не знает куда вешать.

Мы с Шуркой дней десять вечерами занимались скворечнями. Сначала в моей ограде, потом у него. Захотелось нам самим смастерить новые. Когда ты мал совсем, взрослые помогают обычно — отец или брат. А нынче мы решили самостоятельно сделать и показать приятелям. Как лыжи. Ну и намучились — несколько кусков доски испортили. То отрежем криво, то леток продолбим слишком большой, кулак пролазит, в таком домике скворец жить не станет. Или низко продолбим леток — тоже плохо. А то, продалбливая, расколем долотом доску — пропала работа. Строгать рубанком мы почти не умели, топором, хоть он и острый, не получалось, зарубины оставались, а с непроструганными краями доски плотно не подгонишь одну к другой. Строгали рубанком, и топором тесали, и рашпилем потом выравнивали, но все одно — щели оставались в соединениях. Щели эти мы забивали — конопатили паклей, чтобы ветер не продувал скворечню. Скворцу — нам взрослые об этом говорили, да мы уже и сами понимали, — совсем не обязательно, чтоб скворечник был красивым. Главное, чтобы он сделан был добротнo, без щелей, леток — чуть не под самую крышу и узкий — впору скворцу пролезть, а то сорока навестит или кошка лапой заберется. Услышал — скворцы крик подняли, значит — кто-то лезет в гнездо.

Сделали мы с Шуркой по скворечнику себе, радостные ходили. Подняли их над дворами на жердинах и отбежали в сторонку — издали взглянуть. Жердины стояли ровно, не сгибаясь вершиной под тяжестью, крыши — с козырьком, чтобы вода дождевая не попадала, под лотком палочка приспособлена — отдыхать скворцу, над скворечником небольшая березовая ветка — сидеть на ней по утрам, песни распевать. Старые скворечни привели мы в порядок —

почистили, подправили, щели заткнули и повесили на прежнее место. Прилетят скворцы, а у нас уже все для них готово. Если доской подходящей к весне не разжился нигде, проще сделать скворечню из дуплянки. Поехал зимой в лес за дровами — высматривай сухую нетолстую сосну или осину, гладкую, без коры, с пробитой дятлом дыркой. Если дырка есть — верная примета, что дерево с дуплом. Можешь для проверки обухом топора ударить разок-другой — дуплистое сухое дерево гудит. Спилить, привез домой, вырезал из кряжа на несколько дуплянок длинную чурку, остальное — на растопку. Время подошло делать скворечню — положил чурку ту на козлы, отпилил нужной длины, продрал внутри долотом, снимая труху и гниль, прочистил кругом, дно из дощечки вырезал — прибил, как и крышу, леток осторожно проделал, чтоб не расколоть дуплянку, — вот и готова скворечня, привязывай на жердь, подымай. А если дятлом продолбленное отверстие не широко, годится для скворца, то и того работы меньше. Дуплянки годами стоят, присматривай только, выбрасывай, хотя бы через осень, старое гнездо, и будут жить птицы, не изменяя дому своему.

В мае, с первых теплых дней, по вечерам, сделав школьные задания, мы работаем на огородах. Огороды подсохли, скоро начнут их вскапывать, чтобы во второй половине месяца, числа двадцатого, посадить картошку. Ходишь вечером по огороду с железными граблями или вилами, собираешь в кучки прошлогоднюю картофельную ботву, сухие будылья подсолнуха, продираешь граблями — по меже, отделяющей наш огород от соседского, и возле городьбы — свалывшуюся бурюю траву, она легко поддается, вырываешь ее целыми космами и тоже складываешь в кучки, на ботву, будылья.

Сошел в конце апреля лед, ручьи стихли, но Шегарка полна, несет холодную мутноватую воду, и до купания еще далеко. Скот выпускают на волю, на ветках набухают почки, кое-где пробивается молодая трава, по дорогам грязь, в перелесках птичий шум, за огородом, в согре, в кочках стоит вода, я хожу туда рвать по окраинам желтую куриную слепоту. Главная забота сейчас — огород, и я, собирая ботву, вижу, как на других усадьбах мои ровесники делают то же самое. Матери перебирают вынутую из подпола просшную картошку, сортируют ее: подпорченную и мелкую — поросенку, самую крупную — себе на еду, среднюю — для посадки. Мужики рубят в перелесках осиновые жерди и

колья, гибкие таловые прутья, чтобы подправить старую или установить новую городьбу. Все заняты — весна.

Ботва, будылья подсолнуха, трава собраны в кучи. Кучки стоят день, другой — подсыхая. А потом как-нибудь вечером в безветрие стаскаешь все в одну кучу и подожжешь. В кармане у тебя коробок спичек, родители дали разрешение жечь ботву, воткнешь в землю вилы поодаль, подсунешь под самый низ кучи пук сухой травы, чиркнешь спичкой. Загорелась.

Уже заметно темнеет, но еще долго будет вечер. Звезд нет, нет луны. А по деревне по огородам — костры. Ботва горит с треском, сначала из глубины самой, от основания до вершины, густо пройдет дым, следом вырвется огонь, возьмется вся куча, делается жарко, и высоко станут взлетать, гаснуть в темном небе искры. А ты стоишь, опершись на вилы, смотришь на огонь, на взлетающие искры, и грустно как-то, чуть ли не до слез. Так бы вот и стоял возле, стоял, ни о чем не думая, глядя в огонь.

Костер догорает. Подгребешь вилами с краев оставшуюся ботву, будылья, ворошишь золу. Костер погас, сразу становится темнее, оглянешься — кое-где еще видны огни по огородам, но уже реже. Идешь домой, положив вилы на плечо. Ночи еще прохладные, но спать ты перешел в кладовую — надоело в избе на печи да на полу. Кроватей на семью две, всем не хватает. А в кладовой — благодать, топчан просторный, и в длину хорошо и в ширину. На печи, когда спишь с братьями, не вытянешься небось, не ляжешь поудобнее — сразу толкать начнут. А здесь — сам по себе. Правда, пока раздеваешься — прохладно и неохота лезть в постель, но согреваешься быстро. На топчан положена мешковина, на нее постелена шуба, накроешься длиннополым дорожным тулупом, в головах у тебя мешок с шерстью, накрытый вместо наволочки застиранной материнной юбкой. Над топчаном — оконце, потеплу можно раму выставить, затянуть оконце марлей, чтоб комары не залетали. Иначе — не уснешь.

Ти-ихо по деревне, не слышно голосов, гармон. Ничего, уже весна, май. Скоро троица, распустятся, зазеленеют окрест леса, поднимется молодая трава, зацветет черемуха, прогреется, наберет тепла земля, подсохнут тропинки, стежки-дороги, и можно будет опять ходить с приятелями вечерами через деревянный скрипучий мост на другую сторону Шегарки к конторе под тополя.

Смятение

Поздним летом на окраине одного из уральских рабочих поселков, через который проходили поезда, возле усадьбы со старым домом, деревянным, потемневшим от времени, с баней, садом и огородом, с высокими глухими тесовыми воротами остановилась машина. Сидевший на заднем сиденье с ребенком на коленях Печников, рассчитавшись с шофером, открыл дверцу, осторожно поставил на землю девочку, вылез, взял багажную сумку, подал руку дочери и, толкнув коленом узкую, прорезанную в воротах дверь, шагнул в ограду. В ограде никого не было.

— Папа, — спросила девочка, подняв к отцу худенькое смуглое личико, — мы к бабушке приехали? А где бабушка?

— Сейчас, — сказал Печников, оглядываясь, опуская сумку на траву.

— Сейчас. Елизавета Яковлевна! — негромко позвал он и увидел, как из глубины двора, от бани, через сад идет, торопясь, пожилая высокая женщина, мать его жены.

— Ой-ой-ой! — издали заговорила она, и руки ее на ходу то оглаживали длинный старушечий передник, то вскидывались к голове, поправляя повязанный под подбородком пестрый платочек. — Приехали?! И Оленька приехала! К бабушке! Здравствуй, милая. Ты помнишь меня?! — Она подняла девочку на руки, радуясь, целуя, прижималась к лицу ее мягкими губами своими, мягкими щеками. — Здравствуй, Алеша! — она подала зятю огрубелую большую руку, и Печников, хмуро слушавший и смотревший, наклонился, чтобы поцеловать тещу. «Хорошо, что есть она», — подумал он о теще.

— Устали? — спрашивала та, все еще держа на руках Олю. — Идемте в дом. Сейчас я вас накормлю, отдохнете. А что же Катерина? Не смогла? Позже приедет? Ведь в сентябре сулились!..

Они вошли в сени, в прихожую. Теща стала умывать Олю, переодевать, причесывать, а Печников ходил туда-сюда по крашеным мытым половицам, застеленным узорчатыми, яркими, самоткаными дорожками, заглянул в горницу, дивясь, как и три года назад, чистоте, уюту, цветам по подоконникам, отмечая, что у него в квартире совсем не так. Дом, кроме рубленых сеней и кладовой, делился на две комнаты — прихожую и горницу, два окна выходили на тихую, под самой горой, улицу, два в ограду.

— Ну, гражданка Печникова, — спрашивала теща девочку, завязывая ей розовый бант, — как ты поживаешь? Забыла бабушку свою? Забы-ыла. Сколько ей уже? — спросила она зятя, откладывая старинный, роговой, должно быть, потрескавшийся частый гребень.

— Четыре в апреле отмечали, — Печников стоял, прислонясь плечом к дверному косяку. — Растет, красавица. Скоро в школу определять. Да, Ольга Алексеевна?

Елизавета Яковлевна сидела на самодельном, с резной спинкой диване, Ольга перед ней.

— Жалко, что бабка твоя на пенсии, а то бы записала в поселковую школу, учила уму-разуму. А? Ну — ладно, со школой успеется еще. Где станем обедать, здесь или в саду? Давайте здесь. Оля, будешь помогать бабушке накрывать стол? Вот умница. Та-ак, скатерть достанем из сундука. Алеша, ты куда?

Печников вышел в ограду, сел на скамейку под яблоней, лицом в глубину сада, закурил. Деревья были желтые, роняли лист. Поселок лежал у подножия гор, покрытых смешанным лесом. Где-то за дворами, с восточной стороны, поселок огибала мелководная речушка. Улицы малоезженные, с тропинками в траве, ветвистыми рябинами в палисадниках.

Места Печникову понравились сразу, когда несколько лет назад приезжали они сюда всей семьей, осенью, и жили месяц. Было тепло, сухо, дни стояли ясные. Печников много гулял, уходя за поселок, подымался в горы, пробовал ловить на омутах речушки рыбу, но она уже не клевала — нахолодала вода. В тот год был удивительный урожай на фрукты и ягоды, и они увезли с собой много яблок, банки с компотами и вареньем.

И вот теперь, оттого ли, что он попал снова в знакомые места, от тишины, чистого воздуха, спокойного голоса тещи, уверенных движений ее, от опадающего сада, плодов, висящих на ветках — от всего этого Печникову стало немного легче, и он сидел на скамье, расставив ноги, докуривал, переводя взгляд по ограде, устланной листьями. Предстоял еще разговор с тещей, следовало рассказать все, что произошло в семье, но к этому он был готов. Почти готов.

Если бы Елизавета Яковлевна была из тех, кто не ведет тягот, кто сразу же, не задумываясь, берет сторону родных детей, Печников, конечно, никогда не поехал бы к ней, не привез дочь. Но теща всю жизнь жила своим тру-

дом, отличалась самостоятельностью, умом, была начитана, к зятю относилась с уважением, он и сам глубоко уважал ее, потому приехал поговорить, оставить ребенка. Он ничуть не задумывался, что поступает правильно.

До войны еще закончила Елизавета Яковлевна недалеко от поселка, в районном городке, педагогическое училище, вернулась домой да так и проработала до пенсии учительницей начальной школы. Пять лет, как получает пенсию. Муж ее, шофер, погиб при дорожной аварии, спускаясь с гор. Елизавета Яковлевна не сломалась от горя, не осмелилась второй раз замуж, вырастила дочерей. Старшая жила в Белоруссии, младшая в Сибири, за Печниковым. Она — здесь, в старом своем, построенном еще свекром, доме — огород пять соток, сад столько же, куры. Держала долгие годы корову, продала. Молоко берет у соседей.

На крыльцо вышла Ольга, была она вялая совсем, зевала. За ней — теща.

— Спать просится, — сказала теща, — утомилась в поезде.

Печников поднялся, взял дочь на руки.

— Надо бы поест, Оленька, — он прижимал легонько девочку к себе. — Кушать хочешь? Давай-ка покушаем, а?

— Не-ет, — мотнула головкой дочь и опять зевнула. — Я сливки пила, бабушка давала.

— Алеша, ты укладывай ее, — сказала Елизавета Яковлевна. — Проснется — получше поест. Постель в горнице разобрала. А я пока перенесу со стола в сад, чтобы не мешать ей.

«Может быть, так и удобней, — подумал Печников, проходя с дочерью в горницу. — Поспит часа три, а я тем временем уеду. Бабка постарается, уговорит ее. При Оле если уходить — слез не оберешься. Да, так лучше».

В комнате было прохладно, прохладные чистые простыни на кровати, свежая, в цветочках, наволочка. Окно скрыто занавеской. Печников передел Олю в пижамку, сел сам на край постели, посадил дочь на колени и сидел этак минуту какую-то, поглаживая ей спинку ладонью. Положил, накрыл до подбородка одеялом, нагнулся поцеловать.

— Спи, маленькая, — сказал шепотом уже.

— Папа, а ты где будешь? — спросила девочка, тоже шепотом.

— Я буду с бабушкой в ограде.

— А когда я проснусь, что мы станем делать?

— Играть в саду, — Печников смотрел на дочь.

— В прятки, папа?

— В прятки.

— Ну ладно, — девочка закрыла глаза.

Печников, ступая на носках, вышел, притянул за собой горничную дверь, пугаясь, что она заскрипит. Теща все уже перенесла в сад, расставила тарелки по столу и теперь возилась с самоваром — большим, позеленевшим, с медалями и надписью, самоваром, доставшимся ей от свекрови, вероятно, либо от матери.

Печников помыл руки, и они сели за стол, друг против друга. Елизавета Яковлевна успела переодеться, сейчас на ней была зеленая, в разводах кофта, серая юбка. Платок она сняла. Серые волосы зачесаны назад, закреплены полукружьем широкой давней гребенки. Есть особо Печников не хотел, но можно и поесть...

Еды было много, все свое, с огорода. Грибы выставила теща, помидоры, сало копченое, яйца вареные. Печников наложил в тарелку картошки, малосольных огурцов. Из глиняного узкогорлого кувшина теща налила в коричневые эмалированные кружки малиновой настойки. Печников наблюдал, как течет яркая струя.

— С приездом, — сказала Елизавета Яковлевна, подымая кружку.

— Давайте, — кивнул Печников, потянулся, чокаясь, отпил половину и отставил кружку. Он не шибко-то любил сладкие вина. Угнув голову, хрустя огурцом, Печников никак не мог поймать нужную мысль, найти точные слова, какими можно было бы начать разговор. Заплачет вдруг, укорять начнет. Начнет, конечно. Любой осердится. И ничего не придумаешь. Да и не надо...

— Алеша, — Елизавета Яковлевна внимательно посмотрела на Печникова. Лицо у нее было крупное: губы, нос, скулы. А глаза усталые, все, кажется, повидавшие на веку своем. — Алеша, я спросила у Оли — как мама, она сказала, что мама в больнице. Это верно? Катерина — больна? А что случилось с нею? Что же вы не сообщили ничего?..

— В больнице, — подтвердил Печников, глядя мимо лица тещи. — Не больна она. Я ударил ее... Поссорились... Она вызвала «скорую»...

— Та-ак, — теща покачала головой. Долго молчала. Спросила: — Что, совсем плохо?

— Хуже некуда. Я писал вам, просил приехать. Пропал ду я с ней, Елизавета Яковлевна, вот что...

— Ты уже пропал, милый. Я присмотрелась, как вошли

вы с Олей, голова в седине у тебя. Это — в тридцать лет. Куда еще... пропадать? Но бить-то зачем? Неужели ты не понимаешь, что это худо? Не получилось — разведитесь. Где благородство ваше, спрашивается? Что это — драться? А дальше что? Что дальше-то?..

— Я все понимаю, Елизавета Яковлевна, — Печников говорил тихо. — Пытаюсь, во всяком случае, понять. Пятый год мучаюсь с ней. Все перепробовал. Понимаю, да. Но кто меня поймет?..

— Калекой не останется?

— Нет, не останется, не беспокойтесь, — Печников покраснел. — Все в порядке. Скоро выпишется. Скверно, конечно, что так...

Он вздохнул, допил в кружке.

— Что хоть она делает? — спросила зятя. Голос ровный, будто не о дочери родной речь. — Из-за чего началось?..

— А ничего не делает. Если б что-то делала. С работы пришла — сразу к телевизору. К телевизору села — тут расколись земля и небо на тридцать три половинки, не встанет. Зайти хлеба купить не догадается. Во всем надежда на меня. Кровать — книга — телевизор. Спать может двадцать четыре часа в сутки, как пожарник. И попробуй что скажи ей. Сразу глаза побелеют, остановятся, рот во всю ширь и — в крик. Что она только не говорит в это время, какие только слова не приходят ей на ум. Старается как можно больнее обидеть меня, оскорбить. И все это с криком, теряя самообладание, разум теряя. Кричит, забывая совершенно, что живем в общем доме, где слышен каждый звук. После очередного скандала соседи непременно спросят: «Алексей Михайлович, это не Екатерина Ивановна кричала вчера? Поздно уже, часу в двенадцатом?» Она орет, а мне от стыда гореть. Гляжу на нее в эти минуты и дивлюсь. Если бы сам не видел ничего, не поверил бы никогда. Сфотографировать бы ее тогда или лучше на киноленту заснять. Потом показать. Придет кто-нибудь из сослуживцев — она тиха, как овечка. Сю-сю-сю. Не узнать, так меняется. Ну и характер. Удивительный прямо. Другого такого и не найти...

— В свекровь мою, — усмехнулась теща. — Та, бывало, такое вытворяла, что не приведи господь. Вся улица сбегалась смотреть. Тебе тридцать всего. Мало ли чего еще не случится в жизни. Береги силы и будь готов ко всем неожиданностям. Так вернее — когда заранее готов. Выпей. Давай, до дна. Кто знает, — она усмехнулась, — может, по-

сле этой тебе легче станет. Не бойся: в ней малина и сахар, подмесу никакого нет. Третий месяц стоит...

— Пробовал, не помогает. Скажите, Елизавета Яковлевна, Катерина нормальным ребенком росла? Не падала в детстве? С дерева, скажем? С печи? Сотрясений не было? Мне кажется, у нее какие-то отклонения от нормы. Психика.

— Чепуха. Катерина совершенно здоровый человек. Она запугивает тебя. Прием. Это мне известно по школе еще, да и после, когда в техникуме училась она. Где-то ослабил руку, Катерина почувствовала, а теперь играет. Где она работает сейчас? Помню, писала, что собирается уходить с прежней работы. Зря ты ее в институт переманил. Пускай бы на стройках поработала подольше...

— Администратором в кинотеатре. Голос ее там как раз к месту. Иной вечер вернется, разговаривает с хрипом: нараспоряжалась.

— И сколько же зарабатывает? — теща улыбнулась глазами.

— Не знаю, — ответил Печников. — Она зарплату не приносит домой. Раньше иногда приносила, а теперь ни рубля не дает на расходы. Полгода уже. В этом, считайте, вся и беда.

— Как?! — Елизавета Яковлевна подалась вперед, брови ее поднялись. — Ты не шутишь, Алеша? Куда же она тратит их, деньги, ты интересовался? Такого я еще не слышала...

— Куда... на себя. Одеваться любит. Ей могут принести на работе платье голландское, за сто двадцать рублей. Чуть ли не из мешковины, зато модное. Она берет, не раздумывая. Оцени в сто сорок — сто сорок отдаст. Ей, видите ли, неудобно о деньгах говорить, торговаться. Босоножки австрийские, шестьдесят рублей — берет. Духи... Сумок у нее четыре, на каждый сезон — сумка. Осенью желтая, летом светлая. А все, что в квартире, кухня — полностью на мне. Я как-то попросил: дай столько-то, выбился. За Ольку в сад заплатить надо, за квартиру: телефон отключат. А она: что же ты за мужик, если семью содержать не можешь. Смешно слушать...

— Так не корми ее! — воскликнула теща. — Пусть не садится за стол, раз так поступает. Наберись мужества, проучи. Интересно, что она запоет тогда. Бесстыдница!

— Делал, — Печников горбился над столом, — три дня не ела дома. Если б вдвоем жили, а то Оля еще. Оля придет из сада, она ж ей еду готовит, Катерина. Мы с Оль-

кой садимся ужинать, а она в другой комнате. Жалко делается. Махнешь рукой на все...

— Да-а, дела, — Елизавета Яковлевна постукивала по столешнице согнутыми пальцами. — Ну и ну. Письмо-то я твое получила, догадалась обо всем. Все раздумывала, как ответить. А вот и вы сами.

— Помните, — Печников встал, заговорил быстро, расхаживая возле стола. — Помните, я вам свою жизнь рассказывал? Когда познакомились. Вот здесь же и сидели. Никогда я не падал духом за все свои прожитые годы, как бы тяжело ни приходилось. Споткнусь, случилось, но сразу же встану. Работать пошел после семилетки. Учился вечерами. Глаза слипались, а учился. Что я тогда делал — на стройке кирпичи подносил, специальности даже не было. Школу закончил, институт. Квартиру получил. У себя на работе я один из ведущих специалистов, отдел возглавляю. А перед женой растерялся. Перед наглостью, откровенной такой. Не знаю, как и поступить. То есть знаю, конечно. Не будь Ольки — ушел бы давно. Выгнал бы ее к чертовой матери. Но Ольке расти надо, жить, сил набираться. Какое ей дело, что у родителей не ладится. Еще успеет хлебнуть сама, придет срок.

Елизавета Яковлевна слушала.

— Половик у нас в передней, возле двери. Старый, поистрепался. Я сижу, подшиваю его, а жена у телевизора. Как вам это нравится? Я должен помнить, чтобы не прос лук, купленный в зиму. Проверять, не завелась ли моль. Размораживать холодильник. Выносить мусор. Доставать стиральный порошок. Я должен, должен, должен. Да до каких же пор, спрашивается? Что такое магазины — она не знает. Утром встала, на столе чтобы колбаса была, сыр, масло. Чай пьет редко, любит кофе. Это по теперешним-то временам. Да неужто мне всю жизнь тащить ее на себе, женушку дорогую. Не-ет! Не согласен я, не хочу!..

— Милый, — Елизавета Яковлевна потянулась к руке Печникова, — сядь. Ты говори, говори. Это — как слезы, облегчает. Хотя жаловаться и не надо бы. Не по-мужски. В себе следует все держать, не выпускать наружу. А раскрывать душу... кто-то посочувствует, а кто-то и нет. У каждого своих полно забот-страданий. Это я говорю вообще. Для тебя же я — человек не посторонний, мать твоей жены. Что я должна сказать, Алеша? Ну, во-первых, никто тебе ее, как говорится, силком не предлагал. Сам выбрал, сам и разбирайся. Плохо, что поженились вы на стороне от

глаз моих. Будь ты здешний — я бы, слов нет, отговорила тебя: зачем губить хорошего человека. Но вы сами все решили. А теперь хоть плачь, но тяни. Однако и тянуть не надо, ни к чему. Не расстраивайся особо. Жить предстоит долго, успеешь еще, сорвешь сердце. Горе — не беда, как в пословице сказано, не было бы хуже. Хуже, думаю, не будет. Разведись. Только... без шума. Расстаньтесь как люди. Не получилось — ничего. Так и должно быть. Что-то получается, что-то нет. У вас не получилось. И не должно было получиться. Понятно, девку жалко, Ольку. В тебя пошла девчушка. Ну — не ты первый, не ты последний...

— На ней все и держится, на Ольке, — Печников поднял тоскующие глаза, и Елизавета Яковлевна отвела свой взгляд. — Катерина видит, как я люблю ребенка, и спекулирует этим. Пять последних лет — самые трудные из тридцати моих. Самые унижительные. На какие только унижения не шел я, чтобы семья сохранилась. Уйду, думаю, а Олька как? Суд не отдаст мне ее. И буду как вор приходить, проведывать. Да еще не пустит, глядишь. А что ж... Елизавета Яковлевна, я в тряпку превратился. В тряпку, которой... сортир подтирают. Вот каким я стал. Вот что сделала из меня Катерина Ивановна. За пять-то лет. Следующие пять мне никак не вынести. Нет, не хочу я. Да и не случится этого. Довольно.

Печников опять встал, сел тут же, и теща пододвинула ему кружку. Печников выпил четыре двухсотпятидесятиграммовые кружки, Елизавета Яковлевна — полторы. Печников захмелел — градусов шестнадцать было, видимо, в ней, этой настойке, пахнувшей малиной.

Закурили. Елизавета Яковлевна курила «Беломор». Она сидела, откинувшись спиной к стволу корявой раскидистой груши, редко и сильно затягивалась, глядя на покурного, облокотившегося на столешницу зятя. Зять ее был довольно высок, худощав, черноволос. Смугл до черноты. Сросшиеся на переносице брови. Только зубы да белки глаз освещали утомленное продолговатое лицо. Он курил, опустив голову, думал, и Елизавета Яковлевна не знала, чем помочь ему, как утешить.

— Да, — сказал Печников, выпрямляясь, и поискал глазами, куда положить окурки. Лицо его было в поту. — Да, разводиться — один выход. Впрочем, теперь нас — хочешь не хочешь — разведут. Дело в том, — он пристально посмотрел сузившимися глазами на тещу, говорил далеким отчужденным голосом. — Дело в том, Елизавета Яковлевна,

что меня скоро посадят. Через несколько дней. Потому Ольку к вам привез. Оставить не с кем.

— Что ты говоришь?! — заметно побледнела Елизавета Яковлевна, откачнулась от дерева к Печникову, схватилась за край стола. Глядела, не понимая. — Что ты говоришь, Алеша?! — переспросила. — Как — посадят? Она — что же, в суд подала на тебя?

— Да, подала, — кивнул Печников.

— И тебя, как это... вызывали, допрашивали?

— Все, как положено, — Печников попытался улыбнуться. — Допрашивали. Дело передали в суд. Вот вернусь — будут судить.

— Погоди, погоди, погоди, — теща быстро произносила слова, постукивая пальцами по столешнице. — Давай, начнем соображать. Так, я напишу ей. Нет, дам срочную телеграмму, чтобы простила, забрала заявление. Если она... если она... я сама поеду, выступлю на суде. Я постараюсь убедить суд, рассказать, что она за человек. Надеюсь, меня выслушают... поймут...

— Ничего вам не следует делать, Елизавета Яковлевна, — выдохнул Печников. — Я пытался помириться. Из-за Ольки, опять же. Прощения просил, — Печников поморщился. — Она и слушать не хочет. Не надо. Мне не пятьдесят лет, черт побери. Отсижу положенное, начну все заново. Семья появится, квартира. Не беспокойтесь за меня. Пожалее еще. А Ольку... Ольку я не забуду. Не оставлю. Все, что от меня требуется, как от отца, я... Что с вами, Елизавета Яковлевна? Что вы так?..

— О-о! — стонала, раскачиваясь, Елизавета Яковлевна. — Зачем ей это? Ну, поссорились. Ну, подрались — мало ли чего не бывает в семье. Но — тюрьма! Чтобы тебя, Алеша, в заключение?! Какая мерзость! Зачем ей такая жестокость — не понимаю?! Скажи, пожалуйста, на сколько тебя... осудят? Надолго? Как ты считаешь?..

— Не знаю, Елизавета Яковлевна. Как суд решит. Но два года верных, это уж точно. От адвоката я отказался. Сказал: вся вина моя.

— Может, не в колонию... на стройку направят. Направляют ведь, слышала. В поселке был случай подобный...

— Дай бог. Я сам только о том и думаю сейчас. Такие вот дела.

— Слушай, Алеша, а как же с квартирой? Развод, дележ... Осужденный, ты имеешь право на половину своей жилплощади или нет?

— Не могу сказать. На суде и это выяснится. Да и черт с ней, с квартирой. Что же им в одной комнате ютиться. Переезд, хлопоты. Ольке нужна комната. Ей и отдам.

— Ну да, сказал, — хмыкнула Елизавета Яковлевна. — Вернешься — ни работы, ни репутации прежней, ни жилья. Куда пойдешь? К дяде чужому? В общежитие опять? Надо как-то помогать тебе. Я должна помочь. Обязательно. Знаешь, нужно вот что сделать: оттянуть развод во что бы то ни стало. До возвращения твоего. Телеграмму я дам непременно. Закажу переговоры. Когда она придет за Олькой?.. Замечательно. На колени встану, упрошу, чтобы переехала ко мне после развода. Ты останешься в своей квартире. А работу... работу найдешь. Может, возьмут обратно. Им же с Олькой здесь жить. Я мать, мне ее довоспитывать, доченьку ненаглядную. Годы мои — считанные, все им перейдет, уговорю. Ох ты, горе-горюшко, что случилось. Как же ты это, Алеша, не удержался, а?

— Елизавета Яковлевна, мне пора уходить, — Печников взглянул на часы, поднялся. Ноги ослабели от наливки.

— Куда ты? — вскинулась теща. — Не поживешь? Не переночуешь?

— Не могу, билет в кармане. Надо ехать, — Печников усмехнулся, — суд ждет меня. Так удобнее, пока Ольга спит. Я напишу вам, Елизавета Яковлевна. Приеду и... напишу подробно.

— Ой, боже, — Елизавета Яковлевна не знала, за что взяться. — Вот гость-то. На-ка, на дорогу, я еды соберу. Во сколько поезд твой отходит? Проводить бы до вокзала... Ольга...

— Еды возьму, а пить не хочу больше, хватит.

Печников прошел к горничному окну. Ольга спала, повернувшись на правый бок. Ему виден был затылок ее, шея — одеяло закрывало плечо. Боясь заплакать, Печников тряхнул головой, вернулся к столу, где теща в сетку укладывала свертки с едой.

Потом они шли по ограде, прощались и все никак не могли дойти до ворот. Пожить бы недельку-другую здесь, передохнуть.

— С Олькой будьте поласковее, Елизавета Яковлевна, я вас прошу.

— Ну о чем ты говоришь. Ты сам держись. Не робей там. Может, и через это надо пройти, кто знает. Ты специалист хороший, не пошлют же тебя канавы копать. Бригадиром хоть назначат. Ах, горе!

— Это уже мелочи, значения не имеет. Ну, до свидания, Елизавета Яковлевна. Спасибо вам за поддержку. Теперь мне легче немного.

— До свидания, милый. Главное, не падай духом. Я все сделаю, как и обещала. Что-то хотела спросить?.. Да, родители-то твои? Живы ли еще?

— Живы. Старые совсем. Дай бог увидеть через два года.

— Где они? Все там же, на Шегарке? в Жирновке?

— Нет, к районному селу ближе перебрались. До свидания, Елизавета Яковлевна. Пошел я. Не провожайте дальше, не надо. Все. Хоть бы не проснулась. Скажите ей, что мама скоро придет...

— Будь здоров. Дай поцелую тебя. За Ольку не беспокойся.

— Через полтора часа поезд. Успею. Автобусом до конца, да?

— До конца, — теща держала Печникова за руку. — Ничего. Не теряй мужества. Пиши чаще. Я тебе посылки посылать стану. Ступай.

Он пошел торопливо, оглянулся, оглянулся опять, помахал рукой и скрылся за домами. Елизавета Яковлевна некоторое время еще стояла у ворот, будто ожидая, что Печников вернется, закрыла за собой дверь, подошла к окну, прислонясь лицом к стеклу, долго всматривалась в глубь горницы — там было тихо, — тяжело прошла к столу, села, сутулясь, вынула папиросу и, забыв прикурить, сидела полузакрыв глаза. Встала, неуверенно, словно после недавней болезни, начала убирать со стола, мыть посуду и все старалась поймать утерянную мысль. Ах да, от Анны, старшей дочери, давно уже не было письма. Ладно ли у нее. Там двое детей, сыновья. Внуки. А у Катерины дочь. Ольга. Четыре года. Сейчас проснется, спросит: бабушка, а где папа? А папа уехал. Что ты ей ответишь? Что-то отвечать надо. Да, что-то надо отвечать. Как бы он там опять не сгруппил...

На вокзале долго еще, около часа, Печников ходит по перрону из конца в конец, поглядывая на станционные часы. А стрелки движутся медленно. Ходит, думает. Мысли его несвязны, отрывочны, думает он обо всем сразу, перескакивая с одного на другое. Рано ушел от тещи, надо бы еще посидеть, чтобы здесь не толкаться. Нет; в самый раз, проснулась бы Ольга, тяжелее было бы. А Елизавета Яковлевна — молодец баба. Сильная. Ему самому порой не хва-

тает душевных сил, он знает это, чувствует, потому всю жизнь тянется к таким людям, как Елизавета Яковлевна. Если бы не было у Печникова матери, хотел бы он иметь такую вот мать. Но у него своя мать — человек достойный: повидала, поработала. В войну вон как доставалось им, деревенским бабам...

Четыре года назад, перед тем как родиться Ольке, теща приезжала к ним в гости. Жила довольно долго, месяц кажется, а то и более, дожидаясь возвращения дочери из роддома. Недели две еще наставляла Катерину по уходу за ребенком. Печников с тещей подолгу разговаривали в те дни. Катерина в роддоме, никто не мешает. Поужинают, сядут в маленькой комнате, где поуютнее. Тогда-то они и условились, что называть ее Печников будет по имени-отчеству. Так ему удобнее. Но чтобы она не сердилась...

— А я и не настаиваю, — усмехнулась Елизавета Яковлевна, — зачем же. Мать у тебя есть — хватит одной. А я — теща. Зови, как хочешь.

Печников стал было уговаривать тещу, чтобы она переехала к ним, продала усадьбу. Заболеет — присмотреть некому. А тут — свои.

— Никуда я не поеду и усадьбу продавать не стану, — отказалась напрочь Елизавета Яковлевна. — Это родовая усадьба. Уж сколько лет фамилия наша живет на одном месте. Там я родилась, там и умру. Жалко будет, если усадьба не перейдет после меня в родственные руки. А потом, — Елизавета Яковлевна засмеялась, — что тебе за охота жить вместе с тещей? Слышал, каких только сказок о тещах не сочинили? И такие-то они, и такие-то. Вот и я — ничем от других не отличаюсь. Давайте-ка порознь. Издали милее друг другу будем. Стану я вам письма писать сердечные, ждать по осеням, под урожай, встречать-проводить, скучать. Переезжать? Спасибо за приглашение, Алеша. Но пойми меня правильно: в своем доме я хозяйка, а здесь буду в углу сидеть. Так? — она взглянула на Печникова.

Печников смутился от откровенности, покраснел, помнится. Не ожидал он таких прямых слов.

— Ну что вы, Елизавета Яковлевна, — стал говорить он, но теща его не слушала. Больше о совместной жизни разговора они не затевали. Переписывались, поздравления посылали к праздникам...

Поезд на станции стоит недолго, всего три минуты. Держа сетку в опущенной руке, Печников подымается в вагон, находит место. Полка у него нижняя, он садится, смотрит

невидяще в окно. Поезд трогается. В вагоне душно. От выпитого Печникову тяжело. Он просит постель, ложится спиной к переборке, закрывает глаза. Вагон покачивает, стучат колеса. Печникову хочется уснуть, чтобы ни о чем не думать, но сна нет. Опять думается о разном, о жене. Печников пытается разгадать, что же все-таки это такое — его жена, Катерина, с которой он прожил пять лет. Нет, видимо, никогда не поймет этого Печников. За пять лет не понял. А теперь — конец всему, не к чему вроде и разбираться.

Болят голова, он вспоминает. Старый, наполовину деревянный город к северу от Новосибирска. Печников приезжает туда по назначению, с дипломом архитектора. Она приезжает после окончания строительного техникума. Ему двадцать пять лет, ей двадцать. Он работает в институте Гражданпроект, она на стройке, мастером. Они еще не знают друг друга, не знакомы. Лето, идет дождь. Печников стоит под карнизом деревянного дома, глядя, как пузырится в лужах вода. Ему весело. Через улицу бежит рослая девушка, промокшая уже. Оглядывается, куда бы спрятаться. «Сюда!» — кричит ей Печников и машет рукой. Девушка бежит к нему. Стоят рядом. У нее широкоскулое, молодое совсем лицо. Она отжимает волосы и смеется. А дождь все не перестает. Он провожает девушку. Встречаются. Печников получает квартиру. Делает предложение. Свадьба. Теща приехать не может, хворает. Переводом устраивает жену в свой институт. Семейная жизнь. Вечера дома. Она сидит у телевизора, неохотно оборачивается на голос мужа. Печников стоит в дверях, держа в руках свитер и шарф. В них дыры. Ему жаль — вещи почти не ношены. «Катя, — говорит он, — у нас завелась моль, что же ты... Смотри, что наделала», — Печников растерянно поворачивает свитер, показывая жене. Показывает шарф. «Надо купить нафталин и пересыпать, — быстро говорит жена, не отвлекаясь от телеспектакля. — Что же ты раньше не подумал?»

Приезд тещи. «Ну, как вы уживаетесь?» — осторожно спрашивает она, глядя на зятя. «Живем, — кивает он».

Ольга. Новые расходы. Жена уходит из института. Два месяца не работает, подыскивает новую службу. Устраивается в кинотеатр. Болезнь Печникова: воспаление легких.

«Катя, — тихо говорит он, — неловко затевать такой разговор. Катя, у тебя есть какие-нибудь деньги? Надо за квартиру заплатить. За Олю, в сад. Я же на больничном —

не скоро получу». Она дает ему двадцать рублей. Он берет.

«Катерина, ты почему не приносишь в семью деньги? — спрашивает он. — Мне тяжело одному — расходов много. Мало того, ты у меня берешь постоянно. Молча. Я на продукты оставил, а ты взяла. И ничего не сказала. Так нехорошо делать, Катерина». — «Я на тебя не собираюсь работать, — говорит жена. Ноздри ее вздрагивают. — Принеси! Нашел о чем говорить, о... деньгах. Постыдился бы. Мужик, заработать не можешь, чтобы семью прокормить». — «Постыдился бы? — переспрашивает жену Печников, сдерживаясь пока. И подходит к ней. Она сидит на диване, читает книжку. — А тебе за стол не стыдно садиться? За стол, не дав ни рубля. А?» — «Укорил, — жена откладывает книгу, становится напротив. — Едой укори-ил, — тянет она. Глаза ее белеют, останавливаются, лицо деревенеет. Печников знает, что произойдет сейчас. — Едой! Да ты...» И тогда он ударяет ее. Бьет сильно. Жена падает и кричит. Печников уходит из дома, ночует у товарища. Жена товарища смотрит на него осуждающе...

Печников встает, выходит в тамбур курить. Возвращается. Вагон плацкартный, в одном купе с ним едет семья: муж с женой, парнишка-школьник. Отец с сыном устроились на верхних полках, мать внизу, напротив Печникова. Уже вечер, за окном темно. Приносят чай. Печников просит два стакана, пьет, глядя сквозь стекло, в темноту. Есть неохота. «Зря еду взял», — вяло думает он. Ложится спать, засыпает. Спит он тяжело, ворочается, стонет и скрипит зубами. Женщина будит его, прикасаясь рукой к плечу. «Повернитесь на бок», — говорит она. Сонный, Печников поворачивается лицом к перегородке. Во сне ему снится все то, что уже было, и то, что должно случиться.

Вот он в кабинете следователя. Это было. Следователь моложе Печникова, рыжеват, короткие волосы слегка зачесывает на сторону. Лицо хмурое — не то сердит, не то задумчив. Одет опрятно. Курит. С Печниковым разговаривает спокойно и вежливо, часто благодарит. Печников ничего не скрывает. Да и что ему скрывать...

— Распишитесь еще вот здесь, — просит следователь и пододвигает по столу Печникову густо исписанные листки. Печников подписывает их. Ладони у него влажные, он вытирает их платком. — Все, — говорит следователь, аккуратно складывая листки в папку. Завязывает тесемки. — Передаем дело в суд. Можете быть свободны. — И молчит, будто никого нет рядом с ним.

— Когда суд? — спрашивает осипло Печников, наблюдая за пальцами следователя.

— Этого я сказать не могу, — следователь откладывает на край стола папку. — Вас известят повесткой. Будьте дома. Из города...

— Мне нужно уехать на два-три дня, дочь отвезти тебе, — Печников о чем-то думает. — Это не очень далеко. Скоро вернусь.

— Надеюсь, разыскивать не придется? — без улыбки спрашивает следователь, так же о чем-то раздумывая. Вероятно, о новом «деле».

— Не придется. Скажите, сколько мне... грозит? Только правду...

— Не знаю, — следователь медленно разминает сигарету, медленно прикуривает. Печников ждет. — Как суд решит. Она не простит вам?

— Нет, не простит.

— Думаю, не менее двух. Вы повредили ей левую челюсть. Вот, — следователь указывает сигаретой на папку, — заключение медкомиссии, вы...

— Ей еще не так надо было бы... — задохнулся Печников.

— Ну, ну, — сказал следователь, — что уж вы? Жена все-таки. — (Сам он пока не был женат, не представлял никак свою семейную жизнь, надеясь, что все будет нормально. Недавно из института, он постоянно занимался «семейными делами», а не теми, головокружительными, о которых думалось до получения диплома. Скандалы. Жалобы. Побои. Заявления. Приходилось разбираться: кто прав, кто виноват. Попробуй разберись. Жена на мужа: он такой-то, муж на жену: она такая-то. А когда сходились, оба были хорошими. Вот жизнь. Дети наблюдают: у них свои переживания. Вот и этот, Печников, сидящий рядом. Натворил и сам не рад. А мужик, чувствуется, совестливый. И жалко его, и... Не по себе от всего этого было следователю.) — Вы, умный человек, все должны решать... — следователь поискал слово, — спокойно. А вы?! Неужели вы не понимаете, что это скверно — ударить жену, женщину? Вижу, понимаете. И я в то же время хочу понять вас, Печников. Почему вы совершили такое? Довели — не сдержался. Все верно. Случаются минуты, когда трудно сдержаться. Но надо. Сдержались бы вы, ценность бы ваша как человека поднялась. А теперь она понизилась. Кто вы на сегодняшний день в глазах знакомых своих? Хулиган, дра-

чун, скандалист. В доме авторитет потеряли, на работе потеряли. Разговоры всякие. Зачем вам это? Ежели дошло до предела — развестись. На мой взгляд. Тяжело? Поженились в надежде жить не тужить. И — развод. Тяжело, да. Страшно. Но бить...

Следователь молчит. Курит, глядя в окно. И Печников молчит.

— Все, — говорит следователь. Голос его тускл.

Печников встает и уходит. По дороге останавливается. Провалиться бы ему сквозь землю сейчас. Домой — нет охоты. На работу — не показывался бы...

В Новосибирске пассажиры в купе Печникова поменялись. Вошел пожилой инвалид, на костылях, правой ноги выше колена нет, штанина подвернута, заткнута за брючный ремень. За ним появилась женщина, чужая ему, сразу поставила сумку на свободную нижнюю полку, села, уверенная, что это ее место. А у инвалида место оказалось верхнее. На четвертую полку нет никого.

— Вот ведь как получилось, — инвалид все стоял посредине купе, не решаясь сесть. — И не влезть мне. Забыл совсем про полки.

Поговору, по одежде видно было в нем человека деревенского.

— Папаша, давайте поменяемся, — предложил Печников. — Я уберу свою постель, а вам принесут. Матрас и подушка есть, белье только. Садитесь пока.

Он свернул постель, поднял, разложил на верхней полке. Сел рядом с инвалидом. Женщина молча устраивалась.

— На войне? — спросил Печников, кивая на костыли. — Мой отец с сорок второго так же. На Ленинградском воевал. Правая нога...

— На войне, — подтвердил инвалид. — Приезжал с однополчанами повидаться. Раз в пять лет собираемся. Приехал, сошлось несколько человек всего, треть против прежнего. С каждым годом все меньше нас остается. Повидаться бы еще разок, дожить бы. Вот какое дело. Три дня жил в Новосибирске. Домой надо, старуха ждет. Заждалась небось. Одни живем, ребята разбрелись кто куда.

Замолчал. Лицо у инвалида было старое, в морщинах. Седая щетина под скулами выбрита плохо. Короткие белые волосы косицами прилипли ко лбу. Был он в кепке, в пиджаке на темную рубаху. На ноге — поношенный ботинок.

Печников вышел в тамбур, долго стоял возле двери,

глядя на желтые, облетающие перелески. В детстве он любил ездить на поездах. Когда вернулся в купе, инвалид уже лежал, вытянувшись на спине, закрыв глаза. Лицо его казалось мертвым. Чувствовалось, утомила его поездка. Костыли — деревянные, давние, с резиновыми набойками, ручками, отполированными ладонями, — стояли прислоненные к стенке между полкой и столом. Кепку инвалид засунул под подушку. Женщина смиренно сидела, держа руки на коленях...

Печников взобрался наверх. Ехать оставалось недолго, но и лежать так, ничего не делая, было тягостно. Он лег на живот, уткнулся лицом в подушку, освобождаясь от мыслей, стал считать колесные перестуки, сбиваясь, начиная снова, сбиваясь. И заснул. И опять приснился Печникову сон.

Теперь ему снилось то, чего он более всего боялся: суд. Зал суда. «Только без любопытных, только без любопытных», — просит Печников, но его никто не слушает. Любопытные расходятся по рядам, заполняют все места. Среди сидящих Печников видит многих со своей работы. Пришли, интересно им. Смотрят на него.

Зал. В зале любопытные посторонние люди, которым нечем заняться и они то и делают с утра, что ходят из суда в суд, в поисках необычного, а потом рассказывают всюду, разносят по городу. На сцене за столом судья с заседателями, по правую руку от них — обвинитель, по левую — Печников. Он сидит на скамье подсудимых, низко опустив стриженую голову, за спиной — конвой. Адвоката нет. Зачем? Печников во всем чистосердечно признался. Суд должен учесть признание. Обязан учесть: человек раскаялся, человек страдает на глазах...

«Подсудимый, — обращается судья к Печникову, — вам предоставляется последнее слово. У вас есть слово? Подсудимый Печников!» — «Есть, — отвечает Печников. — Скажите, вам никогда не приходилось ходить в женских трусах?» — «Что-о?! — воскликнул судья, и Печников видит, как судья краснеет. — Что вы такое говорите, подсудимый?!» Конвой хватает Печникова под мышки и быстро ведет к выходу. «А мне приходилось!» — оборачиваясь, на ходу кричит Печников, но на него не обращают внимания, салят в машину с зарешеченными оконцами и увозят...

Не верхней полке жарко. Печников просыпается в липком поту, сердце у него колотится, хочется пить, он рад, что это — сон, чтобы освободиться полностью ото сна, све-

сив голову, Печников спрашивает охрипшим голосом: «Далеко еще?» — «Подъезжаем», — отвечают ему. Печников, придерживаясь за верхние полки, мягко спрыгивает, направляет рубаху, волосы, берет со стола стакан и идет в конец вагона к титану, напиться. Выпив подряд три стакана теплой кипяченой воды, Печников поставил возле титана стакан, шагнул в тамбур, достал сигареты. Сон не выходил из головы. Не слова, что вроде бы сказал Печников, — суд. Все это должно было скоро произойти с ним на самом деле. Вот приедет и...

А с трусами — да, так и было. Вдруг невозможно стало купить в магазине трусы: нет в продаже. Не понимая, отчего подобное происходит, взял позвонил однажды в городской отдел торговли, заведующему. Подождал, подошла к телефону женщина.

— Але, — сказал в трубку Печников, — добрый день. С вами говорит архитектор Печников из института Гражданпроект.

— Да. Я слушаю, — спокойно ответила женщина.

— Я вам звоню по поручению коллектива, — продолжал Печников. — Не подскажете, где можно купить трусы мужские. Размер: сорок восьмой — пятидесятый?

Заведующая некоторое время молчала. Она, видимо, думала, что ее разыгрывают. Но голос у просителя был серьезный. Он ждал.

— Трусов нет и не предвидится, — ответила заведующая, не меняя голоса.

— Почему? — спросил Печников.

— К сожалению, наша промышленность не в состоянии обеспечить всех желающих трусами, — заведующая говорила ровным голосом, не вдумываясь в смысл сказанных слов.

— Почему же?

— По разным причинам.

— По каким? — спросил Печников.

— Ну...

— А как же быть?

— Ну, хорошо, — сказала заведующая. — Сколько вам нужно? Сколько вас человек? Запишите телефоны. Позвоните в конце месяца. Может быть, вам помогут. Но не уверена, не обещаю...

Записывать телефоны Печников не стал, поблагодарил, положил трубку. Стал упрашивать жену: сшей трусы, сшей

труссы! Машинка который год стоит, ржавеет. Сшей десять штук сразу, чтобы...

— Сатину нет, — отвечала жена, но он видел, что ей лень, и все.

— Возьми другой материал, — уговаривал Печников, — любой...

— Труссы шьют только из сатина, — жена смотрела на Печникова. — Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?

В субботу, когда он помылся, жена подала ему свои. Печников решил, что она шутит, но жена не шутила. Подала и ушла, не то — читать, не то — к телевизору. Он надеялся, что ей станет стыдно. Стыдно ей не стало. Две недели отходил так Печников, ежевечерне затевая один и тот же разговор. Со скандалом, но сшила ему жена труссы. Достала из ящика какую-то цветную материю, купленную на кофту или платье, раскрыла. Печников обрадовался. Полгода назад было это, а вот сейчас во сне всплыло. Слава богу, что сон...

Сон сном, но суд будет — никуда от него не денешься. Приедет, а повестка уже ждет его, Печникова. Пришлют, не забудут. За всю жизнь ни разу и в мыслях не было у Печникова — что вот настанет день, начнут судить его, и осудят, и увезут куда-то, оторвав от всего, что окружало. Не задумывался он как-то, что совершаются вокруг различные, большие и малые, преступления, преступников ловят, судят, отправляют по колониям. А теперь и он пойдет их путем. Остригут, и будет он, униженный, сидеть на скамье подсудимых, ждать приговора. А потом на два — хорошо, если на два, — года увезут неизвестно куда. За два года ни разу не увидит он Ольку, ни родных, ни приятелей, ни города. На работе наговорятся о нем всласть, в доме наговорятся. «На суде был?» — скажет кто-нибудь. «Не был». — «А я был. Печникова судили. Нашего, из сорок шестой. Два годика влепили. Так-то, брат, руками махать».

В город после всего возвращаться нет смысла. Черт с ней, с квартирой. Уедет в другое место, начнет жизнь заново. Не пропадет. Ничего, Катерина Ивановна, пожалейте, да поздно будет...

Осудят, отвезут в колонию общего режима. Под конвоем на работу, обратно. Там, в колонии, сброд всякий, и среди них он, Печников. За что? Какой же он преступник? Ну, ударил. Да, виноват. Больше не повторится. Было за что ударить, поверьте. И ее надо наказывать. Почему лишь

его? Ладно, накажите его одного. Как угодно, он согласен. Принимает. Он прощение просил. Попросит еще. Сколько угодно. Но судить...

Печников вздрагивает, трясет головой. Берет стакан, возвращается в купе. Поезд замедляет ход. Вокзал, огни. Пассажиры выходят из вагонов. Выходит Печников, держа в опущенной руке сетку. Вечер теплый, на вокзальной площади много народу. Печникову надо ехать трамваем, но он идет пешком, напрямую. Идет медленно, не зная, с чего начинать. Жена в больнице. Повестку, судя по всему, еще не прислали. Бежать к жене, умолять на коленях, чтобы простила. Потом развестись. Нет, не стоит унижаться. Пять лет издевок. Не стоит. В конце концов — человек он или кто? Но суд... Пойти сегодня же, унизиться в последний раз. Ради Ольки пойти. Может, простит. Нет, не ходи. Не смей и думать об этом. Вынеси все, облегчение придет после.

Но суд...

Чистые

плесы

Этюд

Памяти Юрия Казакова

После полуночи начался сильный дождь с ветром. Лежа на спине с открытыми глазами, Камышов слушал, как шумят на ветру деревья, росшие на пустыре, где раньше были бараки, и как льется с крыши вода. Потянувшись к подоконнику, приблизив к стеклу лицо, он увидел при свете уличных фонарей тускло блестящий асфальт, пузырящиеся лужи, мокрые, с заломленными ветвями деревья, с которых ветер срывал последние листья. И на улице, что частью была видна из окна, и возле дома никого не было. Шел четвертый, предутренний час.

Заканчивался октябрь, срединный осенний месяц, дождливый, как всегда. Воздух нахолодал, иной раз в это время уже кружил снег либо крепкие заморозки забирали землю, но сейчас, стихая, усиливаясь, никак не отступали дожди, и дождям этим, казалось, не будет конца. Сыро и зябко было на дворе.

Пригревшись, Камышов снова уснул под монотонный шум дождя и ветра. Разбудила его жена, она уходила на

работу. Умывшись, он прошел на кухню, стал завтракать, долго пил чай. Убрав со стола, он вернулся в свою комнату, сел на диван, на котором спал, закурил и сидел так, смотрел в окно, на мокрые тополя, шумевшие ночью. На дворе все так же было дождливо, но ветер заметно стих, едва шевелил ветки голых уже деревьев.

Камышову никуда не нужно было торопиться. С некоторых пор он работал на дому. Он занимался литературой, был сочинителем — писал художественную прозу. Десять лет назад, на радость ли свою, на страдания ли, неожиданно начал Камышов писать, и сегодняшний день был для него днем обыденным, надо было садиться за письменный стол и работать: продолжать, заканчивать или затевать что-то новое. Ему давно следовало затевать новое, а он все медлил, не находил в себе решимости. Все оттягивал. И не потому, что не было темы или не знал он, как подступиться к ней. Нет, другое мучило его...

Обычно работать Камышов начинал осенью, с дождями, работал осень, зиму, и чем ненастней был день, тем лучше думалось. Дни пролетали незаметно, не хватало их, дней, хотелось остановить, задержать, сделать до весны намеченное. До весны.

Последнюю работу, начатую прошлой осенью, Камышов закончил как раз к середине марта, рассчитывая к предстоящей осени обдумать следующую, но прошел сентябрь, прошел почти октябрь, а он все раскачивался, всякие сомнения одолевали его — нужно ли это, писание? Принесит ли оно ему удовлетворение? Что дает читателю? Изменяет ли что в жизни, в лучшую разумеется, сторону, помогая людям? И чем больше вставало перед ним подобных вопросов, тем сильнее терялся он, потому как ответ его самому себе был отрицательным, а уж после этого садиться за стол и начинать что-то было как бы и ни к чему совсем. А утро сегодняшнее было ненастным, хорошим...

В этом году исполнялось ровно десять лет его литературной биографии. Десять лет назад он не думал об этом: нужно ли? Эти мысли пришли не вчера, но и не с первого дня занятий литературой, а где-то, может, на полпути, когда он уже отрезвел, обвыкся в новом своем состоянии пишущего человека. Тогда странные мысли появлялись изредка и исчезали, а последние год-два не отпускали вовсе.

Десять лет назад, на первых порах, слегка покруживало голову, как вдруг ощутил он незнакомую до сих пор потребность записывать за собой, и удивляться, и радо-

ваться до восторга оттого, что обыкновенные слова, которые ты произносишь, разговаривая, будто бы сами по себе под карандашом выстраиваются в определенном порядке, складываясь в строки, строки в абзацы, абзацы в страницы. Одна, две, семь, десять страниц. Все это в конечном счете называется произведением, и это сделал ты, ты являешься автором. Неслыханное дело — написал!..

Нет, он не был в ту пору молодым человеком, восемнадцатилетним или девятнадцатилетним, ему было тридцать два, он уже пожил, что называется, поездил, повидал, подумал, много и тяжело поработал, всего два года назад закончил институт. В жизни ему приходилось заниматься разным, чаще всего это был физический труд, позже — учеба, но никогда он даже и не помышлял о том, что станет писать. До сих пор не может понять и объяснить, как случилось такое, и на тридцать втором году от рождения.

Это произошло само собой, как бывает, что начинает говорить немой, потому не следовало противиться, он и не стал противиться, сдерживать слова. И хотя не был он по природе своей ни позером, ни фанфароном, ни честолюбцем, многому в жизни знал цену, но состояние это, не совсем обычное, взбудоражило его, ненадолго, правда, пока не понял он, что такое на самом деле представляет собой труд литератора, и новая среда, в которой он оказался, и отношения в этой среде.

Теперь ему сорок два. Он сидит на диване, усталый, густо поседелый, курит. Склонив голову, внимательно слегка прижмуренными глазами как бы вглядывается в окно: в стекла брызжет дождь. Думает, вспоминая те далекие дни, когда писались первые вещи, писались легко и свободно, так легко, что он захлебывался словами, едва успевая записывать, и как трудно сочинительство дается сейчас. Те же слова, та же рука, та же голова, но... что-то было уже потеряно. Или не найдено еще...

Тогда он даже считал, что начал поздно, что раз уж суждено стать ему литератором, надо было попробовать раньше чуть, к тридцати двум годам можно было бы издать несколько книжек, составить имя и так далее. Это было и прошло. Давно уже не кружится у него голова, давно не жалеет ни о чем он и о позднем начинании. Наоборот, все чаще задумывается о противоположном: а стоило ли вообще начинать? За свое ли дело взялся? Действительно ли он писатель или просто так — некое подобие тому? И что далее ждет его на этом пути?..

Относительно того — поздно или слишком рано, то на этот счет у Камышова было совершенно твердое убеждение, что все в жизни должно быть ко времени своему. В детстве детство, в юности юность. Десятилетку человек должен заканчивать в семнадцать. Диплом получать в двадцать два, в двадцать три, а не в тридцать, как он. Но жизненные судьбы, как и судьбы литературные, складываются по-разному: у одного все благополучно, у другого не совсем, а то и просто худо. У Камышова все было сдвинуто. Он вообще считал себя человеком позднего развития: поздно учился в средней школе, в вечерней уже. Еще позднее — в институте. Поздно женился. Поздно квартиру получил. Все это относилось к обыденной жизни.

Что касается литературы, то здесь, как теперь понимал Камышов, жалеть о том, что запоздал с выступлением, не стоило совсем. Когда нашло, тогда и хорошо. Лишь бы получилось. Получиться вроде бы получилось, он сам чувствовал, и те, кто имел вкус, говорили об этом, и старый литератор, умерший давно, десять лет назад первым прочитавший его рукопись, сказал сразу: вышло, поздравляю вас, молодой человек. Надо продолжать.

Но прошло десять лет (литераторы, заметил Камышов, счет времени ведут не по календарю, а по публикациям, по изданию книг). Нет, он не стал ничуть писать хуже, но и лучше не стал. Он держал тот самый уровень, взятый первой своей вещью. Может быть, в языке построжел более — и только. Но это его не устраивало. Ему исполнилось сорок два года, была самая пора рвануть, он ожидал от себя взрыва, а взрыва не было. И, видимо, не будет. Сам в себе он не видел для этого сил, не находил. То, что можно сделать в сорок и в сорок пять, вряд ли сделаешь в пятьдесят. Конечно, бывают исключения. А в шестьдесят уже и речей не заводи — садись, пиши воспоминания. Но до воспоминаний было еще далеко, да и о ком ему вспоминать.

Нужно было движение год от года, качественное, поступательное, а движения не было. Он как бы топтался на одном месте. Необходимо было написать новую работу, такую, чтобы она подняла его, поставила в ряд с лучшими литераторами времени, а он совсем не был уверен, что сможет это сделать — написать. Было бы куда страшнее, если бы он был переполнен уверенностью, но то, что он терял в себя веру, было не менее страшно. Но он терял ее, со дня на день.

А десять лет назад... Тогда он жил на Шегарке, в своей

деревне, работал учителем в школе-семилетке, преподавал историю. Живы были родители. Было лето, июль, вечер. Он возвращался с сенокоса. Из-за березовой согры вышел по тропе на дорогу и как-то вдруг охватил все сразу взглядом: дорогу, уходящую в деревню через полосы спеющего овса, и перелески, стадо коров за речкой, стога сена и далеко-далеко, за невидимыми островерхими еловыми лесами, заходящее солнце. И каким образом — он не мог объяснить себе — возникло в голове его: «Теплым июльским вечером шел я с сенокоса в деревню старой, заброшенной дорогой». Камышов старался вспомнить, откуда эта фраза, и решил, что скорее всего из аксаковских «Записок ружейного охотника». А может, из какой другой книжки, недавно прочитанной. Вот и окраина деревни, городьба, изба...

Скоро Камышов забыл о фразе, но перед сном она всплыла, он хотел вспомнить — откуда же она, не смог и, не досадуя на память, уснул. Но на второй и на третий день Камышов с удивлением почувствовал, что внутри него идет странная, незнакомая до сей поры работа, в определенной последовательности, как продолжение первой, стали появляться другие фразы, и тогда он понял, что та, первая, не чья-то, а его, что это он сочинил ее в тот вечер на лесной дороге, откуда так хорошо были видны стога за речкой, пестрое стадо коров и далекий закат.

Тогда он ушел в огород, в баню, и там, в прохладном предбаннике, положив на лавку ученическую тетрадь, сидя на перевернутом ведре, среди запаха еще зеленой картофельной ботвы, запаха конопли, под верховой шум ветвей росшей за баней березы, стал записывать, вспоминая, торопясь и перечеркивая. Так продолжалось более месяца. А потом еще некоторое время ходил он, ощущая в себе пустоту, будто переболел тяжело и недавно. Успокоясь, Камышов переписал все в общую тетрадь, гадая, что же это у него получилось. Он ничего не знал в ту пору, как пишется рассказ, как пишется повесть. И слава богу, что не знал. Ему важно было успеть записать слова, просившиеся на бумагу: вроде кто-то сидел внутри Камышова и нашептывал, подсказывал нужные слова, помогая складывать их в строки.

Он ничего не выдумывал, описывая частью свою жизнь, что видел и что делалось вокруг, не выходя за пределы деревни. Вот небольшая лесная деревенька по берегам речки Шегарки — притока Оби. Зелень огородов, полей, березово-осиновых согр, зелень тайги. Высокие грозы с косыми

сверкающими дождями. Усадьба на берегу: изба, баня, сарай в огороде, на крыше сарая сеновал, где спит герой. Томительные сумеречные вечера. Ночи. Восход солнца. По низинам белые холсты туманов, оседающих росой. Туманы над речкой. Сенокос. Бабы идут по лесной дороге за малиной. Суббота, топят бани. Кони, пасущиеся за огородами, звяк ботала. Рыбная ловля удочкой. Разговоры баб. Разговоры мужиков. Ровесники. Домашние заботы. Отец. Мать. И над всем этим запахи молодого сена, свежих огурцов, парного молока, подвявших березовых веников, запаха нагретой солнцем полыни. И все. Ничего более. Так написано.

Камышов еще раз переписал сочинение свое, чтоб по-разборчивее было, и поехал в город разыскивать литератора, книжки которого читал еще школьником. Литератор нашелся. Он был стар уже и забыт всеми. Он прочел рукопись быстро, возвращая, сказал Камышову: получилось, поздравляю.

Много позже, когда уже старика не было в живых, раздумывая над своей литературной судьбой, чужими судьбами, Камышов мысленно всегда возвращался к старому литератору, что был первым его читателем, и критиком, и наставником. Это был один из тех пишущих, кого и при жизни никто не знает, а уж после смерти подавно никому не приходит в голову вспоминать их.

Их книжки, выходя, сразу же как бы исчезают в бездне, не производя никакого воздействия, хотя, наверное, и на эти книжки находился свой читатель. Читал ведь Камышов книжки старика. Он взял их в школьной библиотеке и прочел. Давно это было. А сейчас вспомнил. Школьником он читал все подряд...

Он, старик тот, был не без способностей, но как-то не смог раскрыться. Смолоду перепробовал множество тем, гадая, какая вывезет, хватаясь за все проблемы сразу. Выступал в различных жанрах, потом замолчал, от обиды, что ли, а в конце жизни начал вдруг писать охотничьи рассказы, хотя охотником никогда не был, просто выезжал за город, бродил в поле, в лесу и выдумывал рассказы. Потом умер. Даже в лучшие свои годы он не написал ничего такого, что заставило бы хоть на какое-то время говорить о нем в городе, в области, где он жил, не говоря уже о более широкой известности. Не случилось.

Камышов представлял, каково было ему, старику. Считал ли он себя писателем? Считал, конечно. Как же, изда-

вал книжки, состоял в союзе, имел членский билет. Тяжело было ему от безвестности. Но он не был злым, что было очень важно. Не озлобился за годы занятия литературой, завидуя успеху других. Он ласково встретил Камышова, сознавшись, что Камышов первый, кто пришел к нему за все время с рукописью. Прочел и долго говорил, говорил вообще и о рукописи, заставляя автора поверить в свои способности. Замечания его по тексту были верны, как теперь понимал Камышов. Посоветовал, в какой журнал послать рукопись, к какому редактору обратиться в издательстве. Без этих советов Камышову на первых порах было бы еще труднее. Помог переехать в город, но это уже после второй публикации.

А книжки, первой книжки Камышова, не дождался, умер. Умер он хорошо, спокойно, без обид на кого-либо. Похоронили и забыли о нем окончательно: жил — не жил человек. Памятью Камышову осталась последняя книжка старика, с теми самыми охотничьими рассказами, сочиненными в конце жизни, да разговоры за время знакомства. Вычеркнули его из всех списков, в областной газете появилось коротенькое сообщение о смерти такого-то. Все жизненное закончилось, черта подведена. Спи спокойно.

Возвращаясь с кладбища, Камышов думал о человеке, только что опущенном в могилу. Вот долгие годы считал он себя писателем, а им не был, был всего лишь членом союза. А другой мнит, что он ученый, на самом же деле — компилятор. А этот убежден, что он художник, хотя сам просто маляр. Где та минута, когда переводят они себя в новое качество из людей обыкновенных, и где те, кто был возле них в данную минуту и не сделал ничего, чтобы разубедить их. Наоборот, помог, видимо, укрепиться в таком сознании. Не ошибся ли старик, прочитав рукопись, внушая Камышову, что надобно оставить все и заниматься одной лишь литературой? Не ошибся ли прежде всего сам Камышов? Кто он на сегодняшний день по прошествии десяти годов?

Когда он работал скотником, там все было ясно: да, он скотник. Летом пасет коров, зимой ухаживает за ними, поставленными во дворы. Копая канавы, разгружая вагоны с углем, он был разнорабочим или чернорабочим. Закончил институт — стал преподавателем школы. Предмет — история. Но сейчас... Писать прозу — не собирать лопатой навоз в коровниках, не грузить чугунные чушки в литейных цехах, не подносить кирпичи на стройках...

Считалось, что у него счастливая литературная судьба. С первой же попытки опубликовался в толстом журнале. Повесть сократили, подправили, но опубликовали. И вторую. В книжку они также вошли не в полном объеме, как были написаны, однако и книжку издали. За десять лет выпустил три книжки — две на месте, одну в Москве. Десять печатных листов. Двенадцать печатных листов. Пятнадцать. Печатался в четырех журналах. Была написана о нем газетная статья, журнальная. Время от времени имя его появлялось в критических обзорах, где речь шла о молодых. Один рассказ перевели за рубежом. Получил от читателей несколько писем. Выступил по местному радио. «Чего тебе еще надобно? — говорили ему литераторы города. — Смотри как гладко и высоко пошел. Мы вон годами ждем публикаций и книг. Годами ждем, чтобы кто-то где-то упомянул о нас. За границей перевели. Тебе ли обижаться? Ты должен...»

Да нет, он был писателем, конечно. В способностях его никто не сомневался. В способностях, не в таланте. А потому был он писателем обыкновенным. Обыкновенным, каких сотни, тысячи. Не таким откровенно слабым, как умерший старик. Но и не настолько крепким, чтобы выделяться из среды пишущих, постоянно притягивая читательское внимание. Обыкновенным. Их в каждом, или почти в каждом, областном городе по десяти, двадцати, сорока... членов. Где больше, где меньше. Они живут, сочиняют, надеются, ссорятся, играют друг перед другом, стареют...

Прошло целых десять лет. Прошли первые восторги и опьянение, и теперь, по прошествии всего, тяжело было сознавать свою обыденность, обыкновенность. А надобно было сознавать, чтобы не озлобиться, не начать обвинять кого-то в своих неудачах. Это было бы еще хуже. Такое бывает. Камышову приходилось видеть. За десять лет он чего только не повидал...

Чувство было горьким — десять лет есть десять лет, срок достаточно большой, ничего не скажешь. Писал, писал, и оказалось, что ты ни то ни се. Уж что-нибудь одно бы. Либо природа одарила тебя по-настоящему, либо напроць лишила этих самых литературных способностей, чтоб не вводить в искушение...

Что нужно было ему, как писателю? Талант, ум, образованность. Но прежде всего — совесть. С талантом все было ясно, талантом его всевышний обнес, наделив определенными способностями. Ум у него был обычный. Обыч-

ный житейский, мужицкий ум. Он был очень неглуп, но и не настолько умен, когда б говорили о нем, как о некоторых: умница. С образованностью было так же, как и с талантом и с умом. Он закончил областной педагогический институт, а потому был человеком с высшим образованием. (Всякий диплом предполагает образованность.) И образован он был в меру, как можно быть образованным, прочувшись пять лет на историческом отделении областного пединститута.

У Камышова была своя система обучения: он читал учебные пособия как художественную литературу, считая, что голова в состоянии вобрать столько, сколько она может вобрать, и ничуть не больше. Запоминать сверх силы он ничего не хотел, такое долго не держалось, как при школьной зубрежке. «В ведро можно налить лишь вровень с краями, — сказал он как-то на экзамене, — ежели лить еще, польется через край. Да и вровень с краями не следует, наверное, нести неудобно, плескаться будет». Экзаменатор усмехнулся, не соглашаясь.

Камышов много читал, и это выручало его в какой-то степени. Читал всю жизнь, как только научился. Лет до семнадцати бессистемно, что было под рукой, пока не выработался вкус, и тогда он начал читать выборочно. С чтением добавлялись какие-то дополнительные знания, расширялась так называемая общая культура. Но общая культура не появляется с количеством прочитанного, как и с получением высшего образования, а идет из глубины, передаваясь из поколения в поколение, как у дворян, скажем, выражаясь прежде всего в умении держаться, говорить, поставить себя соответствующим образом в любой ситуации, не теряя чувства собственного достоинства. Такой культуры у Камышова не было, он сознавал это и огорчался.

Да и откуда она могла взяться, если прадед его был безграмотным крестьянином, дед был безграмотным крестьянином, отец чудом закончил два класса церковноприходской школы, мать же не умела расписываться даже печатными буквами. Из восьми детей семьи Камышовых он один сумел поступить в институт. Он, Камышов, был интеллигентом в первом поколении. Он мог гордиться этим, мог и не вспоминать вовсе.

Деревня, изба, а в ней семья десять человек. В избу зимой приносят народившегося теленка, чтоб не замерз: двор соломенный, холодный. Приносят народившихся ягнят. Слепые, в наледи окна. Печь, лавки, стол, деревянная ши-

рокая кровать. Керосиновая лампа, на стене ходики. На полу стоит ведерный, только что вынутый из русской печи чугунок вареной нечищенной картошки, остывает. Пар подымается к потолку. Основная еда — картошка. Новая рубашка раз в год, на праздники. Обноски. Пальтишко на вате, на вате шапка. Подшитые валенки. В этой одежде ты ходишь за шесть верст в другую деревню, в школу-семилетку, где много позже станешь сам преподавать. Скандалы между родителями. Зло срывается на детях. Ругань, слезы, крик. Много зла, много обид, много слез. Какая уж там культура, из каких глубин. Помечтать разве о ней, да что мечтания...

Но читателю дела нет до того, как ты рос, чему учился и кто твои родители. Читателю нужна литература — умная, честная, талантливая. И ты должен сочинять умно, честно, талантливо, если называешься писателем. А ежели засомневался в своих силах, остановись и подумай. Сомнения начались давно, в последние годы усилились. А как было радостно вначале. Никаких сомнений: горизонты далеки, небо высоко, земля зелена, воздух чист...

Школа, институт, прочитанные книги. Личный жизненный опыт: детство, отрочество, юность, зрелые годы. Отношения к предметам и событиям любого рода. Это и был его запас сил, багаж, на который он опирался. Камышов не знал иностранных языков и стыдился этого. А надо было владеть хотя бы одним. Французским, допустим. Английским. Или испанским. Любым.

Камышов всегда считал, что в человеке основой всего является совесть. Есть совесть — есть человек, нет совести — нет человека. А уж в литературе она должна присутствовать втройне, и чем выше талант, тем беспокойнее, обостреннее должна быть совесть. Начиная писать десять лет назад первую страницу первой работы своей, задумываясь, решаясь только, Камышов сразу же поставил себе за правило не лгать ни в чем, не приукрашивать, как и не очернять ничего, не опускаться до сюсюкания, заискивания, не отступать от правды жизни ни на малость, следовать ей, правде жизненной, повседневно, подавая материал простым и ясным языком. И в этом, в измене правде, его никто не мог упрекнуть. Никто его и не упрекал в этом.

Сколько Камышов ни жил по городам, а мало чем изменился: в привычках, поведении, разговоре сразу же угадывался человек деревенский. Но внутренне Камышов по-

степенно менялся, замечал изменения и радовался им. Если для изучения языков у него не нашлось воли и терпения, то здесь он заставлял себя — год за годом, день за днем — освобождаться от всего дурного, что было в нем от рождения, навязано средой, а это оказалось не таким простым делом. Он многое перенял от родителей, от отца прежде всего. Вспыльчивость, бережливость, граничащую со скупостью, некоторую замкнутость, принимаемую окружающими за угрюмость. Мать передала ему доверчивость, способность до слез переживать из-за всякой лжи, сострадание к чужому горю, любовь к своему краю, природе, крестьянскому труду. Передала голос — глуховатый, протяжно произносящий слова. Научила петь старые песни, заводить квас, солить грибы, топить баню. Она была разговорчива, проворна в работе.

Родители его были хорошие люди, всю жизнь они трудились, а время им выпало тяжелое, да еще столько детей, и Камышов их ни в чем не винил. Отец характером был сложнее матери, он воевал, вернулся покалеченный, тянулся из последних сил, чтобы не отстать от мужиков, и Камышов простил ему все: вспышки ярости, побои, частую и явную несправедливость, стараясь взять от отца лучшее, что было в нем, а хорошего в нем было все же больше, чем плохого. И лицом Камышов походил на отца своего.

Это было трудным делом — выживать из себя злость, раздражительность, зависть, ревность, хвастовство, честолюбие, себялюбие, жадность, хотя бы это было заложено в тебе в самых малых долях. Изживать, заменяя одним — добром. Это было тяжело, но совершенно необходимо, и он делал это изо дня в день, иной раз через силу, и когда получалось, что вместо вынужденной злой брани он говорил, собравшись, ровную фразу, то ощущал глубокое облегчение, будто отвел и свою, и чужую беду. И тем сильнее была радость, ежели получалось.

Но при всем том Камышов оставался обычным человеком, обычным литератором. Было грустно сознавать это по прошествии десяти лет занятий литературой, по прошествии сорока двух лет обыденной жизни, но что оставалось делать. Необходимо было смириться с подобным положением, привыкнуть, не сваливая ни на кого вину. Да, у Камышова обычная внешность, обычный ум, обычные способности. Живи. Радуйся. Занимайся, чем тебе угодно.

Было обидно и даже несколько жалко свою персону, но переживания не имели никакого смысла. Камышов успока-

ивал себя рассуждениями, что, как бы там ни было, он и с его способностями имеет право на существование как литератор. Вон лес. Лес ведь состоит не из одних высоких деревьев. Есть высокие, да. Есть очень высокие — приходится отклоняться назад, поднимая лицо, чтобы увидеть вершину. Это единицы. Другие — пониже чуть. Затем еще более низкие деревья. А там и молодые тонкоствольные тянутся кверху. Следом подлесок, кустарник всякий, по самому низу трава, либо мох с карликовой березкой, брусничник. Все взятое вместе называется лесом — хвойным, лиственным ли, значения не имеет. Все растет, не мешая друг другу. Без подлеска, кустарника, молодняка и лес не лес. Так и в литературе. Пусть он, Камышов, и такие, как он, считаются подлеском. Суждено ли им стать большими деревьями — неизвестно. Вырастут — замечательно. Сломаются от бурь, источенные личинками, заглохнут под широкими кронами рядом стоящих деревьев — что ж, значит, таково было их предназначение. Останутся кустарниками — и это необходимо, это жизнь. Главное, устоять на своих ногах...

Прежде всего в литературной работе Камышов придавал значение языку, считая, что без языка нет настоящего писателя. Начиная читать кого-либо из современных литераторов, Камышов с первых же строк смотрел: а как автор строит фразу, умеет ли он обращаться с русским языком. Если фраза была построена неряшливо, можно было и не читать.

Сам Камышов старался фразу строить точно, чтобы она была правильно развернута, была упругой и гибкой. Стремился складывать абзацы из таких строк, где каждое слово стоит на своем месте, и если вынуть какое-то из них, то не сразу найдешь взамен или же совсем не найдешь. Он так делал, помня усмешливое выражение по этому поводу одного из любимых своих писателей, что, ежели правильно расставить слова, получится хорошая проза. Но мало кто умел правильно расставлять слова.

Камышов никогда не пользовался словарями, ни старыми, ни новыми, очень редко употреблял местные выражения, малопонятные или совсем непонятные широкому читателю, не выдумывал новых слов, что было бы еще хуже, он писал обычным языком, каким говорил сам, каким говорили вокруг него люди, будь то деревня или город, без разницы. Живя теперь постоянно в городе, но оставаясь человеком глубоко деревенским, описывая в основном деревню,

Камышов, настраиваясь на очередную работу, вспоминал, как говорили его земляки на Шегарке, таким языком выражались и герои. Он любил слушать мать, любил слушать, как говорят деревенские бабы — почему-то у баб язык был гораздо богаче, чем у мужиков. Материны подруги, товарки, как они называли себя, бывало, сойдутся вечером, в сумерках уже, усядутся на крылечко или на скамью в ограде возле колодца, разговоятся, уважительно выслушивая одна другую, и каждая говорит по-особому, не спутаешь. Камышов поодаль делает что-нибудь, не обращая внимания на баб, чтобы не смущать их, а сам слушает. Все это откладывалось в нем до поры, запоминалось...

Когда в газетах и журналах Камышову приходилось встречать статьи о том, что язык надобно беречь, он-де гибнет, чахнет, засоряется и прочее, Камышов ничуть не верил этому и не расстраивался попусту, будучи убежденным, что язык не может погибнуть, или зачахнуть, либо превратиться в сплошной жаргон. Язык сам себя, по мнению Камышова, бережет. Он засоряется, да, но он тут же и очищается, в основе своей оставаясь таким, каким был и пятьдесят, и сто с лишним лет назад. Покуда есть земля и жив на ней человек, будет жив язык, состоящий из множества слов, а уж ты сам смотри, выбирай, какими словами тебе говорить, какими сочинять, каким языком станут выражаться герои твоих литературных произведений.

Споры о языке были, на взгляд Камышова, так же беспредметны, как и споры о том, изжил ли себя роман или не изжил, в равной степени как и рассказ (время от времени вспыхивали такие дискуссии). Удивительное дело, как они могли изжить себя — и роман, и рассказ, и повесть, хотя повесть в спорах почему-то не упоминалась, — видимо, ее считали самой живучей. Покуда существует литература, думал Камышов, будут присутствовать все жанры, — простое дело. Если нет сегодня романа, это вовсе не говорит о том, что он полностью изжил себя. Завтра придет в литературу новый человек, пишущий романы, и роман заново возродится, как и рассказ. Так рассуждал Камышов.

Авторский язык его с годами становился строже, обретая крепость, он, быть может, проигрывал в какой-то степени, теряя цвета, но Камышов делал это сознательно, отжимая влагу, избегая лишних определений, сохраняя цвета в полутонах. В языке он мог кое с кем потягаться, и не только с ровесниками. Но жил под Москвой в старинном селении писатель, языку произведений которого Камышов

не переставал удивляться. Это был единственный, по убеждению Камышова, сейчас литератор, умеющий совершенно свободно обращаться с русским языком. В книжке о многочисленных поездках автора на север было столько света, воздуха, звуков, красок, было столько различных слов, что, читая, Камышов опасался сбиться, но этого не случилось, слова были расставлены по своим местам, ложась в строку, а все вместе это составляло прозу, читать которую было истинным наслаждением. Никакой натужности, никакого насилия над словом и образом, все легко, свободно, просто, естественно. Так хорошо, что вспоминалась старая литература. Камышов всегда вспоминал о старой литературе, когда читал прозу этого писателя. Лишь при чтении этого и никакого другого. Ближе всех был он Камышову.

Смолоду писатель тот обещал многое, к пятидесяти не сделал и трети того, что мог сделать, что-то такое с ним произошло, теперь он старел в своей усадьбе в славном некогда селении под Москвой, нигде не появлялся, почти ничего не писал, книжки его в обзорах упоминались редко, будто и не издавались никогда, критика отмечала кого угодно, только не его. Иногда вдруг в одном из журналов появлялся рассказ — и это был рассказ: его читали, о нем говорили, спорили, ждали новых работ, но ожидание было долгим, и некоторых это даже раздражало, вызывая различные разговоры.

За десять лет занятий литературой Камышов так или иначе перезнакомился со многими писателями, с частью из них можно было и не знакомиться, интереса они не вызывали, но так уж вышло. С другими он вообще знакомства не искал. Но с тем, живущим под Москвой, познакомиться хотел всегда и поговорить, но не получалось, не пересекались тропы.

Один раз он упросил своего московского приятеля, хорошо знавшего писателя, поехать к нему, и они собрались. Они ехали электричкой, сидели возле окна, приятель читал что-то, а Камышов смотрел в окно, немного волнуясь, представляя, как увидит писателя, и что он скажет ему, и о чем они станут говорить. Он волновался, когда они шли от станции через поля и перелески к поселку, отыскивая дачу. Но писателя дома не оказалось, он уехал в город, разминувшись с ними на полчаса. На даче была одна мать, старушка, она и встретила их.

Усадьба была большая, запущенная, в окружении ельника и берез. Все было глухо здесь, дом с замшелой кры-

шей обветшал, над высокой, по пояс, цветущей травой гудели шмели, от крыльца по траве к сараю, колодцу, баньке, стоявшей в самом дальнем углу усадьбы, были протоптаны стежки. На вбитом в стену дома железном штыре висела заржавевшая иззубренная коса, ручка косы была свернута. Усадьба была обнесена оградой, местами поваленной. Ти-ихо было, лишь жужжание шмелей над травой...

Камышов и приятель захватили с собой шампанского. Хозяйка вынесла им чайные чашки и, поговорив недолго с ними, ушла в комнаты: ей, видимо, нездоровилось. А они сидели на ступеньках крыльца, под шатровым навесом, отпивали полегоньку из чашек, курили папиросы, тихо и редко переговариваясь. Камышов представил, как живет он здесь, писатель, тоскуя от внутреннего одиночества, от сознания того, что более ничего уже не напишет, и такая жалость схватила сердце, чуть не до слез.

Из маленькой тучки, нависшей над поселком, брызгал мелкий сверкающий дождичек, а они, прислонясь спинами к резным столбцам, поддерживающим навес, сидели на крыльце, допивали шампанское, курили и молчали. Побыв около часу, попрощавшись с хозяйкой, оставив сыну ее записку, они пошли к станции, другим уже путем, через усадьбу, еловый с березами лес, по мостку, через речушку, в давнем времени речушку, сейчас просто ручей, по мало-езженной дороге мимо полян с копнами сена, мимо деревушки в семь дворов. И эти поляны, и лес, и открывающиеся с косогора дали, и маленькая деревенька напомнили Камышову родные места на Шегарке, добавляя печали.

Они шли медленно, некуда было спешить. Приятель был из числа тех людей, к которым Камышов относился искренне, и пока они шагали по заросшей ромашкой дороге к станции, ожидали электричку, хорошо и грустно поговорили о писателе, о себе, просто о жизни.

— Пожил бы он подольше, — сказал Камышов.

— Поживет, чего ж... Ему едва за пятьдесят перевалило.

— По-настоящему талантливые люди долго не живут. Что-нибудь да случится. Что-нибудь да произойдет. Как рок...

— Пусть живет долго.

— Спокойнее на душе, когда рядом с тобой на земле такой человек.

— И писатель.

— Это прежде всего я и имел в виду. Как вы познакомились?

— Он печатался в журнале, где я тогда работал.

— Что это было?

— «Гончий пес».

— А потом?

— Через год мы поплыли по Печоре. Далеко, до самого устья. Не переживай, я вас непременно познакомлю. Идем, электричка...

Сидя в электричке, в полупустом вагоне, Камышов думал о том, что вот написать бы в скором времени простую, интересную прозу, две-три повести или несколько рассказов, чтоб составить сборник, а писателя, если он согласится, попросить дать к сборнику предисловие — оно осталось бы памятью. Камышов был довольно равнодушен к критике, ему было любопытно лишь в самом начале узнать, что же скажет критика по поводу первой публикации, позже, когда в общих обзорах Камышову отводили абзац или несколько строк, он мог прочесть, а мог и пропустить, не жалея, но предисловия любил, как любил получать письма от читателей, и две из трех его книжек были выпущены с предисловиями. Еще любопытней было узнать, читал ли писатель хоть что-то из его работ, а если читал, то какого мнения. Но уверенности у Камышова в этом никакой не было, он лишь думал так, сидя в полупустом вагоне электрички, возвращаясь в Москву.

Первая работа Камышова была опубликована в предзимье, в последний осенний месяц, а уже весной следующего года в одном из центральных журналов был помещен отзыв на публикацию. Рецензию написал известный критик, редко теперь выступающий со статьями. Рецензент отнес Камышова к литераторам, пишущим о деревне, да и не мог не отнести, так как повесть действительно была написана о деревне. Отмечалась свежесть авторского восприятия мира, явная биографичность материала, бессюжетность вещи, некоторая очерковость.

Все было верно. И биографичность, потому что Камышов старался писать о том, что пережил лично либо чему был непосредственным свидетелем. И бессюжетность, так как, начиная сочинять, он не имел абсолютно никакого представления о том, что такое литература и как она делается, а писал как бог на душу положит. Сюжета не было, но что-то такое было, главная мысль, видимо, служила стержнем, не давая разваливаться прозе.

Позже, разобравшись как-то в жанрах и формах, Камышов не научился строить сюжета и никогда не жалел

об этом, не стараясь нарушать естественного течения письма, писал, как писалось — само по себе. «Стелил прозу», по выражению одного из критиков. Что касается биографичности, то он и впредь от нее не отступал, так или иначе используя пережитое, что придавало дополнительную достоверность прозе. Было бы интересно читать, говорил себе Камышов, а как это сделано, значения особого не имеет. А уж ежели читатель зевает, то не помогут ни формы, ни сюжеты, ни прочие атрибуты. Проза о Севере — свободное повествование, а читается — не оторвешься...

Он, тот первый критик Камышова, по сути своей не был сторонником подобных произведений. Ему нужен был сюжет, а с ним события, и характеры, и судьбы, и динамика, и драматизм, и глубина — все то, что отличает психологическую литературу от описательной. Об этом он прямо и говорил в конце своей рецензии. Он говорил это вообще, как бы для всех начинающих и в то же время применительно к прозе данного автора, Камышова.

Относительно себя Камышов ни тогда, ни через пять, семь и десять лет не согласился с критиком. Уж это кому что дано. Дано тебе от природы петь баритоном, пой баритоном, а не басом — сорвешь голос. Можно, конечно, попробовать запеть басом, но толку будет мало, да и зачем? Можно попробовать строить сюжет, придавая прозе движение. Камышов пробовал — не получалось, и он оставил эту затею, считая, что куда как труднее сделать цельной вещь, совершенно лишенную всякого сюжета.

Приятно, конечно, было на первых порах прочесть о себе отзыв лестный, да еще такого авторитетного критика, но в целом теперь вот, по прошествии десяти лет литературной работы, не мог с полной определенностью сказать о себе Камышов, помогла ли в чем ему критика или не помогла. Скорее всего — нет, не помогла. Все они говорили разное, противореча один другому, каждый непременно учил Камышова чему-то. Слушаться их — на части разрываться. Камышов выслушивал всех, но поступал так, как находил нужным. Иначе бы не сделал он и того, что смог.

Благодаря критике ты растешь как литератор. Сначала ты просто начинающий автор, далее, если заинтересовал читателей и критику, — молодой, обещающий. Потом — серьезно зарекомендовавший себя. Еще — получивший определенную известность, но все еще молодой. А позже о тебе могут забыть, и ты состаришься в полном забвении, ежели будешь писать на таком же уровне, как писал. В современ-

ной литературе, смеялся по этому поводу Камышов, уж и тем хорошо, что долгое время можно оставаться молодым литератором. Годы текут, физически ты можешь уже постареть, а как литератор все еще молод — и то радость.

Камышов сам по сей день ходил в молодых, никто, судя по всему, не собирался его в скором времени размоложивать, переводя в иное измерение. Но Камышову было сорок два — много ли, мало ли, — а вот одному его знакомому через год должно было исполниться пятьдесят. Полувековой юбилей, орден надо давать, а он где-то там в списках числился все в молодых. Знакомый этот писать начал давно, лет с двадцати пяти, чисто художественной прозы издал за все время одну книжку, другие работы не шли. Теперь он писал о насекомых. Такая судьба.

Можно было почти спокойно относиться к тому, что не заметили какую-то твою очередную публикацию или книжку или же, заметив, дали чрезмерно субъективную оценку. Сердило другое — когда, делая разбор новой работы, критика пристегивала тебя к кому-то, будто самостоятельно ты не мог существовать. Причем зачастую это были авторы чуждые тебе по духу.

Литературные пристрастия были делом сугубо личным и не доставляли особых хлопот, если все это носить в себе. Но выяснение в литературной среде этих самых пристрастий редко заканчивалось добром. Схема спора была проста. Если ты не ценил или недооценивал такого-то писателя, кого обожал твой собеседник, ты ничего не понимал в литературе, был лишен элементарного вкуса и в дальнейшем никакого интереса для собеседника не представлял. Но если оказывалось, что ты любил названного автора, то все было в порядке, за тобой признавались и вкус и ум, и широта взглядов, и образованность. Это было утомительно в высшей степени, и Камышов не терпел и избегал литературных разговоров, будь это любая среда.

Когда критика сообщала в обзорах, что Камышов по духу своего творчества близок такому-то или таким-то современным литераторам, это задевало. Он опасался другого — как бы кого-то из них не определили ему в учителя, это было бы совсем неприятно, так как он не мог назвать никого из существующих литераторов, у кого бы чему-то и как-то учился. Разве что того, живущего под Москвой, да и то отдаленно.

Когда, написав первые повести свои, Камышов невольно или вольно начинал задумываться над тем, от кого же

он берет свое начало как литератор, то прежде всего вспоминал Аксакова. Аксаков учил его, избегая многословия и украшений, писать просто, как бы даже обыденно, и о природе, и обо всем том, что называется жизнью, и это была хорошая школа. Но ни разу, чего хотелось Камышову, никто из критиков не упомянул о его созвучии с Аксаковым, не назвал учеником.

Камышов относил себя к числу бытописателей, не видя в этом ничего обидного, будучи убежденным, что и такая литература имеет право на существование, что бытописание, в лучшем смысле этого понятия, было, есть и будет, как был, есть и будет читатель на подобного рода сочинения. Он не мог писать так называемую философскую прозу, потому как по природе своей был созерцателем, а не теоретиком и, следовательно, полемистом, посему герои его были лирическими, а не людьми действия, хотя какая-то житейская философия присутствовала в работах, ибо без этого любая проза не проза.

Он не старался заострять сознательно в своих произведениях какие-либо нравственные проблемы, помня, что, о чем бы ни писал литератор, проблемы эти проявятся сами, ибо всякая нравственность, по его убеждению, говоря огрубленно, в конечном счете являла собой не что иное, как нормы и правила поведения, то есть определенные действия людей, а какая же литература без действий, разве что чисто пейзажная, где совсем отсутствует человек. Но такой прозы у него не было.

Ко всему этому Камышов стал примериваться позже много, а в начале самом писал себе и писал, не шибко-то задумываясь над тонкостями ремесла. Ему нравилось в мельчайших подробностях, точно и достоверно, соблюдая во всем чувство меры, на десяти страницах, скажем, написать о том, как ранним росистым июльским утром, подставляя непокрытый затылок всходящему солнцу, где-нибудь за огородами, на берегу, косит мужик траву. И какая на нем рубаха, заправлена ли она в штаны или выпущена поверх, и какие штаны, и во что обут мужик, как переступает ногами, широко ли захватывает траву, хороша ли трава в этом году, долгие ли прогоняет косарь ряды, какая у него литовка, как точит он ее брусом, привстав на правое колено, как пьет, передыхая, квас или воду. Все важно было показать.

Или как на лесной опушке, стоя вокруг березы, ломают, привстав на носки, едва дотягиваясь, бабы ветки, за-

готовавливая на зиму веники. Или весной в перелеске молодой парень, ыхая, рубит сплеча тонкоствольный, налитой соком осинник на жерди для огорода, чтобы заменить старые пролеты поваленной скотом изгороди.

Так он и писал, не заботясь особо, есть ли в написанном философия, поставлены ли нравственные вопросы. Так писались первые повести, составившие первую книжку, когда он еще жил в деревне, и жива была деревня, и живы были мать с отцом.

Камышов много раз ошибался в жизни — по своей вине, по вине знакомых, желавших, чтобы он ошибся. Все это так или иначе поправлялось. Но в том, что он уехал с Шегарки, оставив родные места, вины ничьей не было, он уехал своей охотой, и это была самая большая ошибка в его жизни, поправить которую он по сей день был не в состоянии. Но что ему оставалось делать? Родители умерли, деревня разбрелась, сестры и братья жили кто где, и от горя, печали, одиночества поспешил он уехать, надеясь, что так ему будет легче. Но легче не стало.

Суть первой книжки Камышова была такова: исчезает деревня. Темой своей книжка была не нова. Тема уходящей деревни в какой-то степени была уже описана литераторами старшего поколения, что ничуть не смущало Камышова, ибо нет такого вопроса, не затронутого литературой со дня ее возникновения и по сегодняшний день, как и не было ничего такого в жизни, что было бы раз и навсегда описано. Камышов и позже, начиная новую работу, не переживал никогда и не печалился над тем, писал ли кто уже по этому поводу, а если писал, то когда и как. Для него это не имело значения. Захотел написать — садись и пиши, но своими словами поведай об этом читателю. И если получится, то можешь быть спокоен сам за себя, не стыдясь и не страдая. Не получилось — никто не виноват.

В первой книжке Камышова не хватало драматизма. Он присутствовал, драматизм, но едва просматривался. Тема сама по себе была драматическая, она требовала жесткой формы, некоторого надрыва, слез, а он подал материал лирически, мягко, в полутонах. Вместо драматизма была грусть. Широко и плавно были нарисованы картины природы, и опять картины природы во все времена года. И среди этого по страницам несколько строк о том, что деревни в описываемом краю по Шегарке доживают последние свои дни. От этого книжка во многом прогадывала, как теперь понимал Камышов. Но что было делать, не переписывать

же заново, добавляя. Как литератор, ты лишен драматических начал. Зачем искать в себе то, чего нет, раздумывал Камышов, листая иногда первую свою книжку.

В жизни его было много всяких потерь, больших и малых. Это было как раны. Они какое-то время болели, заживали полностью либо только зарубцовывались, напоминая собой о прошлом. Потеря деревни, того места на шегарских берегах, где он родился, была самой тяжелой, и рана от этого в душе кровоточила все десять лет, не собираясь не только заживать, но хотя бы зарубцовываться. Так он и жил с этой раной.

Камышов посмеивался, скажем, над теми, кто жаловался, что не может бросить пить, хотя уже уволен с работы, в семье скандалы вплоть до разрыва, болен, дважды направляли на лечение. Камышов просто не верил этому, что нельзя бросить пить. Сам он мог выпить, мог напиться до рыданий, но мог и сидеть среди веселого застолья, отпивая из стакана минеральную воду, не испытывая никакой тяги к вину. Для него это не было принципиальным. Как и с курением. Он курил, но в меру, полагая, что курение помогает думать, искать нужную мысль во время работы. Он курил, но мог в любое время бросить и не чувствовать в этой связи соответствующих мучений. У него на это хватало сил. Но заставить себя перестать тосковать по родине он не мог. И тосковал по ней все десять лет.

Камышов рано стал жить самостоятельно, сразу же после окончания семилетки, шел ему тогда пятнадцатый год. Молодым он любил ездить, пожил в нескольких городах. Ему все казалось, что интересная жизнь идет не тут, где он остановился и начал обживаться, а где-то там, дальше, где он еще не был. Он срывался и уезжал. И снова. И снова. Пока не понял, что настоящая жизнь — всюду, и прежде всего в его деревне, на Шегарке, и что дорожке тех мест нет ничего другого на земле. И тогда он вернулся домой. Он понял поздно, но все-таки понял и рад был этому. И пожил еще некоторое время на родине. Теперь он признавал, что после детства это были самые лучшие годы в его жизни. Из всех сорока двух прожитых лет.

Родители покоились на кладбище, избу старший брат, живший под городом, отдал за бутылку водки своему знакомому, знакомый перевез избу на свой загородный участок, построив из нее дачу. Сарай увез зять, муж одной из сестер, баню забрал средний брат. Камышов проживал поодаль, о разорении усадьбы узнал поздно, приехав года че-

рез два на родину, чтоб сходить на кладбище. В деревне оставалось еще несколько дворов, земляки обо всем ему рассказали. Он отправился посмотреть.

Усадьба их была заглушена бурьяном, бурьян подымался в рост человека, скрывая холодный кирпич развороченной печи. Камышов был зол на родственников, особо — на старшего брата, хотя понимал, что все одно от времени постройки разрушились бы сами по себе. Но лучше было бы, если бы они стояли вот тут, на берегу Шегарки: и изба, и баня, и сарай — умирая, и это была бы их естественная смерть. Можно было бы в любое время приехать сюда, посидеть в безбрежной тишине, подумать, поплакать без людей, не стыдясь. А теперь лишь один бурьян...

Камышов не мог себе простить одного — что не догадался сфотографировать усадьбу перед окончательным отъездом. Сфотографировать надобно было бы издали, с противоположного берега, чтобы захватить сразу все: береговой изгиб, баню, сарай, избу с палисадником, городьбу огорода. И увеличенную фотографию ту повесить в деревянной рамке на стену. Забыл в горе.

В снах все это являлось само собой, причем родителей он всегда видел живыми, здоровыми, а деревню возрождающейся. Вернулись люди, все до единой семьи, кто жил, и принялись за работу. Строились заново на прежней усадьбе и они, Камышовы. Весна. Теплынь. Мать в ограде месит глину, а Камышов с отцом стоят справа от избы, советуясь, как лучше навесить ворота. По деревне слышен стук топоров. В воздухе запах смолы, опилок и цветущей черемухи. Еще ему снились плесы Шегарки. Широкие чистые плесы, что начинались за Александровкой. Это были сладкие и мучительные сны. Иногда он плакал во сне.

Живой памятью прошлой жизни были Камышову привезенные с Шегарки в город молоток и банный ковш. Молоток был не тяжелым и не легким, с круглым бойком, удобной, обглаженной ладонями рукояткой, ловкий в руке, как становится ловким в руке и в работе инструмент, которым пользуешься давно. Молотком этим не отбивали в сенокосы литовки, им заколачивали гвозди. Глядя на молоток, было приятно думать, что им работал отец, и кто-нибудь из братьев, и сам Камышов и как необходим он был в хозяйстве почитай каждый день, а теперь вот не нужен стал никому, как и многое другое, что оставалось в избе и в сарае.

Баный ковш был медный, с прозеленью от старости, с

чуть примятым левым краем и оттого еще более домашний. Невелик объемом, может быть, литр воды вмещалось в него. Камышов помнил этот ковш с тех пор, как стал помнить себя, и потому ковш был самой дорогой памятью обо всем том, что когда-то называлось деревенской жизнью семьи Камышовых. Ковш, со слов отца и матери, достался им от родителей их, а они, дед с бабкой, будто бы привезли его из самой Расен, переезжая в Сибирь на вольные земли. Видимо, около ста лет ковшу — старый. Ковш Камышов хранил в ящике своего письменного стола, часто вынимая. А молоток лежал на полке среди прочего инструмента...

Сейчас Камышов снова достал ковш, сидя на диване, поворачивал в руках его, будто рассматривал впервые, и, держа в опущенной руке, задумался, затих. Вспомнился почему-то месяц октябрь, так же вот в последних днях своих, это еще лет за пять — семь до окончательного разброда деревни. Суббота, банный день. Помылись родители, пошли Камышов с младшим братом. Брат острижен наголо, ему вот-вот в армию идти. В бане жарко, пахнет распаренным березовым веником. Камышов лежит на полке, блаженствует. Просит брата поддать еще ковшичек на каменку. Ухая, поворачиваясь, хлещется в пару мягким веничком...

Давно нет деревни, усадьбы, родителей. Давно брат отслужил армию, живет далеко от родных мест, живет сам по себе, ему уже тридцать или около того, вряд ли он помнит ту субботу, как мылись они, а он, соскочив с полка, зачерпнув из фляги, пил из ковша речную воду, похрустывая тонкой, источенной льдинкой. И вряд ли задумывался он хоть раз о том, где теперь тот самый банный ковш, из которого тянул он, разгоряченный, шегарскую воду. А ковш — вот он, в руках Камышова. Память, память о жизни, что была на Шегарке и исчезла, и никогда уже больше не вернется. Как не вернется детство, вчерашний день...

Все это ушло в прошлое. С переездом в город началась для Камышова жизнь совсем иная, непохожая на прежнюю. Прошлое было описано, заново возвращаться к нему не имело смысла... Пора было искать первую фразу новой работы на новую тему, но не было никакой уверенности, что новая будет выше старых, были сомнения, усталость и даже некоторый страх...

Камышов сидел, отклонясь на спинку дивана, чуть расставив ноги в изношенных, без задников тапочках. У ног

стояла стеклянная банка, куда он стряхивал пепел. Левая рука лежала спокойно, в правой меж пальцев он держал потухшую папиросу. Темные седеющие волосы, сдвинутые едва на правую сторону, закрывали половиину лба. Светлая, в полоску, с расстегнутым воротом рубашка была заправлена в хлопчатобумажные штаны, надеваемые дома. Губы его были сжаты, глаза полузакрыты, продолговатое лицо недвижно. Он сидел и смотрел в мокрое окно. Надобно было садиться за стол, а он все медлил, раздумывая — стоит ли...

Зимний
путь

Мать загремела сковородником, и Шурка проснулся. Он спал на печи, не подстелив ничего, подложив под голову материны изношенные валенки, накрывшись фуфайкой. Рядом сопел во сне Федька. Не открывая глаз, прижавшись спиной к теплому чувалу, Шурка дотягивал последние сладкие минутки, вздрагивая уже от одной мысли, что вот сейчас надо будет вставать и выходить на улицу. По запаху Шурка догадался, что мать ради воскресенья печет драники-оладьи из выжимок тертой картошки.

Отодвинув цветастую, стиранную много раз занавеску, скрывавшую лежанку печи, Шурка поднял голову. Семилинейная лампа висела на стене над столом, стоявшим в переднем углу под иконой. Фитиль лампы был прикручен: света матери хватало от печи. Налево от двери, между стеной и печкой-голландкой, которую топили только по вечерам, на широкой скрипучей деревянной кровати под ватным одеялом спал Тимка. Заледенелые окна темны, и не понять ничего, что там, на улице.

Шурка взглянул на ходики, подвешенные на гвоздик в простенке меж окнами: стрелки показывали половину седьмого. Надо было подыматься. Вчера, после бани, Шурка лег сразу, чтобы хорошенько выспаться; он и выспался, чувствовалось, но все равно рано было для него. Да что там: зевай не зевай — никуда не денешься.

Завидуя братьям, Шурка слез с печи. Снял с голландки подсохшие валенки, обулся и, как был в белых бязевых подштанниках и такой же нательной рубашке, подошел к окну. Рамы окон двойные, зазоры между рамой и косяком проклеены полосками плотной бумаги, а все одно промерзают — на внутренних стеклах наледь в палец. Окна низкие, в метели сугробы чуть не по верхние глазки заслоняют. По подоконникам — канавки, чтобы вода стекала...

— Холодно, мам? — спросил Шурка.

— Ой, студено, — кивнула мать, — аж потрескивает.

А тихо. Месяц вызрел, полный — светло. И звезд много. Холодно, Шурка. Да и что ожидать — январь, самые морозы. Умывайся, садись ешь. Или за быком сходишь сначала? Сколько уже? Семь скоро. И мне пора.

— За быком схожу, потом поем, — Шурка искал ремень.

Он умылся под рукомойником возле двери, пригладил руками волосы и стал одеваться. На рубаху надел пиджачок, на него — пальтишко, застегнул пальто на все пуговицы и поднял воротник. Завязывая под подбородком тесемки шапки, Шурка повернулся к матери: не скажет ли она ему еще чего перед уходом, но та, занятая своими мыслями, молчала, стараясь закончить у печи утренние дела. Драники шипели на сковороде, мать переворачивала их.

Мать встала до шести. Затопив печь, она управилась на дворе: подоила корову, вычистила у нее в стойле, у овец, у поросенка. И все это в темноте, при том лишь свете, что попадал от луны и звезд в открытую на время дверь сарая. Дала всем корму, спустилась на речку, прорубь продолбила, а потом уж вернулась в избу, к печи, где догорали дрова и стояла на лавке квашня. Сейчас матери идти на работу. И в телятнике печь растоплять, воду греть: холодной поить не станешь — простудятся. Подогретую — разбавлять на треть обратом, а после разносить по клеткам. Напоил — дели охалками сено, выбрасывай из телятника вычищенный из клеток на проход навоз. Пятьдесят голов закреплено за матерью — успевай поворачивайся. Вернется мать в обед, а в пятом часу — снова на ферму: вечерняя управка. И так каждый день. Летом пасет. Иной раз Шурка заменяет ее.

Пока Шурка возился с варешками, снизывая их: на вязанные шерстяные надевал верхонки, сшитые из истрепанных штанов, — мать, опережая его, уже повязалась платком. Взявшись за скобу двери, приостановилась.

— Ну, я пошла, — сказала она. — Драники в печи, простокваша в кринке под лавкой. Ребятишкам накажи, чтоб не баловали. Лампу потуши. Да в бору поберегись, Шурка. А то лесиной зашибет, или ногу рассечешь топором. Гляди. Сена захвати навильник, пусть вволю поест бык. Побегу, заговорила совсем...

— Ладно, — ответил Шурка, справляясь с рукавичками. — В первый раз, что ли, еду в лес. Или топора в руках не держал...

Мать притворила за собой дверь, а Шурка, дотянувшись, снял с гвоздика лампу, гася, дунул сверху в стекло, пове-

сил на место и, оглянувшись, почти следом за матерью вышел на крыльцо. Стараясь дышать носом, он прислонился плечом к столбцу, поддерживающему над крыльцом тесовый навес-козырек. Постоял немного, присматриваясь. Темное небо было в звездах, ярко горели они, и большая полная луна зависла как раз над усадьбой Дорофеиных. Хорошо были видны ближайшие избы, с желтыми, едва проступающими пятнами окон, деревья в палисадниках, дзоры, бани, полузанесенные городьбы.

Луна, а не месяц, вспомнил Шурка слова матери. Месяц — если нарождается он или на исходе. А сейчас — луна, полнолуние. Несколько дней так будет. Потом на ущерб пойдет.

Мороз хватал за лицо, ноздри слипались, когда Шурка втягивал воздух. Но ветра не было. В этом отчасти и спасенье было живому. А ежели при таком морозе да еще и ветер, то хоть сорок одежек надевай, пронесет насквозь. Самый сильный мороз, знал Шурка из разговоров взрослых, на восходе. К полудню послабеет чуток, а вечером, с сумерками, накалится опять. Главное, в часы первые, как выбрался на улицу, сохранить тепло, набранное в избе, не думать о холоде, делая свое дело. А далее забудешься, привыкнешь как бы, хотя к холоду труднее привыкать, чем к жаре.

Куст черемухи под окном, доски заплота, верхние, не скрытые снегом, жерди городьбы были в густом куржаке. Ти-ихо. И в тишине этой утренней, морозной, чутко слышен был каждый звук пробуждающейся деревни. Промерзший снег зло визжал под ногой и полозом. Вот конюх Родион Мулянин широко, в обе стороны, растворил тесовые ворота конюшни, выпуская лошадей на водопой. Конюшня на краю деревни, и кони мимо огородов, чередой, мерно ступая след в след, побегут к Шегарке по тропе, пробитой еще по первому снегопаду, шумно фыркая и мотая заиндевелыми головами. А до того, как выпустить лошадей, конюх, с пешней и совковой лопатой на плече, ходил на речку долбить-прочистить замерзшую за ночь длинную и узкую, как корытце, прорубь. Конюх просыпается одним из первых в деревне, вровень с доярками, а может, и пораньше: работы у него хватает. Пока он идет от речки к конюшне, пока кони бегут к проруби, воду затают тоненьким ледком. Теснясь и толкаясь, кони обступят кругом прорубь, продавят мордами ледок и долго будут пить, как бы процеживая, всасывая холодную воду едва раздвинутыми губами. На-

пившись, не направляемые никем, они привычно побегут обратно в конюшню в стойла свои, к сену.

Шурка шагнул с крыльца и, подняв плечи, прижимая к бокам согнутые в локтях руки, скоро пошел по стежке, протоптанной наискось через Шегарку, где на повороте берега сровняло снегом, через Жаворонков огород и дальше мимо изб к колхозному скотному двору — бычнику, чтобы взять быка, намеченного бригадиром еще с вечера: Староста — была кличка быка.

Староста — длинный красно-пестрый бык с отломанным рогом — еще в телячьем стаде выделялся ростом и силой, гоня телят, за что и получил свою кличку. Тягуч он был и на первых порах, уже приученный ходить в оглоблях. На колхозной работе, понятно, доставалось ему; когда же нужно было кому-то съездить для себя за дровами или сеном, старались захватить Старосту и наложить побольше на сани, помня, что он сильнее других быков. Кто-то в сердцах черенком вил обломил быку рога. Кормили его вровень с другими, не прибавляя, запрягали чаще, заездили — и теперь он ничем уже не отличался в загоне: худой, старый бык. Кличка осталась одна только да воспоминания, что он был могучим когда-то. В эту зиму Шурка на Старосте еще не ездил.

Ездовых быков всего несколько пар в колхозе, наперечет они и в работе постоянной круглый год, нет им роздыху — ни выходных, ни праздников. Редкий день случится — в стужу лютую зимнюю или в грязь осеннюю непролазную с затяжными дождями — не запрягут. А так... настало угро — становись в оглобли. Две ездки обязательно: обе в колхоз или одну — с утра — на ферму, вторую — домой. Быка для себя выпросить ой как трудно, особенно бабе одинокой. Казалось бы, чего яснее: без мужика баба — ей и помочь. Ан — нет, все не так. Мужики, что ездовыми на быках тех же или на конях, они себя не забудут, так или иначе выкроют время, привезут, что надо. А если одна, иди в контору — проси, кланяйся. Там черед надо соблюдать: раз в три недели дадут — хорошо, а то и на четвертую неделю перекатит. Да хоть и очередь подступила, не всегда получишь быка, что-нибудь да изменится не в твою радость. Терпи да жди — надейся. А как же еще-то?

С бригадиром о быке разговаривала мать. Зашел бригадир в телятник поглядеть, как она работает. А можно было и не проверять: работала мать с совестью в ладу — еще в молодости определилась сюда, вот уж сорок пять

минуло, и бригадиров она пережила за свой рабочий век несчетно. Бригадир был из молодых, заменял он временно хворавшего председателя, и гонору от излишней власти прибавилось у него заметно. Но мать повеличала его ласково и с просьбой тут же обратилась, боясь упустить.

— Дмитрий Федорович, быка бы завтра мне, за дровами съездить, а? Пока Шурка дома, поможет. Последний кряж распилили вчера. На два дня не хватит. Дмитрий Федорович!

— Да ты ведь на прошлой неделе брала, — бригадир шел по проходу телятника, мать за ним. — На прошлой... я помню. Неужто сожгли воз целый? Часто слишком просишь. Другие вот...

— На позапрошлой, Дмитрий Федорович, — поправила мать. — Забылся ты, видно. Тянули неделю, лишнее полено в печь бросить жалко...

— Ладно, — бригадир осматривал клетки, — пошлешь Шурку, Старосту пусть возьмет. А ты вот что, — повернулся бригадир к матери, — навоз подальше надо относить, к ручью самому. А то валишь прямо возле телятника, скоро дверей не открыть. Самой же весной отбрасывать придется, двойная работа. Ишь сколько скопилось.

И ушел. Ни по фамилии не называл мать, ни Еленой Николаевной, ни просто — теткой Еленой. Но мать не обиделась ничуть, а тут еще радость: быка дал. Это уже дома она рассказала Шурке, как быка выпрашивала, как строго разговаривал с нею бригадир и замечание сделал насчет навоза, хотя она саженой на двадцать выбрасывала навоз от дверей. А к ручью таскать — далековато...

Шурка вышел на берег пруда, к скотному двору, где размещались быки. Двор холодный, соломенный кругом. Дворы такие быстро строят: выкапывают четырехугольником на определенном расстоянии друг от друга столбы, прибавляют к ним снизу доверху с внутренней и внешней стороны жерди, а между жердями наталкивают, утрамбовывают солому. Стены готовы. Сверху опять жерди, почти вплотную одну к другой, на них солому, и на нее жерди, реже гораздо, чтобы солому ветром не заворотило — вот и крыша. Полы не настилают, не до того. Истолченный навоз смерзается комьями, вот на этих шишаках и стоят быки зиму и ложатся на них. Яслей в бычнике нет, сено им по углам раскладывают да к стенам, чтобы под ноги меньше попадало. Это в мороз лютый, в метели сено им внутрь заносят, а потеплело чуть — выгоняют быков в пригон, при-

гороженный ко двору. Летом быки во дворе почти не бывают, в пригоне все. Летом быки оживают заметно. Рапо утром, до работы, на пастбище выгощают их и вечерами пасут, после работы, до темноты самой. А зимой...

Шурка чуть приоткрыл ворота пригона, прошел ко двору, встал в дверном проеме и долго всматривался в темь, в глубь двора, где, прижавшись друг с другом, опустив головы, тесно стояли быки. Часть быков уже разобрали, но Староста был здесь.

Бригадир, распределяя быков, называл — кому какого, чтобы путаницы не получалось, ругани. А то как сцепятся, за грудки один другого хватают. А Бурки уже не было, взяли. Бурка — бурой масти, проворный бык, на котором Шурка четыре лета подряд работал на сенокосе, копны возил. За лето Шурка, да и другие ребяташки так привыкали к быкам, что потом скучали, приходили проведать на скотный двор. Увидит зимой Шурка Бурого, тянущего воз сена или дров, обрадуется, как приятелю давнему, лето вспомнит, сенокос. Прошлым летом подростшего Шурку из копновозов перевели в гребщики, на коне он работал, сгребал конными граблями подсохшую кошенину. А Бурый перешел к другому копновозу — всегда так. Мишка Квашин на нем теперь коновозит.

Подняв брошенную кем-то в пригоне хворостину, Шурка прикрыл ворота и погнал Старосту домой, шагая следом, разговаривая с ним, едва раскрывая на холоде губы. Шурке было жалко быка: какой он худой, изработанный. И старый, должно быть. Интересно, сколько же ему лет, Старосте? Он, Шурка, старше его, конечно...

«Ничего, — говорил мысленно Шурка. — Потерпи, дружок. Сейчас придем, я тебе сена дам. Не объедьев или соломы, а сена хорошего. Пока собираюсь, ты поешь. И в лес с собой сена захватим. Там я буду дрова готовить, укладывать в сани, а ты еще поешь вдоволь, отдохнешь как следует. А потом уже потянешь воз. Дорога наезжена, без раскатов. Ничего, не бойся...»

Зажав под мышкой хворостину, сцепив по низу живота руки, угнув голову, Шурка шел, размышляя о бычьей доле, что вот как несладко им живется на белом свете, ничуть не легче, чем людям, а может, и того хуже. Они такие же живые, хоть и быки, так же думают и все понимают, должно быть, только молчат. А поговорить бы со Старостой, наверное, много чего рассказал бы он о жизни своей. Был он теленком сначала, молоком поили его теплым, обратом,

сенца давали душистого лугового, зимовал в теплом телятнике, клетку чистили два раза на день и соломы подстилали, чтоб не ложиться на голые доски пола. А летом пасся он на полянках близ телятника, носился по зеленой траве, взбрыкивая, бодаясь со своими ровесниками. И все было замечательно. Но скоро перевели Старосту в другой телятник, холодный, где уход уже был иной. А потом он вырос совсем и стал быком. Теперь Староста которой год — рабочий бык, стоит он ночь среди таких же, как и сам, быков, в продутом соломенном дворе, в нем нет пола и нет подстилки. С началом каждого дня запрягают его в сани. А везы тяжелые, что ни наложат...

Более других, знал Шурка, заботились в колхозе о малых телятах, ну, о коровах еще. Телят оберегали: поголовье стремились увеличить, а коровы, известное дело, давали молоко. Плохо станешь ухаживать — столько же и получишь. Быкам же, считалось, и так ладно. Ну, летом — летом, успевай, на траве вольной набирай силы. Зимой же быкам, при их работе, втройне бы надо давать корму. Аи нет. С осени еще, когда сена достаточно, быку давали меньше, чем корове, а уж к весне им, кроме соломы, ничего не перепало. Одно спасенье, если за сеном изо дня в день в поля ездят, там, возле стога, пока воз накладывают, ест бык, сколько сможет. А поехали за дровами, поставят по брюхо в снегу, рогами к березе, и стой, мерзни, жди, как нагрузят сани. Во двор скотный вечером загонят, там пусто уже, холодно и темно. Спи стоя, во сне поешь сенца...

Не зная, поил скотник быков или нет, Шурка на всякий случай подогнал его к конной проруби, но бык пить не стал, понуро постоял возле воды, опустив голову с обломанным правым рогом. Шурка взмахнул хворостинной, и Староста стал подниматься на берег по тропе, что вела мимо бани к дому. Шурка подумал, что бык, вероятно, болен. Они ведь тоже болеют, животные, как и люди, да не жалуется, и потому никто не знает, что у них болит и сильно ли. Видимо, он был простужен или надорван работой. А то и все вместе. Да еще стар. Коровы и быки стареют быстро, а кони еще быстрее. В десять — двенадцать лет конь уже почти никуда не гож, редко запрягают его, без груза проехать разве. Бык живет дольше и в работе дольше занят, но и его век — годы считанные. Каждую осень почитай проводят выбраковку и коней, и быков, старых отправляют, молодых по первому снегу обучают ходить в оглоблях. Ребятишки всегда бегают смотреть, как обучают...

Шурка загнал быка в ограду, закрыл калитку, проворно забрался по стоявшей возле стены лестнице на крышу двора, где небольшим зародом было сметано сено, не снимая рукавиц, надергал две большие охапки, сбросил, спустился сам. Пока он спускался, бык подошел к сену и начал есть. Стоя на крыльце, Шурка наблюдал, как ест бык. Сено было хорошее, не низинное — с луга, убранное по погоде, но ел бык не жадно, хватая, как говорят, полным ртом, ел размеренно, вроде бы с неохотой, и Шурка окончательно решил, что бык болеет. Сытым бык не был, точно. Сейчас он будто бы ничего, ест. А в лесу? Вдруг что-нибудь случится. Накладешь воз, а он не повезет. Или возьмет издохнет. А что с ним сделаешь? Издохнет, и все. Что тогда. Тогда, известное дело, веди корову со двора, расплачивайся. По вашей вине, скажут матери, бык издох. И слушать никто не станет оправданий твоих — плати. Заберут, не дай бог, корову. А без коровы какая жизнь, любого спроси?..

От мыслей этих Шурке стало на малое время не по себе, он потоптался на крыльце, не зная, что предпринять, поглядывал на Старосту. Но делать было нечего — надо ехать. Не погонишь ведь обратно на ферму быка, не станешь объяснять бригадиру, почему вернул. Бригадир и не поймет, засмеет — хорошо, а то отmaterит, а быка отдаст тут же другому. А ты дожидайся заново очереди своей. Нет уж, поедет Шурка. Ничего, как-нибудь, помаленьку. Дорога наезжена, воз большой накладывать не станет. Берез постарается навалить рядом с дорогой, чтобы не сворачивать в сторону, не гнать быка в глубокий снег. Хватит, поди, сил на один-то воз.

Шурка оглянулся: рассветало заметно, но солнце еще не всходило, — на востоке самый мороз, насквозь продерет. Размышляя о быке, Шурка забыл о себе: холодно ему или нет. В лес он поверх пальтишка отцову шубу наденет, а в лесу работой разогреется. Зимний рассвет — поздний, и день зачастую слепой, без солнца: взойдет оно во мгле и зайдет во мгле, не проглянет за целый-то день, не увидишь. Но сегодня, судя по всему, день должен быть солнечным: деревья в куржаке, небо ночью было высоким и звездным, луна светила ясно. Заискрятся в полдень снега, весело станет и в полях, и в лесу. Хотя что солнце. В какую погоду только не приходилось ездить Шурке за дровами. Да хоть и в поля.

Голосов и звуков по деревне прибавилось, слышал Шур-

ка. Возле каждой избы кто-то из семьи управлялся. Запрягали, перекликаясь, ездовые лошадей на конюшне, быков гнали со скотного двора, в санях ехали. Шли в контору люди, спускались на Шегарку продолбить проруби. И сизые дымы ровно, плотными на морозе столбами подымались над трубами, над заснеженными крышами изб — бабы топили большие печи. Многие протопили уже, как мать.

Обметая веником голиком валенки, Шурка вошел в избу. Братья уже встали. Лампа была зажжена, а Федька с Тимкой сидели друг против друга за столом, завтракали. Лохматые тени от их голов двигались по стене. На столе стояла алюминиевая тарелка с драниками, деревянная чашка с простоквашей. Федька с Тимкой ели драники, по очереди черпая ложками простоквашу. Братья были босиком, поджимали под лавкой ноги.

— А кто вам разрешил зажигать? — кивнув на лампу, строго спросил Шурка. — Стекло разобьете — где взять новое? Пожара наделаете — сгорит все до нитки, что тогда? По миру пойдем? Сколько раз говорили?! Кто надумал? Федька, ты небось?..

Братья перестали есть, молча поглядывали один на другого. Шурка тем временем разделся, складывая пальтишко и шапку на кровать. Валенки он снимать не стал. Помыл над тазом руки.

— Мы осторожно, Шурка, — сказал Федька тихо. — Ты не ругай нас. Тимка стекло держал, а я зажигал лампу. И спички положили на место, глянь. Во-он, куда мамка всегда кладет, на припечек.

— Ладно, — сказал Шурка. — Молодцы, что осторожно. Но больше сами не трогайте. Помните, какой пожар был у Сычевых? То-то и оно.

Он жалел братьев и устыдился тотчас же своего сурового голоса. Но и к лампе их подпускать ни в коем случае нельзя.

— Вы хоть умылись или сразу за стол? — Шурка взял щербатую материну ложку, сел рядом с братьями. Посмотрел на лица их: умывались вроде. Стал завтракать с ними.

Драники — еда не еда. Их надо есть прямо со сковородки, обжигаясь. В драниках всего и радости, что горячи: ни сытости, ни вкуса в них. Теплые, как вот на тарелке, в пол-охоты ешь, а уж остыли ежели, то и в рот не полезут, даже с молоком. Шурка вылил из кринки в чашку остатки простокваши, взял два драника.

Моет вечерами мать картошку, а Федька с Тимкой, ме-



няясь, сдирая до крови пальцы, трут ее, неочищенную, на терке в большой развалистой чашке. Перемешав, мать отжимает картошку в ладонях, оставляя в чашке сок. Сок отстаивается, на дне, пальца на два-три, оседает крахмал, верхний слой — мутная вода. Воду сливают, крахмал идет на кисель, а из отжима, добавив долю муки, мать печет хлеб, по воскресеньям ради праздника еще и драники. Съел их, горячих, штук пятнадцать, наелся не наелся — не поймешь, но живот полный. Часа через два-три опять есть охота. Но все одно просит Шурка с братьями драников по воскресеньям, без них вроде и воскресенье не то, не отмечено. Для блинов муки нет, так хоть драники. И мать ест их с охотой.

— Шурка, ты за дровами поедешь? — спросил Федька. — Возьми меня с собой, а? Я тебе пособлять буду. Помнишь, мы ездили с тобой осенью, снег только-только выпал? Ведь я все правильно делал тогда, как ты показывал, правда? И кражи отпиливал, и ветки оттаскивал в стороны. Здоровенный воз привезли. Уморился-я...

— Правда, — кивнул согласно Шурка, — ты тогда хорошо работал. Мы вдвоем три раза ездили, забыл? Ох, и повожился я с тобой, пока соображать стал ты...

— Дуплянку на скворечню привези, Шурка, — попросил Тимка, подняв на брата чистые глаза свои из-под нависших нестриженных волос. — Привезешь? А то Петька Силин хвалился, что у него новая есть.

— Привезу, если попадет, — пообещал Шурка. — Сегодня тебя не возьму с собой, Федька. Хвораешь ты, да и холодина. Вот выздоровеешь, тогда. Потеплу поедем, в марте. Все вместе. И Тимка, пусть приучается. В марте. Теплынь, дни большие. Тогда и дуплянок поищем. К весне их несчетно будет, дятлы наделают. А сейчас рано. Вы не балуйтесь тут, ждите маму. Лампу потушим, со стола уберем. Как светло станет, оденьтесь потеплее, навоз вывезите на санках в огород. Я дров привезу, завтра пилить начнем. Мы с Тимкой, а ты, Федька, колоть. В поленницу сложим. Лезьте пока на печь, играйте. Да на дворе не деритесь, я узнаю. Федька, слышишь? Не тронь Тимку. Ты зачинщик первый...

Братья начали убирать со стола посуду, а Шурка тем временем одевался около двери. Штанов у него двое: в одних он в школу ходил, в других помогал по дому. На эти, рабочие, Шурка надевал еще штаны, совсем уже изношенные, но без прорех, и штанины сразу же напустил на го-

ляшки валенок, чтоб снег не попадал. Валенки у Шурки давние, самим и подшитые, тонкие, серой шерсти валенки — последнюю зиму донашивает их Шурка. Пришитые подошвы держались, он вчера еще осмотрел валенки внимательно — и на голяшках, и на сгибах дыр не было. Легкие валенки, удобные, на шерстяной носок обувает их Шурка. Ногам просторно, а это — главное, чтоб нога не была стиснута. Чем теснее ноге, тем скорее мерзнет она.

Пальтишко у Шурки на вате и шапка на вате. Пальтишка другого нет, и всякий раз жалко в этом ехать в лес: как ни берегайся, зацепишься за сук, порвешь. А когда новое справят, он и сам не знает, не загадывает зря. Как ни натягивай шапку, как ни завязывай плотно наушники под подбородком, ни сдвигай козырек на глаза, чтобы лоб не жгло, не убережешь голову от холода. Сколько раз, при отце еще, просил Шурка сшить ему овчинную шапку, а все никак не получалось. Сдавали овчины, рассчитывались за налоги, а если оставалась какая, то копили их годами — шубу скроить, хотя бы одну на семью, надевать по очереди. Кто же рискнет целую овчину на шапку резать. Шубу — Шурка маленький был совсем, в первый класс ходил, что ли, — сшили отцу, собрали овчины. Отцу без шубы невозможно было, ходил он ночами амбары колхозные сторожить, мерз. Теперь висит она на гвозде в простенке, между большой печью и дверью, надевают ее попеременно мать с Шуркой, больше — мать, Шурке она велика, он в ней за дровами ездит. Варезки у Шурки крепкие, и верхонки на них крепкие, непродранные.

В лес ехать по морозу — уметь одеваться надо, Шурке давно растолковали. Одеваться потеплее нужно, конечно, но одежда чтобы просторной была, свободно сидела на тебе, не стягивала нигде. Другой надевает на себя все, что есть, и думает: спасся от холода, а сам повернуться не может. Завалится от двора в сани и — до самого леса. Лежит, не повернется. Не пройтись ему следом за санями, не пробежаться, греясь. А приехал в лес, начал работать, да в снегу глубоко, взмок тут же, сил нет. Скинуть лишнее с себя боится — тепло потеряет, и в одежде ловкости нужной нет, вот он и возится едва-едва, пыхтит, потеет. Взопреет сразу, сядет — пар от него. Уж и не работник, воза доброго не соберет...

Взяв шубу под мышку, сказав братьям: «Смотрите тут!» — Шурка вышел на улицу. Быка он не привязывал, зная, что от сена тот не уйдет никуда. И точно, бык стоял

на прежнем месте, пережевывая жвачку. Судя по оставшемуся сену, бык наелся. Подумав минутку, Шурка положил свернутую внутрь шерстью шубу на перильце крыльца, взял в сенях на лавке порожнее ведро, сбегал на Шегарку к проруби, принес воды и поставил быку. Бык, к Шуркиной радости, выпил чуть не целое ведро. Шурка отнес ведро на место и стал проворно запрягать. Сани в ограде, оглоблями повернуты на выезд: вчера, до бани еще, Шурка на себе притащил сани от Мякишиных. Шурка взял быка на кривой рог, завел в оглобли.

Быка запрягать просто, не то что коня. На того хомут пока наденешь. Хомут тяжелый, держать его надо обеими руками, клещами вверх, а если конь рослый да еще голову задерет, становись тогда на чурку или табуретку из избы выноси — иначе не достанешь. Надел хомут, перевернул его на конской шее клещами вниз, седелку на спину положил правильно, так, чтобы подпругу с правой стороны застегивать, заводи коня в оглобли. Завел, поднял левую оглоблю, охватил ее гужом, вставляй в петлю гужа конец дуги, перебрасывай дугу через шею над хомутом, заходи на правую сторону, правый конец дуги гужом притягивай к оглобле. А еще супонью клещи хомута затянуть до отказа, супонь правильно завязать, чтобы в случае чего развязать можно было одним рывком. Чересседельником оглобли приподнять на определенный уровень так, чтобы хомут ровно облегал конскую шею, не сбивая плечи и не затрудняя дыхания. Взнуздать коня. Поводья уздечки, продернув через кольцо в дуге, привязать к оглобле, заводжжать. Упаришься, пока запряжешь. Не сразу и научишься. Начнешь — что-нибудь да не этак. На сороковой раз, глядишь, получилось — вот радости...

В бычьей упряжке ни дуги, ни седелки с чересседельником, ни хомута нет. Хомут заменяет шорка. Шорка — две, шириной в ладонь, кожаные или брезентовые, с потниковой подкладкой — прошитые полосы, соединенные между собой железными кольцами. Надел через голову на бычью шею шорку, одна полоса легла сверху на холку, нижняя опустилась на грудь, кольца — на плечи. К кольцам веревочные короткие гужи привязаны. Свернул привязку петлей, надел петлю на конец оглобли, затянул — и все. На концах оглоблей зарубы делают, чтобы петли не соскакивали. Или узенькую полоску брезента вокруг оглобли прибавают. Иной так оглоблю делает — сучки на концах, они петлю держат.

Надев на Старосту шорку, Шурка прежде всего посмот-

рел, впору ли она ему. Оказалась впору. Если шорка велика — плохо, плечи собьет быку, маленькая — еще хуже, душить станет. Бык, да с возом, трех шагов не сделает. Шорку Шурка тоже взял у Мякишиных. Прежде чем идти в контору просить быка, надо собрать все необходимое: сани, шорку, веревку. Пила и топор у всех свои. В колхозе саней свободных, как и шорок, не бывает. Значит, иди по дворам, христарадничай. А сани — не в любом дворе, не каждый мужик способен сделать: плотником хорошим надо быть. А уж как сани смастерил для себя хозяин, он и шорку сошьет, а следом веревкой разживется, чтоб полная упряжь была, не ходить по дворам, не кланяться. Дали быка — пригнал, запряг и поехал. А вот когда нет ничего своего, хоть плачь.

В трех-четыре дворах по деревне обязательно имеется упряжь для быка. Есть, да попробуй — выпроси. Один сам собирается в этот раз, второй соседу пообещал, а к третьему, зная давно характер, можешь не ходить зря: не даст. Жадный. Бойтся заранее: вдруг сани сломаются, шорка порвется, веревка лопнет. Напрямую не откажет, а начнет вилять, причины разные придумывать, а это и того хуже. Стой, слушай его.

Веревку Шурке не просить: своя была. Одну осень отец вил изо льна веревки для колхоза и уговорил председателя, чтобы ему вместо положенных трудодней веревку дали. Разрешил председатель. Принес, помнит Шурка, отец веревку домой, обрадованный. Берегли ее при отце, а теперь — и того пуще. Топор Шурка наточил бруском сам, а пилу развести и наточить не смог, навыка не было. Отнес Акиму Васильевичу, через речку, давнему отцову товарищу, тот и сделал. Оставалось Шурке найти сани и шорку.

Не раздумывая долго, пошел он к старику Мякишину, жившему по этому же берегу, через несколько дворов от Городиловых. Старик редко кому отказывал, что ни попроси, а кроме того, сани ему сейчас не были особо нужны: сын старика, Иван, с недавних пор стал работать ездовым на конях, он и привозил дрова и сено. Шурка вошел в избу, поздоровался от порога. Помолчал. «Иван, — сказал сыну старик, лежа на кровати, продирая скрюченными пальцами бороду, — слышь, Иван, дай парню сани. И шорку дай. Ишь, бьется парень: хозяин». Иван, сидевший на лавке, отложил уздечку — ремонтировал, — мигнул Шурке, вышел с ним в ограду.

Надев через плечо шорку, взявшись за оглобли, радо-

стный, Шурка на рысях припер сани в свою ограду. Раньше всем этим отец занимался, а сейчас ему надо думать. Тут же, не отходя, осмотрел он завертки, веревочные петли — надежны ли, а то порвутся, когда с дровами поедешь, беда: отпрягай тогда быка, сбрасывай кряжи, переворачивай сани набок и морокуй, из чего завертку новую делать. Конец веревки отрубать — один выход. Но веревку рубить — слезы лить, хороший хозяин, думая загодя, захватит в запас старый, ненужный обрывок веревки. С Шуркой раз случилось — порвалась закрутка. Он снял ремень, привязал оглоблю, доехал. Слава богу, что ремень на штанах оказался, а то бы веревку отхватил — что делать. А ремень — ничего, выдюжил, чуток надорвался только.

Шурка вынес из сеней топор и пилу, топор воткнул в головашки саней, между прутьями талового вязка, пилу положил в сани. Веревку одним концом он крепко привязал к левому заднему копылу, смотал ее, затянул моток петель, положил моток на пилу, сверху — оставшееся от быка сено, надел шубу, открыл ворота и тронул Старосту, выбираясь из ограды на дорогу.

Сосед Городиловых, старик Дорофеин, — Шурка видел из ограды — тоже собирался в лес, запрягал корову. Он уже не работал нигде, даже сторожем. Дочь безмужняя и на ферме, и в поле успевала, старуха возле печи, а он, старик, на дворе всем правил, хозяйство вел. Пошел как-то в контору, быка просить, и поругался с бригадиром — отказал тот. Обиженный старик более не унижался перед ним в просьбах-разговорах, а стал приучать к упряжи корову. И не один он так по деревне. Но это не дело, считал Шурка, на корове воза возить. Корове надо стоять в теплом хлеву перед сеном вольным, молока набирать, телят здоровых приносить ежегодно. А то — в сани. Правда, встречаются коровы сильные, быку не уступят, но за зиму и они вымوتاются в оглоблях, молока прежнего не жди, на трегь сбавят. Жалко, понятно, корову, но и себя жалко: в холодной избе долго не просидишь. Зима долгая, дров много надо, печи топят два раза в день: утром и вечером. Небось сам в оглобли встанешь. Быка выпросить не просто, вот и выкручиваются с дровами кто как может. Старик Дорофеин корову приспособил, Степка Хрипцов, Шуркин ровесник и тоже без отца, ходит с топором за огород в согру, рубит подручный березняк в оглоблю толщиной. Тропа у него пробита от ворот в согру. Свалит две березки, обрубит сучья и вершину, захватит комли березок под мышку и та-

щит в ограду. Притащил — обратно. Полсогры свел. Только дров таких, ой, сколько надо: горят они быстро, как солома, жару не оставляют — две большие охапки неси на вечерний протоп. А Витька Дмитриевин начал по снегу бычка подросшего обучать, да много ли на нем привезешь, хоть и обучишь, не набрал он еще силы, не окреп. А все же не на себе — облегченье Витьке.

Проезжая мимо Дорофеиных, Шурка поздоровался со стариком, завернул быка вправо, на лесную дорогу, запахнул поплотнее шубу, поднял воротник и сел на головашки саней, спиной к быку; лицом к деревне. Рассвело совсем, исчезли звезды, незаметно куда-то пропала луна, а на восходе, за деревней, над тихим заснеженным лесом, невидимое за холодной белесой мглой, уже подымалось солнце. Было вполне ясно, что не продерется оно сквозь мглу, не заискрится, как ожидал Шурка, снега, и день простоят сумрачный, с низким небом, заиндевелыми от сугробов до вершин деревьями. «Седой день», по определению мужиков. Стемнеет рано, оглянуться не успеешь. Торопись, управляй дела до темноты.

Дорога возле конюшни и дальше, перед тем как уйти за деревню в поля и перелески, как бы чуть подымалась, и Шурке, сидя в санях, хорошо было видно деревню: темные стены изб и дворов, пласты снега на крышах, скворечники, поднятые жердинами над дворами. Во-он, по левому берегу, на выезде, четвертая от края их, Городиловых, усадьба. А самая крайняя изба — Дмитриевиных.

Деревня Шуркина называлась Никитинка и располагалась она — леса расступались на этом месте — по берегам речки Шегарки, берущей начало где-то в болотах, недалеко от озер. За Никитинкой, верстах в пяти дальше, в верховье, была еще одна деревня — Юрковка, такая же маленькая, дворов до сорока разве. В Никитинке сорок одна семья проживает, слышал от взрослых Шурка. Вокруг Никитинки лес и болота, и вокруг Юрковки лес и болота: иди в любую сторону и день, и два, и три — все одно и то же. Спроси тех, кто охотничает, скажут, они далеко забродят в тайгу.

От Юрковки, если податься на закат, можно найти начало Шегарки, еще на закат — озера: Орлово, Полуденное, Кривенькое, Дедушкино. Без имени. Рыбные озера. В некоторых щука и окунь водятся, в основном же — карась. Шурка не был на озерах: дойти — силу надо. Далеко, почва зыблется под ногами, оступился неловко — по пояс

в трясину ухнул. Из ровесников Шуркиных тоже никто на озера не попадал, не могут похвастать. А мужики и взрослые ребята часто ходят, как время выпадает свободное. Но Шурка не завидует: вырастет — избродит все. Приносят рыбу мужики. Побывать, конечно, охота на озерах, посмотреть. Да рыбачить ему и на Шегарке хватает вдоволь. Удочкой за день шутя полведра чебаков и подъязков наваливает, а если день удачный выпал, клюет почти в каждом месте, куда ни забросишь крючок с наживкой, и ведро наловишь. Удочкой рыбачить — мало кто состязаться возьмется с Шуркой...

Все деревни, деревеньки и деревушки, что по берегам Шегарки, связывает между собой дорога, начинающаяся в Юрковке. По правому берегу идет она, сворачивая за Пономаревкой вправо, тянется до Пихтовки и далее, через Колывань, в город. От Никитинки в шести верстах вниз по течению Вдовино. Там сельсовет, почта, школа-семилетка, интернат, где третью зиму, приходя домой на каникулы в выходные, живет Шурка. На север от Вдовина, на маленькой речушке, притоке Шегарки, деревня Каврушка. Ребятишки из нее во Вдовинскую школу ходят. Из Алексеевки и Носкова, что еще ниже по Шегарке, тоже ходят во Вдовино. А уж Хохловские — те в Пономаревку. Пономаревка, говорят, раза в три больше Никитинки, МТС там — за горючим из деревень ездят в МТС. Шурке в Пономаревку выезжать не довелось, а в Камышинке был. Камышинка — деревня бывшая между Хохловкой и Пономаревкой, уголья там никитинские, скот держат круглый год, молодняк; посылают каждое лето рабочее звено сено заготовливать. Шурке пришлось там копны возить. Самой деревни нет давно, стоит на берегу большой крестовый дом, позади, возле березняка, длинный скотный двор, вот и все. Речонка Камышинка течет к правому берегу Шегарки, узенькая, мелкая, камышом заросшая — потому, видно, и название такое. От Никитинки до Пономаревки тридцать верст, от Пономаревки до Пихтовки еще тридцать — там район, узкоколейка от центральной железной дороги протянута через болота. От Пихтовки до Колывани, большого села на берегу Чауса, путь не мерен, можешь за день, можешь за семь дней добраться — какая погода будет. От Колывани опять дорога, а уж там, за тридевять земель от Никитинки, город областной. В город по зимам, до метелей или после, как установится дорога, обозы идут из деревень — продать что-то, купить. Дней двадцать никитинский да юрковский

обозы туда-обратно тянут, не меньше. Шуркин отец ездил раз с обозом, клюквы возил пять ведер, луку, семечек подсолнуха. Продал, гостинцев привез, материи на штаны, рубахи. Простудился он в поездке той, слег и не встал. Мать говорила ему, чтобы не ездил, не послушал...

А сама Шегарка, Шурка проследил по географической карте, начинаясь за Юрковкой около озер глухих, затерянных, протекая через леса и болота, вбирая в себя множество ручьев безымянных, речушек: Калтыхичу, Тетеринку, Каврушку, Камышинку и еще, и еще, вбирая Баксу, на которой стоит Пихтовка, Тою, — далеко уходила от истока своего, впадая в Обь в другой уже области, в Томской, в тридесятом государстве. Вот бы где побывать, а!..

— Но-но! — крикнул на быка Шурка, соскакивая с сани. — Уснул, что ли?! Давай, шевелись, дорога долгая! У-ух и морозяка, аж слезы!

Сидеть все время на саях — задубеешь в два счета, лучше всего идти следом или отстать, попрыгать на месте, а потом пробежаться за саями: согреешься. Полушубок отцовский изношен, латан-перелатан овчинными заплатами, — великоват на Шурку, он в лес в нем ездит: воротник высокий, полы колени прикрывают — куда как лучше. «Не жмет под мышками», — смеется Шуркина мать.

Шурка поправил воротник, запахнулся поплотнее, сунул руки в рукава и пошел за саями, поглядывая по сторонам, думая обо всем сразу. Дорога, по которой он ехал, тянулась на Моховое болото. Краем бора по болоту драли из года в год для построек зеленый мягкий мох, отсюда и болото прозвали Моховым, а дорогу — дорога на Моховое. Сейчас будет Дегтярный ручей, дальше, по занесенным снегами пахотным полям, выпасам и сенокосам, мимо притихших на морозе осиново-березовых согр, дорога ляжет через Большую грязь, рядом с которой сенокос старика Мякишина. Пойдет еще дальше и перед Святой полосой, возле калиновых кустов, свернет налево, к бору. В конце полосы растет старая корявая береза, таловый кустарник, осиновые островки с краю болота, а вот скоро и бор, где дорога разветвляется на несколько рукавов: где-то там Шурка намерен напилить воз дров.

Дегтярным ручей потому называется, что на берегу его, недалеко от дороги, стояла недавно совсем дегтярка — печь с бочками, трубами — деготь гнать. Обдирали бабы бересту поблизости, сносили сюда, а старик Осин, толстый, низенький, пыхтя, управлялся с ней, перегоняя в черный

душистый деготь. Потом дегтярку почему-то убрали — Шурка не помнит, по какой причине, — а ручей так и остался с названием Дегтярный.

Все приметные места вокруг деревни носили названия, а уж дороги — обязательно. Дорога на Косари, Бакчарская, на Дальний табор, на Ближний табор, на Шапошниковы острова. Летом в лес, как правило, не ездят, а зимой от деревни к бору пробито сразу несколько дорог. Кто в каком краю деревни живет, в своей стороне и гонит с началом снегопадов дорогу. За Юрковский лог, на Моховое, за Горелый табор, на Шапошниковы острова.

Шурка посмотрел, нет ли впереди следов, — следов не было. Значит, первый он сегодня по этой дороге поехал. Может, кто-то догонит, позже подъедет, может быть, после обеда, когда освободится бык. Бывает, с утра привезут в коровник сена, а после обеда дают быка для своих личных дел.

Мужики, понятно, ездят за дровами поодиночке. Зачем им помощь? Ежели мороз терпим, ребятишек берут, кому за десять перевалило, приучают. А у кого, как у Шурки, нет отца, те сами по себе. Или вдвоем с кем-нибудь, со своего края деревни. Чаше — с младшим братом, если есть брат младший, способный подсоблять в лесу. Шурка с Витькой Дмитриевным ездили на пару несколько раз — ничего, порядочные воза привозили. Когда сани одни, воз — тебе, воз — мне. А то и на двух санях, еще лучше. Случалось, поедут вдвоем ребятишки и не возьмет их мир, передерутся в лесу, укоряя друг друга: тебе воз больше наложили, а мне меньше. Шурка с Витькой не ссорились, но одному, решил для себя Шурка, спокойнее за дровами ездить — без обид. Он начал было с этой осени Федыку брать с собой, но слаб пока Федыка для леса, да и болеет каждую зиму, простужается: одежда плохая. Дома помогают матери Федыка с Тимкой. С Шуркой вместе пилят-колют привезенные кряжи — больше от них ничего и не требуется. Подрастут — успеют, наработаются. Никуда не уйдет работа, не увильнешь от нее. Шурка по себе судит: он с отцом рано стал ездить и в лес, и в поля. Теперь сам любому показать-рассказать может, что и как. Всему научился. «Жизнь сама укажет, что делать», — любил повторять отец.

Многие бабы, что из безмужних, жалея ребятишек, сами возят дрова и сено, но Шурка этого не допустит, чтобы мать в лес поехала. Лучше он с Федыкой. Или сговорится с кем, если нездоровится брату. Или еще что-то. Вот за се-

ном Шурка с матерью ездит, не стыдась. Одному ему воз никак не наложить, не затянуть бастригом: сила нужна мужичья. Взрослые ребята, женихи уже, и то не каждый справится — в паре норовят поехать. А Федьку за сеном брать — время терять, проку там с него никакого. Заплачет еще...

Староста пересек ручей и теперь тянул сани через широкую заснеженную полосу, на которой из года в год сеяли рожь. Бык шел ровно, не убавляя и не прибавляя шага, и Шурка так же ровно и размеренно шел за санями, не покрикивая на быка, не подгоняя его. Бык не конь — шибко не разгонишься на нем, что пустой, что с возом, все одно — шагом. Два раза Шурке никак не обернуться, а один-то воз он и засветло успеет привезти. Постарается.

Молодые ребята, что ездовыми на быках работают, порожняком рысью быков гоняют. Быки боятся ездовых. Вспрыгнет парень на сани, встанет стоймя, расставит ноги, рожки вил воткнет в головашки саней, черенком упрет себе в живот для устойчивости, в правой руке у ездового палка, тонким острым концом палки как начнет он ширять быку под хвост, тот летит рысью, света белого не видя, и все хвостом крутит. Возчику надо на дальние поля за соломой или за сеном съездить с утра да после обеда туда же или в бор, вот он и торопит. Бока бычьи ходуном ходят, дышит он прерывисто, не успевая вдыхать-выдыхать, пар от морды валит. Шурке всегда жалко быков, когда он видит такую езду. Попробуй подыши-ка на бегу, на трескучем морозе. «Как они только выдерживают, бедные», — это мать о быках так.

Основная работа — на быках, хотя есть в колхозе четыре пары запряженных коней. Пожилые мужики на них работают. Так же вот, как и на быках, и в поля, и в лес ездят. Мужики следят за упряжью, следят за конями, лишний раз не погонят рысью да по бездорожью. Распрягают зачастую дома, коней не пускают, а отводят на конюшню, ставят каждого в свое стойло. Полы в конюшне настланы, кроме сена, овес перепадает. Зимой коней стараются шибко не пудить в запряге, для них весной начинается работа, когда пахать-боронить выезжают; потом сеялки таскать — посевная; отсеялись — в сенокосилки запрягают, траву косить. Зимой основная работа на быков приходится. А на быках — парни. Вскочили в сани, гаркнули во все горло и поперли по целику, торя дорогу к стогам. Да еще вперегонки затеют, кто кого обгонит. А каково быку бе-

жать по брюхо в снегу? Об этом возчики не думают. Со старился бык — завтра нового обучат, еще лучше...

Никто не знает длину дороги на Моховое, по которой едет Шурка, не мерена она. Пять, шесть, а может, и все восемь верст. Это до бора, а еще в бору проедешь версту-две, выглядывая подходящие березы: по краю-то бора свели давно березняк. Дорога наезжена, она не вровень с краями снежными, а ниже немного — сани движутся как бы по канаве в четверть глубиной.

Осенью выпадает несколько таких дней, когда на телегах ездить уже нельзя: заморозки, грязь комьями смерзлась, колеса тележные прыгают, быки оскользаются, падают на колени. И на санях рано: снега нет. Кто ж на санях по земле поедет, даже подмерзшей? Ждут снега. Он выпадет в последних днях октября либо в начале ноября. Рыхлое синее небо обвиснет, и пойдет снег, тихий, крупными хлопьями. День-ночь, день-ночь будет идти он, преображая землю, лес, деревню, ровняя дорожные колени, колдобины, ямы. Тогда и начинают прокладывать зимние пути в поля, в бор, поддерживая их зиму напролет, до марта, пока не улягутся метели. В марте снега подтают, осядут, дороги расплывутся, появятся раскаты, а потом и совсем рухнут дороги. Только далеко еще до весны. Ничего, подождем. Дольше ждешь — радости больше.

Шурка шел и шел за санями, изредка передергивая под шубой плечами, пряча в воротник нос. Нигде парнишку особо не пробрало, терпимо было, но голову, чувствовалось, поламывало: поистерлась ватная шапчонка, плохо держала тепло. Полоса кончилась, дорога завернула между сограми в проушину, чтобы выбраться на сенокосы. Здесь вот, в узком месте, в тальниках, в дожди образовывалась непролазная грязь — Большая грязь. Ее приходилось объезжать. Но сейчас ничего не было заметно: снег по обе стороны, дорога, кусты. Грязь под снегом, должно, промерзла на сажень...

Снегопады прекратились в последних днях ноября, насыпало выше колена, и тут же начались морозы. Снег промерз, отвердел, и от этого, кажется, стало еще холоднее. Шурка глядел на деревья. Березки, осинки, таловые кусты стояли неподвижно, густо обметанные куржаком. Так вот в безветрии, не качнув и веткой, согры и перелески стыли в декабре, в крещенские, как говорила мать, морозы, когда над сугробами держался туман и трудно было дышать. До февраля, знал Шурка, случится несколько солнечных де-

нечков, и тогда удивительно красиво делается в лесу: засверкают деревья, множеством мельчайших огоньков заискрятся снега, небо поднимется, вроде бы раздвинется все окрест, станет просторнее, радостнее, звонче. За январем в свой черед подступит февраль; загудит от метелей в тайге и в полях, в деревне и в избах. Понизу, змеясь, неслышно поползет поземка, укладываясь большими и малыми сугробами возле любого препятствия; а ветер, продувая насквозь согры, раскачивая вершины деревьев, обломает сухие и слабые, промороженно-хрупкие ветки. Стихнут метели, бураны, вьюги — и не признать родных мест, так изменит их переметный снег. А морозы слабее, слабее. Вот март, первая половина, вторая. Деревья оттаяли, ветви снова сделались гибкими — никакие ветра не страшны, не сломать. Мартовские ветра влажные, снега съедают...

А сейчас пока январь. День Шурке выдался мгlistый, глухой. И тихо-тихо. Шурка подумал, как холодно все-таки зимой деревьям на морозе, на ветру, в снегу стоять. Но они не чувствуют, холодно им или тепло. Не понимают, потому что не живые, нет души у них. А вот бык... понимает все и чувствует, как ему холодно. Бык живой, у него есть душа. И у птиц, и у зверей есть души. Так отец объяснял. Шурка решил при том разговоре с отцом, что душа — это сердце. Но отец сказал: «Нет, душа — это совсем другое. Характер человека, привычки и... все остальное. Хорошо ли поступает человек, плохо ли — вот в этом его душа видна. Так и говорят: у него добрая душа, у него недобрая душа. У кого какая душа, тому так и живется. А живут люди разно».

Отец долго рассуждал тогда, да Шурка мало чего понял. По отцу получалось, что если у человека добрая душа, то и живет он счастливее, складнее. Лучше, значит. Шурка не согласился с отцом. У матери их добрая душа, и у отца была добрая, а жили они как — впроголодь. Это при отце. А теперь, когда отца нет, и того хуже. У бригадира вон душа не совсем добрая, всякому заметно. Бригадир может дать быка, а может и не дать. Он может закричать в конторе на старика, выругать кого-то. А живет справнее других — вот тебе и душа. У Акима Васильевича, к примеру, и у старика Мякишина души добрые, а живут они, как и все. Правда, уважают их в деревне. Добра бы еще к уважению.

Начал было размышлять, как же это получается: один с доброй душой рождается, а другой с недоброй, живут рядом, а разно, у хорошего человека бед больше, — но запу-

тался Шурка, решив, что надобно обо всем этом подробнее спросить у Алексея Петровича, учителя географии, он знает много и объяснять умеет. Поскольку Шурка находился в лесу, он стал думать о том, каково живется птицам и зверям. Зайцам, скажем, легче, чем людям, или нет, — и пришел к выводу, что ничуть не легче, а может быть, и труднее. Конечно, труднее. Птицам, скажем, летом здорово. Теплынь, зелень. Гнезда они выют, птенцов выводят, песни поют — радуются. А зимой — ого-го! Воробьи вон так и ищут, куда бы спрятаться, где не дует. Да и врагов у них много, хоть у птиц, хоть у зайцев тех же — ходи, летай да оглядывайся. Забот хватает, что и говорить, так что нечего им и завидовать. Это со стороны лишь кажется, что жизнь их — праздники...

Заячьих следов незаметно было на снегу, да и чего зайчишкам прыгать по полям в такой мороз, забрались себе, должно быть, в густые осинники и грызут кору, завтракают. Осинковая кора горькая — Шурка пробовал, а зайцы едят — нравится. Привыкли, видимо. Зайцев довольно водится в этих местах, но летом редко увидишь, а зимой попадают на глаза. Выйдешь за огород в согру палку вырубить — набродов заячьих полно, и тропы пробиты наперехлест. На тропах этих мужики, кто охотой промышляют, петли проволочные ставят на зайцев. Сделают из тонкой проволоки петлю, насторожат на тропе, а конец к дереву привяжут. Заяц бежит по тропке, не думая ни о чем, глаза у него раскосые, петли он не замечает и — прямо в нее. Но Шурке не нравится подобная охота: жалко, уж лучше стрелять по ним из ружья...

Когда появляются лисы, зайцев становится меньше. Шурка один раз всего видел лису. Шел во Вдовино в школу, а лиса в конце полосы, далеко от дороги, мышковала. Взовьется в прыжке, ударит передними лапами в снег, пробьет корку и давай копать, мышью выискивать. Перестанет на минутку, склонив голову, наставит ухо к ямке, прислушиваясь, определяя мышиный ход, — и снова рыть. А рыжий пушистый хвост ее ходуном ходит над белым снегом. Шурка долго стоял, любовался. Крикнул. Лиса подняла голову, посмотрела: вдали человек да без ружья, собаки нет рядом — не страшно. Занялась мышами. Обрато возвращался Шурка вечером — лисы уже не было. На другое поле перешла, наверное.

Лисам и зайцам зима не зима: шубы у них теплые. А вот маленьким птичкам, что прилетают издалека на ле-

то, зимы не выдержать, потому и отправляются они в сентябре в теплые страны, как бы хорошо им тут ни было. Из всех прилетных птиц Шурка более всего скворцов любил и ласточек. У него две скворечни, с отцом еще мастерили. А ласточки под крышей сарая гнезда вьют из года в год. Прилетят, отдохнут, расселятся по усадьбам и принимаются за работу: гнезда строят. А по утрам поют, слушаешь их — сердце заходится. Прожили весну-лето, осенью сбились в стаи, и — прощай. А зимние птицы остаются. Зимой, давно уже заметил Шурка, птицы стараются держаться вблизи деревни. Сороки те совсем домашними становятся, так и шныряют по подворью, выскивая, что бы поклевать. Помои вынесет мать на слив — они уже тут, скорлупу яичную заметят — долбить начинают клювом. А что в ней проку, в скорлупе? Вороны залетают в деревню. Неуклюжие, нахохлившиеся. Сядет на жердину городьбы и давай: кар-р! кар-р! Голодно вороне, а проворства маловато. Снегирей много прилетает. Летом они, мужики рассказывают, в бору темном прячутся, прохладу ищут. Зимой — по огородам, на репьях полужанесенных кормятся, конопляниках. Но больше всего их на току возле сушилки, куда осенью свозят с полей обмолоченное зерно. Перед отправкой его подрабатывают: сушат, перелопачивают, веют. Остаются в зиму на току кучи мякины, на них и слетаются птицы. Ребятишки, балуясь, ловят снегирей решетом. И воробьев полно на сушилке: зимуют под тесовой крышей. Чуть солнце пригрело — они чиркать...

Куропатки — летом их тоже никто не видит — подлетают к самым огородам, рассаживаются на тальниках, клюют мерзлые почки. Оперение у куропаток белое, чистое, и ноги белым пухом покрыты, до пальцев сплошь. Попробуешь подойти к птицам — они тотчас же с ветвей снимутся и — фр-р! — низко так, над снегом, ложась с одного крыла на другое, протянут к ближайшему перелеску. Снег белый, куропатки белые, не заметишь, куда и перелетели. Они по сугробам любят ходить, близ кустов, следы как крестики...

Косачи в деревню не залетают, они держатся на дальних полях, краем бора, питаются березовыми почками. Едешь иной раз, глядь, а косачи сидят в конце поляны на высокой старой березе, на самом верху. Самцы черные, а тетерки серые, птиц десять, а то и двадцать — красиво. Еще глухарь птица водится, но тот зиму-лето в бору: осторожен. Рябчик с ними, с глухарями, живет бок о бок: боровая птица. Глухаря посчастливилось однажды осенью видеть

Шурке, на жниве сидел. А рябчиков по картинкам знал: небольшой, серенький, с хохолком на голове. Свистит он, говорят, вроде снегиря. Читал еще, что супы из рябчиков вкусные...

Холодно все-таки, как ни отвлекайся мыслями. Приотстав, Шурка бежит за санями, подпрыгивая, охает, бьет рука об руку и крепко сжимает ресницы, чтобы освободиться от слез. «Эге-ей!» — кричит он на Старосту, а тот и ухом не ведет: поскрипывая завертками, тащит пустые сани, переставляя клешнятые копыта. Бык заиндевел кругом, а пуще всего — морда. И у Шурки воротник поднятый шубный заиндевел от дыхания, нос пощипывало, как он ни прятал его в воротник. Левую щеку Шурка уже растирал несколько раз варежкой: хоть бы не отморозить, а то разболится, бывало такое с Шуркой. Гусиное сало искали по деревне, смазывали. Мать пугалась, но все обошлось благополучно.

Дорога, не доходя до Святой полосы, повернула налево. Широкий калиновый куст остался в стороне, красные кисти ягод видны были издали. Ни есть, ни пить Шурка пока не хотел, потому не пошел за калиной. На обратном пути сорвет он несколько кистей, пожует мерзлых кисловатых ягод — утолит жажду и голод. Две трети расстояния, считай, проехал. Береза, конец полосы, поворот за тальники, начало болота с мелким кустарником по нему, осиннички на высоких местах, опять кустарник, последняя поляна в этом углу, сосна на самом краю бора. Она видна издали, зеленая, среди темных, хоть и заиндевелых берез. Увидел сосну — радуйся, до бора добрался — снимай шубейку, работу начинай...

Шурка огляделся по сторонам, на большие березы: пет, косачей не было. Косач — не куропатка, на тальниках кормиться он не станет, на березу садится, на самую что ни на есть высокую. Кругом дале-екий ему с такой высоты обзор. Ты еще от деревни, скажем, тронулся, а он уже заметил. Зимой трудно подкрадываться к косачам: перелески сквозные — не спрячешься. Случается, в осень ненастную не могут, как ни стараются, убрать полностью хлеба, оставят две-три полоски под снег, вот на эти полоски слетаются утро-вечер на кормежку косачи. Здесь их и скрадывают с ружьями. А то с поля какого-то не свезут снопы, в суслоны составленные, так прямо на суслоны с лету опускаются черные краснобровые птицы с серыми подругами своими, тетерками. На суслонах охотник капканы настораживает, косачи в них ногами угадывают. Только этак вот нечестно,

считает Шурка, что и за охота. Все одно что с петлями зайцев ловить. Надо с ней на равных, с птицей тетеревом. Вон как красиво сидит она, чутко поворачивая голову, черная, на белой запушенной березе — залюбуешься. Сумей подойти к ней незаметно, выследи или влет сбей — тогда ты охотник настоящий. А на суслонах...

Шурка страсть как завидует тем, у кого ружья есть. Он уже пробовал стрелять. В доску, правда. Но все равно попал. На тридцать своих шагов бил, без упора. Шестнадцать дробин выковыряли потом из доски ножом, чтобы дробь не пропала зря. Митька Сергин давал ему стрелнуть разок. Без отца ружья Шурке не займешь... и говорить об этом не стоит. Какое там ружье, мать матери на наволочки справить никак не может, не на что. А иметь бы ружьецо, одноствольное, двадцать четвертого, допустим, калибра или тридцать второго. Они такие ловкие, удобные. И экономные, зарядов не надо много. Патроны для них — с мизинец. Десятка три патронов вполне хватит...

В деревне в нескольких дворах ружья. Отцы разрешают ребятишкам лет с тринадцати выходить с ружьем. Покажут сначала, конечно, объяснят. А Шурка только поглядывает на ровесников. Ах, ружье бы ему! Он спорый в ходьбе, все болота излазил бы. Уток весной, на перелете, страсть божья. Чуть не в каждую лужу садятся. А уж осторожны они, а проворны! И не расскажешь. Летят, аж крылья свистят. Уток влет сшибать — вот это ловкость, это охота. Не то что куропатку сидячую, да еще ствол на сучок — слепой попадет. Шурка все места вокруг деревни знает, от огородов до бора самого, в какой край ни подайся. Телят пас, матери помогал. Четыре лета копновозил в сенокос, лето на граблях конных работал. Избродил, изъездил довольноно. С матерью в бор ходил, за клюквой. В бор попадешь впервые: незнакомо, смотри-поворачивайся. Далековато уходили они от дома, на второе болото. Не заплутали, мать дорогу какой год знала, вывела, хотя и по другой уже тропе, старой, едва видна была. В сумерках домой вернулись, устали. Шурка и ужинать не стал, молока напился и — спать...

Шурке охота знать тайгу, не блукать. Но в тайге — не на сенокосах, где каждый кустик памятен, подскажет дорогу. Берешь клюкву: туда шажок, сюда шажок, и все, казалось бы, на одном месте, а разогнулся, поднял голову — не знаешь уже, куда и идти, в какой стороне дом. Вот тебе на! «Уменьше нужно», — говорили мужики. В школе компас

есть, учитель географии множество раз объяснял, как пользоваться им в тайге. За деревню уводил ребятишек, показывал, — Шурка так ничего и не понял. Стыдно было.

— Да на что тебе компас, — усмеялся отец. — Кто из наших мужиков с компасом в тайгу ходит? И так сообразишь. Слушай... Вот пошел ты в тайгу, за клюквой той же, на второе болото. Куда ты идешь? На север. Части свега знаешь? Очень хорошо. На север, значит. Деревня и Шегарка остаются у тебя за спиной. Шегарка течет с востока на запад — и это ты знаешь. А солнце движется по часовой стрелке. И солнце за спиной у тебя будет. Сначала справа — правую щеку греет, потом затылок, левую щеку — это уже к закату когда близится. Надо тебе домой — повернулся лицом к солнцу и пошел. И к солнцу ты лицом, и к Шегарке, и к деревне. Необязательно точно к своему огороду выберешься, за деревней окажешься справа, возможно, или слева. Но то, что к Шегарке придешь, это уж обязательно. Ну, уразумел что-нибудь, охотник?

— Понял, — неуверенно сказал Шурка. — Так ведь это, когда солнце. А если солнца нет, день пасмурный. Тогда что? Небось голова закружится. Кричать начнешь. Изойди криком — никто не услышит...

— В пасмурный труднее, — согласился отец. — Но ты не просто идешь, зевая, в лес, а примечаешь по пути. Муравейник всегда возле дерева с южной стороны муравьи строят, от ветра холодного северного заслоняет их ствол. Мох на березах с северной стороны растет гуще. Присмотрись, множество, сообразительность нужна, глаз, привычка. Соображать будешь, не заблудишься. Ну, поплутаешь раз.

— Купили бы вы мне, тятка, ружье, — попросил тогда Шурка. — Я люблю в тайге бывать и дорогу научусь отыскивать, да что толку без ружья бродить. Рябчики там встречаются, глухарь вдруг взлетит. А я — с голыми руками. Ничего мне не надо другого...

— Зачем оно тебе, милоч, ружье, — подумав, сказал отец. — Разве не жалко будет убивать, хоть и рябчика? Пусть живут себе, летают. Всякому, Шур, жить охота. Да и мал ты еще для ружья. Вот вырастешь, работать станешь, тогда и ружье. Любишься природой, понимать ее учишься — великое дело. Жалость в тебе должна быть.

— А как же скотину? — спросил Шурка. — Каждую осень скотину по деревне режут, не жалеют. И мы режем баранов, боровка. Или не жалко тебе их, тятка? Мне овец жальче, чем тетерева или зайца.

— Жалко, — кивнул отец. — Только это скотина, на то мы ее и держим, выкармливаем. Из года в год. Чтобы заколоть и съесть. Так уж повелось издавна, ничего тут не поделаешь. Без нее тоже никак нельзя, без скотины. Не держать если из жалости — на картошке одной не протянешь зиму. А раз держишь, тогда коли, режь. Такая жизнь, милок. Так складывается она. А птица, птица — вольная, ничья она, никому не принадлежит, от нас с тобой никак не зависит. Сама корм добывает, сама гнездо вьет, сама птенцов выводит, выкармливает. Они лес украшают, всякие птицы, большие и малые. Убери их всех, перестреляй, и в лесу пусто станет, скучно, неинтересно. А вот когда сидит косач-тетерев на березе — глаз радуется, душа радуется. Или скворец поет. Зачем же их стрелять? Конечно, когда человеку голодно, он ни о чем не думает, только бы поесть. Когда голодно. А многие стреляют не потому вовсе, что есть нечего, — в запас. Не надо выкармливать, выхаживать, заботиться. Готовая летает. Пошел — убил. Лови рыбу, Шурка, — милое дело. Рыбу можно, она без души, немая. А зверье, птицу... Это же природа, радость человеку. Кто природе любит, тот никому зла не сделает — попомни, сынок...

Шурка попрыгал на одной ноге, на другой. Прыгая, намеренно отстал от саней и побежал, догоняя, выбрасывая ноги, поджимая их до отказа под себя, чтобы согреть в коленях. Проехали березу, чей-то сенокос, свернули за тальники. За тальниками начался край болота, высокая полуполегшая болотная трава выглядывала из-под снега. Вспомнив разговор с отцом, Шурка стал думать об отце.

Шурке не было и года, когда отец уходил на войну. Мальцом еще был, и помнит очень слабо возвращение отца. До Пономаревки он как-то доехал, а от Пономаревки до своей деревни шел пешком. Вернулся отец осенью сорок третьего, с Урала, где долго лежал в госпитале. На войне ему прострелили легкое и покалечили левую руку — она больше не сгибалась, не разгибалась в локте; пальцы, большой и указательный, едва шевелились; остальные скрючены, мертвы. Из вещмешка отец достал два бруска сырого темного мыла, несколько горстей ржаных сухарей, медали, завернутые в тряпицу, махорку в коричневых пачках и книжку Вальтера Скотта «Айвенго» — интереснейшую книжку про английских рыцарей, ее отец читал в госпитале. Отца нет, остались медали «За отвагу» да книжка про рыцарей и храброго благородного стрелка Робин Гуда, который жил в лесу, не расставаясь с луком.

Вернулся отец. Через год Федька родился, а еще через три — Тимка. Определили отцу третью группу, пенсию назначили, и стал он, как говорила мать, жить не тужить, покашливая, прижимая к боку больную руку. Возвращались деревенские до отца, возвращались после, но многих не дождались. Война одна, а судьбы разные. Кто пришел не задетый вовсе, а иной изранен страшнее некуда. У отца рука не рабочая. Он о ней и речи не вел, а вот легкое. Летом ничего, а как настанет зима, выйдет отец из теплого помещения, глотнет морозного воздуха — сразу кашель, простуда. Либо дома лежит, либо во Вдовинской больнице. Мать ему шарф связала из овечьей шерсти, шарфом этим он закутывал лицо зимой до глаз, так через шарф и дышал. Через два года на третий, а то и чаще вызывали отца в город на переосвидетельствование: не начала ли двигаться рука, а если двигается всеми суставами, то сняли бы с отца инвалидность и перевели в разряд здоровых людей. Но рука не разгибалась, не оживала. Двумя пальцами, помогая правой руке, мог отец свернуть самокрутку, да курить он бросил почти сразу же по возвращении: врачи запретили. Так оставался отец на третьей группе. А инвалид третьей группы, как объяснили ему, обязан выходить на работу, пользу приносить. Отец и без объяснений, двух недель не высидев дома, пошел в контору напрашиваться на работу. А работы ему подходящей не было. Ни пахать-боронить-сеять, а по осени жать, ни косить-сгребать, а потом метать он не мог одной рукой. Ни какой другой тяжелой работы работать, а легкой в колхозе не было. Бригадиром отец смог бы, пожалуй, но бригадиром давно уже, почитай с самого образования колхоза, сидел свой же мужик, состарился на этой должности, и неудобно было его смещать теперь. Да никто и не собирался снимать его. Пошел отец в пастухи, не от колхоза, а от деревни: летом пас индивидуальный скот, а в октябре уже, по заморозкам, после окончания уборочной, когда в амбары ссыпали собранное зерно, определялся сторожить амбары те, хотя чего их было и сторожить, никто никогда не посмел бы сорвать замки с дверей и унести зерно. Но сторож был положен к амбарам, вот отец и сторожил. Простуживался он постоянно, кашлял, болел, чах на глазах и не похож был совсем на того мужика, что уходил с другими на войну. Седой, согбенный, старый.

Была в деревне работа, которая вполне подходила Шуркиному отцу — и он с радостью взялся бы за нее — возить

почту. Почтовое отделение находилось во Вдовине, при сельсовете, и нужно было ежедневно, кроме выходных, ехать туда, почту получать. Почтальоны менялись часто, подводу им не давали, в войну занималась этим престарелая баба: ее уже никуда и поставить нельзя было, как только носить почту. Пока туда доберется, обратно — и день погас. Женщина та умерла, после нее почтальоном сделался по своей охоте Степан Козлов, молодой мужик, воевавший. Воевал он, как говорили, счастливо, не ранило его ни разу, контузило только. Контузило, видно, крепко. Вернулся он почти одновременно с Шуркиным отцом, тоже третью группу инвалидности определили ему. Рассказывал Степан, как взрывом подняло его на воздух, ударило об землю, лежал он без памяти и очнулся уже в госпитале, куда притащили его санитары. Первое время заикался, теперь вот речь выправилась, но гудит постоянно голова, слабость, нет в теле прежней силы. Погуляв по возвращении, отдохнув, пришел Степан в контору просить подходящую работу. Председателя не было как раз, бригадир, взглянув на Степана, сказал: «Становись с завтрашнего дня с бабами к молотилке». Сказал и пожалел старик бригадир. Степана тут же перекосило, он рванул ворот гимнастерки, роняя пуговицы, шагнул к бригадиру: «Ты — что?! Ты кого это на молотилку посылаешь, гад ползучий?! Меня?! Да ты знаешь, что я об землю ударенный?! Да я...»

Отдали Степану почтальонство. Мало того — лошадь выделили: ходить пешком он не соглашался. Раньше тетка сумку брезентовую таскала на себе, перехлестнув лямку через плечо, а если случались посылки, подвозила на попутных подводах. Степану выдал председатель полуслепую, вислопузую кобылу. Держали ее ради жеребят: ежегодно приносила она жеребенка. Запряжет Степан кобылу в ходок, сядет, свесив ноги, и — поехал. Жеребушка сзади бежит, колокольцем побрякивает. Степан жеребятям колокольце на шею вешал, слышал он, что в старые времена почта с колокольцами ездила. Работа Степану приглянулась несказанно, прикипел он к ней и ничего другого признавать не хотел. Работенка удобная была во всех отношениях. Колхозникам трудодни начисляли, а Козлов, хоть малые, но деньги получал. Почту раздал, дровец подвез себе из ближайшего березняка, копны поддернул к стогу во время сенокоса: лошадь в своих руках. От контузии он выправился, каждому заметно, домашнюю работу делал ладно, собирая сено, навильники на стог взбрасывал доб-

рые, без силы в теле таких и не поднять. В гости зайдет, одним стаканом не отделается хозяин, а второй выпил — засел за столом, считай, до темноты.

— Да что они там, без глаз, что ли, кто группы инвалидные назначает! — ругалась Шуркина мать. — Отцу третью группу, и Степану третью. Одного согнуло коромыслом, а другой носится по деревне, как жеребец племенной. Где правда?! Написал бы куда, отец!..

— Степан, — говорили мужики в глаза Козлову, — что же ты так... пристроился. Передай почту Павлу Тимофеевичу, тяжело ему за стадом да возле амбаров. Ты ведь моложе его, здоровей. Неужто тебе не стыдно: бабы с литовками по жару кочарник выкашивают, а ты на тележке раскатываешься, газетки возишь. Нехорошо, а?!

Степана сразу затрясет, рот на сторону, слюна брызгает. И в крик: «Я воевал, твою мать! У меня контузия! Кто видел, как меня швырнуло?! Никто! А тут увидели... на тележке. Вы сами!..»

Старый бригадир помер, нового поставили, молодого. Молодой на первой же неделе бригадирства надумал сдвинуть Степана с почтальонства, а не тут-то было. Вызвал в контору, сначала по-доброму стал убеждать. Степан и слушать не желает. Бригадир в крик тогда, и Степан на него кричать. Бригадир ругаться, и Степан такие же слова знает. Отступился бригадир, сколько ни бился. Не драться же, на самом деле, с ним. Покричали друг на друга, разошлись.

Не отдал Степан почтальонство Шуркиному отцу. Отец от стада отказался, стал помогать колхозу по мелочам. Веревки вил как-то, одной рукой дров напилит в контору. «На подхвате держат, чтоб дыры затыкать», — ругалась мать. Попросился раз с обозом в город — разрешил председатель. Поехали в начале марта, по погоде, по устоявшейся дороге, но где-то между Мальчихой и Сташковым, на самом долгом перегоне, захватил их буран, ночевать пришлось возле возов, отец простудился, вернулся назад хворым совсем. Хоронили отца в апреле, потеплу, под снегом пробивались ручьи, день был воскресный, шла за гробом едва не вся деревня, фронтовики бывшие, шел и Степан Козлов, почтальон. Шурка в пятом классе учился тогда.

Теперь отец лежит в земле, на деревенском кладбище, на берегу Дегтярного ручья, который впадает там в Шегарку. Одежду отцову мать, спустя сорок ден, перешила на сыновей, остался полушубок. Полушубок носят, накрываются холодными ночами, бережет Шурка и книжку, пе-

речитывая время от времени, хотя помнит уже имена всех описанных рыцарей и благородные поступки замечательно-го стрелка из лука Робин Гуда.

Они и при отце жили натянуто, а сейчас и того пуше натянулось, тронь — порвется. Хозяин хоть и хворал и помощи от него вроде особой не было, но он мужиком был. Мать так говорила: «Паш, ты мне не старайся помочь, не надо. Ты только рядом побудь, и то мне легче сделается. А работу — сама я. Посиди рядом».

Его на деревне уважали, отца. По имени-отчеству называли. В деревне — все на виду, не каждого по отчеству назовут, повеличают. А вот больше его нет, Шуркиного отца, Павла Тимофеича Городилова. Остались они с матерью — три сына его: Александр Павлович, Федор Павлович да Тимофей Павлович. «Три богатыря, — усмехался, бывало, отец — ничего не страшусь. Любую беду шутя отведу».

— Ну, Шурка, — сказала после похорон мать, — без отца мы на весь век наш. Осиротели. Ребятишки малые еще, вся надежда на тебя. Мне стариться — вам расти. Пока жива, силы есть, буду подымать вас, а вы мне помогайте. Держаться нам друг за друга надо крепко...

А Шурка и без материних слов понимал, каково им придется. Помогать он всегда помогал, насколько хватало сил его и умения, а теперь тройне стал стараться. И братьев приучал. Тимка, тот послушный. Что ни заставь, сделает. Шурка с Тимкой в отца уродились: узколицы и волосом темно-русы. А Федька в мать весь: бойкий, круглолицый, волосы рыжеватые. А к работе не шибко тянется. Скажешь, и будто не слышит. Шурка ему поддал разок — сразу присмирел, изменился. Тетради свои братья Шурке показывают, уроки отвечают. Он им растолковать готов всегда, что неясно. Федька «по арифметике плохо успеваает», не любит задачки...

«Надо их подстричь перед школой, — думает на ходу Шурка, — лохматые оба». Отец подстригать умел: ножницы да гребешок. Мужики к нему по субботам перед баней подстригаться ходили. «Как здоровье, Павел Тимофеич, — спросят от порога, — подровняешь маленько?!» Отец никому не отказывал. Шурка, глядя, научился возле него немножко парикмахерству. Братьев подстригает, товарищей...

Каникулы заканчивались, до начала занятий оставалось три дня. Быстро пролетели. Каникулы всегда быстро проходят, как и лето. А зима тянется, тянется, ни с места.

Тимка с Федькой пойдут в свою, четырехклассную, а Шурка во Вдовино, в семилетку, где он учится последний год. Каникулы — хорошо... Только вот с дровами... Мать надеялась за время каникул два раза быка выпросить, а не получилось. Снова через неделю вряд ли дадут. Потому сегодня надо привезти настоящий воз. Воз Шурка наладит-увяжет, не впервой ему за дровами отправляться, да потянет ли бык. Шурка свое дело сделает, это даже и не половина работы: напилить-наложить, а так — пустяки, главное — дотащить воз до дома. Здесь уже все зависит от Старосты. Даст бог, довезет.

Сколько этих дров уходит за зиму! В одном только дворе, если сложить сожженные кряжи в кучу, — гора получится. У кого изба крепкая, из толстых, ровных, хорошо просушенных бревен срублена, между бревен моху положено достаточно, сени рубленые, окна с осени заделаны старательно, завалинки широкие подняты, — в такой избе зимовать можно, она тепло хранит, холод не пускает. А ежели избенка никудышная, тут уж знай одно: подбрасывай поленья в печку. В любой избе две печки сложено: большая, русская, и маленькая — голландка.

Их, Городиловых, изба не то чтобы уж совсем старая, но и не новая, более двадцати лет стоит — подсчитывал, вспоминает Шурка, отец. С осени утеплять принимались избу всей семьей, как только могли. А все одно. Еще морозы когда в безветрии, терпимо, а как метели разгулялись, ветра — сколь ни топи с вечера, за ночь выстудит, на полу и под тулупом не продержишься. Да на полу и не спала семья. Мать с отцом на кровати, Тимку иногда брали в середину, когда попросится к ним. А то все трое ребят на печи, Тимка, как самый младший, к чувалу ложился, теплее чтобы, рядом с ним Федька, крайний Шурка. Печь широкая, места хватает. Полати были у них, между печью и дверьми, но высокие больно, под самым потолком — тесно там, не повернешься лишний раз. Тимку хотели на полати опередить — не согласился. Сейчас с матерью спит на кровати.

Мать дрова экономит, лишнего полена не положит в огонь. Да как ни экономя, топить надо, в холодной избе не станешь сидеть. Привезет Шурка воз — распилят сразу кряжи, расколуют чурки, поленья в поленицу сложат или просто ворохом оставят в ограде, в сторонке, чтоб не мешали. Ручья прошла, начало другой, глядь — дров опять нет, как гают. Иди в контору. Летом, если с зимы остался

какой запас дров, боже упаси хоть одно полено из них взять. Щепки собирают, палки всякие. Жердина прогнила, проломилась в городьбе, новую срубил в согре, приташил, поставил на место старой, старую — на дрова. За хворостом отправляются: кусты рядом. Мать, возвращаясь домой с фермы или с поля, увидит где обломок доски, жердины конец, ветку сухую — несет в ограду. И ребятишек так приучила. Иной раз на дальних сенокосах заметит в согре сушину, сломит руками, под мышку и тянет ко двору — на две растопки хватит. Летом не для тепла топят, лишь бы поесть сварить. У иных печурки летние в оградах под тесовыми крышами сложены, или на тагане варят. Треножник такой, с обручем, на обруч чугунок опускают, под чугунок подкладывают хворост, щепье — быстро закипает. У Городиловых летней кухни нет, голландку мать редко топят, если дожди — тогда, обычно же на тагане готовят, в ограде. Таган на кирпичи ставят, повыше чтобы...

Въехали в бор. Росли здесь в основном сосны, потому бор и назывался сосновым. Много было берез, особо по краю. Осины редки. Осиновые острова — высокие сухие места — встречались в глуши бора, на островах жили лоси. «Лосиные острова», — зовут издавна мужики-охотники такие места.

Проехав немного, Шурка остановил быка, оглянулся. Дорога разветвлялась на несколько рукавов, которые недалеко уходили в глубь леса — на версту, полторы. Краем бора подходящие деревья давно спилили, остались толстые старые березы, суковатые и корявые, такие на дрова не годились. Шурка замер, прислушиваясь: где-то неподалеку стучал дятел. Повертел головой, но дятла не увидел.

— Но-о! — крикнул, направляя быка в один из правых рукавов. — Давай, Староста! — закричал громче, чувствуя, как трясется, не слушается нижняя челюсть. Стал прыгать, ухая, сводил-разводил руки, присел несколько раз подряд, отставая, догоняя сани, — и все никак не мог согреться, дрожал: Он знал, что скоро согреется, помашет топором и ему станет жарко, развяжет тогда тесемки под подбородком, а то и поднимет, завернет наушники. Но сейчас... О-ох, ну и мороз — морозище! Ну и денек выпал — закачаешься!..

Бык шел, и Шурка шел за санями, отбросив на плечи воротник шубы, поглядывая по сторонам, высматривая березки по силе и не шибко далеко от дороги. Но ничего нужного не попадалось — толстенные березы, таловые кусты,

вон черемуха, а то все сосны — высокие, ровные и гладкие, что идут на строительство, а также кривые и суковатые и — маленькие сосеночки, с пушистыми мягкими веточками. Сорвешь с такой ветки иголки, пожуешь — запах, будто в летнюю жаркую пору в бор попал. На полузанесенных трухлявых пнях — белые колпаки снега. Какой бы силы ни бушевал в полях ветер — в бору, понизу, всегда тишь, только по верхушкам ровный глухой шум. Перекатами. Хорошо слушать его, сидя под сосной, закрыв глаза...

Шурка проехал в конец своего следа, где в декабре еще валил деревья. Вот и разворот. Но рядом со следом ни одной березы не было, да хоть и была бы, что толку — лесиной не обойдешься, на воз две, а то и три надо. Бык остановился. Шурка снял шубу, свернул мехом внутрь, положил на головашки саней. Саженьях в пятидесяти от того места, как обрывался путь, среди мелкого ельничка росли три ровные прогонистые березы, из каждой четыре кряжа свободно можно было выгадать. Шурка березы эти раньше высмотрел, да обошелся другими, что возле дороги, чтобы не лезть в снег. Повернув на старый след, парнишка как-то и не думал о них, не был уверен, что березы целы: три недели прошло, как приезжал за дровами. Но березы стояли. Увидев их, Шурка обрадовался и не обрадовался. Хорошо, что березы на месте, искать не надо другие, но бить дорогу к ним ему не хотелось. А если здесь, на твердом месте, оставить сани, то кряж за кряжем оттуда, в снегу по пояс, ни в какую не перетаскать. Ни волоком, ни катком, ни переброской: мужичья сила нужна. Да и мужик из такой дали вряд ли станет носить. Никто не любит съезжать с торной дороги в снег. Если березы неподалеку, лучше на себе принести кряжи, веревкой вытянуть к саням: меньше хлопот. А загни в снег, нагрузи и бойся: не каждый бык на дорогу выберется с возом.

Шурка раздумывал: не повернуть ли назад, проехать по другому свертку, поискать. Но жалко было оставлять березы. Березы — как свечи, без сучков до самых вершин, верных четыре кряжа из каждой, такой возяка будет — позавидуют. А искать — найдешь ли. Эти же скоро спилят — сам и пожалеешь потом. Нет, надо валить.

Шурка проворно взял веревку, привязал концы ее к бычьим рогам, расставив ноги, стал стоймя на сани и, понужнув быка, шлепая веревкой — вожжами по спине, направил к деревьям. Бык шагнул, сразу провалившись по брюхо. Сверху снег ровный, волнами, холмиками лежит,

не знаешь, много ли его здесь нанесло. Под пластом снежным не поляна — кочки, пеньки встречаются от срезанных деревьев. Шурка приседал на санях, вдавливая их в снег, натягивая то правую, то левую вожжу. Плавно обогнув березы, выехал на прежнее место. И еще раз так проехал. И еще. Снег глубокий, кочек много: низинка тут вроде. Сейчас сани идут легко, а наложи дров — осядут вязками, стягивающими копылья, на кочки, и все. А то на пень попадешь — еще хуже. С кочки, бывает, сдернет бык сани, а уж на пень налетел — страшнее не придумаешь: развяжывай веревку, сбрасывай кряжи. Освободил сани, переложил воз, отъехал — снова пень.

Все это Шуркой уже испытано, потому он решил не рисковать. Бык старый, больной, слабосильный — не вывезти ему воз отсюда. Надо так сделать: свалить березы, раскряжевать, по два-три кряжа вывезти на торную дорогу, свалить там сбочь, установить сани на твердый след, наложить воз, увязать и со спокойной душой трогаться. Лишняя работа, правда, кряжами перевозить, но что поделаешь. Зато — опаски никакой, да и не шибко-то и далеко здесь — шаги считанные. Семь раз примерь, как учит пословица.

Так решил. Выехал на старую дорогу, развернул быка головой в бор, положил ему сена, взял пилу, топор и пошел, проваливаясь, к березам. Оглянулся: Староста ел сено. Ест — хорошо, сил наберет. От берез до быка было далеко, не достать, ведь валить Шурка обязательно будет в сторону быка: ближе тогда возить. Обычно быка ставят подальше, чтобы не зацепить верхушкой падающей березы. Не дай бог, хлестанет его ветвями или собьет-сопнет: подумать жутко. Бабы те пол-версты не доезжают: боятся за быка.

Шурка подошел к крайней березе, ударил обухом по стволу — с вершины на плечи ему, на шапку посыпался снег. Положив пилу и топор, он задрал голову посмотреть, куда клонит береза, но береза была пряма и смотрела точно в небо. Это была молодая, не очень и толстая, — в обхват, сильная береза, береста ее еще не потрескалась от земли, не превратилась в кору, береста сплошь была гладкой, плотной, белой, а по бересте от снега самого до развилки, до сучьев, величиной в пол-ладошки, кое-где лепились по стволу бурые лишайники. И две другие березы были такие же. Они стояли недалеко, одинаковые почти, будто стали расти в один день и росли, не стараясь перегнать

одна другую, не мешая, не застя света. Отдавать кому-то такие березы грешно.

— Ух ты! — радуясь, воскликнул Шурка. — Ну и березы! Ну и красавицы! Три сестрицы! Все равны, как на подбор! Погодите-ка, сейчас вот я примусь за вас! Три сестрицы, три девицы, три веселых молодницы! А ну-ка, поберегитесь, матушки мои!..

В лесу Шурка говорил сам с собой, чтобы не так было одиноко. Дорогой он иногда беседовал с быком. А в бору не потому разговаривал, что боялся, так работа спорилась лучше. Да и кого было здесь бояться. Волки в лесу Шегарском не водились, медведи жили, но они теперь лежали по берлогам, в глуши, на осиновых островах: по краю бора медведи берлог не делали. Лоси еще... так лось на человека не кидается, если не ранен. Да и не подойдет он на шум. Шурка читал в книжке «Охотничьи рассказы», что иногда, притаившись в густых ветвях, лесная кошка, рысь, хищная и ловкая, прыгает на плечи охотника, стараясь перекусить шею. Но ни с кем из деревенских мужиков-охотников не случалось ничего подобного, никто не слышал, чтобы сиганула с дерева на кого-то, как на лося, росомаха и принялась кусать шею. Рыси были в тайге, следы попадались изредка. Но никому еще не довелось подстрелить кошку или поймать в капкан. Да и не встречал, наверное, никто ее ни разу. Интересно бы взглянуть издали, что это за зверина такая злющая.

В глубине бора гулко лопнуло дерево: мороз жал, но Шурка не боялся уже его; пританцовывая, он кружился вокруг березы, отаптывая снег, чтобы удобнее было валить с корня. Кто ленив или торопится, сильно-то не отаптывает, обойдет разок, согнется чуточку и начинает пилить на уровне живота своего — пень высокий остается. Это не по-хозяйски. Пень от земли должен на полторы, ну, две четверти подыматься. А оставь высокий, в другой раз сам же на него и налетишь, посадишь сани. Помнить надобно каждую мелочь. Один мужик в лес поехал, забыл надеть рукавицы...

Но сначала березу подрубить следует, подрубить с той стороны, в какую ты намерен свалить ее. Хорошо, когда береза с наклоном и наклон в нужном направлении: подрубил, подпилит — она сама упадет, не надо и подталкивать. Под ветер удобно валить, но на ветер — не приведи господь, намучаешься. Вырубай рогатину, упирай ее под нижний сук или прямо в ствол, наваливайся грудью на чере-

нок и дави что есть мочи, пока в глазах не позеленеет. Одному в таком случае ничего не сделать, вдвоем если: один должен толкать, другой — успевать пилить: пилу то и дело зажимает. Прямая береза неизвестно как поведет себя. Ты направляешь ее к дороге, а она развернулась на срезе и — на тебя. Пилу запросто сломает. А то верхушкой угадает на другую березу, в развилку как раз, меж сучьев крепких, тогда отступайся, сил не трать, бросай и принимайся за другую.

Какую ни вали, сноровка и уменье нужны, потому сперва стоит оглядеться, прикинуть, что и как. С отцом надежнее было, спокойнее, отец все знал, каждую зацепку предусматривал заранее и не ошибался. Работают, бывало, а он попутно объясняет Шурке, что к чему. Вторую зиму один ездит в бор Шурка, своим умом до всего дотягивать приходится, на себя надеется. Все, что познал с отцом, пригодилось и не помешало ничуть.

Осмотрев топор, пригибаясь с каждым взмахом, Шурка начал подрубить. Тесемки шапки под подбородком он развязал, но рукавицы, пока руки окончательно не размякли, разнизывать не стал. «А-ах! А-ах!» — покрывал он.

— Тепло ли тебе, молодец?! Тепло ли тебе, красный?! — спросил себя Шурка, передыхая. И засмеялся. Давно, в первом или во втором классе, научившись читать, прочел он книжку сказок. Была в книжке сказка «Морозко», как старуха приказала старику увезти ненавистную падчерицу в зимний лес и бросить там. Увез старик дочь свою в темный лес, оставил со слезами ее под косматой елью и уехал. Сидит девица под елкой на корточках, горюет, а Морозко по елкам пошелкивает, потрескивает, на девицу поглядывает да и спрашивает: «Холодно ли тебе, девица? Холодно ли тебе, красная?» И так несколько раз. Девица дрожит, замерзла, но не признается Морозу, говорит, что тепло. Тогда Морозко сжалился над девицей, накрыл шубами, согрел одеялами пуховыми, одарил подарками дорогими. «Главное, не поддайся сразу морозу, не покориться, — думает Шурка. — Что же это я, хуже девчонки той, получается?! А ну-ка!»

Древесина прокалилась, топор отскакивает. Топор рабочий — для леса, не плотницкий, он и тяжелее, и вытачивать его слишком не требуется: выкрошится лезвие о мерзлую древесину. Топор должен быть удобным, топориче надежным, руби и осторожничай. Сломал топориче, злись не злись — садись в сани да и поезжай в деревню за другим.

А другого в доме нет, если есть — колун, чурки витые, суковатые разваливать. Беги к соседу, а он не всегда даст — вот так. Потому руби и помни: без топора в лесу делать нечего. Ноги береги, не увлекайся.

Подрубают Шурка, помня обо всем. Не щепка из-под топора — оскрестки летят. Подрубил. Но ничуть не согрелся, оцепенение морозное даже не сошло с него. Надо топор на время отложить: пила быстрее греет. Валить дерево с корня одному неподручно хоть летом, хоть зимой. Либо нагибаться надо низко-низко, либо на корточки садиться. Но на корточках разве попилишь? Лучше всего на одно колено опуститься, но и этого никак делать нельзя: штаны тотчас же промокнут, колено занемет, не отогреешь уже ни в какую. Сгибайся и пили — один выход, не раздумывай, никто на помощь не прибежит тебе.

Пила длинная, гибкая, не слушается, свободный конец виляет, раскачивается вверх-вниз, в снег втыкается. Но Шурка отоптал старательно — простору много. Главное — запилить. Правой рукой за ручку бери, левой — за середину пилы и запиливай не спеша, потом легче пойдет. Запиливать следует не прямо, как будто чурку отрезаешь, а под углом, чтобы не пошла на тебя береза, но опять же, не сильный наклон давай — зажимать пилу станет.

Раз, другой туда-сюда протянул пилу Шурка, береста тоненько задралась под зубьями в обе стороны, опилки посыпались: не пилит — грызет пила древесину. Когда वालीшь с корня березу — помощь чья-то всего нужнее. Держись Федька в минуты эти за противоположную ручку пилы, тогда бы запил правильным вышел и пила ровно б ходила. А зажмет береза, тот, кто сильнее, плечом навалится на нее и давит — толкает, а второй пилит в это время, спешит. Ну, да что толку рассуждать, на то он и мужик, чтобы в лес-поля один ездить. Валил раньше, свалит и на этот раз, никуда она не денется. Некоторые с половинной пилой в лес едут. Бывает, сломается пила пополам — половинки не выбрасывают. Одному с такой, укороченной, пилой удобнее в лесу и валить, и кряжевать. Да и дома кряжи на козлах пилить, если один пилишь. Но пила обычно одна в доме, хозяин бережет ее, как и веревку, как и другую важную, нужную вещь, без которой не обойтись и дня. В лесу осторожен, это уж редкий случай — переломит деревом пилу. Чаще всего ломается пила, когда с корня वालीшь: тут уж не зевай, не лови ртом ворон-галок, засмеют...

Запилилось, пальца на два прошла пила в березу. Не-

множко неровен, правда, запил, но уж как получилось. Шурка переступил на месте, встал поудобнее, нагнулся низко и, взявшись обеими руками за ручку, начал пилить — уже не серединой, как при запиле, а пуская пилу почти на всю длину полотна. В согбенном таком положении в работе участвовало без малого все тело: двигалось, согреваясь. Шурка не разогнулся для роздыха до тех пор, пока пила полностью не скрылась в прорези, и еще попилил, чтобы в прорезь можно было вставить лезвие топора, на случай если береза вдруг станет зажимать пилу. Он поднял голову на минуту какую-то, поправил шапку, взглянул на быка, на березу и опять склонился к пиле, отметив мысленно, что тяжеловаты будут кряжи: по мужику дерево, не по нему. Сердцевину березы прогрызла пила, оставалось в ладонь шириной древесины, Шурка задержал пилу, просунул в прорезь, насколько можно было, лезвие топора, обнял березу левой рукой, подпер ствол левым плечом, правой же рукой, поймав ручку пилы, стал пилить дальше, не пилить, а шмурыгать, но все равно — пилить, и все давил плечом, стараясь дать березе крен, хоть на сантиметр пересилить ее, а уж там она пойдет сама по себе, никакой силой не удержишь.

Все суставы Шуркиного тела от мизинцев ног до головы были напряжены в этот миг до предела, а сам он, торопясь, пиля немеющей рукой, коленом упираясь в обух топора, просовывая лезвие глубже, пилил, пока не почувствовал плечом едва ощутимое послабление — береза накренилась чуть, готовая упасть. Торопясь, из расширяющегося разреза Шурка вынул топор, пилу, отскочил в сторону, оберегаясь, а береза, набирая силу, обхлестывая ветвями деревца, разбивая стволом и вершиной снег, ахнула точно в тот проем, что еще раньше наметил ей мальчик, подрубая. Шурка улыбнулся, довольный, подошел к пню и положил на него пилу. Можно было по годовым кольцам посчитать, сколько береза прожила на свете белом, но времени лишнего не было для посторонних затей. Пень был чистый, без слома, потому что пила вышла прямо на подруб, чего Шурка и хотел. Этому тоже учил его отец. «Все надо делать так, милок, чтобы после ни перед собой самим, ни перед людьми стыдно не было», — говорил он. Вот и с пнями... Иной подрубит низко, а запилит на четверть выше подруба. Хоть береза и с креном попадет — едва сердцевину пропилив, начинают уже толкать ее рогатулиной или плечами: пилить неохота. Береза упадет, но не отсоединится от пня,

как у Шурки, а задержится на изломе — излом надо топором перерубать. Или щепу от ствола отдерет — будет пень стоять с высокой острой щепой. Взглянул на пень, и сразу понятно: неумелый, а то нерадивый валил деревья.

Шурка снял рукавицы, разнизал их. Шерстяные, свернув, положил в карман пальтишка, сам остался в полотняных верхонках. Руки были теплые, но невлажные. Если всю работу вести в двойных рукавичках, руки вспотеют так, что шерстинки будут к ним прилипать, рукавички шерстяные промокнут, пока работаешь — ничего, а как поедешь обратно — застынут враз, тепла от них никакого. Снимай тогда, суй голые руки в рукава: теплее этак.

Повозившись с березой, Шурка согрелся полностью. Теперь он знал, что не даст схватить себя морозу, а как закончит, достанет сухие варежки, наденет шубейку и — домой. В полотняных верхонках рукам не так будет вольно, как в шерстяных, чувствовалось сквозь материю накалившееся топорщице, но лучше потерпеть, оставить шерстяные сухими. Да еще, хотя снег сухой и мерзлый, как ни старайся, промокнут штаны чуть не до ширинки: глубокий снег, проваливаешься то и дело. Но в лес собрался — не в гости, заранее знаешь, что промокнешь по пояс, не бывает такого, чтобы из лесу сухим кругом выбрался. Это уж так положено — терпи. Повлажневшие штанины задубеют до хруста, будто в трубах ноги. Одно спасенье: беги за возом без остановки, приплясывай, отвлекайся, как умеешь, хоть песни пой.

Взяв топор в правую руку, Шурка вспрыгнул на комель березы и, покачиваясь, балансируя для равновесия руками, пробежал — экая благодать: сучков нет, и обрубить нечего — по стволу к вершине. Оставалось отрубить вершину, и — кряжуй. Спрыгнув в снег, повернулся к березе и, невысоко поднимая топор, мелко и точно тюкая, возле самой развилки, где от ствола плавно отходил толстый сук, стал перерубать. Отрубленная ветвистая макушка не мешала ни проезду, ни дальнейшей работе, отгаскивать ее Шурка не стал, выбрал поодаль березку, срубил и выгадал из нее крепкий удобный стяжок. Без стяжка — кола, который служит рычагом, никак не обойтись ни во время раскряжевки стволов, ни во время погрузки кряжей на сани. Взяв под мышкой стяжок и пилу — топор в правой руке, — Шурка подумал минуту, с какого конца начинать, и прошел опять к вершине: там если и будет зажимать пилу, легче подсоблять стяжком. Прикинув, решил распилить ствол на че-

тыре части. Кряжи будут длинноваты немного, но ничего, дорога ровная, без раскатов, доедет. Если взять покороче и пустить пять кряжей — из двух других выйдет по столько же, — то пятнадцать таких кряжей на воз навряд ли уложит он, а двенадцать на поперечины разместить, пожалуй, можно. Двенадцать он заберет, точно, и переживать нечего за них. Еще и сушину поищет...

«Хорошо, когда береза угодила на валежину какуюнибудь, тогда при раскряжевке пилу не зажмет, разрез там расширяется раз за разом, а если попадет в снег и на кочки, как сейчас, тогда собирай все силенки воедино. Шурка примерился и начал отпиливать первый кряж от вершины, самый тонкий. Стяжок и топор лежали на снегу рядом. Зажало немного на допиле самом. Шурка подsunул под ствол толстый конец стяжка, приподнял немного, давая раздвинуться разрезу, и, придерживая левой рукой, отпилил. Начинать с тонкого кряжа следует, комель не поднимаешь: не кряж один поднимаешь, лесину всю. Живот не надорвешь — стяжок переломится. Продвигаясь с пилой к комлю, тяжелее было брать на излом кряжи — трещал стяжок, Шуркино сердце, кажется, останавливалось, но лесину он раскряжевал и, не передыхая ничуть, пошел ко второй березе, от нее — к третьей. «Не суетись, — мысленно говорил себе, — а поторапливайся. Суетой запаришься скорее, силы последние потеряешь».

Так же он подрубал их, запиливал, склонившись, а потом пилил, поправляя сползающую на глаза шапку, толкал плечом, допиливая до конца, чтобы срез был чистым. Березы послушно упали в нужную сторону, Шурка свалил их одна на другую, наперехлест, верхнюю кряжевать было легко, но нижнюю так вдавило в снег, между кочек и пней, что он измучился, пока раскряжевал. И сам не рад был такому повалу. Отбросив ветки, развернул стяжком поудобнее кряжи и, перед тем как вывозить их на дорогу, маленько отдохнул. Разгоряченному работой, ему нельзя было присесть на пенек или кряж, нельзя было постоять — сразу охватит холодом — и он, зажав под мышкой верхонки, надев шерстяные варежки, сунув руки в карманы, медленно ходил туда-сюда, расслабляясь телом, отдыхая в самой ходьбе. Спину выпрямлял, плечами поводил-шевелил. Верхонки стали сырые и мерзлые, но не продраны пока, ниже колен мокры были штанины, выпущенные на валенки, мокро понизу пальтишко. И штаны, и пальтишко, оберегаясь, нигде не зацепил он сучком, не порвал. Штаны бы-

ди рабочими — пустяки, их и верхонки можно и порвать, но пальтишко надо беречь для улицы и школы. Его еще братья будут донашивать.

Шурка чувствовал, что уже устал, но старался не думать об этом, так как сделана была всего треть работы, а впереди еще дорога. И есть он хотел. Обычно он брал в карманы сушеные свекольные или морковные паренки и, работая, сосал, жевал их, успокаивая желудок, но сегодня как-то не вспомнил о паренках, собираясь. Мать мыла свеклу и морковь, нарезала дольками, ставила после протопы в чугуне в большую печь — парить. Потом свеклу и морковку раскладывала на жестяные листы и опять отправляла в печь — сохнуть. Получались паренки. Ими частенько заваривали чай, когда нечем было заварить, паренки носили в школу, ели дома. Шурка брал их в бор. Свекольные были приторнее морковных, но и их поедали без остатка. Мать только и успевала что парить...

Шурка тягуче сплюнул в снег и стал осматриваться, не видно ли чего. Кажется, пусто совсем в лесу. Но лес, знал он, пустым никогда не бывает. Дятлы стучали. Приглядевшись, заметить можно мелкую цепочку следов от одного пенька к другому. Горностаи пробежал либо какой другой зверек. Маленькие совсем птички перелетали с куста на куст. Как они живы, удивительно прямо. Такие крошечные, им бы, милое дело, в жаркие страны улететь, в августе еще. А они здесь, в бору морозном, заснеженном. Порхают, корм ищут. Чем же они питаются зимой, интересно? Видно, что-то находят, раз живы. А в дуплах, не разыскать, белочки сидят, угревшись. Запас еды у них с осени, не надо высовываться на мороз. Глухари небось притаились в густых сосновых лапах, дремлют, поджав ноги. Филин где-то тут живет в глуши, хохочет по ночам, пугает. Ворон — древняя птица (Шурка читал о нем). Морозным днем, случается высоко-око протянет ворон над деревней, редко и хрипло крича. Где он гнезда вьет? На каком дереве? Чем выкармливает птенцов своих? Посмотреть бы...

Красиво зимой в бору. Тихо, таинственно. Снег мягкими увалами лежит всюду. И так охота заглянуть, узнать, а что там, дальше? Да холодно. Шурка любит бывать в бору в марте, в последних числах. Дороги еще держатся, дни большие, небо высокое, простор во все стороны, солнце. Тепло в полях, тепло в бору. Сосны оттаяли, сбросили снег с ветвей, хвоей пахнет — не надыхаться. А дятлы стучат наперебой. Шурка, увязав воз, перед тем как уезжать, ся-

дет на пригретую валежину возле разведенного костра, посидит рядышком с огнем, послушает бор, подумает. Сучья сосновые трещат в огне, трещит хвоя, шипит снег, отступая от костра темной каймой, хорошо. Сидел бы и сидел. В марте свободно два раза успеваешь за день световой обернуться в лес. Не спешишь сильно.

Однако надо было начинать свозить в одну кучу кряжи. Много ли времени прошло после того, как он выехал из дому, Шурка не знал. Надо бы взглянуть на ходики для интереса и вечером посмотреть, сколько же он в лесу пробыл. Сколько — день полный пробудешь, в ночь небось не останешься. Станет темнеть — сразу поймешь, что вечер. А темнеет рано: зима. Ходиков двое в деревне — у них, Городиловых, да у председателя еще. А ручных часов ни у кого нет, даже у продавщицы сельповской лавки, председательской дочери. Ручные часы кое-кто из учителей Вдовинской школы носит. А в их деревне у учительницы будильник. Круглый со звонком. Стучит — на всю школу слышно: чак-чак! Учительнице без часов никак нельзя — она будильник из дома приносит, уроки по нему ведет, а потом забирает обратно. В домах же без часов обходятся. Да и на что они, и так понятно: рассвело — утро, значит, наступило. Поднялось солнце над деревней — полдень. Смеркается — вечер. А у них — ходики. Отец лежал в районной больнице, привез. Ну и ходики — загляденье. Циферблат, стрелки, цепочка, гирька. Новенькие. Отец повесил на гвоздике на стенку — пошли часы. На циферблате лес изображен, в лесу медведи — медведица и медвежата. Медвежата играют, а мать в сторонке сидит, наблюдает за ними. Гирька вроде еловой шишки сделана. Всей семьей любовались на ходики. Деревенские приходили, посмотреть. Проснешься ночью, а они стучат. И засыпать хорошо под стук их. Ходики — в избе, а вообще здорово ручные иметь. Захотел — узнал время. Но ничего, вырастет, будут и у него на руке часы, как у директора школы. Костюм такой же, в полоску, портфель кожаный. А сейчас надо Старосту разворачивать, грузить-возить, работы непочатый край. Поторапливайся, мужичок. Мужичок с ноготок. Зимняя пора. Студеная. Все верно...

Шурка подошел к быку. Сено было съедено до последней былинки, лишь труха сенная виднелась на снегу. Бык, заиндевелый от морды до хвоста, стоял понуро, пережевывая жвачку. Ничуть он не повеселел от сена, и Шурка никак не мог знать, каково ему, болит что-то внутри или от-

пустило. Да и что толку гадать, раз приехал — работа ждет. Шурка стал на сани, дернул вожжами, направляя быка, сделал круг и остановился возле дальних кряжей. Помогая стяжком, он завалил на сани два толстых кряжа; сверху между ними — потоньше; вывез на торную дорогу и сбросил сбоку, справа от саней. На второй раз тоже три кряжа с левой стороны свалил. Когда будешь укладывать воз, с двух сторон удобнее грузить: себе легче. Так, еще один круг сделаем, еще круг...

Так он и возил по три кряжа, сделав четыре круга. Все же не по силе своей свалил березы Шурка. Он и раньше, отапывая, подрубая, понимал это, а теперь, как стал подымать на сани, почувствовал тяжесть кряжей, комлей особенно. Но ехать в лес — за дровами ехать. А березок, в оглоблю толщиной, можно и за огородом нарубить. Уважающий себя мужик никогда не станет валить кривые, корявые березы, соблазнясь тем, что они близко от дороги и не толстые. Настоящий хозяин ходит по лесу, поищет, подальше проедет, но уж привезет дрова, а не абы что, лишь бы воз считался. Привезет кряж к кряжу — ровные, белые. Их и на козлы приятно положить для распила, а уж колоть — прямо удовольствие: разлетаются под топором на поленья. Горят такие поленья отменно, жар устойчивый, печь прогреется до последнего кирпича. Не мог Шурка привезти дрова, какие под руку попадут. Тяжеловаты кряжи — ничего. Зато не стыдно будет с такими дровами в деревню въехать. И перед матерью не стыдно: первая оценит...

Скинув последние кряжи, Шурка хорошенько установил сани на твердом месте. Теперь ему предстояло нагрузить на сани дрова, уложить двенадцать кряжей, до единого. Когда валят березы недалеко от дороги, то к саням кряжи по-разному подтаскивают. Легкие — на плече, волоком еще: привяжет за тонкий конец веревку и тянет. Стяжком подкатывают, кувырком швыряют, то и дело ставя кряж стоймя. А у Шурки на этот раз вот как получилось — с двойной перегрузкой. Ничего другого придумать было невозможно сегодня.

Выровняв на дороге сани, ни на минуту не отвлекаясь от работы, не давая себе отдыха, живо стал вырубать он из тонкой березки поперечины. И еще срубил заодно такую же березку, на закрутку. Можно было бы и передохнуть малость, но потом начинать трудно: остынешь, руки-ноги ослабнут враз от отдыха — не поднять, не пошевелить ими. А уж как втянулся — и пошел, и пошел, и пошел. Сам себя

подгоняй, контролируй. Увяжет воз, тронется, дорогой и отдохнет. Так, закрутка пока не нужна — в сторону ее...

Ходили они с матерью прошлой осенью за клюквой. На Дальнее болото, верст восемь от дома. По ведру нарвали. Шурка тащил клюкву за плечами, в мешке, а мать так в ведре и несла, как смородину. Шурка устал, отставать начал от матери. И стал просить, передохнуть чтоб. «Отдохни, отдохни», — сказала мать, улыбаясь. А сама поставила ведро, отошла к кусту шиповника, порвала ягод в карман, вернулась. Так и не присела. «Пойдем, Шурка, — позвала она, — отдохнул?» Шурка подняться с пенька не может: затекло тело, занемело, болит. Мать помогла мешок надеть на плечи. Шагнул Шурка, едва ноги переставляет. «Не надо было садиться, — пояснила тогда ему мать, — расслабляться не позволяй себе в пути. Да еще с ношей. Идешь и идешь. Пока идешь — терпимо, а как присел — вставать трудно. Ну, ничего, помаленьку».

Шурка вырубил поперечины, примерил на сани — как раз. Без поперечин добрый воз не разложишь, не старайся. А уж таких вот двенадцать кряжей, как эти, ни в жизнь не укласть. Хоть и с отводами сани. На санях с отводами — розвальни называются — только по гостям раскатываться. А в лес и в поле они не гожи. В лесу отводами то за пень, то за дерево будешь задевать, того и гляди, сломаешь отводы. За сеном удобнее немного на розвальнях, но если впервой поехал, нет опыта, не разложишь воз, а солому и подавно: мелкая она. Под сено, солому тоже поперечины вырубают, длинные только, да несколько штук. Поперечины — короткие крепкие палки — кладутся на сани, чтоб пошире можно было разложить воз. Одну палку положат впереди, возле головашек самых, вторую — в конце саней, напротив крайних копыльев. Некоторые вырубают слегка выгнутые поперечины, как бы коромыслом, считается — удобнее на них. Шурка всегда прямые кладет: где их найдешь — выгнутые? Иной хозяин с одними всю зиму ездит.

Положил поперечины, проверил, хорошо ли привязана за левый задний копыл веревка, смотал ее до копыльев, чтоб не мешала, не путалась под ногами, воткнул рядом в снег стяжок: понадобится в любую минуту. Первыми на сани идут самые тяжелые кряжи — комли. Два комля. Толстые концы их кладут на заднюю поперечину, а тонкие — должны лечь на переднюю и пройти в головашки — те будут держать их. Следом еще два кряжа, но потоньше, по бокам толстых, на поперечины уже. Это — нижний ряд, че-

тыре кряжа. На них — второй ряд, опять же три толстых кряжа, тонкие наверх пойдут, подымать легче. На них — еще три, и на самый верх — два тонких, от вершины отпиленных. Вот вам и воз — двенадцать кряжиков. Уложены по всем правилам — можно проверить...

Валить-кряжевать уменье, сноровка требуются, а воз накладывать — тройне. Да силенка еще. И помощь, опять же, нужна. Не подымать — это Шурка и сам как-нибудь сделает — придержать хотя бы другой конец кряжа, чтоб не падал с саней. Упал, сбил поперечину — начинай все сначала. Если б три руки было у тебя...

Сани стояли на дороге, кряжи лежали по обе стороны. Бык терпеливо ждал, пока крикнут на него. Шурка выбрал самый тяжелый кряж, зашел с тонкого конца, нагнулся, подсунул под него руки в промерзших насквозь верхонках и стал подымать, покачиваясь на расставленных ногах. Поднял, подался чуть влево и положил в головашки. Зашел с комля, нагнулся, обнял его, стал разгибаться и не поднял — ноги утонули в снегу. Утоптал снег, снова сунул руки под кряж, напрягся, медленно выпрямляясь, поднял на живот и, задержав дыхание, не руками одними, а всем телом уже перевалил кряж на сани. Двинул, просунул в головашки подальше, поправил сдвинутую поперечину, нагнулся за новым кряжем. Одиннадцать оставалось уложить.

Руки работали. Он помогал им животом, упираясь в кряж, подставлял колени, клал концы на плечо, поддерживал кряжи головой, когда надо было освободить руки. Подымал, двигал, толкал, переваливал. С третьего ряда толстый кряж падал два раза, сбил Шурку. Лежа, не думая о боли, первым делом взглянул на штаны — не порвало ли. Целы. Положил наверх самый тонкий кряж, который теперь был ничуть не легче комля, прислонился спиной к возу, опустил руки, закрыл глаза. Он стоял так некоторое время, расставив ноги, опираясь спиной о кряж, редко и глубоко дыша раскрытым ртом, чувствуя, как остывают, мерзнут мокрые лицо и шея. О голоде он забыл. Пить хотелось, но снег есть Шурка не решился, он уже простуживался подобным образом. Надо было потерпеть до калинового куста.

Встряхнувшись, Шурка надвинул поглубже шапку, закрывая лоб, стал увязывать воз. Веревкой, прикрепленной к левому заднему копылу, он дважды обмотал свисающие с саней концы кряжей, протянул с правой стороны под наклеской — узким длинным брусом, насаженным на ко-

пыль сверху, — цепляя за копыл; временно закрепив веревку петлей на копыле, начал затягивать закрутку. Закрутка — две палки. Одна короткая — поперечина, другая длинная — рычаг. Короткую кладут поперек воза возле веревки, обмотанной по кряжам. Зайдя сзади саней, под веревку подсовывают рычаг, а под конец рычага кладут поперечину. Рычаг поднимают, заламывают до тех пор, пока тонкий конец его не ляжет к головашкам. Веревка, охватывающая кряжи, стягивает их, намертво прижимая один к другому. Если закрутка толстая и заламываешь рывком, любая веревка рвется шутя. Осторожно, чуя, как поскрипывает веревка, Шурка положил к головашкам рычаг — закрутку, прижал к кряжам, незанятой рукой перебросил свободный конец веревки через воз, сам, не отпуская закрутки, перелез по-за головашками, протянул под копыл веревку, завязал, опять перекинул сверх воза и еще раз затянул — завязал под головашками, с другой только стороны.

Воз был готов: наложен, затянут. Шурка обошел его: все сделано, как требовалось. Воткнул в головашки топор. Подсунул под веревку зубьями вверх пилу. Шубу пока не стал надевать, даже на плечи не накинул. Стяжок положил на воз, без него в дороге с грузом никак не обойтись. Оглянулся: все ли в порядке, ничего не забыл? Снегу утоптан, будто стадо ходило. Пеньки, отрубленные верхушки, сучья. Шурка поднял прут — погонять; постоял, как бы не решаясь тронуть быка. Воз большой, тяжелый воз. Двенадцать сырых березовых кряжей, один другого лучше, лежали на санях. Дрова. Их во что бы то ни стало надо было привезти домой. Сани под тяжестью вдавились: выезд все же не так тверд, как основная дорога. Полозья, должно быть, примерзли, трудно будет сразу взять воз с места. Но Староста — бык старый. Старые быки сначала вбок плечом надавят на шорку, сдвинут самую малость сани с места, а потом наваливаются на шорку, везут.

— Но-но, Староста, поехали! — осипшим голосом крикнул Шурка и взмахнул прутом. — Но-но, — крикнул он еще, — шевелись!..

Бык шагнул, натянул до отказа привязки, раскачивая, нажал плечом на одну оглоблю, на вторую, сдвинул сани и, утопая копытами в снегу, медленно потащил воз к основной дороге. «Если дотянет до главной воз без остановки и вывезет, дальше пойдет: дорога наезжена», — думал Шурка, идя за возом, опустив руки в верхонках, зажав в

правой прут. Въезд на центральную с боковой был плавным, с едва заметным подъемом. Крикнув для остротки на быка, Шурка забежал с левой стороны, подпирая руками, плечом чуть накренившийся воз, пока сани не выровнялись уже на убитой полозьями и ногами дороге.

— Тпру-ру-у! — остановил он быка. — Слава богу, выехали. Молодец, Староста! Теперь один путь нам, в деревню. Одна забота. Погоди маленько, отдохни.

Неподалеку от дороги заметил Шурка сухую сосенку — сушину: ее никак нельзя было пропустить. Наложит мужик воз, а сверху обязательно кряжика два сухих — на растопку. Это уж непременно, без сухих никто не возвращается. Спеша, выхватил из головашек топор, утопая, пробежал к сосенке, а ее и подрубать не надо было: снизу подгнившая. Нажал обеими руками на ствол — сосенка хрустнула и упала верхушкой к возу. Очищая сосенку от тоненьких слабых сучков, отрубая кривую вершину, вспомнил, что обещал братьям дуплянку на скворечники, но это уже в другой раз. До скворцов далеко еще. Приедет в марте с братьями сюда, пусть выбирают сами, какая приглянется. Сейчас ему не до дуплянок...

Сушина была легкая. Шурка вынес ее на дорогу, перерубил надвое и надежно уложил поверх кряжей. Воткнул на место топор. Теперь он сделал все, можно было трогаться. Снял мерзлые, продранные верхонки, засунул их под веревку, чтоб не потерять, натянул до глаз, завязал под подбородком шапку. Вынул из карманов, надел сухие шерстяные варежки. Осмотрел — отряхнул пальтишко, глянул на штаны: они были мокрые и мерзлые выше колен, холодили и мешали в ходьбе. Надел шубу, поднял воротник, запахнулся поплотнее, сунул руки в рукава шубы, крикнул на быка и пошел за возом, приноравливаясь к бычьему шагу. На воз сейчас ни в коем случае садиться не следует: как ни устал, иди — в этом твое спасенье. Иной, только выехал из лесу, сразу же на воз и сидит, как сыч на бане, до деревни самой. А потом снимают его полуокоченевшего, рта раскрыть не может. В холодную воду руки-ноги суют, чтоб отошли, молоком кипяченым отпаивают. На печку его. А он все одно на утро кашляет, хрипит, щеки огнем горят. Тоже мне работник. Или снегу наглотается, как воз увяжет. Пить ему, видите, охота. И — готов. Сначала ничего, пока распаренный, а домой приехал — расквасился. Раз-другой так съездит, поймет небось, что можно в дороге, а чего нельзя.

Шурка шел и шел за возом, чувствуя, как под пальтиш-



ком и шубой остывает тело, гадая, долго ли он пробыл в бору. Вот-вот должны были наползти из-за спины сумерки: в лесу всегда раньше темнеет. Часа четыре примерно есть. К шести доберутся они до деревни. В седьмом, возможно. Мать как раз вернется из телятника. Будь солнце, по-другому бы все выглядело вокруг. День так и простоял в морозной мгле; с темнотою похолодает сильнее, но Шурка к этому времени будет уже дома, греться на печи. А Староста все-таки молодец. Везет помаленьку. Старый, больной, а везет. Да и что делать ему, как не везти, такова уж их бычья доля. Сена Шурка брал большую охапку — наелся бык, дома еще дадут, напоят. Жалей не жалей быка — легче ему от этого не станет. И Шурка молодец. Выдюжил. Выдюжил день в лесу, на морозе, позавтракав драниками. Да не просто в лесу был — дрова готовил. Все делал как следует. Себя заморозить не давал, руки разок всего снегом оттер: не гнулись пальцы. Верхонки порвал — не беда, мать другие сошьет. Зато воз какой! Не всякий ровесник такой привезет. Витька Дмитриевин привезет, он посильнее, а остальные... За дровами ехать — Шурка любого из никитинских ребятишек на спор вызвать может. Мало кому уступит, это он чувствует.

С осени еще, по первопутку, на этой же вот дороге встретился ему порожняком Аким Васильевич Панкин. После обеда дали мужику быка, ехал он в лес, а Шурка возвращался груженный. Свернул Аким Васильевич в сторону, уступая путь, остановился, здороваясь. «Ну, парень, — сказал он, одобрительно качая головой, — как и наложил ты один только, удивительно. Настоящий крестьянский воз. И дрова колкие. Хозяином растешь, видно. Матери подмога». Шурке тогда от его слов жарко стало. Если похвалил мастеровой и уважаемый человек, Аким Васильевич, значит, ты и вправду чего-то стоишь. А сегодняшний воз поболее того.

По быку видно, что воз тяжелый. Не успеть коротким зимним днем дважды обернуться парнишке в бор, так он в одном сумеет привезти чуть ли не два. Устал, правда, ну так что ж. А как же иначе. Это лишь лодыри не устают. Поработал, заморился, отдохнул. Набрался сил — иди опять работай. Тем и живет человек. Ничего. Считай, повезло тебе. Счастливо съездил. Мороз вот жжет. Ну и что, зимы без морозов не бывают. Дрова — ерунда. Подумаешь — воз дров напилить, привезти. Если бы ты за сеном поехал либо за соломой, вот где лихо. За соломой особенно. Тяжелее

нет, кажется, ничего. Хотя всякая настоящая работа гяжела: дело ясное. Легко, говорят, пряники перебирать, сортируя. Легко на печи...

Ездил Шурка и за сеном, и за соломой. Не воза привозил — волокуши. Солома мелкая, навильник большой не возьмешь, скользит, ползет с воза, ветром разносит ее. Да что делать: плачь, а накладывай. Когда в скирду сметана солома, уж то хорошо, что за ветром сани поставить можно, на одном месте накладываешь. А ежели в кучах солома, под снегом, в пролитых с осени дождями, промерзших, — тут уж, как говорят бабы, хоть репку-матушку пой. Лопату бери с собой, откапывай кучи сначала, потом сноси на воз, а они одна от другой порядочно. А если надумаешь ездить между кучами, сползет солома с саней вместе с поперечинами. Вот работа — вспоминать не хочется. Попробовал Шурка в одиночку — зарекся, с матерью стал ездить, не стыдась.

А дрова... чего не возить. Безветрие, дорога накатана. Февраль настанет, метели начнутся, поползет, струясь, поземка по полям. Едешь, а след тут же на глазах твоих замечает. Порожняком — ничего, а с возом, да еще в сумерках...

Весной, в конце марта, начале апреля, подтаявшие снега осядут, дорога подымается бугром, трудно тогда ездить по ней: сани то и дело швыряет под раскат. Пустые пусть себе скользят-катаются, а с возом — стяжка из рук не выпускаешь, бегаешь с одной стороны саней на другую. Съездил, называется. С Шуркой не случилось, но видел он не раз на этой дороге опрокинутые сани.

По весенней дороге, когда она горбом поднялась, высокий воз — беда, поменьше накладывай да пошире. А кряжи пили вровень с санями, ну, четверти на две подлиннее. Чем длиннее кряжи, тем чаще забрасывает сани.

Раскаты. Метели. «Запрягаешь в лес, — втолковывал Шурке отец, бывало, — проверь все до последней мелочи. Не надейся на авось. Сам себя подведешь, не дядю чужого. Ну-ка, подумай, что мы с тобой не сделали на этот раз?»

Когда пришло время Шурке одному в лес ехать, волновался он сильно: сумеет ли напилить — привезти. Уж он собирался-собирался. И в бору, прежде чем начать что-то, продумывал от начала до конца, как с отцом они делали это. Второй раз съездил, третий. А потом привык. Лишь бы получить быка, а на погоду внимания не обращаешь уже. Будешь морозов бояться или метелей, замерзнешь и в своей избе. Рассказывали же по деревне, смеясь, как ленивая

молодуха на печи замерзла, ждала, когда погода наладится. Дураку ясно, что за дровами удобнее в марте ездить, хоть и раскаты, и дорога, того и гляди, рухнет. А ты сумей в декабре привезти, в январе: снегу уже всюду по пояс, и морозы трещат, рта не раскрыть. Мокрый палец приложил к обуху — он примерз. Ресницы льдом схватывает. Хорошо в Африке. Там, читал Шурка, зим совсем не бывает...

Тепло, набранное в работе, постепенно уходило, и Шурка стал мерзнуть. Мерзли ноги, начиная от незащищенных короткими голяшками пимов и выше, где к телу прилегали мерзлые, а потом просто мокрые штаны. Шурка запахивался теснее, прикрывая колени полами шубы, но колени занемели уже, и, чтобы отогреть их, надо было входить в тепло, сбросив хрустевшие при каждом шаге штаны. Отвлекаясь, Шурка старался думать о постороннем, не связанном с дорогой и дровами, возвращаясь, однако, помимо своей воли к ним, и опять уходил мыслями далеко, забывая, что он в пути. Голова опущена, согнутые в локтях руки прижаты к бокам.

Шурка думал о том, что вот удивительное дело, есть год, в нем триста шестьдесят пять — триста шестьдесят шесть дней, делится год на четыре части, части эти называются временами года, каждое время хорошо само по себе, приносит свои радости, но почему-то всегда получается так, что зимой ты ждешь весну, весной — лето, летом — осень, осенью — опять же зиму. Недавно совсем, кажется, была осень, закончились сухие погожие деньки, и начались дожди, а с ними — грязь непролазная. Всюду мокро, уныло, нет охоты выходить на улицу; сидишь у окна или на печи, ждешь заморозков, первого снега. Снег выпадает неожиданно, бывает, на сырую землю, валит ночь и день, преобразая все окрест. Выскакиваешь из избы под снег, запрокинув лицо, раскрытым ртом ловишь пушистые хлопья, визжишь, кричишь от охватившего тебя восторга, швыряешься снежками, бегаешь по ограде, переулкам, оставляя следы. Снег уже не растает, он скрыл мягким слоем расквашенные дороги, пустые поля и сжатые хлебные полосы, снег обрядил деревья, лежит на крышах, стогах, жердинах городьбы — бело во все концы. Скорее делать лыжи, ремонтировать санки. Глядишь, через неделю над речными берегами вырастут сугробы, превращаясь в снежные горы. Как здорово скатиться с такой горы, проложить первую лыжню; чем круче берег, тем шибче захватывает дух, ветер заносит наушники шапки к затылку, на глазах слезы, а ты

летншь, слегка пригнувшись, чувствуя, как под пальтишком колотится сердце...

Ждал Шурка зиму ненастным октябрем, пришла своим чередом зима, наигрался он в снежки, накатался с гор на санках и лыжах, сделанных еще отцом, бегал на них в ближайшие перелески, высматривал заячьи следы. Ноябрь минул, декабрь, вот уже января половина, наскучила зима, намерзся Шурка, выезжая в лес, в поля, шагая всякую неделю во Вдовино и обратно. Скорее бы весна. Все время года ему по душе, каждое время любит он единственной своей любовью, но весну выделяет особо. Самая пора его. Лето, говорят, красное. А весна — она, верно, из всех цветов соткана. В первых днях марта еще и не пахнет весной, еще метели могут кружить, сшибаться на открытых местах, а вот в конце месяца... Снега потемнеют, осядут. По ночам морозцы сковывают верхний снежный слой — наст образуется, а днем, в полдень, теплынь. Глядь, по берегам ручьев верба расцвела, распушилась желтыми барашками. Ручьи шумят водой. Проталины первые. Ледоход на Шегарке — событие в жизни ребятишек. Жердинку сухую тонкую — в руки, вскочил на льдину, и понесло тебя, швыряя от берега к берегу, до очередного затора — берегись! Расшибет льдину!..

Вода. Вода. Половодье кругом. Над деревней косяки гусей проходят дальше на север, кричат волнующе. Утки прилетели, садятся на полосах, в лывы. А неделей раньше — скворцы (скворечники у тебя давно готовы). Журавлей слышали поутру. В голых березняках дрозды трещат, облюбовывая место для гнездований. Сороки уже свили гнезда. Если сапоги крепкие, бери топор, отправляйся за огороды к старым березам — пить сок, не упускай времени. Домой принеси, братьям и матери. Весна. Весенние праздники. Мать обязательно справит что-либо из одежды. Ног под собой не чуя, вылетишь в новой рубахе на подсохшую поляну играть в лапту, а там приятели-ровесники орут, посятся с мячом, скатанным из бычьей шерсти. Один картузом хвалится, на этом штаны с карманами. Третий во всем старом вышел, но его подстригли к празднику, он тоже радости полон.

Весна. Вода. Едва заметна зеленая травка на пригорках. Прогретые одонки сена в полях. Синь, звень и на земле, и на небе. Тянет куда-то из дому — шел бы и шел. Дуется обо всем сразу...

С каждым днем теплее, зазеленел лес, прокатились,

громыхая, из конца в конец по небу весенние грозы с ко-
сыми сверкающими дождями, зацвела черемуха, в огородах
посадили картошку, скоро каникулы. Черемуха расцвела—
начала клевать рыба. Делай удочку или снимай старую с
крыши сарая, ходи по берегам, рыбацъ, подкармливай
семью, пока сенокос не начался. «Косить выехали», — ска-
жет мать. Через недельку бери быка и — в звено, копны
возить. Июнь, июль, август занят на колхозной работе: се-
нокос. Если даже и дождливый день, все равно поезжай на
табор, бригадир посидеть не даст, найдет заделье. Ягода
поспевает в лесу. Кислица — ранее других, а затем малина,
смородина, костяника, черемуха. Как свободная минута —
в кусты. Целыми днями сидишь на бычьей спине, штаны
протираешь. В полдень — на табор, повариха там обед уже
сварила. Табор на берегу Шегарки. Быки, искусанные пау-
тами, рысью бегут к воде пить. Иной в воду заберется, од-
на голова видна. Напьются и — пасть по берегу. А ре-
бятишки игру затеют после обеда, пока взрослые отдыхают.

К концу лета надоест тебе бык, накусают комары, пау-
ты, слепни да мошка, вдоволь наешься ягод, задница огнем
горит от ерзанья по бычьей спине, не милы уже колхозные
обеды, и чем ближе к сентябрю, тем чаще вспоминается
школа — только и разговору о ней. Соскучишься по школе
самой, по приятелям-одноклассникам из других деревень,
по учителям. Тетрадки надо покупать, учебники. Вот и
осень. Сенокос закончился, началась жатва хлебов. Быка
ты отдал в работу, сам стал учиться. Если сентябрь ясный,
теплый, весь месяц изо дня в день ходишь из школы до-
мой, помогаешь в огороде. А как потянули дожди — неде-
лями живешь в интернате, а в субботу вечером — по до-
мам. Самое скучное время для Шурки — октябрь. Редко
случается, что в октябре сухо. Дожди...

Бык остановился, не дотянув до калинового куста. Воз-
ле куста Шурка сам собирался дать ему передохнуть. Бык
остановился, опустил голову, и не двинулся с места, пока
Шурка не закричал на него, взмахнув хворостиной. Это не
понравилось Шурке. Обычно быки, постояв немного, тро-
гаются без понуканий. Чуют — домой, тащат воз из по-
следних сил. Шурка решил, что в следующий раз, как вы-
падет ехать за дровами, Старосту он ни в какую брать не
будет, пусть хоть как угодно настаивает бригадир.

Идя за санями, он время от времени покрикивал для
острастки на быка, не давая тому сбавлять шаг. Напротив
куста Шурка не закричал Старосте: «Тпру-у!» — как на-

мерен был сделать. Если бык пойдет сам по себе, он, грясь, нарвав калины, побежит догонять воз.

Оглянулся от куста, бык уже стоял. Калины на кусте было немного, кистей шесть. Три кисти, что покрупнее, Шурка сорвал, остальное оставил на будущее. Не он, так кто-нибудь сорвет. Сейчас и этих достаточно. Он вроде притерпелся маленько, ни есть, ни пить так остро не хотелось, как в лесу, чувствовалось только, что пусто в животе, и все. Держа кисти в руках, на ходу оторвал губами от одной несколько твердых промерзших ягод и стал неспешно жевать их. Кисло-сладкие от мороза, они вызывали во рту обильную слюну и спазмы в горле и желудке. Бык взял воз с места после окрика, и Шурка опять пошел следом, сжавшись в комок, сосредоточенно жуя холодную калину.

Из всех ягод, что знал он, одна калина оставалась в зиму на ветках и держалась до весны. Весной, оттаяв, делается она водянистой и невкусной. Малина, перезрев, осыпается, опадает скоро и смородина, черемуху склевывают дрозды. Клевали птицы и калину, но неохотно. Из пареной калины мать, добавив в нее немного тертой свеклы, пироги печет по праздникам. Калину, как и шиповник, поздно рвут, в последних днях сентября, перед заморозками. С осени, хоть и красна она, красива на вид, а в рот не возьмешь — кисла. А вот прихватит морозец раз, другой — сладость в ягоде появляется. Едут ребятишки в лес и посматривают туда-сюда, не видать ли где калинки. Пожевать, покислить во рту. Поел — и пить не хочется, уж и то хорошо. А сытость от нее какая — ягода...

Шурка съел все до последней ягодки и вздохнул, оглядываясь. Незаметно наполнила темнота. Вокруг, в недалеком пространстве, что-то еще было различимо, а далее сливалось все, черным-черно. Возвращаясь из леса, более всего не любит Шурка вот это время — сумерки, переходящие внезапно в темноту. Глухо кругом, ни огонька, и ты один с возом на долгой дороге. Звездочки едва теплятся в небе, не разгорелись, луна не поднялась из-за леса, только и свету, что от снега. Знаешь, что бояться нечего, никто не тронет, не догонит со спины, не утащит в темноту, а все равно не по себе как-то. Впереди воз скрипит, ты за ним, маленький, согнутый, закоченелый. Думается, конца не будет дороге, кажется, в обратную сторону от деревни едешь. Ни силы в тебе, ни уверенности, что утром были, — растерял. Пробежаться за возом разве...

Дома, наверное, печка жарко топится, братья сидят воз-

ле открытой дверцы, книжку один другому читают или просто разговаривают. Мать пришла с работы, готовит ужин, а сама нет-нет да и взглянет в окно заледенелое, на дверь, прислушается, не подъехал ли ко двору Шурка. А ему еще ехать да ехать. Ужинать не сядут, будут ждать его. Может быть, решили сегодня на ужин картошки испечь в печке. По субботам, когда он приходит из интерната, после бани иногда пекут всей семьей на ужин картошку, сидят около печи, сумерничают. «Посумерничаем давайте, ребята», — скажет мать. Отберут десятка полтора картофелин, не мелких, но и не шибко крупных, пропеклись чтобы. Прогорят поленья, отгребет мать кочергой угли вдаль, а на раскаленные колосники положит рядом картофелины. Шурка очень любит такие вечера. Завтра воскресенье, свободный день. В избе тепло, прибрано, пол помыт. Фитиль лампы прикручен, дверца печки открыта, тянет оттуда устойчивым жаром. Хорошо тогда сидеть напротив, поворачивать длинной лучиной картофелины, смотреть на мерцающие, подернутые синим тонким огнем уголья, думать о чем-нибудь, или разговаривать с матерью, братьями, или просто молчать. На улице метель, мороз, да тебе-то что. Ты отшагал шесть верст от деревни до деревни, не замерз, не занесло тебя пургой в бездорожье, жив, здоров, в баньке прогрелся-помылся, а теперь отдыхаешь. Рядом притихшие братья, тоже в печку смотрят, картошку ждут. Ходики стучат на стене. Мать на лавке что-нибудь штопает или вяжет, рассказывает, как раньше жили, когда молодая она была совсем. И при отце так сживали, и отец рассказывал, много он знал чего. Только о войне не рассказывал: не любил вспоминать.

Федька с Тимкой в конце недели поджидают Шурку из интерната, он им книжки приносит, советует, что прочесть. Во Вдовине две библиотеки — и в школе, и в деревенском клубе. Шурка в своей школе учился, в начальной, а за книжками частенько во Вдовино бегал. В начальной перечитал, успел, книжек мало было и все для первоклассников. Братьям любопытно: как это там, в интернате? Расспрашивают Шурку. Охота им в пятый класс скорее, в интернат. «Успеете, — говорит он братьям, — никуда семилетка от вас не денется. Небось потопаешь по морозу шесть верст или в метель — пошмыгаешь носом. Узнаете, что почему». Шурке самому в свое время не терпелось попасть в семилетку, дни торопил. А вот уже три года, считай, незаметно пролетели. Последнюю зиму дохаживает, выпускник.

Январь, февраль, там весна, экзамены, и... свободные птицы. Выдадут на руки свидетельства об окончании семи классов. Хочешь — в город в ремесло подавайся; хочешь — в Пихтовку, в десятилетку, иди, тянись до аттестата. В Пихтовке многие по квартирам живут, но и интернат есть. А нет желания дальше учиться — оставайся в деревне родной, быкам хвосты крутить, как шутят мужики.

Кто ленивый или неспособный совершенно к учебе, про того так и говорят в деревне: ну, этому всю жизнь быкам хвосты крутить. Едет парень в поля за сеном, соломой, спешит, а дороги нет, перемело-сровняло, бык медленно шагает. Становится тогда возчик стоймя в санях, хватается за конец бычий хвост и давай крутить его. Бык от боли взмывает даже, летит по целику, ног не чуя, из оглобель готов выскочить. Отсюда и пошло про бычьи хвосты. Крутить хвосты — значит на быках работать.

Можно и в колхозе, думал Шурка, слыша такие слова от взрослых, ничего страшного. Не обязательно на быке. Иди в бондарку, где Аким Васильич работает, научат рамы делать, двери. Сани, что так зимой нужны. Столяром-плотником станешь, чем плохо. Стружка сладко пахнет в бондарке. И щепка... Правда, другой работы, кроме столярной да плотницкой, не мог по душе подобрать в деревне Шурка. А столяром бы с удовольствием. Согласен, хоть завтра...

Еще в четвертом классе проходил у них урок на тему: «Кем быть?» Каждый на отдельном листке должен был написать, кем он станет, когда вырастет. Но никто не написал, что станет плотником или обычным возчиком. Ребятишки хотели быть — кто летчиком, кто моряком. Шурка — путешественником. Он тогда как раз книжку увлекательную про путешествия читал. А что девочки писали, он уже и не помнит. Да кто всерьез мог и загадывать в том возрасте: кем быть? В четвертом-то классе? Это вот сейчас, в седьмом. Ты выпускник, осенью тебе четырнадцать исполнится. Самая пора подумать. Хорошо быть путешественником, знает Шурка, да как стать им? На путешественников специально не учат, это он от учителей узнал. Кто географией увлекается, изучает ее, тот становится путешественником. Шурка любил географию...

Начальную-то школу еще кое-как можно закончить. В своей деревне. Домой прибежал, похлебал супчику. Пустой суп — никто не видит. Штаны с заплатами — ничего. А в семилетку пошел — уже другое дело. Живешь в интер-

нате, на чужих глазах, на людях. Еду нужно брать с собой получше, одежду носить получше. А где взять ее, еду-одежду? Тут уж лично от тебя многое зависит. Терпение надо, тягу к учебе, к книжкам. Не думай особо о еде. Выучишься — наешься. И одежда будет крепкая и нарядная. А пока береги вот это пальтишко, помни, что оно одно у тебя, и надейся на лучшие дни. Продержался — молодец. Не выдержал — вини одного себя...

Начальная школа. Школа Никитинская на берегу Шегарки, первый класс, буквы, букварь... Первого сентября пошел Шурка в школу, а третьего сровнялось ему семь лет. Второй, третий классы... Звонки на уроки, перемены, игры. Катание с горы после занятий. Школьные концерты по праздникам. Четвертый класс, последний. Перешел в пятый, тебе одиннадцатый год. Лето работаешь на сенокосе — ждешь не дождешься осени, чтобы пойти во Вдовино, в семилетку. Две недели осталось. Неделя. Завтра в школу, занятия...

Школа Вдовинская — на краю деревни, поле под окнами начинается. Входишь во Вдовино: крайняя изба по правому берегу — Ивана Крылова, рядом магазин, пекарня, дальше чуть по луговине — амбары колхозные, а за ними школа. Большая, буквой «Г» построена. Просторная ограда из штакетника, калитка, турник в ограде, лестница для гимнастики, молодые деревца. Улица, начинаясь от школы, проходит к мосту через Шегарку. За мостом сразу почта, радиоузел.

Как соберутся перед занятиями в ограде школьной — из семи деревень. Галдеж несусветный. Линейка, звонок, разбрелись по классам, притихли. Начались занятия. Первыми днями непривычно все, понову: сама школа, учителя, незнакомые одноклассники из других деревень, интернатская жизнь. А к зиме освоился, перезнакомился, сдружился, будто бы и начинал в этой школе. Классы светлее, просторнее, не то что в начальной. Широкий зал, где линейки и концерты проходят. Гардероб, учительская, директорский кабинет. Высокие, в каждом классе, печи. Пятый класс взрослый, шестой еще взрослее, седьмой — те особняком держатся, не подходи. Малыши тут же, с первого по четвертый, на них старшие классы внимания не обращают. А интернат, он недалеко совсем от школы, по ту сторону пруда, на берегу. От школы к интернату тропка напрямую ведет мимо огородов. Через пруд переход дощатый сделан. Но можно и вкруговую пробежаться к школе: мимо сель-

совета, по мостку, перекинутому над горловиной пруда, мимо клуба деревенского и конторы. Если утро хорошее и время лишнее есть...

Интернат — бревенчатое рубленое здание, длиннее обычной избы, но поменьше школы. Четыре комнаты в нем, в трех мальчишки живут, в четвертой, большой, напротив кухни, — девчонки. Зал посредине для занятий, здесь же и столовая. Раздевалка. Печи. Сдаешь на кухне продукты, повариха готовит еду. Дрова привозит школьный завхоз, а пилят-колют сами ученики. В школу ближе всех лезаводским ходить — версты три, пожалуй, до деревни Лезавода. Алексеевским дальше, носковским — еще дальше. Каврушка-то на север, в семи верстах от Шегарки. Это по ту сторону Вдовина, к Пономаревке. До Никитинки от Вдовина шесть верст. А дальше всего юрковским: шесть от Юрковки до Никитинки да шесть от Никитинки до Вдовина — двенадцать получается. Сколько же раз, интересно, Шурка за три учебных года прошагал туда и обратно, от Никитинки до Вдовина — не счесть. Идешь в воскресенье вечером или в понедельник утром в школу — в руках трехлитровый бидончик с молоком, за спиной сумка, в ней две буханки хлеба, сала кусочек, пяток луковиц, лапша самодельная в мешочке, пирожки какие-нибудь — продукты на неделю. Мешок картошки потеплу еще завез ты на быке в интернат. Мороз, метель, дождь и грязь — не считается, ты должен прийти и успеть на первый урок. Притащишься в воскресенье вечером, а в интернате холодина (хоть волков морозь, как говорит мать). Уборщица не протопила печи: выходной у нее. Скинул пальтишко, валенки, под одеяло, не раздеваясь, забрался с головой и дыши, согревайся. В обычные же дни тепло, топят, дров не жалеют. Вечерами в зале и комнатах лампы горят. Уроки сделал — можно в шахматы поиграть, книжку почитать, поговорить, поспорить с приятелями о своем, пока воспитательница не начнет спать укладывать. Да и после того, как потушат лампы, долго еще шепчутся ребяташки: тем для разговоров множество, дня не хватает.

В пятый класс только начал ходить Шурка, в первых днях сентября, после листопада, по ясной погоде, стали они всем интернатом чуть ли не от окон самых до пруда — саженой сто до воды — деревья высаживать, чтоб сад свой был. Семиклассники ямки копали, другие ребята с завхозом на телеге из ближайшего перелеска саженцы везли, несли в руках. Не одних тополей, берез да осин — плодовых

кустов насадили много. Распланировали сначала — учитель географии руководил. Здесь, краем, — березовая аллея. Параллельно ей, другим уже краем участка, — тополиная. На высоком месте — широкая гряда малины, ниже немного — смородины. Шиповник, рябина, калина. По берегу самому — осины с раkitами. И по всему участку вразнобой кусты черемухи, чтобы белым-бело в глазах, когда расцветет. Посадить успели, и — заморозки пали на землю, следом снег. Гадали ребятишки: примутся, не примутся деревья? Прижились, до последнего прутика. То ли земля благодатная, то ли выкапывали-садили старательно, не повредив корней. Зазеленел сад в первую же весну. Разросся, шумят под ветрами деревца, цветет черемуха. Вот и с садом грустно будет расставаться. И со школой. И с товарищами. И с учителями. Школа эта, семилетка, вторая в жизни Шуркиной и, чувствовалось, последняя. В Пихтовке ему не учиться, останется он с неполным средним образованием.

Кроме своих, деревенских приятелей, завелось у Шурки много новых. Просто ходишь в школу — одно, а когда подряд три зимы живешь в интернате — другое дело, лучше узнаешь друг друга: на глазах постоянно. Разные ребятишки учились вместе с Шуркой. Один добрый, второй хитрый. Этот грязнуля, умываться забывает, хлеб не возьмешь из рук его — черны. Жадный. Злой. Ябеда. А тот силой хвастает, так и ищет, с кем бы сцепиться. На уроках подсказки ждет, мнетя, краснеет; на перемене — первый храбрец. Есть, и немало, желающих показать себя, хоть чем-то, но выделиться. Окно разбил — геройство. Девчонку дернул за косу, удрал с урока.

Пятиклассники первое время особняком держались, каждая деревня сама по себе. Тогда-то больше всего и стычек случалось. Один задерется чего-нибудь, остальные на помощь спешат — выручка. Не любил Шурка с мальства ни ссор, ни драк. Он и у себя в деревне, схватятся ежели ровесники при игре в лапту, разнимать старался. И здесь растаскивал несколько раз. В шестом классе наскочил на него Пашутин из Алексеевки. «Ты чего, — кричит, — вмешиваешься?! Правил не знаешь: двое дерутся, третий — не лезь?!» Не одолел тогда Шурка обидчика, силенок не хватило. Да и не в этом дело. Что за привычка — кулаком правоту доказывать. А потом, какой бы ты сильный ни был, всегда найдется кто-то сильнее тебя. Каково тебе придется? «Дурак, — сказал он Пашутину, сплевывая

на снег кровь, — ты бы лучше возле доски себя показал». У него и зла даже не было на Пашутина, просто грустно было, что вот драться пришлось. С Пашутиным помирились они позже, раз и навсегда. Шурка предложил помириться. Товарищами не стали, но и не ссорились никогда...

Не доезжая до Большой грязи, бык остановился и долго стоял, не слыша Шуркиных окриков. Прутину Шурка потерял, идти в кусты выламывать новую не хотелось, хотя кусты были рядом. Руки совсем ооченели — пальцами едва шевелил. Сейчас, как ни бегай, ни прыгай, не согреешься: мокрое на тебе все, мерзлое. Одно спасенье — теплая изба, печь прогретая, чай горячий. Шурке казалось, что не доедут они уже никогда до деревни, так медленно двигались. Луна взошла наконец над лесом, осветила зыбким голубоватым светом поляны, темнота отодвинулась по сторонам, спряталась в сограх. Веселее немного стало, не так одиноко. Напрягая горло, Шурка громко закричал. Бык тронулся.

— Господи, хоть бы силы хватило у быка... — просил Шурка. — Да упряжь выдержала. Скорее бы Дегтярный ручей, а там уж и недалеко...

Из учителей во Вдовинской школе более всего Шурка привязался к учителю географии — их классному руководителю с пятого класса. Подлизой Шурка никогда не был, учился ровно, случалось, и тройки получал — по химии, скажем. Пятерок меньше, чем четверок, четверка — обычная отметка, которую ему ставили на уроках и выводили в табелях по всем дисциплинам. Отличников круглых в школе не было, Шурка, наверно, смог бы учиться и на «отлично», но он никогда не напрягался при заучивании уроков, не зубрил. Прочел разок-другой, что само по себе осталось в памяти, то — твое, никуда не денется. «Через силу ничего делать не следует в учебе» — так понимал Шурка. Вызубрил иной, лишь бы ответить, а спроси на второй день, в каком году был заключен договор Олега с греками, он уже и не помнит. Из всех предметов, преподаваемых в школе, Шурка прежде всего географию выделял, литературу. К остальным предметам как-то был равнодушен. Но и их надо было учить — люби не люби — спрашивают. Начнут на классном собрании разбирать отстающих: тот плохо учится, тот слабо... Что будем делать? А что делать? Ленивого, конечно, можно подстегнуть: пристыдить или еще как-то подействовать. А если память плохая у человека, просто

слаб в учебе — тогда уж ничего не поделаешь. Собрания не помогут...

Учитель географии добрым был человеком, держался с ними равно. Говорит негромко, очки, черные волнистые волосы назад. Покашливает. Третий год в школе работает, после института во Вдовино приехал. Он еще и самодеятельностью школьной руководил. Шурка во всех концертах участвовал: песни пел и стихи читал. А в пьесах не получалось у него. Песни он с первого класса пел, один и в хоре. Если в хоре — запевал. «Девчонкой бы тебе родиться, — говаривала мать, глядя на Шурку. — Не мужской у тебя характер, мягкий. В отца ты уродился — и ростом, и лицом, и характером. Ох, трудно будет». Научила мать Шурку петь «Лучинушку». Он поет песню эту, когда один остается. А в концертах школьных ни разу не исполнил: печальная очень песня. Шурка много песен знает, веселых, грустных...

На новогоднем концерте, перед каникулами, пел он вместе с хором. Школьный зал большим кажется со сцены, народу полно сошлось: ученики, родители. «Песня «Рос на опушке рощи клен...», — объявляет ведущий концерта, — запекает ученик седьмого класса Александр Городилов, аккомпанирует на гармошке...» Потом Шурка читал стихи. «Мороз и солнце, день чудесный...» — нараспев произносил он, и голос его, как и в песне, подымался от волнения до дрожи. Жалко, что мать не видела его в эти минуты. Звал ее на концерт, она отказалась — далеко. Шурка к седьмому классу вытянулся: стоит на сцене — рослый, гибкий, отпущенные волосы набок аккуратно зачесаны. Читая стихи, голову вскидывает и рукой помогает правой, для выразительности. Аплодировали ему...

На классном собрании, где подводили итоги за полугодие, после всех важных вопросов затеяли вдруг разговор о том, что вот скоро выпуск и у кого как в дальнейшем сложится судьба. Кто намерен продолжать учебу, гот понятно, пойдет в Пихтовскую десятилетку, а кто не имеет возможности дальше учиться, тот... Таких нахолилось немало, и среди них он, Шурка. Класс зашевелился, загомонил разом. Классный руководитель сидел на обычном своем месте, за столом, улыбаясь, смотрел на ребяташек, слушал. Шурка ни единого слова не сказал. Он и сам не знал толком, чем станет заниматься, получив свидетельство. С матерью окончательно пока не советовался, считая, что до выпуска еще достаточно времени, но для себя Шурка уже

решил: в восьмой класс не пойдет, как бы мать ни настаивала. Был бы жив отец, он бы и слушать не стал Шурку. Отец хотел, чтобы все сыновья получили среднее образование, а уж там пусть смотрят сами, кому куда. Но десятилетку закончить непременно. Но отца нет. При нем Шурка ни о чем другом и не помышлял, как о восьмом классе. Да и какие тогда могли бы возникнуть сомнения: конечно, учиться, не отставать от ровесников, с которыми начинал в первом классе...

Если бы десятилетка была в Пономаревке, за тридцать от Никитинки верст. Но она в районе, в Пихтовке, за шестьдесят. Конечно, Шурке, как сыну бывшего фронтовика, место в интернате дадут, но одевать и кормить его должна по-прежнему мать. В десятилетку надо ему все новое, в этом, что носит сейчас, не пойдешь, в пору год учебный закончить. Братьям достанется.

Пиджак нужно, штанов двое на смену, две-три рубахи, сапоги, валенки, кепку, шапку, пальто. Где все это мать возьмет? А нигде не возьмет. Продукты еще. Как их туда отправлять? Из Вдовинского интерната он каждую неделю домой является, хоть тут света белого от метелей не видеть. А из Пихтовки на каникулы приезжать станешь, приходиться, вернее. Приезжать, если подводы попутные попадут. Отказаться от интерната, попроситься на квартиру — знакомых у матери нет в Пихтовке. К кому-нибудь? Да не просто на квартиру, а с кормежкой, чтобы не думала мать, не переживала. Тогда надо платить и за квартиру, и за еду, и за стирку. А сколько хозяева затребуют, неизвестно. Были бы родственники — дело другое, хотя не у каждого родственника и поживешь. Это уж так.

На квартиру... тяжело, надо матери от дел колхозных, домашних отрываться, в Пихтовку ехать, искать хорошую квартиру, чтобы к Шурке относились уважительно, есть давали вовремя да условия были для учебы. А как большая семья — где ж в тесноте выучишь? За все это надо платить, и платить деньгами. Откуда у матери деньги — смешно говорить. И помощи она лишится Шуркиной еженедельной, если перейдет он в десятилетку. За дровами — сама, за сеном — сама, а сколько всякой другой домашней работы, где Шуркины руки ее выручают. Вот ведь досадно то как... Хорошо пихтовским — с первого до десятого класса в одной школе, никуда ехать не надо, беспокоиться, хлопотать об интернате...

Учиться надо, слов нет, дальше надо учиться, но так,

чтобы с рук матери долой. Ей и с младшими забот хватит. В училище поступать, вот что. В железнодорожное, допустим, — лучше не придумаешь. Шурка листал однажды журнал «Огонек», а в нем как раз об училище железнодорожном написано было. Есть, оказывается, в областном городе такое училище, железнодорожное, набирают туда ребят определенного возраста, в основном с семилетним образованием. Учат по трем специальностям, кто какую пожелает: помощники машинистов, слесари-ремонтники и электрики. Учатся два года. На время учебы курсанты на полном государственном обеспечении. Одевают их, кормят, живут они в общежитии. Внизу, на всю страницу, фотография: новенький паровоз, а возле паровоза группа улыбающихся ребят. Форма какая на них, — загляденьте! Шинели суконные, длинные, рукава с обшлагами, пуговицы блестят. Фуражки форменные. В ботинках курсанты, хромовых, наверно. Ох и форма! Из-за одной формы поступишь. После окончания училища, читал Шурка, выпускников направляют работать. Вот куда надо ему. И раздумывать нечего. Как приедет на каникулы из города в форме, покажется перед ровесниками, перед деревенскими — то-то матери будет радостно.

А мать пока перебьется как-нибудь с ребятишками. Закончит Шурка — работать пойдет, помогать станет, денег посылать. Уж тогда-то Федьке с Тимкой не надо будет размышлять после семилетки, что делать. Учись до аттестата. Получил аттестат и прямым ходом — в институт. Поступит же Шурка непременно на помощника машиниста. Сиди себе в кабине паровоза, управляй, а он катит по рельсам. Через всю страну проедешь, чего только не увидишь на пути по обе стороны дороги, во многих городах побываешь, больших и малых. Вот тебе и путешествия, о чем читал, писал в тетрадки, думал. Путешествуй на паровозе: вот здорово!

В классе Шуркином двадцать шесть человек. А в пятом, когда начинали ходить, тридцать четыре было. Переростки отсеялись. После пятого покинули школу, после шестого. В войну учиться не смогли, а теперь стыдились сидеть за партой. Но несколько таких оставалось еще, тянули до свидетельства. Кто-то из них в МТС будет направлен, на курсы трактористов, кто-то в колхозе останется, на разные работы пошлют. На собрании классном из разговоров выяснилось, что из двадцати шести человек семь, ну, десять от силы пойдут в среднюю школу, остальные осядут по домам. Затянулось собрание, все выговорились, кажется, никогда

такого долгого разговора не случилось. Едва-едва угомонились старшекласники. «А что и говорить, — думал Шурка, — есть возможность — учишься хоть всю жизнь, нет возможности — иди работать...»

После собрания — день субботний — кто не местный, стали расходиться по деревням. Никитинские ушли, юрковские, а Шурка все сидел одиноко в пустом классе с закрытыми дверями, смотрел в окно. Потом попросил в учительской патефон, принес, стал проигрывать пластинки. Патефон купили недавно, берегли, редко кому из учеников разрешали брать, но Шурка обратился к самому директору. Козловский пел о вороных гривастых конях, а Шурка, положив подбородок на сложенные кулаки, слушал, глядя в окно, где через штакетник, с ребристого пологого сугроба сползала в ограду поземка. Вспоминал.

Многое запомнилось за годы учебы в семилетке, но отчетливее всего один из прошлогодних весенних дней. Шестой класс заканчивали они. Апрель, солнце с утра; теплынь. На большой перемене высыпала вся школа за ограду, там держались еще осевшие потемневшие сугробы. Снег талый. А ну! В снежки играть! Давай-ай!

Визг восторженный, вопли, снежки, летящие наперекрест. А воздух уже с синевой... И еще день. Май; в седьмом классе начались экзамены. Шурка уже год отучился, в шестой перешел. В седьмом выпуск. Экзамены в одиннадцать, в школе тихо, накрыт стол, билеты готовы. Они стояли возле школьного крыльца: Никулинский, Фурсов, Горбунов, он, Шурка, — и увидели, как через поляну от перелеска к школе идут медленно семикласники. Девчонки несли букеты огоньков, а ребята — ветки цветущей черемухи. Они были одеты в лучшие свои одежды, и лица у них были — как перед долгим расставанием...

Дверь в класс открылась, вошел учитель географии, взглянул на Шурку, направился к своему столу, сел. Шурка снял пластинку, сунул в широкий бумажный конверт.

— Играй, играй, — сказал учитель. — Чего ты смутился. Я тоже хочу послушать, посижу с тобой.

— Хватит, — Шурка опустил крышку патефона, — домой пора. Все ушли давно. Поземка тянет, переметет дорогу. А вы что задержались?

— Дежурю. Ты не заболел случаем, Городилов? — спросил учитель. Он лишь девчонок по именам звал, мальчишек — по фамилии. — Квелый ты какой-то сегодня. На собрании не слышно было. Чем заниматься собираешься?

— Не знаю, — неохотно сказал Шурка. — Сам еще не знаю. В Пихтовку... не хочу. В училище подам, железнодорожное. Или... в деревне останусь, в бондарку попрошусь, на столяра. Пастухом попробую. Был бы отец жив, а так...

— Ну-ну, ну-ну, — постукивал мягко разведенными пальцами обеих рук по столу учитель географии. — Все это хорошо, конечно, — пастух, столяр... Но все это на худой конец, правильно? Запомни, милый, в жизни ничего не повторяется, и все должно быть ко времени. В детстве — детство, в юности — юность. Так? Сейчас пора учиться — следовательно, надо учиться. Во что бы то ни стало. Стиснув зубы. Забыв о старых штанах. Согласен со мной? А потом придет пора работать — будешь работать. Только прежде подготовиться надо к этой поре рабочей, специальность выбрать такую, чтобы не жалеть впоследствии никогда. Можно и в училище, ничего страшного. Сколько тебе?.. Четырнадцать исполнится осенью? Прекрасно, в шестнадцать получишь рабочую профессию. А как же высшее образование? После училища труднее к диплому будет путь. В университет тебе надо, Городилов, вот куда. Парень ты толковый — это наше общее мнение. Университет, да. Филологический факультет. Биологический. Географический. Выбери по нраву. Ведь ты природу вон как любишь, а! Из тебя прекрасный биолог выйдет или географ. Можно и на исторический поступить, археологией заняться — интереснейшее дело, поверь. Пять лет учебы, пять лет жизни в Москве — если в Московский поступать. Запомнится на всю жизнь. Образованным человеком станешь. Да можно и не в Московский, в Казанский, например. В другой какой. Высоко он, университет, под облаками, считай. До него дотянуться надо: аттестат получить, экзамены сдать вступительные, конкурс пройти. Да, университет... А ты даже в восьмой класс не можешь переступить — вот чудеса. Чудеса — обстоятельства. Я и сам, знаешь, не дотянулся, областной педагогический закончил. А мечтал. До сих пор, представляешь, тоскую. Снится иногда...

Ну, ладно. Оставим давай мечтания, посмотрим реально на жизнь. Отрываться от земли, насколько я понимаю, тебе особо не следует. На время ежели. У тебя мать, двое младших братьев. Тебе, говоришь, четырнадцати нет, а им и того меньше. Ты — старший в семье, отца в какой-то степени заменяешь теперь: и о себе надо думать, и о них одновременно. Помни, что ты несешь ответственность за судьбу братьев, пока они не обретут самостоятельность. Так, про-

должим наши рассуждения... В Пихтовке, кроме средней школы, никаких учебных заведений нет. Даже педучилища, которое тебе на первых порах не мешало бы закончить. Нет педучилища и в Колывани. Но есть там, есть там... сельскохозяйственный техникум, насколько мне известно. Четыре отделения в нем. Факультета, громко говоря. Отделение механизации сельского хозяйства, зоотехния, агрономия и бухгалтерский учет. А что, если поступить тебе в сельскохозяйственный, а? Подумай. Ты деревенский, родился, что называется, на земле, родители крестьяне. Уклад весь знаком тебе. Все, что касается сельской жизни, ты любишь: это заметно. Подобрать отделение, поступить. Агрономическое, скажем. Бухгалтерия — не для мужчин, женщины пускай занимаются ею, на счетах брякают. К технике тебя не тянет — оставим и механизацию. Зоотехнию так же. А вот агрономия — милое дело. Агроном Городилов. А? Ты не улыбайся, я серьезно говорю. Смешного что?

Вот как мы сделаем, слушай... Напишем от школы руководству вашего колхоза бумагу, чтобы они решением правления послали тебя на учебу. И в сельсовет такую же бумагу сочиним — они походатайствуют перед председателем или кем нужно. Глядишь, дело сдвинется. С направлением колхозным легче поступить. Правление поможет еще чем-то, одеждой, что ли. Об этом мы сельсовет попросим. В техникуме стипендию станешь получать, жить в общезитии. Стипендия левая, конечно, но... что делать, жить-то надо. Столовая у них там должна быть, в техникуме. Супчику похлебаешь жиденького, чайку попьешь и — на лекции. Подрабатывать не стыдись, если возможность представится. Да, да. Я сам так учился. Ну и мать чем-то поможет, сала кусок придет. Летом — домой, практика. Через четыре года получишь диплом. Молодой специалист. Средне-специальное образование. В восемнадцать-то лет! Здесь же и работать, на родине. Лошаденку дадут, ходок, разъезжай себе по полям, любуйся хлебами.

Учитель географии рассмеялся, и Шурка рассмеялся следом. Учитель морщил нос, поправляя очки.

— Вернешься после техникума, семье поможешь. Ребят на ноги поставишь, матери... А потом, — продолжал учитель, — нужно поступать в институт. Областной сельскохозяйственный. На заочное отделение. Высшее образование, званий добавишь. Мать постареет с годами, должен же кто-то в старости возле нее быть. Ты и останешься рядом, как старший. А братья... братьям большие дороги, только

бы правильный выбор сделать. Не пропадут. Главное, времени не потерять нужного. И тебе и им. Время летит, течет, как говорят. А ты подумай хорошенько. Я ведь, как ты понимаешь, советую, не настаиваю. Я тебе добра хочу. По себе знаю, как трудно в таком возрасте разобраться-определиться. Подумай, с матерью поговори. Решишься — после экзаменов начнем бумаги писать во все конторы. Ну, а надумаешь в училище, на железнодорожника, — пожалуйста. Вольному воля, тут уж я.. Патефон я отнесу. Будь здоров.

Они простились, и Шурка пошел домой, в свою Никитинку. Дорогой, да и дома после, раздумался Шурка от разговора с учителем, не зная, какое решение принять. Шурка замечал и раньше, что классный руководитель выделяет его из числа прочих учеников, а сейчас действительно готов помочь с техникумом. В пятом классе еще Шурка подошел однажды к учителю и спросил, краснея:

— Алексей Петрович, скажите, а если подыматься все время вверх, что будет там?

— Ничего не будет, — ответил, улыбаясь, учитель географии, — вселенная будет продолжаться. Она бесконечна.

— Как — ничего? — не поверил Шурка. — Такого не бывает. Что-то да должно быть.

Когда-то Шурка спросил у отца, отчего люди умирают. Зачем? Жить бы и жить им, а они..

«Всему в жизнь есть начало и конец, — объяснил отец. — Родается человек, живет положенное время, умирает. Деревья умирают, травы. Звери и птицы. Одно уходит, другое приходит, нарождается. Так уж заведено, милый, природой предусмотрено. Одно сменяется другим, как времена года...»

Об этом-то вот, о начале и конце всего, Шурка и поделился с учителем.

— Все верно! — воскликнул тот. — Но вселенной это не касается. У нее нет ни начала, ни конца. Она бесконечна. Понимаешь? Нет. Хорошо, тогда что, по-твоему, должно быть в конце, если подыматься долго вверх?

— Не знаю, — подумав, сказал Шурка. — Стена, наверное.

— Какая стена? — учитель жмурился от смеха. — Каменная стена, так? Толстая стена твоя? Сильно толстая? Небывалой толщины. А за стеной что же? Как ты считаешь, что за стеной?..

Шурка смутился, покраснел пуще и ничего не сказал. Действительно, какой бы толщины стена ни была, она за-

кончится, в конце концов. А дальше что будет? Вторая стена? Третья?..

Тот спор они так и не завершили. Шурка почти поверил учителю, но все-таки его брали сомнения. После того они часто разговаривали о том о сем. О Шуркиной жизни. О книжках прочитанных. Шурка по совету учителя записался в общую библиотеку и прочитал много хороших книжек. Играли в шахматы вечерами в интернате, когда учителю географии выпадало быть дежурным. И вот теперь он давал Шурке советы. Шурка сначала недоверчиво отнесся к техникуму. Но чем больше он думал о матери, о братьях, о себе, тем вернее и убедительнее казались ему мысли учителя. Пожалуй, поступит он в техникум, выучится на агронома, вернется в Никитинку. Избу надо строить новую или покупать другую, более крепкую, братьев учить, мать в старости поддерживать. Что ж ей одной биться в работе? И в училище охота, слов нет. Форму поносить, на паровозах поездить, страну посмотреть. Надо с матерью посоветоваться хорошенько. Как она...

— Как хочешь, Шурка, — сказала мать. — Тебе жить, тебе и думать. Я ни в чем препятствовать не стану. Куда захочешь, туда и поступай, чтоб обид не было. Лучше б, конечно, десятилетку закончить. Отец так хотел. Попробуй в техникум. Агроном — хорошая работа, чистая — хлеб выращивать. А нет — подавай в училище. Одно худо — далеко от нас жить будешь. Редко видеться. Федька с Тимкой вырастут, разлетятся, останусь я одна...

Мать села на лавку, заплакала. Отвернулась к окну, сгорбилась, утирая слезы.

Так ни о чем они не договорились в прошлый раз. Шурка расстроился, вышел на улицу. Решил, — подождать надо. Придет весна, лето. Время само покажет-подскажет, что делать. Мать жалко, себя жалко, братьев жалко. Матери тяжело. В мае выйдут всей семьей огород копать — несколько дней с лопатами, спины согнуты. Волдыри кровавые на ладонях вздуваются от черенков. Потом посади ее, картошку. Прополи. Окучь. Слава богу, хоть поливать не надо, как грядки. Выкопай, в подполье стаскай, ссыпь. Овощи убери. Сенокос, дрова, скотина, колхозная работа без выходных, без отпусков. Ни минуты не посидит мать, все на ногах. Оставь их одних — сердце изболится...

Январь, первая половина. Каникулы заканчиваются, скоро в школу. Следом за январем — февраль метельный. Шурка любит вьюжные ночи. Лежишь на теплой печи, при-

жавшись спиной к чувалу. Все спят. Можно зажечь копилку, почитать. Но лучше полежать в темноте, прислушиваясь. Гудит за стенами избы, гудит в трубах. В избе тихо, одни ходики постукивают. Хорошо думается в такие ночи, о чем только не передумаешь. И сны широкие, радостные снятся, как продолжение мыслей. Вдруг изба твоя стала высокой-высокой, трубой поднялась над лесом. Ты сидишь на самом верху крыши, на коньке, и далеко-о кругом земля видна тебе, весенняя земля, в зелени, в цвету. И дороги отходят от крыльца во все стороны. Много дорог. Одна, вторая, седьмая, двадцатая — сбился со счета Шурка. По дорогам этим, за лесом, по берегам рек и речек, видны Шурке города, размером в спичечную коробку, меньше — села, точками — деревни и деревушки. Оттуда, от горизонта, куда уходят, теряясь, дороги, слышатся явственно голоса, хотя тех, кто кричит, как ни старается, увидеть Шурка не может. Он сидит на коньке крыши, в белой рубашке, новых штанах, придерживаясь левой рукой за трубу, в правой, приподнятой, зажато школьное свидетельство. «Эге-гей, Шурка-а! — зовут его голоса. — Иди к нам! Иди-и! Сюда-а, Шурка-а! Скорее-ей! — доносится из-за спины. — Торопи-ись! Мы тебя-я жде-ем! и-и-ись! е-ем!» Взволнованный, Шурка поворачивается на голоса, ищет глазами, ищет. Голоса удаляются, приближаются. Он боится потерять их...

До Дегтярного ручья бык останавливался еще два раза. При переезде через ручей воз свалился с дороги. Отстав от саней на несколько шагов, Шурка просмотрел, как это случилось. Нахохлясь, пряча опущенную голову за воротник, глубоко сунув руки в рукава шубы, полуприкрыв глаза, Шурка медленно брел за возом, находясь как бы в полусне. Он промерз до нутра самого, больше было некуда, и только мысли, сочившиеся едва в сознании, отвлекали его, помогая идти. То ли заморенный бык оступился, взяв правее, и полозья вышли из накатанной колеи, то ли еще что, но, когда Шурка поднял голову, воз лежал набок, вдавившись всей тяжестью в снег, левый полоз был поднят, бык, сбитый рывком, косо стоял по брюхо в снегу, навалившись тушей на правую оглоблю. Шурка мгновенно взмок. Откинув на плечи мешавший воротник шубы, он прыгнул с дороги, задыхаясь, пурхаясь в снегу, обежал вокруг воза, соображая, что можно сделать сразу, и выскочил опять на дорогу. Было ясно, что быку воз не вывезти, он, чувствовалось, лежал брюхом на снегу, не доставая ногами до дна

ручьё — так здесь было глубоко. Надо было развязывать веревку, сбрасывать кряжи, освобождая сани, отпрягать быка, выводить на дорогу, вытаскивать на себе сани, запрягать быка, накладывать-увязывать воз. Вот что надо было делать.

— Так тебе и надо, — корил себя Шурка, оглядываясь, не зная, за что взяться, с чего начать. — Так тебе и надо, жадина! Пожадничал, наложил двенадцать кряжей! Сиди теперь в ручье, мерзни! Будешь знать! В другой раз побось умнее будешь! В другой раз!..

Шурка выхватил с воза стяжок, широко размахнулся и всей длиной сырой березовой палки ударил быка по спине. Размахнулся и снова ударил. И опять.

— Нн-о! — кричал он, захлебываясь, взмахивая стяжком. — Сволочь! Собака! Гад! Поше-ел!

Бык завозился, перемешивая ногами снег, затих, вытянул по снегу шею и замычал. Шурка отбросил стяжок, сел на приподнятый полоз. Его трясло. Крупная дрожь возникла где-то в животе, дергала тело.

— О-о! О! О! О! — заголосил он, мотая головой. — О-ой, устал! О-ой, замерзаю! Мама, помоги мне! О-ой, мама! О-ой, не могу больше! Ой, мамочка моя! Ой! Ой! Ой! Что же мне делать! Да что же я теперь!.. О-ой, помогите!..

Шурка вскочил. Проще было бы отпрячь быка, уйти с ним в деревню, а завтра вернуться сюда отдохнувшему, с матерью или с кем-нибудь из парней. Но у Шурки и мысли такой возникнуть не могло. Как мог он вернуться без дров? Никогда еще без дров не приезжал из лесу. Как это? Поехал в лес — пустой вернулся? Нет, всю ночь будет ворочать кряжи, но приедет с возом.

Один конец веревки намертво был затянут петлей за левый задний копыл. Шурка вынул из головашек топор, перерубил поперечину закрутки, ослабляя немного веревку, но петля на копыле не ослабла от этого. Другой конец веревки находился под головашками, глубоко в снегу. И тогда Шурка рубанул топором по веревке возле копыла.

У него еще хватило сил, помогая стяжком, развалить воз. Отпряг быка, вывел на дорогу, развернул рогами к лесу. Вытянул на дорогу сани, установил. Привязал веревку за левый задний копыл. Посмотрел на кряжи, боясь подходить. Стал было поднимать крайний, но сразу же понял, что не сможет уже ничего. И веревкой не вытянуть кряжи на дорогу. И стяжком не подкатить. И не перебросить, ставя кряжи стоймя.

Шурка положил на сани пилу, топор. Собрал веревку, чтобы не волочилась, завел в оглобли быка. Крикнул. Пошел следом.

Возле конюшни его встретила мать. Она несколько раз выходила за ворота, всматривалась, вслушивалась, но ничего не было видно, ничего не было слышно. Мать собралась и пошла по дороге за деревню.

— Шурка-а! — только и сказала она. — Беги!

Он побежал неловко, стучаясь коленями. Штаны хрустели в сгибах, мешали. Опустив руки, он бежал, наклоняясь вперед, падая, как бык, дыша с ыханьем, и звуки, похожие на клетот, вырывались из его искривленного морозом рта. Он вошел в избу, братья сидели на лавке, напротив протопившейся печки. Они молча испуганно смотрели на Шурку, понимая, что ничего не надо говорить. Потом подошли, стали помогать раздеваться: пальцы Шурку не слушались. Сняли шубу, пальтишко. Шурка дрожал.

В избе было тепло. Ходики показывали половину девятого. На плите стоял чугунок с картошкой. Бросив одежду около умывальника, надев сухие штаны и рубаху, Шурка взял из чугунка картошину и полез на печь. Братья тихо сидели на лавке.

Когда мать вошла, Шурка спал. Спал, свесив левую руку с печи, зажав в пальцах неначатую картофелину.

История одной семьи

Глава 1

Рассказ женатого человека

Познакомился я с нею в Москве. Я приехал в командировку, гостиницу мне заказали неудачно, то есть указали в заказе, что требуется место с такого-то по такое-то число, и все, ничего больше. Мне нужен был номер отдельный или хотя бы на двоих. А давали общий — на восемь человек. Спортсмены откуда-то приехали на соревнования, с ними и предложили. Я отказался. Надо было согласиться, тогда все сложилось бы иначе, не спорить, а через недельку, может, раньше перейти в освободившийся номер. Так обычно и делается. Но администратор была невежлива, и я вышел из гостиницы рассерженный на тех, кто занимался моим устройством. Вышел и пошел прочь, раздумывая, что делать дальше. Гулял я таким образом довольно долго, побывал еще в двух гостиницах, но там мест не оказалось, и я повернул обратно, не рассчитывая теперь уже попасть и в общий номер.

В это время меня окликнули. Оборачиваюсь, смотрю — знакомая. Сокурсница моя, пять лет в институте вместе проучились. Я, признаться, не узнал ее — сколько времени прошло, да она сама подсказала. Помнишь, говорит, такую-то. Вспомнил, хотя изменилась она сильно. Я, откровенно если, не был с нею даже в приятельских отношениях. Учились, ну и учились — чего там. Закончили, разъехались по направлениям и, как водится, позабывали друг друга. С кем дружен был, тех помнишь, конечно, а остальных...

Отошли в сторону, стоим, разговариваем. Как здесь оказался, спрашивает. Да вот, отвечаю, такое дело, приехал, а в гостиницу... Так пойдем к подруге моей, предлагает она, там поживешь. Надолго приехал? Ну, тем более. У нее комната свободная, пойдем. Я согласился, и быстро как-то, не подумав: что? как? Теперь вот проклинаю себя за поспешность. Да тут недалеко, сказала сокурсница. Пешком доберемся скоро, никакой машины не нужно...

Пошли. Дорогой разговорились, институт вспомнили.

Оказывается, она с некоторых пор живет в Москве. «Замуж за москвича вышла?» — поинтересовался я. «Да», — ответила она, но с какой-то неопределенностью, и я перестал спрашивать. Ведь я не знал, куда она получила направление, но не в Москву, понятно.

Добрались. Переулок в Замоскворечье, старый дом, квартира на первом этаже, окнами в переулок. Истинные хозяева квартиры уехали на год или на два работать на север, подруга моей сокурсницы квартировала в ней, присматривая за всем. Подруга оказалась дома, нас познакомили, спутница моя объявила, в чем дело, подруга пристально так посмотрела на меня и сказала: что ж, пусть остается. Сама она была высока, худа и удивительно некрасива: веснушчатая, нос бесформенный, лицо безбровое, зубы кривые, жидкие светлые волосы, расчесанные по обе стороны головы, свисали ниже подбородка. Но держалась она бойко, с апломбом и по ухваткам была — чистая сводня. Ладно, подумал я, поживем, посмотрим, что из этого выйдет. Можно и в гостиницу перейти, если что...

Квартира состояла из кухоньки и двух комнат: большой и маленькой, маленькая — об одно оконце, вроде чулана, где мне надлежало бытовать. Стояла там узкая железная кровать, на каких теперь уже не спят, на полу громоздились картонные ящики с книгами, еще с чем-то, мы сложили их штабелем возле стены, освобождая проход. Я поставил в угол портфель, осмотрелся и вышел к подругам: они сидели на диване, разговаривая о своем. У хозяйки нашлась бутылка вина, мы выпили за знакомство, сокурсница моя встала, сказав, что ей пора, я вышел проводить, запоминая дорогу обратно. Возле метро остановились, прощаясь, и сокурсница, помявшись, вдруг попросила взаймы денег, сколько смогу, сроком на неделю. Я был несколько удивлен ее просьбой, но немедля полез в карман. Денег особых у меня с собой не было, да я и не старался никогда брать в поездку много, сколько ни возьми — пройдет, не заметишь. Я дал ей полсотни, она улыбнулась, сказав, что будет заходить, навещать нас, и что к хозяйке завтра должна приехать знакомая с юга, так что втроем нам будет веселее. Махнув рукой, она сошла в метро, а я пошел в переулок, полный самого хорошего настроения...

Наутро я ушел по делам, вернулся во второй половине дня, смотрю — действительно, приехала гостья. Хозяйки дома нет, в прихожей чемодан стоит, а на подоконнике настоль раскрытого окна сидит девушка — рослая, гибкая,

русые волосы коротко стрижены, прямой правильный нос, глаза большие, спокойные. Очень милая. Сидит, курит, стряхивая пепел на тротуар. Единственно, что мне не понравилось, так это то, что курит она. Я, знаете, не люблю этого в женщинах. И не потому вовсе, что сам не курю, нет. Ведь это кому что пристало. Мужу — курить, а женщине... я уж и не знаю — красить губы, что ли. Так же как и выпивать. Мужика пьяного увидишь — куда ни шло, но когда женщина пьяная — для меня больше ничего нет. Позже, когда мы познакомились, я спрашивал, зачем она курит. Молчит. Или скажет: все курят сейчас, вот и я. Не отставать чтобы. А почему это вас так беспокоит, скажите?..

Я когда служил в армии, в госпитале лежал, желудком маялся. Работала там женщина одна, всю войну прошла медсестрой. После школы краткосрочные курсы и — на фронт. И после войны стала медсестрой работать, и не куда-нибудь, а в военный госпиталь пошла. Дежурит она ночью, а мне не спится, выйду из палаты поговорить, она сидит в коридоре за столом — на этаже тихо — думает о чем-то. Посмотришь в лицо, и столько в нем пережитого, горечи столько в глазах, мудрости, что, кажется, нет такого на земле, чего бы она не понимала. Спросишь, а она поднимет глаза и какое-то время не видит тебя. Вся там, на войне. Вот ей бы прямое дело закурить. А девчонкам, что по восемнадцати...

Ну, вошел я тогда, здравствуйте, говорю. Здравствуйте, отвечает. Голос звучный, ровный. Я назвал себя, сказал, что вот остановился здесь. Девушка улыбнулась и сказала, что знает об этом...

Стали жить втроем. Неделя прошла, вторая. Дела мои не ладилась. Я работаю начальником плано-экономического отдела строительного треста. Трест большой, одних управлений больше десяти. Забот хватает, и в командировках приходится часто бывать. Запросил я начальство свое, чтобы командировку продлили, разрешили мне. Днем я в бегах из одной организации в другую, вечером приду, отдохну малость — чем заниматься? Отправляюсь по Москве бродить. Часто девушку приглашал. Я, знаете, на Красной площади люблю бывать. И не вечерами. Вечером, когда ни приди — народу полно. Утром. Рано. У нас с Москвой четыре часа разницы во времени. Так первые дни, когда приедешь, никак не можешь привыкнуть: ложишься рано и встаешь рано...

Проснусь, бывало, а на часах еще только начало пято-

го. Соберусь тихонечко, тихонечко приоткрою дверь в большую комнату, девушка поднимет голову, я ей кивну: пойдём гулять, дескать. Оденется она, сама сонная, неуклюжая в движениях, а лицо со сна хорошее, свежее. Выйдем, она все вздрагивает поначалу, а потом согреется ходьбой, повеселеет, разговаривать начнет. Придем на площадь, она большая такая, пустынная. И тихо: город едва-едва просыпается. Ходишь, и вся история России перед тобой. Площадь, Кремль, Лобное место, храм Василия Блаженного. Я, знаете, историю очень люблю.

В театрах бывал, три постановки видел. Мне нравилась эта черта в них, хозяйке и гостье, увлечение театром. Сезон заканчивался, и они спешили посмотреть последние спектакли. Хозяйка вскочит чуть свет и — к театру, очередь занимать в кассу. А там, хоть в три часа ночи приди, уже сидит кто-нибудь, список ведет. Время от времени перекличку или сверку номеров делают. Запишется хозяйка, одержурит часок, мы идем ее сменять. Так вот...

Я, знаете ли, не театрал совсем, судить мне трудно, но посмотрел постановки, и показалось, что играли актеры не шибко. Спросил хозяйку, она подтвердила, что — да, действительно, актеры играли вполсилы: устали, конец сезона, да и публика понимающая — лето — разъехалась по дачам, курортам, побережьям. В театры же в основном сейчас ходят те, кому все равно, что и где смотреть, и провинциалы, приезжающие по всяким делам в Москву. Вот настанет осень, начнется новый театральный сезон, тогда можно посмотреть настоящую игру. Не во всех театрах города, конечно.

Так ведь вам, насколько я понимаю, все равно, спрашивала она, открыто смеясь над моей провинциальностью. Я молчал. У нас с хозяйкой с первого же дня установились официально-любезные отношения: она чувствовала мою неприязнь к своей особе...

Но прогулки и театр в основном по субботам и воскресеньям, в будние же дни, возвратясь из города, заставлял я, как правило, на квартире компанию: приходила сокурсница моя, приходили подруги хозяйки — ее московские знакомые. Войдешь: на столе водка, чашки с кофе, сигареты. Все курят, возбуждены — дым, разговоры. Приглашали меня. Я обычно отказывался: устал, занят, над делами надо подумать, но раза два-три подсаживался к ним и всякий раз жалел. Как-то чересчур свободно держались они в такие часы: и хозяйка, и знакомые ее, и сокурсница моя. Пошлей-

шие анекдоты, чего я совершенно не выношу, литературно-театральные сплетни: кто с кем развелся да кто с кем сошелся, кто у кого в любовниках или в любовницах. Одна из подруг хозяйки спросила меня однажды в подпитии, читал ли я ходивший по рукам перевод книжки «Техника современного английского секса»? Я сознался, что не читал. «Как! — вскричала она. — Как же вы живете?!» — «Да сам удивляюсь, — отвечаю. — Жив до сих пор». Такие вот вечера.

Сокурсница моя, а виделись мы почти ежедневно, деньги не возвращала и ничего не говорила по этому поводу, да и сам я помалкивал: как-то неудобно было напоминать. Может, зарплата мала? В бюджет не укладывается? Да мало ли чего! Подожду, думаю. И хоть разговаривали мы с нею часто о том о сем, но я так и не знал, чем она теперь занимается, где работает, да и работает ли. Как, впрочем, ничего не знал о хозяйке, и тем более о московских подругах ее. Да и какое мне было дело до них...

Случалось, они не приглашали меня к столу, наоборот, я чувствовал, что мешаю им в эти минуты, даже находясь в своей комнате. Разговор их, как я догадывался, носил личный характер, глаза всех обращены были к приезжей девушке, по их лицам и по ее лицу видно было, что ее в чем-то убеждают и уговаривают.

Мне очень не хотелось, чтобы девушка водила с ними компанию, сидела вот так в дыму, выпивала и вела ненужные совсем разговоры. Я старался увести ее, звал гулять, она всегда соглашалась, и мы уходили. Хозяйке не нравилось, и она всячески давала мне почувствовать это. Я и чувствовал...

С девушкой мы подружились, разговаривали гораздо свободнее и откровеннее, чем в первые дни. Я рассказывал о себе, насколько это бывает возможно в таких случаях, девушка — о себе, и я узнал, между прочим, что лет ей двадцать шесть, родом она с Украины, закончила областной педагогический институт, работает в деревне учительницей, росла без отца, есть сестра, младшая, живет с матерью, у матери их двое — мать живет в степном шахтерском городке. Замуж никто ее не берет, женихов не обрела ни в институте, ни после, а просто гулять она не хочет. Вообще-то были два жениха, первого она вроде бы любила и, пожалуй, пошла бы за него замуж, но он болен наследственной болезнью, связанной с нервной системой, и она боялась за будущих детей. Другой — учились вместе —

моложе на два года, шалопай, пьет, несколько раз делал предложение, но она только отмахивалась. А вообще — скучно, курить вот начала. Учителем в районе она долго не собирается, жить у матери — тоже и, видимо, скоро переберется в Москву. Правда, окончательно не решилась еще, но...

Я удивленно поднял брови и хотел спросить: каким же это образом? Но она продолжала говорить, и перебивать я не стал.

В Москве бывает часто, в основном — летом, приезжала и когда была студенткой, походить по театрам — очень любит театр. Останавливалась всегда у подруги вот этой самой, где мы сейчас бытуем, — с сестрой ее она вместе училась пять лет в институте.

Тут девушка стала говорить о хозяйке, московских ее знакомых, сокурснице моей, а я слушал и не верил ушам своим.

Оказывается, существует такая, если можно так выразиться, категория женщин, которые хотят жить только в Москве. Здесь, по их мнению, рождается всякая мысль, отсюда начинаются все дороги. Ни Ленинград, ни Киев ни какой другой город — только Москва. И они всяческими способами стараются обосноваться в нем. Есть разные варианты, но самый распространенный сейчас — фиктивный брак. Для этого нужны: знакомые в Москве, деньги и время.

Так оказалась в Москве наша хозяйка. С некоторых пор она решила, что город, в котором она до сих пор жила, не для нее, надо в Москву, там она найдет применение своим душевным силам, способностям, будет жить интереснее. Нашлись знакомые, подыскали ей человека, он согласился. Но далее этого дела ее не пошли. Вот уже три года, как она в Москве, поменяла несколько квартир, квартиранство стоит дорого, заработок мал, жить трудно, но выйти замуж по-настоящему она не может — никто не берет. Она злится, нервничает, обижается на всех, а что поделаешь...

То, что она злится, было заметно. И неудивительно, что не может найти, подумал я, с ее-то внешностью. По себе, видимо, надо искать. Никто тут, голубушка, не виноват, сама все затеяла...

Кто-то когда-то свел с нею мою сокурсницу, и хозяйка, через своих московских подруг, нашла ей жениха. Свахой заделалась.

— Ваша знакомая не занимала у вас денег? — спросила девушка.

— Занимала, — ответил я утвердительно.

— И у меня занимала, — созналась девушка. Она сейчас у всех занимает. Дело в том, что цены на браки год от года растут. А денег у нее, разумеется, нет. Она уже написала письма-просьбы всем своим родственникам и здесь одалживает, у кого сколько может, обещая вернуть через неделю-другую. Теперь вот, — закончила девушка, — они уговаривают меня. Я, правда, не согласилась еще окончательно, но, вероятно, решусь. А что делать? Жить в глухой провинции, выйти как-то там замуж, нарожать детей и... заглохнуть. Этого я боюсь более всего.

«Заглохнуть можно где угодно, в той же Москве», — мысленно возразил я. И спросил:

— Скажите, пожалуйста, что они говорят вам, ваши свахи? Чем прельщают вас, кроме прописки конечно же?..

— Что говорят... В Москве жить станешь, говорят. А уж тут — сама смотри, как и что. Дескать, не звай, Фомка, на то и ярмарка. Разное говорят, слушаешь — голова кружится от речей таких...

Выслушал я все эти истории, и, знаете, нехорошо мне стало. И не потому, что все это для меня было новостью, о фиктивных браках я, понятно, слышал не впервые. Но когда о подобных мерзостях знаешь понаслышке, не сталкиваясь с ними вплотную, переживаний куда меньше. А здесь, извольте, картина перед глазами: гляди, думай. Давно уже, в студенчестве или даже раньше, пришел я к убеждению, что в жизни есть все. Только беда в том, что многого мы просто не замечаем, оно находится за пределами быта — гашего, вкусов, привычек, практического поля деятельности. Но и задуматься надолго: а почему так? — опять же, некогда — дела. И мысль: это не мое, мое — вот это, это важнее, нужнее, а то — других, им думать, им заниматься. Решать, объяснять, исправлять. А ведь неверно это совсем, нельзя так. За все надо ответ нести, каждому...

Раздумался я над всем этим: что же делать? То, что хозяйка дрянь — пусть, сокурсница в шалаву превратилась — не моя печаль, ей жить, ей думать. А вот что они девушку тянули и почти затащили в свое болото — это скверно. Надо было что-то предпринимать, выручать ее. А как? Как же поступить мне в данном случае?

Я постарался представить себе, как будет развиваться действие. Вот она приезжает в Москву и, разумеется же, останавливается у этой подруги — хозяйки, а стало быть, попадает в какой-то или в полной мере в зависимость.

А главное: что она должна при всем этом чувствовать? Она — совестливый человек, не испорченный еще, если не считать курения. Что будет думать при этом? Да, что же она будет думать, хотелось бы мне знать?..

Вот сводят их с женихом, знакомят, и они разговаривают о деле (ей, должно быть, стыдно). Вот она сама или с помощью посредника передает ему деньги (хотел бы я посмотреть в это время на ее лицо). Вот она знакомится с его родителями. Вот они идут регистрироваться, с ними свидетели (ее не оставляет мысль, что она делает что-то крайне нехорошее). Вот они сидят на свадьбе, и ей еще более стыдно от сознания, что все это фальшь, игра, и ради чего, ради столичной прописки. Вот она заводит знакомства с мужчинами в поисках жениха, к которому, прежде чем выйти за него замуж, должна испытывать хотя бы влечение, если не любовь, — иначе какая там, к черту, семейная жизнь. И все это лишено естественности, легкости, непринужденности и простоты, поскольку все наперед продумано, рассчитано, запланировано. И постоянно тогда и долгое время потом еще ее должна мучить совесть. Ей должно быть стыдно, очень стыдно, невыносимо стыдно. Так я понимал. Вот о чем я раздумывал в те давние дни...

Это, так сказать, моральная сторона дела. А ведь была еще одна и не менее важная — финансовая. Являться в Москву ей, насколько я понимал, следовало, имея при себе не менее тысячи рублей. Неизвестно еще, сколько запросит жених. А дорога до Москвы, — забыл я. Ждать регистрации, жить это время, уплатив за квартиру, подыскивая, допустим, наперед работу. А если жених и его родственники пожелают, а они наверняка пожелают, чтобы была свадьба. Значит, свадьба. Обручальные кольца тоже за счет невесты. Потом развод — ей же платить. Всякие ежедневные непредвиденные расходы, без которых не обойтись. Берем условно — тысяча с лишним. А где их взять? Сейчас заработок ее менее ста пятидесяти рублей, сестра сидит на такой же зарплате, у матери пенсия пятьдесят два рубля. Даже если найдется человек, который сможет дать необходимую сумму под расписку, честное слово, еще под что-то, то получается, что надо залезть в долги на несколько лет вперед, экономя потом на всем и тайно выплачивая, если не хочешь сознаться во всем новому мужу (кто же сознается?).

Эти думы занимали меня во время прогулки и потом, когда лежал я в своей комнатке. Между тем срок компа-

дировки моей заканчивался. Дня за три до отъезда решил я поговорить с девушкой. Вот что, сказал я ей, оставьте вы эту затею с Москвой. Все это грязь и мерзость, сами, надеюсь, понимаете. Можно быть счастливым в любой глухой деревне и несчастным в той же Москве. Вы молодая, здоровая, привлекательная девушка, уверен, что выйдете замуж по любви, и зачем вам эта канитель — не понимаю. Прекратите знакомство с этими людьми, оно вам не нужно. А если действительно скучно в районе, а к матери некуда и неохота возвращаться, приезжайте ко мне. Вы мне нравитесь, видите это. Попробуем жить семьей. Город областной, старый, интересный. Живут же люди. А летом в отпуск можно заезжать на какое-то время в Москву. Скажем, по пути к вашим родственникам. Или специально приезжать в Москву, ради театра. Никуда Москва не уйдет...

Долго и сбивчиво говорил я, убеждая. Очень не хотелось мне, чтобы слушала она подругу свою московскую. Девушка ничего не ответила, на второй день сказала, что подумает: поедет домой, посоветуется с матерью, сестрой. Я дал домашний адрес свой, телефон. В день отбытия спросил хозяйку, не должен ли чего за беспокойство, держа наготове деньги. Нет, не должен, ответила она, стоя вполоборота ко мне. Я поблагодарил, простился и поехал в аэропорт, девушка провожала меня. Сокурсница моя последние дни, зная о моем скором отъезде, не появлялась, боясь, видимо, разговора о деньгах. Так я и уехал. На душе было отвратительно, и вовсе не потому, что пропали пятьдесят рублей, от всего, что увидел я и услышал за время, прожитое здесь. Устал от Москвы несказанно и рад был вернуться домой.

Дней через двадцать девушка позвонила мне по междугородному телефону, слышимость была плохая, и мы ни о чем не поговорили. А еще через месяц, к осени уже, получил я телеграмму: встречай. Встретил, привез к себе, и стали мы жить. Ей двадцать шесть, мне тридцать шесть. Десять лет разница. С чего начинать?

Я, знаете, не был женат до этого. В студенчестве дружил со многими девушками, можно было выбрать. Не выбрал. Некоторые из товарищей по институту поженились на предпоследнем, последнем курсах. А мне и в голову не приходило такое: рано, зарылся в учебниках, решил: все силы и время на учебу, чтобы знать будущую работу свою как азбуку. Пять лет прошел без единой тройки, повышенную стипендию получал, не на всех курсах, правда. Выдали диплом, назначение, служить стал. Студенчество закончилось,

повзрослел, начал пристальнее к жизни присматриваться.

Раньше думал: институт закончил — все знаю, как же — высшее образование. Оказалось — человек я малограмотный. Что касалось специальности — тут я ориентировался свободно. Общей культуры не хватало — однобоко учился. Возьми историю, литературу, театр — я пень пнем. Книжки читал, конечно, да без разбору, какие под руку попадали. Приду в гости, бывало, к своим же сослуживцам или просто к знакомым, заведут за столом разговор о новой книжке, театральной постановке, художественной выставке, а я сижу, сгораю от стыда: не читал, не видел, не слышал. Нет, думаю, так дальше не пойдет. Записался в самую большую библиотеку, с книголюбями дружбу завел, перечитал, начиная с Пушкина, всю классику, которую когда-то изучал по школьной программе, лишь бы урок ответить; познакомился с художниками городскими, по мастерским псходил, разговоры послушал, книги по живописи брал у них, чувствую, вроде глаза у меня шире раскрылись — удивительное дело.

Помню, дал мне один художник книжку о Левитане. Большая книга, тяжелая, плоская, в скользкой обложке. Завернул я ее в газету, под мышку и домой. Дома развернул, раскрыл: боже мой, какие там картины — репродукции то есть. И жизнь его описана, художника. Я над «Вечным покоем» часами просиживал, все думал, думал. Какие только мысли в голову не приходят. Очень люблю Левитана. Саврасова. Передвижников еще...

Пока занимался я вот так самообразованием, к тридцати подкатило. Все эти годы я успокаивал себя: успеется с женитьбой, поживи один, появится семья — не посидишь дотемна в библиотеке, не съездишь в Ленинград в Русский музей, не сходишь лишний раз в концертный зал, послушать приезжего скрипача или пианиста. До тридцати лет таким образом говорил себе — рановато, а потом стал говорить — поздновато. Невесты мои давным-давно мамами стали. Да и как женишься: квартиру не сразу получил, начальником планово-экономического отдела треста не сразу стал работать, начинал в семнадцатиразрядной конторе простым экономистом. А жениться и идти на частную я не хотел: что за жизнь. Я уж так загадал: до сорока лет не женюсь — холостяком стану тянуть, будь что будет. А тут эта девушка повстречалась...

Вот что, сказал я ей, не знаю, как мы станем жить, дело для меня новое, как, впрочем, и для тебя: будем дорогу

бить вместе. Единственно, о чем я попрошу сейчас — брось курить. Поедем скоро к старикам моим, к родственникам — они не поймут. Да и ребенок родится, кормить его грудью начнешь — никотин в крови. Брось, сама знаешь — ни к чему это. Послушалась. Поехали мы к родителям на Шегарку, зарегистрировались там, погостили недели две, на обратном пути навестили сестру, брата, всем жена понравилась: тиха, скромна, приветлива, собой пригожа. Поздравляют меня: ну, говорят, долго выбирал — выбрал, молодец. Я радостью полон: повезло, думаю, наконец. Вот ведь как обернулось дело: в командировку поехал, с женой вернулся. Да с какой женой — не расскажешь!..

Пока ездили с женой по гостям да прописывал я ее, время шло. Отдохнула жена, осмотрелась, пора и на работу устраиваться. Тут она мне и заявляет: «В школу я не пойду, давай договоримся сразу». Категорический тон ее смутил меня несколько, но я как можно спокойнее сказал: «Хорошо, школу пока оставим. А где бы ты хотела работать?» — «Не знаю, — она пожала плечами, — но только не в школе». Стал я думать и гадать, куда бы это определить ее, чтобы работа была интересная и не такая обременительная, как в школе, и не шибко далеко от дома. Ничего не придумал. В трест к себе можно бы взять, да что она там станет делать. Надо такую работу, понимал я, чтобы близка была к ее профилю. Стал я между делом интересоваться, кто куда требуется, а по вечерам спрашивал жену: «В детясли пойдешь воспитателем? Рядом совсем». — «Нет, — говорит, — это хуже, чем в школе». — «В библиотеку?» — «В библиотеку не пойду. Мало платят, и отпуск маленький, домой не успею съездить». В общество «Знание»? В книжный магазин? В редакцию молодежной газеты? Это я через приятелей своих разузнавал, надоел им просьбами. Кого ты все устраиваешь, спрашивают?

«В театр бы я пошла», — сказала жена, подумав. «Кем?» — спрашиваю. «Ну, не знаю кем. В театре интересно. Поинтересуйся, а! Или еще куда-нибудь. Ты же многих знаешь. Неужели это так сложно — найти жене работу?! Боже мой! Ну если в театр нельзя, то...»

Театр у нас в городе один, областной драматический называется. Зашел я к главному режиссеру, представился — общих знакомых у нас не оказалось, — а самому неудобно, чувствую, уши горят. Так и так, говорю, вот жена работу ищет, нет ли чего? Режиссер — спокойный мужик, закурил, подумал. «А кто она, — спрашивает, — актриса?» — «Да

нет, — отвечаю, — филолог». — «К сожалению, — развел руками. — Есть у нас одна должность — завлитчастью, филологу там и работать, да сидит женщина, давно, с обязанностями справляется и уходить не собирается. И административные должности все заняты — передвинуть никого нельзя. Вот так. Извините, ничего нет. Ничем не могу...» — «Вы, — говорю, — извините за беспокойство». И ушел. А самому надоело все это. «Иди-ка ты все-таки в школу», — посоветовал жене. А она: «Ты же обещал хорошую работу!» — голос со слезой. «Обещал, помню, да видишь, никак пока не получается. Устраивайся в школу, а там — посмотрим. Во-первых, это твоя специальность, училась, стаж годовой — дело знакомое. Второе: где ты еще получишь такой долгий отпуск, да летний ежегодно. Можно к морю поехать, к родным твоим, да мало ли куда. Не капризничай, иди». Еле-еле уговорил.

Оказалось, что и в школу не так-то просто устроиться, да еще посредине учебного года. В городе университет филологов выпускает и педагогический институт. Специалистов хватает. Все, кому нет охоты ехать по распределению, оседают в городских школах и держатся за место — не сдвинешь. Управляющий трестом позвонил заведующему горно — они приятели, оказывается, — пошел я на переговоры. Отыскалось свободное место в школе-интернате, далековато, правда, от дома, но что поделаешь. Временно, говорит, потом постараемся перевести поближе. Согласны? Ничего другого, к сожалению, предложить не можем. Если бы в августе...

Я поблагодарил его и быстрее домой. Жена посмотрела на меня пристально так, вздохнула протяжно, стала утраиваться. Полмесяца прошло, месяц — ничего. Ну, думаю, слава богу, уладилось с работой. Оглянулся, что еще. Стали квартиру обживать, приводить в порядок. Она у меня двухкомнатная, в новом доме, и район относительно тихий. Но я запустил квартиру, живя один. На окнах у меня газеты висели, вместо занавесок. И мебели никакой, только самое необходимое: диван, стол, четыре стула. На кухню я, что нужно, от приятелей женатых натаскал. Теперь пришлось менять все. Оказывается, жена моя кроить-шить умела. И вязать. Купил я ей швейную машинку, стиральную, чтобы легче было. Мелочь всякую приобрели для уюта. Смотрю, квартира наша повеселела, войти приятно стало. Живем. Не заметили, полгода пролетело. Вот оно как.

Вскоре мы поссорились, и ссоры стали так же привыч-

ны в жизни нашей, как, скажем, сон или завтрак. И беременность была ее тут вовсе ни при чем (вот, говорят, что в период этот характер у женщин меняется, тяжелее характером становятся они). С некоторых пор стал замечать я, что все, что ни делает жена, выполняет она как бы через силу, с видимой неохотой. Или вообще ничего не хочет, даже то, что надо делать ежедневно и по нескольку раз в день, позабыв, что это труд. Начнет со стола убирать, отойдет с тряпкой к столу кухонному, задумается, долго смотрит в окно. Потом положит тряпку, пройдет в большую комнату, сядет к телевизору, а посуда в раковине немытая. Не помою я, так до утра и останется, а и утром мне мыть, не миновать, она на работу торопится — не до посуды.

Началось с того, что она забывала гасить за собой свет. Я иду следом, выключаю. Раз сказал ей — промолчала. Второй. А потом поворачивается ко мне и говорит: «Тебе что, рубль лишний заплатить жалко?» Рублей лишних, объясняю ей, ни у меня, ни у кого другого нет, не было и не будет. Да и зачем их платить, лишние рубли, легче выключателем щелкнуть. Ведь это совсем не трудно, погасить за собой свет, как и розетку придержать рукой. Она, когда гладила, розетки выдергивала. Закончит гладить, за шнур утюга рывком дернет, розетка — к чертовой матери. Электрики не закрепили их как следует, когда ставили, я докреплял потом, но толку мало. Объясняю жене: ты, говорю, когда гладить заканчиваешь, одной рукой, левой допустим, прижми розетку к стене, а правой легонько вытащи вилку, да не за шнур берись, за вилку саму. Вот так объяснял. Ничего путного не вышло, будто разговаривал с посторонним человеком или маленьким, который не понимает сути дела.

И видел я, что делает она со зла. Поссорились. Ушла она в большую комнату, дверь закрыла, плакала взхлеб, маму вспоминала, а я сидел в маленькой комнате, и так муторно было на душе. Скверное это дело — ссоры в семье. С чужим, да еще незнакомым, поспорился на улице, разошелся и — забыл, не видишь его. А тут — в одних стенах, молчком обходиться не будешь. Тяжело после ссоры начинать, то есть не начинать даже, а продолжать совместную жизнь, будто отломилось что-то, кусок какой-то, и не вернешь его, не прилепишь обратно. Пошел к жене, стоит она в углу, плачет. Хотел обнять, не подпускает. Ну, кое-как помирились. О выключателях больше разговора не затевал, вижу, свет горит впустую, подойду, погашу. Раз в неделю брал отвертку, розетки подтягивал.

Однако ссоры не прекратились, возникали по разному поводу. Я их не затевал, видит бог, и ссориться не умею. Гляжу, делает она что-то, а не так. Подскажу, а она мне: «Почему ты считаешь, что я все должна делать так, как хочешь ты?» — «Не потому, — говорю, — что я так хочу, каприз это мой, так надо делать, принято, все нормальные люди так делают, и родители мои, помню, учили...»

Она сразу плакать, упреки, и в конце концов я оказывался виновным. Что за черт! Стал я размышлять тогда: в чем дело? Вот, рассуждаю сам с собой, молодая девушка впервые уехала так далеко от дома, родных, в неведомую Сибирь, к едва знакомому человеку, и не в гости, а чтобы стать его женой, жить с ним. Край чужой, город чужой, ни друзей, ни близких, климат и тот другой, ко всему надо привыкать заново. Поневоле затоскуешь, руки опустятся. Вот если бы со мной такое случилось, как бы я вел себя?

Так думал я и тут же начинал возражать себе. Тысячи девушек ежегодно уезжают из родных мест: по распределению, на стройки, замуж ли выходят. И — ничего, живут. Одни лучше, другие — похуже, но в общем живут. Вон, на целину уезжали, в голую степь. Дом — палатка, на снегу, на ветру. А тут город, квартира, удобства какие-то. Другое дело — мало мы знали друг друга до совместной жизни. Быть может, это и является главной причиной ссор?..

Помню, на Шегарке, — сам я деревенский, — в деревне моей, да и в других, в которых доводилось побывать на своем веку, парень с девкой, перед тем как пожениться, долго гуляют. Тогда это называлось «ходить». А уж мое поколение и те, кто за нами, они — «дружили». В городах, там — «встречаются». А чего бы им, спрашивается, «ходить», когда они с пеленок один другого знают, вместе росли, на улице играли, за одной партой нередко столько лет сидели. И родителей: он — ее, она — его, и жизнь дворов своих до мелочей знают. Ан — нет. Одно дело — играть на улице, гулять вечерами, другое — жить семьей. Понимали оба. В городах полгода если встречаются — редкость, быстро договориваются. Так же быстро и расстаются. В деревенских семьях, как, впрочем, и в городских — теперь я и городскую жизнь знаю так же хорошо, как и деревенскую, — все что-нибудь не так. Что-то обязательно мешает семье держаться дружно. Обиды. Распри. Ссоры. Упреки взаимные: ты такой-то, а ты — вон какая!..

Мои родители, бывало, так ругались — казалось, потолок сейчас обрушится на них. Сцепятся, конца края не ви-

дать. Теряли самообладание, всякий контроль над собой и такое говорили друг другу, что мне до сих пор стыдно. Казалось, что жизнь совместная совершенно невысказима после этого. Однако разводов по деревне я не знал. Поругались, час-другой молчат, не смотрят друг на друга, потом мать, делая что-нибудь, скажет: «Отец, где-то у нас там ножницы были, подай». Отец встанет, найдет ножницы, принесет. Глядишь, уже разговаривают как ни в чем не бывало. До следующей ссоры. Правда, и понять их надо было. Время такое: ни поесть досыта, ни одеть чего. А семья, как и все деревенские семьи, здоровая. Потом уже, когда подросли мы, помогать стали, ссоры все реже, реже. А теперь и совсем прекратились: старики. Одна дума — о днях последних своих, часах последних. Отссорились...

Да... это я к тому говорю, что прежде, чем сойтись, надо узнать один другого хорошенько. А так, как мы?.. Да и то, сказать если, когда нам было дружить-гулять. Случай такой: упусти момент, пропадет человек. Потом жалеть станешь. Как говорят украинцы: хватай вареник, пока сырой. Вот я и схватил. Вот я и...

То, что мало мы знакомы были, — главное, конечно. Но было и еще что-то, что мешало нам жить в мире и согласии, это понимал я. Скучно ей, видимо, было и в доме мосм, и со мной. Да, скучно. Надо было сделать нашу жизнь более интересной, а как — я не знал. Телевизор был у нас. Оба литературных еженедельника выписывали. Журналы кое-какие. Для жены — «Экран», «Силуэт». Частью журналы брал в библиотеке. И книги приносил. Да книги у меня и дома были. К этому времени стал я кое-что соображать в книжках и собрал хотя и небольшую, но довольно приличную библиотеку. Редких, правда, книг не было, но интересные были. Хемингуэй, например, в четырех томах. Бунин девятитомник. Лермонтов полный... Да книжками ее не удивишь: филолог, она знала литературу, во всяком случае, должна была иметь представление. Ни в концертный зал филармонии, ни в театр мы не ходили — жена стеснялась своей беременностью. И за город не ездили. Посмотрели по телевидению несколько спектаклей местного театра, игра актеров жене показалась слабой. Еще в гости звали нас, мы к себе приглашали: вот и все. А что еще можно было придумать, я и сам не знал. Оглянешься вокруг: все живут такой же монотонной жизнью. Будние дни — работа, заботы домашние, в выходные — развлечения посылные или же поездки за город, на участки. Теперь многие

увлечены этим: заводить участки. Покупают машины, строят гаражи с погребами. Как правило, участок километрах в десяти, пятнадцати от города. За неделю надышится горожанин бензином, оглохнет, отупеет от рева машин, ждет выходных, чтобы за город вырваться. А там — тишина, воздух, и лес, и речка, если в удачном месте участок достался. А потом — подспорье большое: картошка своя, не надо на базар ходить. Свои овощи, ягоды разводят: для себя и на продажу. Окупается все кругом...

Сказал я жене про участок, а она и слушать не хочет. Не люблю, говорит, я эти сады-огороды, как и сибирскую природу твою, как и всю деревенскую жизнь. Хочешь — заводи, только сам станешь участком тем заниматься. Просто поехать за город — другое дело. Снять где-нибудь избу недельки на две. А участок — зачем. На том разговор наш о сельском хозяйстве благополучно закончился...

Так вот, после очередной ссоры, переживал, размышлял я, планируя, как бы это улучшить нашу жизнь, а время между тем шло. Взяла жена декретный отпуск, и поехали мы проведать ее родных. Представьте себе степь, где ни речек, ни озер, не лесов, в степи этой городок, а в нем рудники и всякие там предприятия с коптящими в черное небо трубами, деревья с пожухлой листвой. На одной из окраинных улиц старый дом. В нем жила мать моей жены с младшей дочерью своей, мужем ее и сыном — четырехлетним парнишкой. Когда я увидел тещу, больную, изработанную вконец, давно уставшую от жизни, встававшую чуть свет и ложившуюся в постель к полуночи, я вспомнил мать свою и товарок ее — деревенских баб наших, которые тянули вместе с быками колхозное хозяйство в войну и еще долго после, пока не состарились совсем и не ушли на пенсию.

Я сразу стал называть тещу матерью, помогал, как мог, пока гостил, и, судя по всему, понравился ей тоже. На руках ее находились дочь и зять, да еще мальчишка, которого собирались отдать в детсад и все почему-то не могли отдать. Помня, что я гость, я старался относиться к молодым по-родственному: вежливо и ровно. С тещей мы помногу разговаривали, и когда она спросила, как мы живем, не стал ее огорчать и сказал, что живем мы хорошо.

Родители мои, через полгода после того, как мы навещали их, поженившись, приехали навестить нас. Они привезли нам деревенских гостинцев, но жена встретила их нехорошо. Она почти не разговаривала с ними и всячески старалась показать, что приезд их ей неприятен. Это были

мои родители, я их любил, как любила она свою мать, а я был уверен, что она любит свою мать, ничего плохого они ей не сделали, наоборот, на первых порах нашей жизни старались, как могли, помочь, несмотря на старость свою и немощь. Но жена моя, считая меня виновным во всех неудачах семейной жизни, считала виновными и родителей. Родители, видя и понимая все, скоро уехали. Провожая и прощаясь, я не мог смотреть в лица им, так было стыдно. По правилам игры, мне следовало бы тогда устроить дома скандал вплоть до рукоприкладства, как это приходилось часто наблюдать и в сельской, и в городской жизни, но давно и твердо понимая, что никогда никакими скандалами дела не поправишь, не стал затевать я даже разговора. Кроме того, я надеялся очень, что со временем она все поймет и изменит свое отношение и ко мне, и к моим близким. А тут еще беременность ее и привязанность моя: привязался я к жене очень, несмотря ни на что. Вот ведь как случается...

Значит, гостил я у тещи. Жена, к удивлению моему, вела себя здесь иначе, чем дома. Плитку, утюг, свет выключала всегда. Не глядя на свое положение, старалась помочь матери, хотя бы помыть посуду, и все это без материнских просьб и моих напоминаний. Была ласкова и делала все, чтобы мне в гостях понравилось. Побыли мы, сколько позволяло время, простились и уехали к себе.

А потом родилась у нас дочь. Начались пеленки, стирка, варка, сон, прогулки, опять сон, вызов врача, охи, ахи, опасения, всякая канитель. Декретный отпуск жены закончился, она продлила его на год, закончился и этот, мы стали думать, что делать. О том, чтобы в таком возрасте отдавать девочку в ясли, не могло быть и речи. Я звал тещу, она отказалась приехать, говоря, что без нее молодые пропадут. И верно, без нее они не могли прожить и дня. Жена тогда уволилась и сделалась домашней хозяйкой. Она заметно изменилась внешне: стала дородной женщиной, изменилась походка, манера говорить, изменился даже голос. Она стала еще медлительнее в движениях и все хотела спать, все зевала.

— Ты что, не выспалась опять? — спрашивал я ее. Она сердилась, считая это издевкой. Увлечения мои были забыты, я помогал жене по дому, не успевая просматривать даже газеты. Книг не читал...

Видно было, как день ото дня становилась жена все более равнодушной ко всему, что называлось нашей семей-

ной жизнью, забывая делать даже самое необходимое. Раньше, в первые месяцы, по пятницам всегда затевала она после обеда стирку, в субботу, позавтракав, начинали мы уборку квартиры: снимали всюду пыль, вытряхивали на улице ковер, половики; по полу у нас расстелены были пестрые деревенские половики — подарок моей матери. Меняли постельное белье, купались, и вечером, закончив все, садились к телевизору или читали книжки, помня, что завтра долгий свободный день — воскресенье. Теперь я неделями спал на одной и той же простыне, белье в ванной комнате лежало горой, пол был не мыт, паутину заметил я вдруг в углу большой комнаты...

— Ты постирала хотя бы, — говорил я неуверенно. — Белья скопилось.

— Все? — спрашивала она, глядя прямо в лицо мне. — Дал паряд?

Она и на себя подолгу не стирала. Поносит какое-то время платье или кофту с юбкой, снимет, наденет чистое. Когда чистая одежда заканчивается, она берет из кучи платье, что посвежее, погладит и носит опять. Утюг у нас почему-то стоял в кухне на подоконнике, а чаще всего — под столом. Садясь есть, я обязательно задевал утюг, и он падал мне на ноги. Возвратясь с улицы, жена опускала сумочку на пол прямо в прихожей, перчатки и шапку — она носила вязаные шапки — в одну сторону, плащ или пальто — в другую. Сапоги валялись в прихожей, носки она постоянно оставляла в сапогах, влажные носки, вместо того чтобы прополоскать и просушить их. Вначале в такие минуты я пристально смотрел на жену, в следующий раз говорил какие-то необходимые слова, а потом уже просто ходил следом, клал сумочку на свое место, шапку и перчатки на свое, плащ вешал в платяной шкаф, ставил в прихожей к стенке сапоги, вынув и постирав носки. Иногда я садился рядом и спокойно, не сердясь совсем, пытался разговаривать ее, мне необходимо было знать, почему же мы так живем. Очень хотел я знать это.

— Послушай, что с тобой происходит? — спрашивал я жену. — Отчего ты так странно ведешь себя? Ответь, пожалуйста. Что тебе мешает?

— Я света белого не вижу, — сразу брала жена тон. — Должна же у меня быть хоть какая-то радость в жизни?

Или:

— У меня ребенок на руках, разве ты не видишь? Я измучилась вконец.

— Хорошо, — продолжал я, — тогда скажи на милость, как ты себе представляешь семейную жизнь?

— Ну, уж совсем не так, как у нас! — вскидывалась жена.

— Тогда как же?

— Не знаю, но только не так. Ну, что это за жизнь — сам посуди! Что это за жизнь!..

Тут я начинал стыдливо и тихо говорить о том, что все семьи, в общем-то, живут одинаково: в нашем доме, на нашей улице, в нашем городе, в других городах и селах. С незначительной разницей. У всех дети, работа, заботы, будни, праздники и все остальное, что бывает в человеческой жизни. Ты это видишь и прекрасно понимаешь сама. Понимаешь ведь?!

— Вот уж не понимаю, почему я должна жить так, как живут все, — насмешливо спрашивала жена, и я терялся, не в силах ответить на этот глупый во многом и злой вопрос.

— А если бы у нас было несколько детей, — сказал я как-то на очередное ее возражение. — Четверо детей, допустим. Тогда как?!

— Ну вот еще чего не хватало, — фыркнула жена. — Тут с одним голова кругом идет, а то... Нет, хватит. С меня и этого вполне достаточно. Это ты по своей семье судишь, знаю...

Ребенок отнимал много времени, это я видел. Но он был спокойным, ночами не кричал, и редко когда приходилось вставать ночью, менять пеленки. Но ведь жена не работала, по магазинам ходил я, квартиру по субботам убирал я, стиркой теперь занимался я, гулял с ребенком, делал десятки других мелких дел.

Толкая перед собой коляску где-нибудь в тихом переулке, перебирая день за днем теперешнюю свою жизнь, терясь в догадках, всегда вспоминал свою мать и как жили мы на Шегарке. Нас было шестеро детей, отец пришел с войны искалеченным, и какво доставалось матери. Она подымалась с зарей и шла на ферму доить коров, затем баб посылали звеном до вечера косить или жать, после вечерней дойки скирдовать солому, а то на ток, подрабатывать зерно. А ведь, кроме всего этого, было какое-то свое хозяйство, требовавшее времени, огород. Были мы, дети. Нас надо было одевать, обувать, кормить, учить. Воспитывать, как говорят сейчас. И несмотря на занятость такую матери и нищету, в какой мы пребывали, мы всегда были

пострижены, помыты, прибраны. Холщовые в войну и после, потом из самой простой и дешевой материи наши штаны и рубахи были постираны, защиты-заштопаны, прокатаны рубелем и каталкой. В четырехклассной деревенской школе и в соседней семилетке, куда мы ходили за шесть верст, живя по неделям в интернате, нас ставили в пример, хваля за аккуратность и чистоту в одежде. И когда матери говорили об этом на родительских собраниях, она краснела, опускала голову и начинала плакать. Такое у меня было детство.

Всякий раз после таких воспоминаний собирался всерьез поговорить с женой и всякий раз откладывал: сказанная женой фраза о радости в жизни измучила меня совершенно.

Но однажды я не выдержал, затеял разговор и тут же пожалел об этом. Вернувшись из командировки, увидел я, что в квартире, по обыкновению, не прибрано: трехнедельная пыль лежала на мебели, кровать жены — спали мы давно уже порознь — не застелена (кровать за ней каждое утро застилал я), пол не мыт, и белья грязного накопилось — не постираешь и в полдня. Сама жена сидела на кухне, читала газету. Отложила газету, перешла в комнату.

— Слушай, — сказал я в сердцах, — ну что же ты на самом деле, а?! Такая молодая, здоровая. Да у тебя бы горело все в руках. Посмотри на себя, на тебе... пахнуть можно, а ты спишь на ходу. Ты что, в квартире прибрать не могла?! Меня дожидаясь! Как не стыдно только, ей-богу! В конюшне чище, чем у нас!..

Если раньше во время ссор она плакала, звала мать, уезжать собиралась: схватит, что попадет под руку, и — за дверь. Дверью непременно ударит, спустится в подъезд или отойдет куда-нибудь от дома в темноту. Я в это время дверь закрою, поднимаю разбросанное. Через полчаса примерно слышно — идет обратно, стучится. Теперь она уже не плакала и к матери не собиралась. Она обычно оказывалась на кухне, руки ее двигались, ища чего-то: она могла просто смахнуть со стола посуду — таким образом бессчетно разбито было тарелок и чайных чашек. Она могла бросить на пол кастрюлю или чайник, погнуть, а то и сломать — я выправлял потом погнутое, выбрасывал сломанное, — ударить сковородкой о стену, на стене оставались вмятины. Признаться, я пугался этих минут.

— Подонок! — кричала она, — Мразь! Ты мне всю жизнь

изуродовал! Лучше бы я в Москве по углам скиталась, чем так! Убирайся вон, никто не держит! (Один раз я сказал, что, пожалуй, лучше уйти мне от такой жизни.) Ненавижу-у! И зачем я только согласилась?! Дура! Дура! Мамочка моя! О-о!

Дочь, глядя на нас, начинала реветь. Она уже чувствовала, что что-то не так. Плача, она бегала от меня к матери и обратно.

А я смотрел на обезображенное криком и злостью лицо жены и думал: «Гос-споди, в своем ли она уме?! И зачем я только затеял разговор этот». Раньше еще, до того как родилась дочь, да и после, до поры, пока не стала ходить и разговаривать, несколько раз говорил я себе: «Разведусь. Э-э, что за жизнь. Жил один до тридцати шести лет, даст бог, до семидесяти доживу. Перенесу все: позор, разговоры, сплетни. Оставляю все ей и уеду на Шегарку. Буду платить алименты, буду приезжать проведать дочь, летом к себе забирать, а жена — как хочет. Работу свою знаю, главбухом в леспромхоз пойду, в любое другое хозяйство — не пропаду небось. Хоть отдохну от визга, сосредоточусь, подумаю».

Чем больше не ладилось у нас с женой, тем сильнее тосковал я о прежней жизни, деревенской. По сути своей, я так мужиком и остался и понимал всегда, что вот от деревни оторвался, горожанином не сделался, хотя и прожил в городе порядочно. Изменился внешне за последние годы. Работа сидячая, движения мало: контора — дом. Огруз, живот наметился, дряблость в теле. Раньше я в четырнадцать лет один вон какие воза дров возил из леса, а сейчас взбегу на третий этаж — задыхаюсь. Сорок лет мужику — дожил. Нет, надо разворачиваться в обратную сторону.

Студентом, да и потом, пока холостяком жил, каждое лето ездил я на родину к старикам. Косил, дрова заготавливал на зиму. Бывало, то колодец выроешь, то погреб, изгородь подправишь, с огородом помогал. Много ходил, спал в сарае на сеновале. Посмотришь на себя: поджарый, загорелый, сила в руках и плечах чувствовалась. А сейчас... Уеду, избу куплю — на берегу чтобы, с баней, с огородом. В лес буду ходить, на омота с удочкой. Места родные, мужики там, из родственников кое-кто остался, Уеду. Столько лет уже не видел, как черемуха цветет.

Так примерно думал я, пока дочь лежала в пеленках, и я за скандалами, суматохой и заботами не очень-то обращал на нее внимания. А как подросла, да ходить стала, да

разговаривать. Девчушка — загляденье. Главное — лицом в породу нашу. От меня мало чего, вся в мать мою пошла. Ухожена всегда. Жена ей волосы соберет на затылке в «хвост» да еще бант из алой ленты завяжет. Я люблюсь. Бегает по комнате, топает ножонками и все лопочет, все щебечет. «Папочка, почитай книжки, папочка, расскажи сказку. Папа, пой, а я буду танцевать». Сяду я возле стены в большой комнате и начинаю вполголоса: «Ка-лин-ка, ка-лин-ка, ка-лин-ка моя», а она танцует. А потом возьмется обеими ручонками за подол платья и кланяется: это она по телевизору видела, как дети танцуют. А я должен хлопать ей. Если забудусь, она напомнит: папа, хлопай. Вечером, перед сном, прибежит ко мне в постель, сказку послушать. Ляжет рядышком, притихнет, только глазенки мигают. Я начну рассказывать, а сам едва сдерживаюсь: слезы. Детство вспомнишь, как росли, как разбрелись погoм один по одному из дому. Нет, думаю, никуда я от тебя не уйду, милая ты моя кровинушка. Пока есть силы, все их буду тебе отдавать. Ты первая, ты, видно, и последняя. А уйдешь — душой изболеешься: как ты там? да что ты там? Да еще дойдет до того, что чужого дядю станет заставлять называть папой. А что ж — заставит называть: такой характер...

Жена, как только в ссоре мы, все чаще и чаще начинала заводить разговор с дочерью, и громко, чтобы я услышал. «Пусть уходит, а мы с тобой другого папу найдем, правда, доченька. Никто не будет нам указывать. Над душой никто стоять не будет. Отдохнем хотя. Порядки свои устанавливать надумал. Видали его!..»

Дочь тотчас же бежит ко мне и... «Папа, уходи от нас, мы другого папу найдем, хорошего. Слышишь! Уходи, мама сказала так!» Для меня больше этих слов нет ничего. Ну что тут скажешь. «Чему ты ребенка учишь? — спрашиваю я жену. — Зачем внушаешь такое, а? Неужто тебе не стыдно? Настраиваешь против отца!..» А она: «А что, не нравится разве? Так и сделаем. Так и будет. Паршивка! Дрянь! — кричит она тут же на дочь, когда та делает что-то не так. — Что за дите! Как тресну головой о стену, сразу поймешь! Вся в папочку уродилась, настырная! Пошла вон!..»

Я много раз видел, как дерутся супруги: муж бьет жену, наоборот. Гадко, что и говорить. Но я понимал тех, кого оскорбляют. Бывают моменты, когда трудно совладать с собой. Нет, я ни разу не ударил свою жену. Я лишь смот-

рел в лицо ее и мысленно говорил себе: «Дай мне, боже, терпение вынести все ради дочери. Дай мне, господи, терпение вынести все. Дай мне, господи, дай мне...»

Я притих, смирился со своей судьбой. Внутренне я, конечно, протестовал, но внешне старался быть спокойным, чтобы не вызвать очередную ссору. Я уже понял отчетливо, с кем живу, с кем имею дело. Жена моя, как выяснилось за прожитые годы, была безалаберна, ленива, медлительна, даже тогда, когда было желание что-то сделать. Она была скандальна в силу своего характера и, кроме всего, к стыду великому, скоро научилась врать. Встанет напротив, большая такая, жует обязательно что-нибудь и отвечает без промедления, о чем бы ни спросил. Я запрещал давать кому бы то ни было книги, она давала, не слушаясь. Книжки возвращали затасканные, потрепанные, испачканные, с загнутыми, а то и вырванными страницами. Я садился, начинал приводить их в порядок.

— Зачем ты даешь? Ведь я предупреждал, — спрашивал я жену, показывая книги. — Смотри, что сделали. Сковородки ставили на них.

— А так было, — отвечала она, не смущаясь. — Ты разве не помнишь, что так было. Ну, вот. А делаешь мне замечания. Не стыдно?!

Еще она была из категории тех людей, которые стараются не в дом принести, а унести из дома. Мы никак не могли уложиться в мой заработок, денег постоянно не хватало, хотя для себя лично я ничего уже не покупал. В долги влезать не хотелось. Я стал подрабатывать, читал по вечерам лекции, не пошел в очередной отпуск, взяв отпускные, начал даже брать лотереи, в надежде выиграть. Деньги жене никак нельзя было давать: она шалела от них. Шла по магазинам и покупала все, что попадало ей на глаза, не считаясь с тем, нужно это или нет. Она не понимала, что значит думать о завтрашнем дне: есть деньги, значит, нужно их истратить. Я проделывал следующее: уезжая в командировку, оставлял ей продукты, оставлял денег в четыре-пять раз больше того, что могло ей понадобиться на самое необходимое. Приезжал через три недели: у нее оставались считанные рубли или совсем ничего не оставалось. И осмелюсь только спроси, куда она их потратила...

Пробовал я выпивать, но это, знаете, не выход. Выпьешь, вроде отпустит боль, забудешься на какое-то время. А наутро встал, голова болит, и все на своих местах, ниче-

го не изменилось. Все больше тянуло меня оставаться одному, хотя бы на несколько часов, вечерами. Не получалось. По выходным я уговаривал жену пойти в гости, она соглашалась, но без дочери. Я просил взять дочь, обещая сделать уборку. Она уходила, случалось, на целый день: для меня это было лучше всего. Я начинал с посуды, потом тряпкой собирал пыль всюду, где она скапливалась, мыл полы и, передохнув, принимался стирать. Сначала дочкины вещи: колготки, рубашки, носочки, маечки-трусики, затем женино белье и заодно постельное, если накопилось. Себя обстирывал давно уже, как и в холостые годы, зашивал, когда порвется что, и штопал носки. Жена штопать носки не любила, хотя и маленькая дырка, выбросит их тут же и покупает новые. А старые еще носить бы да носить. Но я помнил, как мать следила за нашей одеждой, и старался следовать ей. А уж как изнасятся совсем, тогда и выбросить можно...

Стираю, и так чего-то вдруг лихо станет мне, тогда запою я, как могу, для себя. И вспомню тут же, как пел в парнях в деревне своей. Бывало, расходиться начнем от конторы — вечерами летом возле конторы собирались, под тополями, — перед тем как разойтись парами по переулкам, сговоримся еще пройти через всю деревню из конца в конец. А ночь на исходе, свежо, вот-вот заря. Впереди гармонист, девки сбоку его, мы, парни, сзади. Как запоем «Вот кто-то с горочки спустился...», да с подголосками. Кто из ребят и не поет, все равно идет рядом, волнуется. Друзья-подруги, разбрелись потом кто куда, не дозовешься, не докричишься...

Закончив стирку, осматривал я обувь жены, в каком она состоянии, может, почистить надо или помыть. На улице осень, грязь, но она шла напрямую домой, мимо травы, о которую могла бы обтереть сапоги, мимо луж, где могла бы смыть грязь. Снимала сапоги в прихожей, оставляя следы, а я подтирал их, мыл и сушил сапоги, ботинки, надеясь, что она догадается и сама станет делать это. Но она привыкла к моей помощи и стала считать, что так оно и должно быть. Да что там обувь. Идет, к примеру, она из одной комнаты в другую, поставь в стороне шагах в трех табуретку, все одно ногой зацепит, сшибет. Такой уж человек.

Приведя в порядок обувь, осматривал одежду. Бывает, пуговица оторвется совсем или висит, едва держась на нитке. Жена так и выходит на улицу. Мне же стыдно от людей, они, глядя, думают, конечно: что же ты такая моло-



дая, а безалаберная, не следишь за собой. И подсказать тебе, видимо, некому...

Управясь, я ложился почитать газеты, скопившиеся за неделю, или просто лежал себе, думая о разном. Жена вернется из гостей, глянет на сделанное, скажет нехотя: «Ты что, пододеяльники опять руками стирал?» — «Руками, — объясняю, — машиной не умею». — «Мылом небось?» — «Нет, в порошке замачивал. Прополаскивал два раза: в теплой, потом — в холодной. Не беспокойся, все хорошо получилось...» Так вот и жили.

Месяц назад отправил их к матери ее, сам не поехал. Какая к тому же охота — год ждать отпуска, а потом ехать черт-те куда, в другой, еще более промышленный город, дышать угольной гарью. Да и стариков надо было попроведать. Они плохие совсем, мать еще шевелится кое-как, отец же больше лежит, на улицу выходит редко. Я им помогал все дни; вечерами гулял: уйду за село, простору много, а все не то, не родина, душой на Шегарку тянешься. Старики теперь в селе живут, ближе к районному центру. Перед сном раздумываешься, опять же о жизни своей, о семье, как там жена с дочерью без меня. Письмо им написал. Жене я простил все, да и как не простишь, поразмыслив — ведь моей вины больше. Поставил я себя на ее место, представил ее в тот момент, как собиралась она ко мне, после моего предложения, как ехала к незнакомому почти человеку, убегая от московской среды, от скучной жизни той, которой жила в деревне, учительствуя. Надеялась, что окажусь я человеком интересным, а значит, и жизнь будет интересной, непохожей на прежнюю, новая, волнующая жизнь. А что я ей предложил? Да ничего. Оказалось, что надо готовить обеды, стирать, убирать квартиру, рожать детей, выхаживать их, ходить на работу, ходить по магазинам, опять стоять на кухне. И так — вкруговую. Что ж тут интересного? Обычная жизнь, как и у других. Она поняла сразу, что ничего хорошего из ее переезда не получилось, заскучала, настроилась против, и — началось. Видно, одному мне надо было жить, не могу я другим людям принести счастье. Но и одному век свой жить — не лучшая доля...

Побыл я у стариков, домой вернулся: письма от жены нет. Надумал тогда съездить в низовье Шегарки к двоюродному брату: давно не виделись. Лесником он там, в деревне. Поживу у него, отдохну душой, по полям поброжу, листопад скоро, в лесу поброжу, порыбачу на Шегарке.

Отдохну, потом обратно, встречать своих. Девочку в сентябре в сад отдаем, жена на работу пойдет. Она мне заранее заявила: работу сама найду, не вмешивайся. Хорошо, говорю, делай, как тебе лучше. Пусть ищет, устраивается, может, легче станет с деньгами. Кажется, подплываем. Брат встречать должен, телеграмму отбивал ему. Отсюда до их деревни верст пятнадцать, на телеге поедем, ночью по лесу, хорошо...

Глава 2

Рассказ замужней женщины

В то лето, как выйти мне замуж, сразу же после окончания учебного года и роспуска учеников на каникулы, захав на два дня к матери, я отправилась в Москву, где остановилась у своей знакомой, с сестрой которой мы пять лет учились в педагогическом институте и были хорошими приятельницами.

Признаться, она вовсе не нравилась мне как человек, эта моя московская знакомая, но что было делать, когда никого другого в Москве у меня не было. В отличие от своей сестры, женственной, спокойной и домовитой, она была, я бы сказала, даже, очень непривлекательна, худа, кроме всего — манерна, капризна и, как это говорят, чрезмерно экспансивна. Но все это было, как я думаю, от желания обратить на себя внимание, а внимание обращать было не на что.

Я заранее сообщила о своем приезде, и знакомая встретила меня. До этого я уже была несколько раз в Москве и всегда находила знакомую на новом месте: она снимала комнаты. Сейчас в ее распоряжении была целая квартира, состоящая из большой комнаты и комнатухи, заставленной старой мебелью, рухлядью, ящиками с книгами, кухни и прихожей. Хозяева квартиры уехали куда-то надолго, и знакомая моя блаженствовала. Мы ходили на спектакли (ради театра я и приехала в Москву), если удавалось достать билеты, редко — в магазины, потому как покупать особого ничего я не собиралась, денег у меня было достаточно только на то, чтобы прожить месяц в этом городе,

вернуться с гостинцами к матери и дотянуть, не занимая, до первой зарплаты.

Когда еще мы шли с вокзала, знакомая, улыбаясь, сказала мне, что живет она не одна: вчера ее московская подруга привела к ней интересного мужчину, своего бывшего сокурсника, и попросила принять его на некоторое время — он здесь в командировке. Когда мы пришли, командированного дома не было. Хозяйка засобиралась по делам, я проводила ее, вернулась и от нечего делать, сев на подоконник раскрытого окна, смотрела на улицу. В это время появился он — мой будущий муж. Не могу сейчас сказать, понравился он мне или нет, когда я впервые его увидела, но когда он вошел и поздоровался, я сразу же подумала: «Все, этот человек будет моим мужем. Никто, только он».

Он медленно двигался и медленно разговаривал, а голос у него был спокойный и глухой. Он был высок ростом, слегка сутулился, что ничуть не портило его фигуры, — таких людей называют сутуло-стройными, — и носил бороду. Надо сказать, борода шла к его продолговатому лицу. У него было лицо умного мужика, хмурое лицо с внимательными глазами, которое оставалось печальным даже тогда, когда он смеялся. А смеялся он редко. Русые волосы он зачесывал назад и чуть набок и всем своим видом, манерой говорить, покашливая, напоминал знакомых по книгам дочеховской поры писателей из народа. Он сразу же вошел в комнатушку, которую уже освободили: ящики поставили штабелем к противоположной от кровати стене, остальное вынесли в прихожую.

Пришла хозяйка, потом подруга ее, гостя звали пить чай, но он отказался, сказав, что поел в городе, устал и хочет отдохнуть. Мы засиделись за разговорами допоздна, а он так и не вышел к нам: рано уснул.

Итак, стало нас в тереме трое. По утрам хозяйка и гость уходили. Хозяйка вставала раньше всех, ей далеко было добираться до работы. Я подымалась поздно, пила чай, потом шла в музей, на очередную выставку или просто бродила по городу. В мои обязанности еще входило покупать театральные билеты, что я и делала, когда спектакль был интересный. Иногда это удавалось, иногда нет. Устав, я возвращалась домой и, читая что-нибудь, ждала, когда явятся хозяйка и гость. Он приходил всегда после четырех, умывался, отдыхал с полчаса и звал меня гулять. Если хозяйка была дома, она тоже изъявляла желание гулять, и мы отправлялись втроем. Заметно было, что гость



нравится хозяйке, и она всячески красовалась перед ним: то распустит волосы, то соберет их или еще что-нибудь, а он был с нею одинаков, официально-любезен, и не более того. Хозяйка скоро созналась мне сама, что гость ей симпатичен, и она была бы совершенно не против поиграть с ним. Она так и сказала — «поиграть». Он же никак не отвечает на ее знаки внимания. Я сказала тогда, что у него, по всей вероятности, семья, человек он, судя по всему, порядочный, и чего бы ему, уехав на несколько дней от семьи, затевать с кем-то там игры. Кажется, я слишком эмоционально произнесла эту фразу, потому что хозяйка посмотрела на меня, прищурясь, и рассмеялась нехотя, с плохо скрытым злорадством.

«Это совсем ничего не значит, что есть семья, — сказала она. — Жена не стена, можно отодвинуть». И опять рассмеялась.

Лучше было, когда мы гуляли с ним вдвоем. Он не любил шумных улиц, говорил, что родился и вырос в деревне, к городу никак не может привыкнуть, хотя и живет в городе давно, что в отпуск каждое лето ездит на родину на речку и назвал эту речку: странное какое-то название было у нее. Я поинтересовалась, что это за речка и где она. «На северо-западе Новосибирской области, — сказал он, — славная такая речка, приток Оби, лесная». И спросил, случилось ли мне бывать в настоящей тайге. Я сказала, что не случалось. Разговаривая, мы пробирались различными переулками, но гулять всегда приходили на одно и то же место: на Красную площадь. Он почему-то любил ходить туда. Долго смотрит на Кремль, на храм Василия Блаженного, думает о чем-то. И молчит. Спросишь, а он и не слышит вовсе. Еще к реке спускались. Но река не нравилась ему: берега камнем выложены...

Если не гуляли и не ходили в театр, то сидели дома. Обычно по вечерам бывало у нас шумно. Приходила знакомая гостя, что привела его сюда, московские подруги хозяйки. Садись за стол и до полуночи: чай или кофе, сигареты, разговоры. Иногда выпивали. Я видела, что гостю совсем неинтересно с нами. Раза два он посидел за столом, принеся вина, потом же под разными предлогами отказывался. С сокурсницей, как я понимала себе, ничего их не связывало, даже институт, о котором они и не вспоминали. Мы для него были людьми чужими. И старше он был каждой из нас намного. Да и разговоры были легкие: начиналось с анекдотов, анекдотами заканчивалось, а он их,

чувствовалось, не любил, морщился и краснел, когда приносили что-нибудь рискованное. Он, верно, думал, что это нарочно, чтобы ввести его в смущение.

Но и между собой мы пересказывали услышанные на стороне сплетни из жизни столичной интеллигенции, а чаще всего вели разговоры на темы пола: эти разговоры, как я давно заметила, являются сладостными для всех или почти для всех и возникают всюду: в застолье, в дороге, на работе, там, где только собираются несколько знакомых людей. Так вот и теперь...

В нашей компании я была единственная девушка, это обстоятельство временным подругам моим казалось забавным, они принесли перепечатанную на машинке рукопись, интимного, как сказала хозяйка, содержания, и предлагали и советовали мне прочесть, говоря, что все это пригодится, когда я стану жить с мужчинами. Так и говорили: «жить с мужчинами». Я догадывалась, что за интимности были описаны в рукописи, и отказывалась. Я боялась, что они начнут показывать открытки или альбомы или журналы, так как была абсолютно уверена, что такое у них водится. Но, слава богу, до альбомов дело не дошло. Рукопись же они скоро унесли кому-то, читать.

Конечно же, в свои двадцать шесть лет я знала все об отношениях мужчины и женщины и без подсобной литературы, наблюдая жизнь вокруг себя, слыша различные разговоры, домысливая сама. В институте девчонки по-разному относились к добрачным связям: одни — легко, не видя ничего страшного в этом, надеясь как-то объясниться с будущим мужем, если придется объясняться, а не придется — еще лучше, другие боялись и подумать об этом. Я была на стороне вторых. За время учебы несколько раз создавались ситуации, когда я могла стать женщиной, но всегда меня вовремя что-то останавливало, и прежде всего мысль, что вот настанет время искренней любви к какому-то человеку, и я приду к нему, и как стыдно мне будет говорить о состоянии своем, и как он будет огорчен и расстроен. И, возможно, этот момент огорчения будет первым моментом недоверия ко мне, и жизнь наша в дальнейшем не сложится так хорошо, как должно быть. Я говорила об этом девчонкам — многие смеялись надо мной...

Однажды нам с хозяйкой не спалось, мы разговорились, разоткровенничались. Я не доверяла ей, не люблю подобных разговоров, но так уж случилось. Стояла теплая тихая ночь, полная луна светила в окна, волнуя нас. Мы шепта-

лись, лежа в кроватях, гость наш спал в своем чулане, а может, тоже не спал, глядел в окно, думал. Хозяйка спросила, каково мне живется сейчас и как я намерена жить в дальнейшем. Я стала рассказывать. Вот тут-то она мне и открылась: поведала о фиктивных браках и о том, что я просто могу оказаться в Москве. Да, да. И она бегом набросала схему данного мероприятия, иначе не назовешь. Жениха, дескать, мы тебе найдем хоть завтра, а ты возвращаешься к себе, увольняешься, приезжаешь обратно, останавливаешься на первых порах у меня, регистрируешься, прописываешься, находишь настоящего жениха, разводишься с первым, выписываешься, регистрируешься со вторым, прописываешься, и ты навечно в Москве. Все очень просто. Нужны деньги и какое-то время. Главное — деньги. Хозяйка встала, взяла стул и села напротив моей кровати.

О подобных сделках я слышала еще в институте, верила и не верила им — мало ли что говорят — и никогда, разумеется, не предполагала, что столкнусь с людьми, состоящими в таком браке, более того, мне предложат вступить самой в этот самый брак. Когда хозяйка рассказала в подробностях, как она оказалась в Москве, то есть как оформлялся именно ее брак, у меня было такое чувство, будто мне за воротник опустили мокрую холодную жабу. Оказалось, что дело у хозяйки остановилось на полпути, это ее раздражает, и сильно. В фиктивный-то брак она вступила, а для настоящего не может найти жениха — никто не берет. И те, кто помогал ей с фиктивным, помочь ничем не могут. Муж ее шантажирует, требует дополнительных денег. У них, видите ли, договор был условный, что через полгода они обязательно должны развестись: она перейдет к другому, а он снова вступит в брак фиктивный, чтоб снова заработать. Теперь она ему мешала. Он требовал доплаты и грозил разводом, она всячески оттягивала время, страшась, что он действительно подаст на развод, и тогда все рухнет. Теперь она пытается найти дополнительный заработок.

— Но тебе бояться нечего, — расстроено сказала хозяйка, и видно было, что она очень переживает по поводу своей внешней ущербности. — Ты — видная, быстро найдешь себе жениха. Так что готовь деньги, и начнем. А чего медлить — время идет...

— Какая нужна сумма? — спросила я из любопытства: хотелось мне знать, сколько же платила она за всю эту

канитель. Хозяйка подумала и назвала. Я так и ахнула. Не ожидала, что так много.

— Как ты думаешь, где я найду такие деньги? — поинтересовалась я у хозяйки.

— Откуда я знаю, — холодно ответила та. — Захочешь — найдешь. Все, кому нужно, находили. А ты как думала, голубушка. Москва денег требует. Бесплатно сейчас ничего не делается.

Я засмеялась, пожелала ей спокойной ночи, повернулась к стене и уснула. Наутро я подумала, что мой отказ продолжать разговор хозяйка поймет как отказ от предложения. Но я ошиблась. В последующие вечера они уже втроем уговаривали меня, и очень настойчиво. Я слушала, смотрела на них и думала: зачем же им так нужно, чтобы я согласилась. И догадалась. Они конечно же прекрасно понимали, что, вступая в брак, совершают — или совершили уже — нечто нехорошее, выходящее за рамки обычного, и тянут за собой каждого, чтобы в случае чего можно было на кого-то сослаться, что-де не они одни так поступили, — а посмотрите: и тот, и тот, и тот. Распространено... А что еще? Для чего еще им тянуть меня на свою сторону. Да разве одну меня...

Чтобы не портить отношений до отъезда, я сказала, что подумаю, что не могу сразу решиться, поскольку надо осмыслить такой сложный вопрос — вопрос денег, что, быть может, все это следует перенести на будущий год, а за год я постараюсь собрать необходимое: заработаю, одолжу, что я давно уже мечтала переехать в Москву, но не знала, как это сделать, что я безмерно рада их предложению, и советам и так далее... Я, как могла, старалась, чтобы выходило естественно. На этом и закончили.

Но раздумывать особо мне было нечего. Само предложение и рассказанные истории вызывали во мне чувство гадливости, брезгливости, еще чего-то подобного, только не радости. Это, допустим, при наличии денег должна я покупать прописку, давая взятку псевдожениху. Да, взятка, как еще тут скажешь. Первое. Второе: разумеется, окажусь я в руках хозяйки, поскольку буду жить у нее, в руках ее подруг, попаду в зависимость, и она начнет помыкать мною крутить, давать советы, а я их должна буду выполнять. Так вот это представлялось. Ну — нет. Живите тут себе, сходитесь, расходитесь на здоровье — дело личное. Уеду на этом знакомство можно и прекратить. Инте

ресно, скольких вы еще запутаете в свои ловчие сети. Но и попадетесь же когда-нибудь...

Думать я стала о другом. Действительно, как же мне дальше жить, если я не хочу оставаться там, где сейчас работаю. А оставаться там я не захотела. Надо было что-то делать. А что? Мне двадцать шесть лет, я получила высшее образование, работаю, самостоятельный человек, сама должна загадывать наперед: что и как, сама отвечать за свои промахи. Раньше, когда жила с матерью, да и после, в студенчестве, легче было. Вроде — не взрослая еще, чуть что — к матери. А теперь? В школу когда ходила, требовалось одно — хорошо закончить. Закончила. Дальше — надо поступать в институт. В первый год не добрала одного балла, конкурс был высокий, пошла работать, зная, что все равно поступлю. Два года работала, зарабатывала стаж и какие-то деньги, чтобы купить себе одежду, так как впереди была стипендия, и только. Поехала в другой город, поступила, стала студенткой. Студенткой я дальше института не шибко загадывала, старалась вобрать побольше знаний, чтобы не пурхаться, когда начну, а то ведь стыд от людей. Получила диплом, получила назначение, приехала, стала работать. Ничего, неплохо выходило. В этой части вроде все благополучно. А как же с личной жизнью. Семью надо заводить: возраст критический. Надо, а не с кем.

В студенчестве было у меня двое приятелей, оба хотели моими мужьями стать. Одного, сокурсника своего, всерьез я и не принимала. Ухаживать стал на последнем курсе, на выпускном предложение сделал. Я отказала. Не напрочь отказала, не хотелось огорчать парня, сказала: давай еще годик подождем. Моложе меня, ниже ростом. Но не в этом дело. Непутевый какой-то. Выпивать научился. По специальности работать не стал, по каким-то справкам получил свободный диплом, устроился в своем районном городке, в клубе железнодорожников, руководителем художественной самодеятельности. Как уж он там руководил — не знаю, никаких нужных к этому делу способностей я у него не замечала. Потом, слышно, ушел куда-то из клуба. Ну какой из него муж, сами посудите. Расстройство одно. Такого всегда найти можно...

Другой — много серьезней, старше меня несколько, закончил технический вуз. Я с ним встречалась охотнее и, чувствовала, могла увлечься. Он тоже делал предложение, но как-то нерешительно, стесняясь своих недостатков, ро-

бег. Он заикался и, кроме всего, был болен. Это меня пугало. Наследственность. Я начинала думать о детях и — не могла решиться. Пока я таким образом прикидывала, он пристал к одной из своих знакомых женщин, скоро у них родился ребенок, после этого и мне, и ему было понятно, что не стоит затевать в дальнейшем никаких разговоров о совместной жизни. К тому же я уехала по назначению.

Школа мне жилья не предоставила, квартировала я у стариков, твердо зная, что уеду отсюда сразу же, как только отработаю положенный срок. Деревня степная, унылая, дороги — грязь, леса и речки нет, молодежи нет, школьницы восьмилетка, учителя местные, пожилые. Уеду — знала, куда — этого не могла себе сказать. Возвращаться к матери не было смысла: сестра вышла замуж, мужа привела к себе, ребенок у них, и теперь, когда я приезжаю проведать, мне ставят раскладушку. Да и с зятем что-то не могла я ладить — такой тюфяк попался, не приведи господь. Выбрала сестрица...

Вот в таком положении находилась я в то лето, когда приехала отдохнуть в Москву и познакомилась со своим будущим мужем. Мы с ним гуляли, по обыкновению, и я решила и рассказала ему все, про хозяйку, про наши беседы, ее предложение и заодно всю свою жизнь: бывшую и настоящую. Мне хотелось знать его мнение, но он ничего не сказал, только посмотрел на меня своими внимательными глазами, продолжая думать о чем-то. Но я возобновила разговор, мне нужен был его совет. Я умышленно добавила, что, видимо, соглашусь. Вот тогда он и заговорил:

— Зачем вы мне все это рассказываете? Понимаете, что мерзко, что не следует делать этого, а спрашиваете совета. Совет один: бежать немедленно отсюда, пока не засало, пока не затянуло в трясины с головой. Вот и весь совет.

Когда мы возвращались с прогулки домой, он предложил переехать к нему. Раз уж вам, как вы считаете, некуда деваться, приезжайте ко мне. Посмотрим, что из этого получится. И тут же рассказал о себе: где живет, чем занимается. А я несколько не удивилась приглашению, будто ждала его. С того самого дня, когда я увидела его впервые и подумала, что этот человек будет моим мужем, я как будто заранее знала, что все образуется. Иногда появлялось такое чувство. Хорошо, что я посоветовалась

с ним. Хорошо, что он именно оказался рядом в это время...

— Надо поговорить с родными, — сказала я ему. — Подождите немного, я вам напишу.

Через два дня он уехал, а почти следом и я.

— Так что, перенесем переезд на следующий год? — спросила хозяйка, прощаясь. — Или ты, быть может, передумала совсем?

— Перенесем, — согласилась я, — тем более что у тебя затруднения сейчас. Когда ты их разрешишь, будешь свободнее, легче станет помогать мне. До свидания, милая. До свидания, девочки. Всего...

Я заехала домой, объявила, что выхожу замуж за человека, с которым познакомилась в Москве. Мать заплакала, сестра стала расспрашивать, что это за человек, я сказала, что не знаю толком, но вроде бы неплохой. Затем я поехала к месту своей работы, уволилась, вернулась к своим, чтобы забрать вещи и попрощаться. Мать все плакала. Сестра спросила, не передумала ли я, зять посоветовал держать себя там с твердостью, а ежели случится такое, что станет неспособно, приезжать обратно. Мне собрали денег, купили билет на самолет, сестра с мужем поехали провожать в аэропорт. Все были несколько растеряны от такого оборота, зять взял фотоаппарат, чтобы сфотографировать меня на прощание, но забыл о нем, фотоаппарат оказался у меня, так я с ним и улетела. Я дала заранее телеграмму. Он встречал. Когда я вошла в здание аэропорта в его городе, на плече у меня висел фотоаппарат, в одной руке была дорожная сумка с вещами, в другой — скороварка, ее мне подарила сестра, и сетка с помидорами и яблоками. Я остановилась, оглядываясь, пугаясь чего-то. Он увидел меня, улыбнулся и пошел навстречу, протягивая руки. Он поцеловал меня в щеку, взял поклажу, и мы вышли на воздух. У меня отлегло от души...

К городу ехали довольно долго, на автобусе, мимо желтеющих березняков по шоссе, оно вдруг уходило вниз, как бы в распадок, подымалось, поворачивало в сторону, выравнивалось опять. Въехали в город. Я смотрела на деревянные, на каменных фундаментах, двухэтажные, похожие на терема, старой постройки дома, с кружевом резьбы по карнизам и наличникам окон, на новые девятиэтажные, будто спичечные коробки, раздумывая, каково мне будет здесь. Пятиэтажный, в несколько подъездов кирпичный дом стоял в тихом переулке, мы подошли к нему от остановки,

поднялись на третий этаж, он открыл дверь, пропуская меня, и я перешагнула порог квартиры, где с этого дня мне предстояло жить. Сняла, повесила возле двери плащ, прошла в одну комнату, другую, села на кухне, не зная, что делать дальше, что говорить. Потом долго ужинали, с вином, разговорами, чувствуя общую неловкость. От вина я немного взбодрилась, повеселела, стала рассказывать со смехом, как провожали меня в аэропорт сестра и зять...

Через три дня мы с мужем уехали к его родителям на Шегарку, о которой он говорил мне еще в Москве. Родители его жили в соседней области, до областного города добрались скоро, самолетом, дальше на грузовой машине нас вез брат мужа. Мы сидели втроем в машине, дорога проселочная, сухая, по сторонам лес, болота, машину покачивало на выбоинах, муж с братом разговаривали, вспоминая деревенских, я закрыла глаза, задремала, да так в полудреме и провела весь путь. Мы приехали в сумерках. В деревне горели редкие огни. Переехали по бревенчатому мосту речку, свернули налево, к избе, стоявшей на берегу. На шум на крыльцо вышла мать мужа, поправляя волосы. Она пропустила нас в сени, в избу, вошли мы, и муж познакомил меня со стариками своими, которых я тоже знала по рассказам. Нас стали угощать, засиделись допоздна за разговорами, я оглядывала убранство избы, состоящей из передней и горницы, замечая, как присматриваются ко мне старики, прислушиваясь, как и что я говорю. Мне они понравились опрятностью, неназойливостью в разговоре, радушием. Была глубокая ночь, когда мы пошли спать. Спали в просторной кладовой, отделенной от сеней дощатой переборкой. Ночь была свежая, мы накрывались тяжелым овчинным тулупом...

Мы прожили на родине мужа две недели. Деревня называлась Жирновка. Деревня далекая, глухая, самая крайняя в верховье речки. Кругом лес, болота. До сельсовета тридцать верст, до леспромхозовской ветки около семидесяти. Дворов по берегам много, но жилых десятка два, не больше, остальные брошены. Погода стояла теплая, сухая, начался листопад. Мы помогли старикам выкопать картошку, осталась в огороде одна капуста. По хорошей дороге в деревню из центральной усадьбы совхоза два раза на неделе ходил маленький, скрипевший всеми суставами совхозный автобус, и в один из таких рейсов мы поехали на нем в сельсовет, зарегистрироваться. Я спросила мужа,

распишут ли нас, ведь существует определенный порядок и срок после подачи заявления? Он улыбнулся и сказал, что председатель сельсовета его школьный товарищ, вместе в лапту играли, копны возили на быках, рыбачили на Шегарке. И стал рассказывать о той поре.

Председатель оказался на месте, они дружески встретились с мужем, муж рассказал, в чем дело, представил меня, мы подали заявления, передали секретарю паспорта, через несколько минут нас расписали, поздравили, пожелали счастья и других удач. Муж спросил приятеля, открыт ли магазин и, быть может, есть там случайно шампанское или коньяк, надо бы выпить по маленькой за встречу, да и событие отметить. Председатель рассмеялся и сказал, что нет даже водки, идет уборочная, и потому не возят подобный товар, чтобы не вводить в соблазн мужиков. Тут его позвали к телефону, он махнул нам, сказав, что должен ехать куда-то и не может пригласить нас к себе. Наказал шоферу автобуса, чтобы нас отвезли обратно, и просил обязательно заходить в гости, когда будем возвращаться в город. Мы сели в автобус. Я была в резиновых сапогах свекрови, на случай если пойдет дождь. Мужики, что приезжали на центральную усадьбу с нами по своим делам, несмотря на уборочную, где-то что-то нашли, были крепко пьяны и всю дорогу матерились за разговорами. Я смотрела в окно, и грустно было чего-то...

Вечером свекровь пошла на дом к продавщице местного магазинчика, торговавшего привозным хлебом, солью, спичками, табаком, другой мелочью, выпросила у нее спрятанную про запас бутылку горькой настойки, и мы вчетвером сели за стол. На столе стояла молодая вареная картошка, малосольные огурцы, соленые грузди, крутые яйца, творог, хлеб. Мы выпили горькой, старики поздравили нас, и стали есть: это была наша свадьба. Спали мы все время в кладовой, на широком твердом топчане, выставленное окно было затянуто марлей, ночи держались прохладные, но нам было тепло.

Иногда я просыпалась среди ночи и долго лежала, вслушиваясь в тишину, глядя в темноту. Ти-ихо было по деревне ночами.

Свекор был старше свекрови, он был изранен на войне, прихварывал и целыми днями, греясь на солнце, сидел в ограде на скамье возле колодезного сруба, изредка помогая жене. Хозяйством занималась свекровь, небольшая, ловкая в движениях старуха. Муж все дни был грустен, он

мне еще раньше говорил, что, когда приезжает на родину, его охватывает печаль, вспоминается детство, школа, сверстники, вся жизнь, проведенная здесь, и та деревня, что была несколько лет назад, не эта, где брошенные заколоченные избы, а та — деревня его детства и юности. Он бродил по лесным дорогам, слушая листопад, ходил на болота за клюквой, на свой сенокос, по берегам речки, где когда-то рыбачил с удочкой. Он и меня всякий раз звал с собой, но я один раз сходила по полевой дороге и вернулась скоро в деревню.

Я не знала деревенской жизни, не понимала ее и, признаться, не испытывала особого интереса. Да и к природе я была равнодушна. Мне казалось странным, что муж умиляется всему: огородам, берегам, дорогам и перелескам, как умилялись современные авторы книг о деревне, которые он мне советовал читать позже. А мне уж хотелось обратно, хотелось посидеть в каком-нибудь кафе, где хорошая эстрада, или же побывать в гостях, где много легкого вина, шум, разговоры, музыка, или погулять по тихому бульвару после симфонического концерта, или полежать в городской квартире, листая только что полученные журналы. Вечер, ты одна, настольная лампа...

Я заметила мужу, что вот многие плачут о деревне, о потерянной родине, а сами предпочитают жить в городах. Взяли бы да и вернулись, кто ж мешает. Так нет, лучше плакать издали. Муж согласился, что — да, это так, но вот он лично, придет время, вернется сюда навсегда. «Где уж, — посмеялась я, — ты вот умываешься теперь только теплой водой, а говорил, что в тридцатиградусные морозы в одной фуфайке на свитер в лес за дровами ездил. — И добавила, полушутя-полусерьезно: — Вернуться, конечно, можешь, но без меня. Запомни, коров доить я не умею. Да и не хочу». Он ничего не сказал на это.

Вообще в деревне мы как-то отчужденней себя чувствовали, чем дома, мало разговаривали. Муж все бродил по полям, печалился, я оставалась со стариками, беседовала со свекром, свекровка постоянно была чем-нибудь занята. От свекра я узнала, что до войны в Жирновке было два колхоза. А сейчас вот бригада, да и то, чувствуется, ненадолго: скоро разбредутся все. Они со старухой в зиму остались, а на будущее лето или к осени переедут в село к младшему сыну, он там дом поставил, работает шофером. Здесь уже не под силу, стары совсем, часто болеют, нужен

присмотр. Из вежливости я спросила, в чем причина, что деревни разъезжаются. Свекор только рукой махнул, вздыхая, долго молчал, а потом все-таки сказал в сердцах, что причин много, не перечесть. И добавил: с дорог надо начинать, бездорожье, как и сорок лет назад. Руководители совхозные меняются часто...

К концу второй недели нашего пребывания на Шегарке погода стала портиться, и мы собрались уезжать. Старик давали нам гостинцев: варенья, грибов, сушеной малины и травы какой-то, на случай если кто простудится в зиму, так чтобы лечиться отваром этой травы. По носкам-варежкам связала еще нам свекровь. Проводили до конторы. Тот же маленький автобус довез нас до Пономаревки, где находилась центральная усадьба совхоза, оттуда на самолетике долетели до областного города. В городе еще гостили у родни мужа, у него там проживали сестра и брат, и всюду я, кажется, понравилась. Во всяком случае, так мне сказал муж: понравилась и старикам, и родственникам. Я промолчала. Нравиться никому не старалась, держалась так, как держусь всегда. Погостив немного у родственников, мы благополучно вернулись в свой город.

Надо было устраиваться на работу, я чувствовала это и попросила мужа подыскать что-нибудь подходящее, но только не школу: снова идти в школу мне никак не хотелось. Ему, как я полагаю, сподручнее было заниматься поиском, у него были приятельства в городе, прочные знакомства, люди, которые ему чем-то обязаны, это уж точно, а я и не знала города, да и тягостно это — ходить по организациям и учреждениям, спрашивая, не нужны ли им люди, а там, как правило, начнут расспрашивать: кто? откуда? зачем? Что закончила, где работала раньше, почему уволилась? Десятки других вопросов. В конце концов, откажут, иди дальше. Так можно ходить кругами месяц, два, сколько угодно...

Муж согласился, но спросил, что мне нужно. Что-нибудь интересное, сказала я, смутно представляя, где бы я сейчас смогла работать. Муж в известной степени старался, но то, что он предлагал, не подходило: библиотеки, например. Ясли — там нужны были воспитатели, общество «Знание» или еще что-то в этом роде. Библиотеку, хотя это было рядом с домом, я сразу же отклонила: мал заработок, мал отпуск, и не тогда, когда тебе нужно и когда подойдет очередь. Мне же отпуск был нужен легом или под

осень, до дождей, чтобы можно было потеплу поехать куда-то к морю, а потом навестить родных, подруг. И в детский сад идти я не желала, потому как это было ничуть не лучше, чем в школе: возись с детьми, утирай им носы, корми, укладывай спать и все остальное. Рано или поздно, думала я, будут свои дети, хлопот не оберешься со своими, а тут чужие, хоть она и работа.

Так прошел октябрь. Последние дни муж ничего не говорил о моей просьбе, когда же я напомнила, сказал, что надо обождать, он обзвонил известные ему организации, люди нужны, но все это не то. Он может, на худой конец, взять меня в свой трест работником архива, а там, глядишь, что-то подвернется. Но и в архив мне не хотелось.

Я понимала, что мужу в силу его характера тягостно вести с кем-то там переговоры относительно меня, но что было делать, уж если он не мог найти работу, то могла ли я найти ее самостоятельно. Я понимала также: чтобы найти вблизи дома необременительную службу с хорошей зарплатой, ежегодным летним отпуском, нужно долгое время жить в городе, хотя бы вот в этом, иметь знакомых доброжелателей и чтобы они помнили о твоих просьбах и желаниях. Только так. А службы подобные есть, но за них держатся, как правило, расстаются с большой неохотой.

Однажды муж пришел и сказал, что через своего приятеля узнавал в гороно, нужны ли учителя русского языка и литературы, оказалось, что есть свободное место в школе-интернате, и, если я согласна, надо после выходных поехать, переговорить с директором. Одно место, так как учебный год давно начался, а все школы укомплектованы задолго до сентября. Жалко будет, если потеряем возможность. Я день молчала, потом сказала, что согласна: не хотелось на первых порах обострять отношения. Муж обрадовался. Он, чувствовалось, устал от звонков-переговоров.

А уже наступила зима, хотя месяц еще стоял осенний, снег выпал до праздников, и день ото дня морозы становились сильнее. Я мерзла. Пересмотрев свой гардероб, с грустью заключила, что давным-давно надо полностью обновлять его. Представила, как буду зябнуть: из теплых вещей была у меня одна-единственная кофта, поношенная еще в студенчестве, как, впрочем, и все остальное. За минувший, проработанный в школе, год я справила себе всего

одно платье да кое-что из белья. Мне сделалось стыдно от мысли, что невеста я без приданого, привезла старье: изношенные, под замшу, сапоги, голенища которых уже не держались, а гармошками спускались к головкам, поношенное пальто, там, на юге, в зависимости от сезона, оно служило мне и зимним и осенним, легкую вязаную шапочку, тонкие, потертые перчатки. В этом наряде можно было ходить лишь в хлебный магазин, что в трех минутах от дома, и то возвращалась я вконец продрогшая. Взглянув на сапоги, муж заметил, что их смело можно выбрасывать, так как назначение свое они полностью выполнили, отслужили положенный срок, и на второй день принес валенки, пимы по-сибирски, о которых я слышала, видела даже, но никогда не носила. Я надела валенки, прошлась по комнате, было смешно и неловко, ноги хлябали в голяшках, подворачивались, я не представляла, как это пойду в них по улице. Сказала об этом мужу.

— Разносятся, привыкнешь, — успокоил муж. — Без них пропадешь, морозы в иную зиму до сорока доходят. Одевайся, пойдем пальто смотреть, старое твое в утиль отдадим. Возьмут ли еще...

Мы обошли несколько магазинов, но нужного не купили. Пальто женских было много, но все из дорогого материала, почему-то ярких цветов, они были безобразно сшиты местной фабрикой, кроме того, натуральные меховые воротники утраивали цену. Я примерила с десятков и отступилась. Ноги от непривычной ходьбы в валенках болели, и мы вернулись домой. Мне хотелось шубу, но шуб здесь не продавали. Я спросила мужа, нельзя ли купить шубу на барахолке, он ответил, что, конечно, можно, но не стоит делать этого, так как обязательно обманут там, всучив поношенную подкрашенную вещь за новую, содрав деньги, а ты вещь не пронесишь и сезон. И добавил, что надо бы выбрать одно из тех пальто, что мы смотрели, но я отказалась. Лучше донашивать старое, а появится возможность, купить настоящее. Решили: вот муж поедет в командировку, выберет шубу, сапоги, шаль и остальное, что необходимо. Пока же стану наряжаться в то, что есть на руках. Больше по магазинам мы не ходили, не тратили зря время.

В середине ноября, после праздников и каникул, я вышла на работу. Школа, куда я определилась, была школой-интернатом и находилась довольно далеко: надо было не менее получаса, к счастью, без пересадок, ехать на ав-

тобусе: остановка автобуса была на соседней улице. Мне дали ставку, то есть восемнадцать часов языка и литературы и классное руководство: от него я никак не могла отказаться. К зарплате набегало пятнадцать процентов северных, но все равно это были не бог весть какие деньги, а мне хотелось в этой части быть в какой-то степени независимой от мужа. Но что оставалось делать — так выпало мне.

Школа была большая и трудная, учителя менялись часто. Я знала, что существуют школы-интернаты, но не предполагала, как тяжело в них работать. Поначалу я думала, что школы-интернаты это нечто вроде детских домов, где живут дети, потерявшие каким-то образом родителей, или дети, отнятые у родителей, лишенных родительских прав. А ничуть не бывало. У всех детей были родители, и не какие-нибудь там больные или спившиеся, нет, вполне нормальные люди, у многих учеников родители занимали довольно ответственные посты в городе, от завмагов и выше. Деток их перевели сюда из обычных школ, так как там на них уже не действовали никакие меры. Родители то и дело звонили директору и завучу, сердясь, что дети их, несмотря на то, что теперь они в школе-интернате, ведут себя несколько не лучше прежнего, а наоборот. Завуч и директор спрашивали с нас, классных руководителей и воспитателей. А мы должны были отвечать за все, что происходило в интернате.

Если в обычной школе на класс в тридцать — тридцать пять человек было два, ну, от силы три трудных ученика, то здесь, в классе на тридцать — сорок человек, — два-три хороших ученика, остальные трудные. Все они, мальчики и девочки, были «акселератами», то есть необычайно рослыми, ребята курили — каждый второй, начиная с пятого класса. Старшеклассники, темнея усами, выпивали на переменах, зайдя в туалет или закуток. Девочки-старшеклассницы тоже покуривали тайком, подкрашивали губы и брови, знали, что такое любовь и не по книгам. К чрезвычайным происшествиям давно привыкли все, и никого уже ничто не удивляло. В такой вот школе я должна была работать. Нашли работу, спасибо.

Я хотела уйти сразу же, но муж стал упрашивать дотянуть хотя бы до весны, до конца учебного года, а тогда, выбрав момент, перейти в другую школу, и поближе, или вообще уйти, присмотрев что-то по душе. Если я уйду сейчас, ему будет неудобно перед теми, кто беспокоился за

меня. И опять я согласилась. Надо было настоять на своем, а я уступила, характер слабый.

Уроки, подготовка дома, проверка тетрадей, классное руководство, разбор ЧП, педсоветы, родительские собрания, общественная работа, различные поручения: все шло вкруговую. Кроме всего, меня с первых же дней невзлюбила завуч и стала всячески преследовать. Она была среднего роста, перетянута в талии, ходила быстро и грудью вперед, голова, завитая в мелкие кудри, запрокинута несколько, и резкий голос ее, казалось, доносился из всех углов сразу. Завуч стала посещать мои уроки. Ежедневно, что было вопреки всем правилам. Химик по образованию, она ровным счетом ни черта не соображала в языке и литературе, но это не мешало ей со знающим видом отсиживать на уроках и делать потом замечания по методике преподавания или проверять, пишу ли я планы уроков, а если пишу, то так ли, как надо. Планы я писала.

Один раз она льстиво подошла ко мне и, протягивая испитую ученическую тетрадь, попросила посмотреть ее доклад, который она где-то должна была прочесть. Дескать, так ли он написан с точки зрения литературы. Дома я прочла доклад. «С точки зрения литературы» он был написан совершенно безграмотно, и я целый час правила его, перестраивая фразы, подчеркивая орфографические ошибки, дописывала строки, заканчивая мысль. Завуч поблагодарила меня, но все равно в тот же день была на моих уроках и сделала, как обычно, несколько замечаний.

В декабре она побывала на уроках языка и литературы двадцать шесть раз. И она, и я прекрасно знали, что подобное ни один завуч ни в одной школе не практикует, что ко мне, как молодому специалисту, вообще не должны ходить на уроки. Хотела пожаловаться директору, но он всегда был занят, разбирая различные происшествия, встречая-проводя всякие комиссии, и я все никак не могла выбрать время поговорить с ним. Наконец, после очередного посещения завучем моего урока и особо глупого замечания, я прямо в учительской устроила скандал с криком и слезами. Прибежали учителя, прибежал испуганный директор, плача, тыкая в сторону завуча рукой, я кричала, что, если она еще раз явится на мои занятия, тут же уйду из школы, но, уходя, сделаю так, чтобы и она здесь не работала. Директор увел меня в свой кабинет, дал наплакаться, налил воды, а потом разговаривал со мной, улыбался, извиняясь и

спрашивая, почему я до сих пор молчала. Я успокоилась, мы поговорили еще, и я пошла на урок.

После этого случая я некоторое время не здоровалась с завучем, точнее, молча кивала и проходила мимо, когда мы сталкивались, ожидала от нее за спиной какой-нибудь пакости. Она же, прекратив проверку уроков, держалась со мной официально. Все видели, что она откровенная дура, не знает толком даже своего предмета, так как институт в свое время закончила заочно, и, чувствуя свою слабость в этой части, утверждалась административными способностями. Директор прекрасно чувствовал ситуацию, однако держал ее долгое время завучем, потому что, как говорили между собой учителя, при такой работе ему совершенно необходимо было ее горло. Вот она и старалась показать себя.

Откровенно говоря, я как-то недопонимала подобной системы: организацию школ-интернатов. Гораздо проще, как я считала, работать с трудными учениками в обычных школах, где трудные наперечет, чем собирать их со всех школ в одну и называть эту школу школой-интернатом трудновоспитуемых подростков. Кто-то придумал, а мы, учителя, должны расхлебывать. Да еще, бывает, под началом таких руководителей, как наш завуч. Та сельская восьмилетняя школа, где я год проработала после института, казалась мне в сравнении с интернатом раем земным. Хотя и там хватало различных забот. Но прошлое всегда вспоминается с грустью. Вот и я вспоминала с грустью свою восьмилетку...

Все, что касается школ, я, разумеется, знала загодя, но охладела к преподаванию быстро. А ведь сама когда-то десять лет сидела за партией, своею волею, без чьих-либо советов, поступила в педагогический, прилежно занималась, стараясь не пропускать лекций, была внимательна на практике, представляя ясно, что меня ждет завтра, с охотой поехала по назначению, а проработала год, и — пропало всякое желание. Признаться, все мы в студенчестве мечтали немножко о другом, о том, как попадем в хорошую школу, где любознательные, послушные дети, дружный учительский коллектив, умный, опытный, все видящий, все понимающий директор, старинный — если это город — город, небольшая, живописная и никак не в глуши — деревня. Мечтания так и остались мечтаниями. Я получала от подруг письма, они жаловались, все или почти все было не так, как представлялось во время учебы. В од-

ном из педагогических фильмов героиня говорит: раньше было трудно работать в школах, сейчас — невозможно. Совершенно точные слова. Я это на себе познала — почувствовала. Может, кто и не поверит...

Уставала я очень. Хотя рабочий день мой по расписанию заканчивался обычно в три часа, в три я никогда не уходила, что-то всегда задерживало, возвращалась домой в темноте — в четыре уже начинало темнеть, — открыв квартиру, раздевалась, оставляя одежду где попало, сил не хватало повесить и сложить ее по местам, спешила в постель под одеяло и, вытянувшись на спине, закрыв глаза, старалась ни о чем не думать, чтобы вышли из головы беготня, звонки, крики, возня, звяк посуды в столовой, темы уроков, голос директора, голос завуча, голоса учителей, все, что наполняло меня изо дня в день. Мне необходимо было на некоторое время забыться перед тем, как сесть за подготовку к завтрашнему дню. Если муж был дома, он находился в другой комнате, стараясь не шуметь. Дождавшись, когда я усну, он собирал мою одежду, потом шел на кухню, готовить ужин. Иногда — в основном по выходным — готовила я, но чаще всего — он, у меня для этого не было ни сил, ни времени. Ужинали часов в девять, не раньше. Муж мыл посуду и спешил уйти в дальнюю комнату, где он читал перед сном или занимался еще чем-то своим, а я закрывала кухонную дверь, включала духовку электроплиты, поворачивалась к ней спиной, пододвигала поближе стол и начинала готовиться: составлять планы, листать учебники, просматривать дополнительную литературу, проверять тетради, отнимающие столько времени, тетради — самое скучное и надоедливое, что есть в преподавательской работе. Спину грело, я дремала...

Спать, как правило, я ложилась за полночь: в час, во втором, иногда — позже. Утром муж вставал на час раньше меня, пил чай или доедал, что осталось с вечера, и уходил. Он очень серьезно относился к своей работе, как, впрочем, ко всему, чем бы ни занимался. Я лежала до последнего. Глядя в замерзшие окна, за которыми были темнота и холод, я все оттягивала минуты, хотя будильник давно отзвенел, и от мысли, что сейчас надо выходить на улицу, внутренне сжималась. Встав и умывшись — для завтрака уже не оставалось времени — я натягивала поверх своей байковую рубашку мужа, его же, вязанную из толстой шерсти, безрукавку, свою кофту и пальтецо — осенне-зимнее с кошачьим воротником, выбегала, начиная дро-

жать уже на ступенях лестницы. Автобус ходил редко, и надо было уметь сесть в него, умоляя потесниться, протаскивая портфель между стиснутых тел.

Стоя под фонарем на остановке, подняв воротник, поворачиваясь на ветер спиной, сдвинув онемевшие колени, я чувствовала, как накапливается, растет во мне, требуя выхода, раздражение против всего: мужа, сманившего меня сюда, против чужого города, зимы, автобуса, пассажиров, не понимающих человеческих слов, завуча, школьников, которых почему-то мне надо было воспитывать, когда этим должны были заниматься родители. Я стояла, автобус все не приходил. Вот подошел, я не смогла сесть и заплакала. Прошел еще один, он был набит. Я стояла... Я стояла и плакала...

Дни шли медленно, зиме не видно было конца. Забеременев, я обрадовалась и стала ждать, когда можно будет уйти в декретный отпуск, поклявшись заранее, что сюда я уже не вернусь никогда. И ни в какую школу в жизни своей больше не пойду работать. С меня достаточно. Теперь по целым дням я пропадала в постели, почти не выходя на улицу, хотя врачи говорили о регулярных прогулках на свежем воздухе. Но какой свежий воздух мог быть в промышленном городе, когда только из окон квартиры видела несколько постоянно дымящих труб, а дачи, где бы я могла гулять и дышать, у моего мужа не было.

Постель в своей комнате — муж спал отдельно — я не убирала, вставала поесть, ходила от окна к окну, ложилась спать. То, что я изменилась внешне, было понятно, но внутренне я тоже изменилась, мной овладела апатия, вялость, равнодушие ко всему, что происходило вокруг, любые возражения раздражали меня. Я пробовала читать — это утомляло, я просила почитать мужа, несколько вечеров он сидел с книгой возле моей постели, но потом стал отказываться, говоря, что устал, занят, хочет пораньше лечь. Я сердилась. И все же это были хорошие дни, хорошие своей пустотой. Школа, как я понимала, ушла от меня навсегда и далеко. Я еще молодая, мне нет и тридцати, можно поменять профессию.

Иногда задумывалась и подолгу лежала так, размышляя. Я вдруг впервые остро почувствовала взрослость свою и самостоятельность, и от этого стало как-то не по себе. Раньше всегда за спиной была мама, бывало, чуть что — сразу к ней. Значит, ушло детство, ушла юность, ушло студенчество с застольями и разговорами, осталась позади

вся моя прошлая жизнь. Началась новая полоса. На новом месте. Я вышла замуж — это влекло за собой множество незнакомых ранее обязанностей, я была хозяйкой квартиры из двух комнат, кухни, коридора, и это накладывало на меня определенные обязанности, собиралась стать матерью, а это сулило столько всяких обязанностей, что не перескажешь, но все они были пока далеко. Да нет, где ж — далеко, месяц, другой, а там...

Мать, сестру, маленького племянника, зятя, школьных подруг, институтских подруг, приятелей, что считались моими женихами, добрых знакомых — всех их заменил один человек, мой муж. А с мужем у меня не ладилось. Почти с первых дней. Я хотела разобраться: почему? И никак не могла разобраться, не знала, с чего начинать. Начинать, может быть, следовало с того, что я сразу же потеряла интерес к семейной жизни. Всякий интерес. Когда муж не был еще моим мужем, а только знакомым, мы гуляли по Москве и он предложил поехать к нему, я испытывала к этому человеку лишь любопытство. Нет, ведь он мне отнюдь не противен, рассуждала я. Наоборот, он мне чем-то нравится, и даже очень. Пожалуй, поеду к нему и стану хорошей женой. А что еще? Кого ждать, кого искать? Он умный, честный, грамотный. Он, чувствуется, глубоко порядочный во всех отношениях человек. Кроме того, он старше меня и, стало быть, опытнее в жизни, значит, будет советовать, подсказывать, если в чем-нибудь ошибусь. Такой муж и нужен. Всем известно, что муж должен быть старше...

Так, кажется, рассуждала я после предложения поехать. Волновалась тогда, собираясь в дорогу, радовалась перемене, ждала, а что же там, за чертой, которую должна переступить. Переступила. И что же? А ничего особенного. Как и со школой: ожидала одного, а получилось совсем другое. Тогда я стала спрашивать себя: чего же ты действительно хочешь? И отвечала откровенно: не знаю. Впрочем, знала, что мне надо. Мне нужно было полюбить его, человека, которого выбрала. Нужна была вспышка, и чтобы она преобразила меня. Чтобы я ходила, говорила, вела себя, жила, чувствовала... по-другому, а с заботами, свалившимися с замужеством, разделявалась шутя, левой рукой, едва замечая их. Чтобы... Но ничего такого не случилось. Чего-то в нем не доставало, не хватало мне. И это останавливало, наводило на различные и грустные раздумья,

Нет, он по-прежнему нравился мне. Да, он был умен и грамотен и воспитан в достаточной степени, но без всяких там изысков. Он был старше меня, опытнее в жизни и давал различные советы. Но я уже поняла, что это — плохо, когда старше. Много советов, и мало общих интересов. Десять лет, это не десять месяцев или десять дней. Мне скажут: и на двадцать лет старше бывают мужья. Бывает, конечно, всякое, да только не верю, что при такой разнице в возрасте может быть жизнь нормальной. За редким исключением разве. Надо было выходить за ровню или даже за того ветрогона, что был моложе. Он бы сейчас как выюн кружился возле меня, слушаясь. Он бы по одной плашке вышагивал... Но хорошо ли это, когда муж во всем подчиняется жене своей?..

Но ведь никто тебя арканом не тянул замуж, внушала я себе. Вышла доброй волей — привыкай, приноравливайся. А любовь — может, она и придет, вот ребенок родится, что-то изменится в отношениях. Привыкала, но медленно очень, с остановками, с раздумьями. Муж, я видела это, пристально наблюдал за мной, сравнивая со своей матерью, и в этих сравнениях я конечно же проигрывала. Было в характере мужа нечто тяжелое, крестьянское, неразрушимое: любовь к определенному жизненному укладу, к порядку во всем. Он мне рассказал, да я и сама видела, когда была в Жирновке, что в доме их все придерживались порядка. Мужская работа — это мужская работа, женская, значит, женская. Однако такое разделение вовсе не мешало помогать отцу и матери друг другу, когда того требовало дело. И еще: если взял что-то, попользовался, положи на место. Каждая вещь знала свое место. К этому он и стал приучать меня с первых же дней нашей совместной жизни. Смешно, конечно. Смешно и... глуповато немножко.

По утрам, умывшись в ванной комнате, я выходила с полотенцем в коридор, на кухню, утершись, возвращалась, чтобы причесаться, оставив полотенце на кухонном столе. Муж страдал, видя такое. Он брал полотенце и вешал туда, где оно висело постоянно. Меня это отчасти забавляло. Я не понимала этого. Главное, говорила я, чтобы все всегда было под рукой. Ведь они в квартире — вещи, не на улицу же я их выношу. Муж учил меня пользоваться электроплитой, говоря, что необязательно, включив плиту на полную мощность, ждать, пока закипит чайник. Нужно доглядывать за чайником и, когда вода зашумит, переключить

чить плиту на единицу или выключить совсем, раскаленная плита догреет чайник, и он скоро закипит. Я слушала его с улыбкой или не слушала вообще.

Один раз, поставив кастрюлю, пошла я зачем-то этажом выше, заговорила и забыла о плите. Открыв своим ключом квартиру, муж увидел на кухне дым, решил, что у нас пожар, и закричал, не находя меня, а это горела в кастрюле картошка, так как вода полностью выкипела. Я чувствовала, что виновата, но ничего не сказала. Муж не стал ужинать, промолчал весь вечер. Он ходил следом за мной, выключая свет, когда я забывала выключить, закрывал в ванной краны. И просил быть внимательнее. Я хотела, чтобы он не мелочился, шире смотрел на жизнь, а для него важно было, чтобы я выключала свет или доела за столом кусок полностью, если взяла целый кусок, не оставляя от него и не выбрасывая остатки, потому что хлеб, замечал муж, вообще грешно выбрасывать. Мне это, сами понимаете, скоро надоело, и мы поссорились. Да и кому не надоест?..

Собственно, поссорились мы не из-за кранов и хлеба, а из-за огурцов. Ведь такая ерунда, а? И даже не поссорились мы тогда, нет, просто почувствовали первое отчуждение. Ссоры были позже. А это случилось осенью, в конце сентября, мы только что вернулись из деревни. Стояли последние солнечные дни. С базара несли поздние огурцы, от овощных магазинов в мешках тащили скрипевшие кочаны капусты, те, кто запоздал почему-то пораньше заготовить овощи.

— Хорошо бы засолить ведра два-три огурцов на зиму, — сказал как-то муж, глядя в окно, в переулок, по которому шли с базара люди: день был воскресный. — Правда, бочонка нет, ну да банки есть стеклянные трехлитровые, в них можно. Свои огурчики, а?!

— Так давай засолим, — согласилась я, — чего же раздумывать тут.

— А ты сумеешь? — обрадовался муж. — Я и сам смогу, да забыл все тонкости. Эх, вот мать солила, в погребе хранила. До весны держались. Листья хрена добавляла для крепости.

В тот же час пошел он на базар, долго его не было, пришел после обеда, в рюкзаке и сетке мелкие, как раз для засолки, огурцы, в сумке укроп, петрушка, перец красный, листья хрена, что придают огурцам удивительную крепость. Выложил, заторопился опять, за солью. Почему-то

та соль, которой мы пользовались за столом, не годилась, нужна была особая. Муж по пути услышал от женщин, где она продается, и побежал. Принес и соль. Огурцы мы пересыпали в ведра, залили водой, так, помнили и я и он, делали наши матери. Наутро муж уехал на три дня, я обещала справиться сама.

Огурцы мокли в ведрах день, и второй, и остались на третий. И не потому, что я была занята шибко в эти дни. Я к засолке почему-то охладела, потом стала ждать мужа, решив, что вдвоем, советуясь, мы лучше сделаем дело, а пока с ними ничего не случится. Когда муж вернулся и увидел нетронутые ведра, он изменился в лице, у него было такое выражение, будто его оскорбили. Поставив портфель, не сняв плаща, кинулся к ведрам, взял один огурец и раздавил его пальцами: огурцы испортились, я передержала их в воде, они разбухли и сделались мягкими. Схватив ведра, муж вынес их из подъезда и вывалил в ящик для мусора. Он ничего не сказал мне тогда, только посмотрел и отвернулся.

С того дня муж взял за привычку молчать, когда сердился. Но жить в одной квартире и долго не разговаривать — трудно, и на второй-третий день он обращался ко мне, говоря самое необходимое. Если на лице его появлялось страдальческое, знакомое по истории с огурцами, выражение, я понимала, что сделала что-то не так. Но выражение это скоро исчезло совсем, муж просто молча подымал с пола мою сумку и клал ее на место, брал лежащее на подоконнике пальто, вешал в шкаф. И все это молчком.

В октябре начались холодные дожди с ветром, надо было утеплять квартиру, замазывая окна. Муж принес замазку. Моя форточку, я разбила ее, потом, разворачиваясь, локтем выбила стекло балконной двери. Форточку муж застеклил следом, а для двери не нашлось нужного стекла, не было стекла и в магазинах, он позвонил кому-то, ему пообещали, но долго не везли, наконец, привезли, муж стал примерять, оказалось, вырезали не по размеру, стеклореза у него не было, пришлось звонить опять. Все это время муж со мной не разговаривал, окна остались незаконченными — не утеплила я их. Прошел октябрь, половина ноября. Когда стало совсем холодно, широкие щели муж заткнул ватой, остальное, через некоторое время, я залепила замазкой. Он бы все это отлично мог сделать и сам, как делал прошлые годы до меня, но ему хотелось,

чтобы я стала хозяйкой, а мне не нравилась такая учеба. Мне всегда и во всем хотелось самостоятельности, и я добивалась этого, за редким исключением. Здесь же стало все по-другому. Выйдя замуж, я потеряла собственное «я», будто растворилась в ком-то, стала придатком чего-то. Я начинала отстаивать себя, защищаться, это превращалось в обыденный скандал.

Я родила дочь. Со дня рождения и до года примерно, а может, чуть дольше, то есть до того времени, пока она не начала ходить и выговаривать первые слова, был самый тяжелый период и по количеству свалившихся с рождением ребенка забот, и в наших с мужем отношениях. Вспоминая то время, я с удивлением думаю: как это я вынесла все, как это у меня хватило сил. Пока у меня было молоко, я подымалась ночью кормить дочь. Днем кормление шестиразовое. Так — до трех месяцев. К этому времени молоко исчезло, мы перешли на порошки и всякие там смеси. После трех месяцев — кормление четыре раза на день. И ни дня тебе ни ночи, невыносимое, как у чеховской героини, желание спать, плита постоянно включена, от нее жар. Нужно прокипятить все эти соски, бутылочки, баночки. Приготовить, накормить, помыть посуду. А еще вызовы врача, советы, лекарства, купание, белье, стирка для себя, варка для себя, уборка, проветривание комнат, марлевые повязки. Нужно достать соки, а их нет, нужно фруктовое пюре, а его нет. Письма на юг, звонки, телеграммы, ожидание посылок. Нужно то, это, пятое, седьмое. И, кроме всего, ссоры, ссоры, ссоры. Быть может, не всегда я была права. Нет, не всегда. Конечно, не всегда. Но...

Бедные женщины, каково им дается семья. А ведь еще и работать надо, то есть ходить на службу. Вроде бы кухонно-ванной работы недостаточно. Предостаточно, должна я вам заявить. Да!

— А если бы у нас было несколько детей, — сказал как-то муж, когда я вскричала, что больше не могу. — А если бы, — начал он.

— Что-о?! — спросила я, и, видимо, таким голосом, что он вскинул удивленно голову, посмотрел на меня и ничего уже не сказал.

Свекровь мне рассказывала, как кружилась она со своими шестью. Да их семья, по деревенским понятиям, считалась не так и велика. Вот когда девять, а то и все одиннадцать, тогда... Это не жизнь, конечно, лучше сразу головой в реку. Сейчас и в деревнях не шибко-то большие семьи:

поумнели. А в городах, как правило, двое. Норма. Но с меня и одного было довольно. Я поняла, что семья не для меня. Видимо, не такой я человек, чтобы заводить семью. Надо было остаться одной, я все чаще теперь думала об этом. Москва, браки всякие — все это ерунда. Ни в какую Москву, понятно, я бы не поехала. Жила бы одна, зиму — работа, летом — поездки. Свободный человек: куда захотел, туда и повернулся. В студенчестве о чем думала: о путешествиях. Вот, стану работать, деньги появятся, отпуск большой — выбирай маршруты. Север, Прибалтика, Азия. А то и заграница, кругосветное путешествие. Путешествуй, смотри, в старости вспоминать будет что. Ни от кого не зависим, никаких скандалов. А приятеля-попутчика всегда можно найти. А что получилось. Напутешествовалась вволю.

Муж говорит, что у меня скверный характер. Может быть, не возражаю. Тем более, значит, мне следует жить одной. Хотя не могу припомнить, что кто-то до этого жаловался на мой характер, не было такого. Муж говорит, что я ленива. Видимо, так. Но матери я помогала, старалась, и когда училась в школе, и когда была студенткой, приезжая на каникулы. Да ей и помогать особо не надо было, она всюду успевала сама. В общежитии никто из нас ленивыми друг друга не считал: хочешь, тщательно заправляй кровать, хочешь, просто набрось одеяло. Хочешь, валяйся в постели до обеда, если есть возможность. В школе когда работала — жила, как хотела. Никто не подталкивал, не напоминал, что нужно сделать это вот, а потом — то. Сама себе хозяйка. Несовместимость, вот что это значит. Да, несовместимость. Очень точное слово.

Мы жили без отца. Когда он ушел от нас, меня только записали в школу. А сестра была совсем маленькая. Мама работала в аптеке кассиром, в ту же осень она стала подрабатывать уборщицей в хозяйственном магазине, что находился недалеко от нашего дома. Мы с сестрой ничего не поняли тогда, почему ушел отец. А мать сказала, что он уехал в командировку. Он часто уезжал в командировки. А позже объяснила, что отец больше не будет жить с нами. Постепенно мы привыкли к такому положению: жить без отца. Повзрослев, я поняла, что мать ни в чем не виновата, виноват он. У него давно уже была другая семья, к нам он не касался, и мы стали забывать отца, думая о нем все реже, реже. А мама замуж так и не вышла. Трудно, разумеется, выйти замуж с двумя детьми на руках. Но она, как

я догадывалась, и не помышляла об этом. Все вынесла сама, держалась. Это я к тому рассуждаю-вспоминаю, что ведь можно жить и одной, даже имея ребенка. То есть нужно жить так, как тебе хочется.

Если вообще-то говорить прямо, наша мама была несчастна. От нее ушел человек, которого она любила, прожила с ним долгое время, родила двух детей. Ушел, значит, она чем-то не устраивала его. Так, во всяком случае, судили знакомые. А это позор. Если бы он ее не устраивал, мать бы не стала с ним жить. Выгнала, развелась или еще как-то там освободилась. Это — душа страдала. А ведь были еще работы-заботы, мы, дети ее. Уж лучше бы он умер, погиб при несчастном случае, еще что-то. А то — ушел. Мы с сестрой, когда подросли, на вопрос, где наш отец, отвечали: умер. А мать, как мне кажется, не за себя переживала, за нас, что мы остались без отца. Вот как судьбы складываются — диву даешься...

Вот и у меня сейчас такое дело, рискованное. Допустим, я обойдусь без мужа, а каково дочери всю жизнь без отца. Пока еще маленькая, а вырастет, спрашивать станет, разбираться начнет, кто из нас прав, кто виноват. Поведешь в школу записывать, и там вопросы: кто отец, кем работает? А то еще и так может случиться с дочерью: подрастет да и уйдет к отцу. А что сделаешь? И так бывает. В жизни всякое бывает. Стало быть, продолжать с мужем жить? Нет, не могу. Прожили всего два года, а думалось — целых двадцать два. О-ох, долгой жизнь покажется, если так и дальше. Но дальше так не должно быть, куда ж еще-то...

Он мне говорит в минуты затишья: потерпи, просто у нас полоса такая в жизни, тяжкая. Подрастет дочь, в ясли пойдет, ты работу присмотришь по душе. Больше времени будет, изменится настроение, интересы появятся, жизнь повернет. Оглянись, присмотришь: все живут так же, как и мы. Вот это «все так живут» меня больше всего раздражало. Так, как живут все, я не хотела, но и ничего нового придумать не могла. То есть — выход был, остаться одной. Но дочь... Да и я, чувствовалось, сломалась уже за два года и ни на что более не была способна. Надо бы отдохнуть, отойти душой. Надо бы, надо бы, надо бы... Ох, опять слезы...

Пока я так рассуждала, гадая, муж заявил однажды, что если у нас и в дальнейшем будет так продолжаться, то он, пожалуй, уйдет от меня. Ничего хорошего он уже не ждет от этой жизни.

— Ради бога, — сказала я, — сделай одолжение. Соберись и уходи.

А между тем время шло. Девочке исполнилось год, полтора. Девчонка — прелесть. И, наблюдая, как возится с нею отец, какое у него бывает при этом лицо, я понимала, что никуда от своего ребенка он не уйдет. От меня может, от нее — нет. От меня, судя по всему, он уже давным-давно ушел. И забыл, и не жалеет ничуть...

Часто, случалось, побежит она к нему в комнату играть и играют долго на полу, крепость из кубиков строят, а потом слышу — притихли. Я на цыпочках подойду осторожно к двери, загляну, он возле окна стоит, на улицу смотрит, дочь на руках держит, прижал к себе крепко, она ручонками обхватила его за шею. Стоит, а у самого борода мокрая, плачет. Опять, видно, Жирновку и Шегарку вспомнил. Мы когда поженились, он много рассказывал о детстве своем, играх ребячьих, о первых книжках прочитанных... Не надо бы ему, думаю, было уезжать насовсем в город. Не надо.

Прошло четыре года, как я приехала в этот город. Мне уже тридцать лет. Я растолстела, подурнела, поглупела. Перестала следить за собой. Сидя перед зеркалом, рассматривая морщины на лбу и в углах рта, тяжелую свою фигуру, я вспоминала, как все годы в институте играла в баскетбол, имея первый спортивный разряд. Дочери уже три года. Она ходит в сад, я — на работу. Я работаю теперь в рекламбюро. Эта работа мне не очень-то и нравится, но что делать — сама нашла ее себе. С мужем мы живем как чужие. Я с дочерью давно уже заняла большую комнату, с окнами на южную сторону. Там светлее, там книги и телевизор. Муж размещается в маленькой, возле кухни. Домой он возвращается теперь позже, подрабатывает где-то. Правда, не каждый день. За квартиру и за девочку в сад платит он из своего заработка, продукты тоже покупает он. У меня зарплата небольшая, я не трачу ее на хозяйственные нужды, откладываю: хочу осенью, поехав в отпуск, купить шубу и сапоги. Всю одежду для девочки муж так же покупает на свои деньги. Мы больше не ссоримся. Он не называет меня по имени, но вежлив. Предлагал год назад помириться и начать заново, я промолчала. Не сговариваясь, еду мы готовим по очереди. Или — кто придет первым. Едим кому когда вздумается, иногда — вместе. Ни его, ни мои родственники к нам не приезжают, и — слава богу. Я пишу своим и подругам, что живем хорошо,

он, кажется, пишет подобное. Знакомые у нас бывают редко, а если кто и заходит, мы принимаем, не показывая виду о разладе. Дочери я разрешаю ходить в его комнату, они там подолгу играют, он читает ей книжки или рассказывает сказки. Меня утешает уже одно, что дочь мала и ничего не понимает.

Вот так мы живем сейчас. А что будет дальше, я не знаю.

Содержание

РАССКАЗЫ

Михайловская роща	3
Односельчанин	23
Тетя Феня : ?	40
Когда черемуха цвела	74
Вторичное сырье : : ?	99
Подъезжая под Раздоры	113
Вечера : ! ! !	147
Смятение : ! ! !	177
Чистые плесы	196

ПОВЕСТИ

Зимний путь	220
История одной семьи	293

**Василий Егорович
Афонин**

**ВЕЧЕРА
Рассказы и повести**

Редактор **Л. Егоршилов**
Художник **В. Толстоногов**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **В. Флид**
Корректоры **Т. Стельмах, М. Курносенкова**

ИБ № 3420
Сдано в набор 19.01.84. Подписано к печати 19.04.84.
А06786. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип № 2. Усл. печ. л. 18,48. Усл. краск.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 20,22. Тираж 50 000 экз. Заказ 13. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Типография № 2 Росглаволиграфпрома, г. Андропов, ул. Чкалова, 8.

Афонин В. Е.

А 94 Вечера: Рассказы и повести / Худож. В. Толсто-
ногов. — М.: Современник, 1984. — 349 с., ил. — (Но-
винки «Современника»).

В пер.: 1 р. 60 к.

Василий Афонин — автор книг «В том краю», «Последняя осень», «Клюква-ягода», «Игра в лапту» и др. Томский прозаик хорошо знает деревню, интересно пишет о городе. В произведениях нового сборника писатель напряженно размышляет о человеке, о его месте в сегодняшнем мире.

А $\frac{4702010200-171}{M106(03)-84}$ 20-84

ББК81Р7
Р2

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЫ

*Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62
Издательство «Современник»*